63.3(2),1825
Б 91

1825—1925

БУНТ ДЕКАБРИСТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЫЛОЕ»
ЛЕНИНГРАД
1926

1949

„БЫЛОЕ“

Журнал, посвященный истории русского революционного движения и гражданской войны.

Основан в 1906 году ◇ закрыт в 1907 году ◇ возобновлен в 1917 году.

В 1926 году будет выходить ежемесячно, книгами до 12 печ. листов под редакцией **П. Е. Щеголева.**

Первая книга выйдет и будет разослана подписчикам не позднее 15 января 1926 г. Предполагаемое содержание: **В. Н. Кашин** — Консервативный сверстник декабристов; **М. Е. Салтыков** — Неизданные письма к Н. А. Некрасову со вступительной статьей В. Е. Максимова (Евгеньева); **А. М. Калмыкова** — Странички прошлого; **П. Камнев** — Из истории финляндского активизма; **В. Левицкий** — Провокатор Николай — „Золотые очки“; **Н. Ракитников** — Смерть Егора Сазонова; Николай Бауман в 1905 г. Из воспоминаний; Суд над Советом Рабочих Депутатов. — Воспоминания прокурора; **И. Рыбаков** — Гетманская жандармерия; Критика и библиография.

В ДАЛЬНЕЙШИХ КНИГАХ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

Неизданные письма: **М. А. Бакунина, И. И. Горбачевского, А. Д. Михайлова, Е. С. Сазонова, Н. Г. Чернышевского.**

Неизданные произведения и письма: **В. О. Ключевского, В. Г. Короленко, Н. С. Лескова, Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева, Льва Толстого, И. С. Тургенева, В. Р. Щиглева.**

Воспоминания: **А. М. Белов** — О Чернышевском; **А. Белозеров** — Вооруженное восстание в 1905 г. в Н.-Новгороде; **А. Н. Бибергаль** — Казанская демонстрация 1876 года; **К. П. Василенко** — Студенческое движение в Киеве в 1890-х годах; **С. Я. Елпатьевский** — Годы ссылки; **П. С. Ивановская** — Боевая организация; **А. А. Корнилов** — Служба и жизнь в Сибири 1894 — 1900 гг.; Воспоминания секретного сотрудника о петербургском охранном отделении накануне революции; **С. А. Никонов** — Воспоминания революционера; **С. Г. Стахевич** — Среди „политических преступников“; **К. М. Тахтарев** — Жизнь в Англии 1898 — 1910 и мн. др.

Статьи: **М. Алексеев** — О Уайльд и русские нигилисты; **А. Беккер** —
...ман —
...иколай
...рафии
...19 г.;
...евно-
...Е. Пре-
...едний
...итика
... - Дело
...серос-

...цена
...я рас-
...№ 5-го
...аются
...в Ле-
...д. 21,
...осква,
...
...иосках
...ылое“
...учении

334194

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

РПМ БАН, з. 126, т. 300 000, 1.III.94

9(С)15 1825
Б 91

БУНТ ДЕКАБРИСТОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК 1825—1925

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Ю. Г. ОКСМАНА и П. Е. ЩЕГОЛЕВА

334194 О

БИБЛИОТЕКА Обл. Дома Учителя

Военная 155 отд.

ЦБ Ленинградского Дворца культуры работников просвещения

ЛЕНИНГРАД
Издательство „БЫЛОЕ“
1926

Ленинградский Гублит № 3581. Тираж 3.000 экз.—25 п. л.

Гос. уч.-пр. школа-типография им. тов. Алексеева, Красная, 1.

ОТДЕЛ I

Передвижной Биб. фонд
№
Лен. Обл. Дома Учителя

Хозяйственное состояние России накануне выступления декабристов.

Уже во второй половине XVIII века современники отметили в русском хозяйстве ряд признаков, в которых нам не трудно разглядеть черты промышленно-капиталистического характера: Болтин, Щербатов, Екатерина II и другие не столь известные авторы, особенно те из них, которые помещали свои работы в Трудах Вольного Экономического Общества, не менее определенно говорят о хозяйственном подъеме своего времени, чем объективные прогрессирующие цифры нашего заграничного вывоза, хлебных цен, городского населения, промышленных предприятий и т. п. У современников создавалось, может быть, даже и требующее некоторых поправок представление о постоянном и беспрерывном росте, например, хлебных цен, начиная с половины XVII века, но и самое это представление весьма показательно. Если даже признать справедливыми те замечания, которые сделаны были в последнее время, о необходимости более критического отношения к статистическим данным XVIII века, общее впечатление о количественных и качественных переменах в хозяйственном положении России во второй половине XVIII века, придется признать фактом несомненным. Редакция Трудов Вольного Экономического Общества, наиболее видного современного специального журнала, объявляя цели своего издания, не случайно называет свой век, „экономическим". Этот дух проникал даже туда, где мы и не рассчитывали бы его встретить: директор Шляхетского Кадетского Корпуса вводит в учебный план своего учебного заведения агрономию, устраивает образцовые поля и заставляет кадет упражняться в земледелии. Дворяне наперерыв закидывают редакцию своими хозяйственными соображениями, в расчете

быть полезными своим товарищам по хозяйству. Сама Екатерина II через своего банкира барона Фредерикса скупает хлеб и отправляет его за границу через Архангельский порт, переманивает к себе в Россию знаменитого Уатта, назначая ему в год 80.000 тогдашних рублей, покровительствует своим русским изобретателям и т. д., и т. д. Фактов этого порядка слишком много, чтобы считать их случайными. И современники ясно говорят, что 20—30 лет тому назад этого в России еще не было. Не случайно Екатерина ставит Вольному Экономическому Обществу на разрешение задачу, которую кроме нее едва ли кто-либо другой мог бы рискнуть поставить, помня судьбу Радищева. Она хочет обсудить вопрос, „что полезнее для общества" свободный или крепостной рабочий, безземельный или наделенный и в каком размере землей. Если бы мы не имели никаких других материалов для суждения о хозяйственном состоянии этого времени и знали бы только эту задачу, то и этого одного было бы достаточно, чтобы получить понятие о характере переживаемого момента. Это такой же симптоматический вопрос, как и тот, который в свое время поднимал Иван Грозный перед церковным собором 1580 года, указывая на то, что благодаря крестьянскому выходу воинский чин впадает в великое оскудение. Только тогда дело клонилось к закрепощению рабочих рук за воинским чином, теперь, очевидно, положение переменилось, и вдумчивые люди стали размышлять о выгодах свободного труда. „Нет, господа", агитировал, получивший за наиболее удачное решение указанной задачи премию, автор, обращаясь к вельможам, т.-е. к землевладельцам и фабрикантам-дворянам, — „дав вольность крестьянам вашим, вы ничего не потерпите, но еще умножите ваши доходы. Вы гораздо вернее будете их получать... Воззрите на примеры всех благоустроенных в Европе народов: богатые, не утруждая себя всегдашним надзиранием, получают исправно и порядочно свои доходы... Между тем как вы ныне очей ваших ни на час отвратить не можете, чтобы не узреть (своих крепостных) праздных и без действия".

Таким образом в 1766—8 годах для многих было уже совершенно ясно, что крепостной труд не удовлетворяет новым требованиям хозяйства, но пришлось ждать еще много времени, чтобы это убеждение завоевало себе ту среду, в руках которой была сила

провести реформу. Не будет преувеличением, если мы скажем, что со второй половины XVIII века не было в России вопроса более жгучего, задачи более настойчивой, чем вопрос о положении труда. Будило в этом направлении мысль и во всяком случае нарушало философское спокойствие тех, кто не хотел или не мог, как следует, думать, то течение дел, задержание которого один из сотрудников названного экономического журнала считал „для всего общества столь же маловыгодным, сколь бесполезным не давать ходу текущей воде, которая после того сыщет себе где-нибудь течение [1]).

Новые территориальные приобретения Екатерининского времени, новые города и гавани, где каждый наблюдатель мог видеть силу общего хозяйственного подъема, находились в полной гармонии с отмеченными признаками духа „экономического века". В XIX-й век Россия вступала очень бодрым шагом при самых благоприятных ауспициях.

Для более точного представления о темпе и качестве процесса в начале XIX века необходимо привести здесь несколько цифр.

Общее количество зарегистрированных, т.-е. более или менее значительных фабрик выросло с 1812 г. по 1825 год больше, чем вдвое, с 2.322 до 5.261 предприятий, количество рабочих на них с 119.093 до 210.568. Очень важно отметить эволюцию отдельных категорий рабочих. Вот показательные цифры:

Годы:	Количество рабочих:		
	Вотчинных.	Поссессионных.	Вольнонаемных.
1812	27.292	31.160	60.641
1825	66.725	29.328	114.575

т.-е. число поссессионных уменьшилось на 5,8%, число вотчинных увеличилось на 144%, а вольнонаемных—на 88,8%.

По отдельным производствам увеличение различных видов рабочих неравномерно. В то время, как на хлопчатобумажных

[1] Швитков, М. Труды Вольн. Эк. Общ., 1810., ч. XII.

фабриках число свободных рабочих по отношению к несвободным составляло 94%, в кожевенном 93%, в железоделательной промышленности только 22%.

Всего производилось на русских фабриках в 1804 г. на 25 мил. руб., в 1825 г. на 46,5 мил. руб. Нужно принять во внимание, что приведенные цифры меньше действительных, так как сюда не включены значительные горнозаводские предприятия и мелкие предприятия.

Из этих цифр прежде всего вытекает, что промышленность растет, что дворянство принимает в ней большое участие, отрывая от земли своих крепостных и перебрасывая их на фабрики, что фабрики наши все больше и больше принимают вид капиталистических предприятий, основанных на свободном труде.

Что касается сельского хозяйства, то здесь прежде всего следует указать на рост посевной площади, в чем легко убедиться, взглянув на следующую таблицу, показывающую процентное отношение луговой земли к пахатной.

Берем для образца несколько губерний:

	Луга в конце XVIII в.	к середине XIX в.
Оренбургская . .	277,6	108,2
Воронежская . . .	101,1	80,0
Тамбовская . . .	74,9	66,0

Не только растет земледелие в сравнительно хорошо населенных губерниях, но захватываются и совершенно новые пространства. Новороссийский край в 1778 году высевал 115 т. четвертей, в 1789 г. — уже 543, а в 1845 г. — 1.997 т. четвертей хлеба. Пашня на хорошей земле растет всюду — в лесных районах за счет леса, в степных за счет сенокосов, наконец, пускаются в хозяйственный оборот совсем новые пространства, недавно вошедшие в состав государства и энергично колонизируемые, несмотря на очень сильную тормозящую роль крепостного права. Чем объяснить это оживление? На один естественный рост населения, конечно, ссылаться в качестве причины хозяйственного подъема не приходится, потому что сила роста населения сама находится в большой зависимости от хозяйственного состояния общества. Несомненно в самой

русской жизни происходили явления, ускоряющие темп хозяйственной эволюции. Вот некоторые данные, способные подсказать верный путь нашим поискам:

В 1760 году четверть ржи у Гжатской пристани стоила — р. 80 к
„ 1773 „ „ „ „ „ „ „ 2 „ 19 „
„ 1788 „ „ „ „ „ „ „ 3 „ — „

В Англии квартер пшеницы стоил:

в конце XVIII века			56,1 шил.
„ 1800	1809		82,2 „
„ 1810	1819		88,8 „

Рост цен на внутреннем и внешнем рынках, увеличение хлебного вывоза — это яркий показатель того, что хозяйство развивается в связи с требованиями рынка. Нужно сказать, что вывозился от нас не один только хлеб, и что он стоял в числе вывозимых предметов только на четвертом месте, уступая первые места салу, льну и пеньке; кроме того от нас вывозились продукты скотоводства, пчеловодства, продукты лесного хозяйства, охоты, горного дела, ткани, особенно бумажные. Не менее показателен и ввоз иностранных товаров.

Ввоз и вывоз по пятилетиям выражается в следующих цифрах:

		вывоз	ввоз:
1801	1805	75 м. р.	52,5 м. р.
1816	1820	92 „ „	70 „ „
1821	1825	81 „ „	72 „ „

На первом месте среди ввозимых предметов стоят инструменты, машины, материалы:

в 1815 году на 11 м. р. 58 , всего ввоза
„ 1825 „ „ 21 „ „ „ 38 „ „ „

Количество ввозимых материалов падает и растет количество машин и инструментов, т.-е. растет русская индустрия, поднимается технический уровень производства. К 1825 г. вырос также и ввоз заграничных фабрикатов, замедленный событиями 12 года. Следовательно увеличились потребности и покупательная способность русских граждан. Оборот внутренней торговли статистиком 20-х годов XIX века Арсеньевым, правда довольно условно, определяется в цифре 900 милл. руб.

Он же оценивает весь хлеб, производимый тогда в России, в 800 милл. р. Крестьянское хозяйство уже не могло обходиться без рынка, о помещичьем, конечно, и говорить нечего. Крестьянин, чтобы получить нужные ему деньги либо вез свои продукты в город, либо сам туда шел на заработки. Поведение в этом отношении крестьян регулировалось качеством почвы прежде всего. Обособление хозяйственных районов сделало заметные шаги. Один из опытных в хозяйственных вопросах сотрудников Вольного Экономического Общества в 1810 году писал о том, что помещику выгоднее удовлетворять потребности своих крестьян в продуктах городской промышленности, в инвентаре и деньгах самому, чем предоставлять возможность крестьянину самостоятельно добывать деньги на приобретение всех этих вещей, путем отлучек в города на заработки: помещики должны взять на свое попечение наделение крестьян своих тем „чего сами крестьяне сделать себе не могут", т.-е. взять на себя „наделение скотом, особливо рабочим, разными земледельческими и другими для сельских работ инструментами, а также и нужным для них количеством денег... „Без сомнения", объясняет автор, „сие не инако можно производить, как выручкою денег через продажу их же крестьянских изделий" [1].

Из всего содержания этой удостоенной премии работы видно, что под „крестьянскими изделиями" разумеются не натуральные оброки крестьян, а продукция их же труда на барщине. В „нынешние благословенные времена, когда и из благородного дворянства помещики имеют привиллегию не только держать подряды и откупы, но и производить торговлю наравне с купечеством" добывание денег для дворянства сделалось легче: „товар они имеют всегда готовый, т.-е. сельские произведения, трудами поселян приобретенные, которые во всяком, а особливо в известных местах, платятся весьма дорого".

Отсюда автор решительно рекомендует барщину. Рассуждения его имели последователей, главным образом, на черноземе: к середине XIX века барщина в черноземных губерниях составляла от 70 до 100%, между тем как в нечерноземных % этот выражался в цифрах от 13 до 40.

[1]) Швитков, М. О двух главных способах, назначенных к лучшему деревнями управлению, „Тр. В. Э. О." 1810 г., ч. XII.

В тех местах, где природа не шла навстречу труду земледельца, дело обстояло иначе: крестьянин, вынужденный считаться с рынком, разорялся, бросал свое земледелие совсем или частично и шел на фабрику, пристань, стройку, пришлым элементом наполнял города и вызывал беспокойство у обывателя. Тот же Швитков по этому поводу сетовал: „Пристойно ли... жить крестьянину в городе и одним только городским промыслом наживать себе многие тысячи денежной суммы... переносить в деревню... вести о нуждах градских и через то с ними (крестьянами, живущими в деревне), вместе производить для городов умышленную на жизненные сельские припасы в цене возвышенность". В самой постановке вопроса уже звучит ответ, что, конечно, допускать это явление „непристойно"; впрочем автор и не затушевывает своего отношения к вопросу. Насколько уход из деревни был явлением массовым, до сих пор у нас точного суждения в науке не имеется. Судя потому, какую тревогу вызывал он у многих современников, можно утверждать, что для некоторых, по крайней мере, губерний явление приняло массовый характер. Как на пример сошлюсь на характеристику села Морши, переименованного Екатериной II в город Моршанск. В начале XIX века здесь постоянных жителей едва ли доходило до 7.000 [1]), а рабочих, которые приходили сюда, надо думать, из деревень к открытию навигации ежегодно набиралось до 25.000. Несомненно, какая-то сила гнала их из деревни именно сюда. Что же здесь служило приманкой? Оказывается „на реке Цне (при городе Моршанске) находится большая хлебная пристань, при которой на островах и по берегам расположены амбары, и из них привозимый из разных городов хлеб и прочие товары нагружают на новые барки и суда, приводимые из разных мест..., отправляют весною полою водою вниз до городов: Санктпетербурга, Москвы и других на значительную сумму" [2]). Нет никаких сомнений в том, что Моршанск, в данном случае, был не единственный пункт на территории империи. Этот пример показывает нам, как трудно вообще вычислять отношения городского и сельского населения; поэтому установление Н. А. Рожковым

[1]) По Арсеньеву здесь от 4 до 5 тыс. Арсеньев. „Начерт. статист.", I, 72.
[2]) Экономическое Примечание Моршанского уезда.

5% городского населения между 1815 и 1825 г.г., само по себе быть может и вероятное, не может служить исходным пунктом для характеристики хозяйственной физиономии городов. Моршанск весною и летом должен был производить очень странное впечатление: на каждого постоянного жителя приходилось тогда 4—5 человек пришельцев-рабочих. Теперь нам понятнее станут слова того же Швиткова, который приглашал „воззрить" на „множество поселян, целыми семействами скитающихся по городам". Те же наблюдения мы встречаем и у Болтина и у Щербатова.

Один из исследователей делает попытку подсчитать это движение крестьян в города для нечерноземной полосы. Он полагает, что уже в конце XVIII в. уходило на неземледельческие заработки от $\frac{1}{7}$ до $\frac{1}{4}$ всего взрослого мужского населения [1]. В это же время растет число фабрик и число занятых в них рабочих. Важным показателем подъема хозяйственного движения в капиталистическом направлении служит факт быстрого роста и беспрекословного утверждения у нас экономических идей Адама Смита. „Оставлять на свободе частную промышленность", „особливо удалять от нее всякое стеснение" сделалось программой практической политики. Как из рога изобилия сыплются правительственные акты с объявлением всяких свобод в этом направлении; свобода заводить ткацкие станки, свобода добывать красильные вещества, свобода крестьянам торговать оптом и в розницу, свобода содержать им фабрики и заводы (1812 год) и т. д., и т. д. Одним словом, плотина прорвалась, русская хозяйственная жизнь начинает создавать новые формы. Для того, чтобы получить возможность ближе всмотреться в сущность этого процесса и получить возможность сделать его точное определение, очень полезно от общих цифр и обобщений заглянуть в конкретное хозяйство. Для северного нечерноземного района мы имеем интересные данные в хозяйстве помещика Межакова, для черноземной полосы берем хозяйство декабриста М. С. Лунина.

Луниская земля была расположена частью в Тамбовской, частью в Саратовской губерниях. Центральное имение, наиболее интенсивно эксплоатируемое, находилось в Тамбовской губ., Кирсановском уезде, т.-е. на черноземе.

[1] Погожев. „Сборник стат. свед. по Моск. губ.", т. IV, ч. I, стр. 5*.

Здесь жил опытный приказчик и вел под своим непосредственным наблюдением хозяйство. Все крестьяне на барщине. В Саратовской губ., где Лунин не мог организовать своего собственного хозяйства, все крестьяне сидели на оброке. В первом имении числилось 682 души во втором — 247. Барское полевое хозяйство, кроме лугов, леса и пр. угодий, велось на 1050 десятинах; крестьяне этого имения пахали на себя 990¼ дес., полученных от барина, и принанимали еще сверх того 341 десятину, т.-е. вели свое крестьянское хозяйство на 1331¼ десятине.

Как у барина, так и у крестьян — трехполье. Засевается у Лунина: рожь 48,6%, греча 20, горох 13,3, просо 6, овес 5,8, ячмень 2,6, мак 2,1, конопля и лен 0,7, пшеница 0,6. У крестьян приблизительно тоже, кроме гороха и ячменя, высеваемых у очень немногих крестьян, и мака, которого крестьяне не сеяли совсем.

В помещичьем хозяйстве вырабатываемые продукты распределялись в % % следующим путем:

	Рожь	Овес	Греча	Горох	Ячмень	Просо	Мак	Пшени-ца
Продавалось. . . .	80	36	78	80	85	90	98	42
Давалось в долг крестьянам . . .	7	45	3	—	—	0,5	–	
Оставалось на посев . . .	7	6	16	19,5	11	4,5	1	20
Потреблялось на месте	6	13	3	0,5	4	5	1	38
В 1825 г. выработано было четвертей	8225	2512	1076	384	193	573	12	23

Если принять во внимание, что в имении находилось одних дворовых в 1825 году 138 человек, которые получали месячину, т.-е. питались от помещика, тогда мы увидим с полной ясностью, что продукты сельского хозяйства предназначались почти исключительно для рынка.

Что касается крестьян, то их необходимо разбить на экономические группы и характеризовать отдельно каждую. Начать с того, что у Лунина были крестьяне, которые сидели на 2-х десятинах (два семейства), и такие, у которых было по 31 дес. Если в первую беднейшую группу отнести крестьян, владеющих от 2 до $9^1/_2$ дес., то эта группа составит 50,8 % всей крестьянской массы, 2) от $9^1/_2$ до 11 — 14,9%; 3) от 11 до 31 — 34,3%. Из этой последней можно выделить еще подгруппу самых зажиточных крестьян, владеющих от 15 до 31 дес. — 21,6% [1]). Наиболее богатой трети крестьянства (берем 3 группы) принадлежало 46% всей земли, половине беднейшего 28,8%. Относительно наемной земли дело обстояло так: в дер. Никитинской [2]) третья наиболее состоятельная группа, составлявшая приблизительно четвертую часть всего населения деревни, снимала всю наемную землю на себя, в Сергиевском, четвертая часть той же категории снимала 55% всей наемной земли. Расслоение в крестьянской среде бросается в глаза с определенностью. Конечно, в хозяйстве отдельных крестьянских групп мы тоже должны заметить разницу. Наем земли практиковался не для удовлетворения собственных потребностей, а для „изобилия“, как выражался Пестель. И эти зажиточные крестьяне сеют продукты, которые имели по преимуществу назначение для тогдашнего рынка. Такова, например, греча: бедные крестьяне ее не сеют. Никитинские богатеи вырабатывают 75% всей крестьянской гречи. Она и от помещика и от крестьян шла на рынок. Оброчные крестьяне Саратовской губ. по случаю плохого состояния путей сообщения вследствие длительных оттепелей не могут во время заплатить денежного оброка. Этого одного достаточно, чтобы убедиться, насколько крестьянин втянут в рыночный оборот. Правда, на основании одних оброчных делать вывод опасно: для оброка деньги могут выколачиваться и путем продажи необходимого для себя (этого, впрочем по отношению к Лунинским крестьянам сказать нельзя), но барщинные крестьяне в данном случае вне сомнений.

Прежде чем поступить на рынок, продукты подвергаются тщательной переработке дома, т.-е. затрачивается оборотный

[1]) По отношению к своей группе.

[2]) В это хозяйство входили две деревни Сергиевское и Никитинское.

капитал. Если не считать необходимой примитивной обработки урожая, в результате которой получается зерно, и учитывать обработку уже самого зерна, то мы должны заметить, что 24% ржи и 32,3% пшеницы, превращались на месте в муку, 73% проса и 66% гречи в крупу. Остальные продукты, т.-е. овес, ячмень, горох и мак шли на рынок прямо в зерне. Интересно обратить внимание на тщательность переработки гречи: из нее делается крупа крупная и мелкая, последняя трех сортов (1-й, 2-й и 3-й разбор), в процессе обработки получаются подситки двух сортов (белые и черные). Вся эта процедура делается машинным путем, для чего имеются кроме мукомольных мельниц три „крупные" машины, приводимые в движение лошадиной силой. При такой постановке дела ясно, что вопрос о сбыте продуктов становится первостепенным.

До того момента, когда с наступлением зимы делается возможной отправка хлеба на пристань, все течение жизни в имении Лунина может считаться ровно спокойным. Даже неурожай мало страшит. Хозяйственная лихорадка начинается тогда, когда стоит оттепель, пути нет, и барометр ничего утешительного не предвещает.

21 января, т.-е. уже в середине зимы, приказчик, мужчина не склонный к панике, не раз читавший разумные хозяйственные наставления своему барину, пишет Лунину о беспрерывной оттепели, дождях и пр. и с явным беспокойством прибавляет: „а мы еще не отправили... обоза с хлебом, и скоро ли будет путь, того не знаем. В таковом затруднительном обстоятельстве я не знаю, что мне делать. Научите, Милостивейший Государь, меня и воодушевите! Какие взять меры, когда наступит срок платежа в Опекунский Совет". Милостивейший государь ничего ответить не мог, и хозяин и приказчик покорно стали ждать перемены ветра. В случае хорошего пути была другая беда: несмотря на то, что на каждое тягло помещик назначал свезти к пристани по 25 четвертей, т.-е. заставлял отправлять от каждого тягла по 10 телег (путешествие к пристани длилось около 5 дней), собственной крестьянской силой не успевали свезти весь хлеб на рынок, и Лунину приходила в голову мысль обратиться к найму свободных возчиков.

Но приказчик убивал политическую экономию хозяина своей арифметикой. По его мнению возить хлеб наймом был

бы „великий убыток: рожь на рынке продавалась по 3 р. 20 к. за четверть, а свезть четверть... платили напоследок по 1 р. 40. Так рассудите", обращался он к хозяину, „сколько бы получили за четверть. Может хлеб, лежавши в закроме, проценты не потеряет на будущий год". Нельзя забывать здесь, что переписка эта относится к 1825 году, когда положение хлеба на рынке сильно изменилось в сторону падения цен. Если бы этого обетоятельства не было, то приказчик, пожалуй, использовал бы совет своего хозяина.

Во всяком случае из всего сказанного о состоянии Лунинского сельского хозяйства ясно, что вопрос о путях сообщения и применении хотя бы частично свободного труда подходил сам собой, ставился всем ходом хозяйства. Интересно отметить также постановку целей этого хозяйства. В переписке между собой ни хозяин, ни приказчик не скрывают ее, и мы легко ее обнаруживаем в письмах. Это — уплата долгов, сделанных еще отцом Лунина, затем накопление капитала при помощи строжайшей экономии [1]). Тут и цель и средства. Наблюдая на протяжении нескольких лет хозяйство Лунина, мы можем сказать, что план успешно проводился в жизнь; Лунин твердо помнил и приказчику писал, что, „и у берега потонуть можно", и поэтому оба они были бдительны и деятельны.

Вернемся еще раз к рассматриваемому хозяйству. Одним земледелием здесь дело не ограничивалось. Лунин завел у себя суконную фабрику, одну из тех фабрик, которых никакой статистик не заносил в свои таблицы, и которую сам приказчик как-то раз назвал „фабричкой". В лучшее ее время на ней работало 42 человека, считая мужчин, женщин, и детей. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что фабрику свою Лунин завел потому, что не мог найти лучшего применения труда своих дворовых. Эта категория крепостных не пользовалась доброй славой у хороших хозяев того времени. „Какая от сих хлебоедов польза?" спрашивал в 30-х годах XIX века один из опытнейших хозяев и отвечал: „ни-

[1]) „Зная вашу единственную цель по уплате долгов, наконить и приумножить сумму капитала и тем обеспечить себя и имение на будущее время, сколько можно, буду способствовать вашему желанию" и т. д., и т. д. (Письмо приказчика).

какой, кроме всегдашнего убытка!" И Лунин понимал это очень хорошо. На его фабрике работают исключительно дворовые, но и при сравнительно благополучных оборотах фабрики до 60% дворовых, включая сюда и детей, на фабрике заняты не были и употреблялись на случайные работы, т.-е. не оправдывали расходов по своему содержанию. С наступлением худших времен % этот стал увеличиваться.

Нечего много говорить о том, что сукно предназначалось на продажу и продавалось действительно на ярмарках и дома, пока вообще рынок принимал этот продукт; падение спроса на сукно скоро приняло угрожающие размеры. Сырье, краски, инструменты приобретались за наличные. Одним словом—это настоящее капиталистическое предприятие.

В 1820-21 году фабрика давала 18,5% чистой прибыли, в 1823-24 — 13,9%, а через год только 2,1%. Пришлось ликвидировать суконную фабрику вследствие прекращения на сукно спроса на рынке и попробовать перейти на производство полотна. Судьба этого предприятия нам не известна. Но зато нам известно, что в сентябре 1825 года, следовательно после закрытия суконной фабрики, Лунин пробует открыть у себя селитренный завод, о чем и дает соответствующее распоряжение приказчику. Последний по этому поводу пишет: „по предписанию Вашему... буду приискивать сведующего о выделывании селитры человека, от коего, отобрав подробные и нужные сведения и планы, Вам представлю. Мое мнение: я страшусь, чтоб предполагаемый Вами сей завод не стоил многих издержек и не вовлек бы в долги, и не отяготил бы имение Ваше, еще во младенчестве находящееся". К 23 ноября дело еще нисколько не продвинулось: приказчик ссылался на дороговизну дров, на отсутствие специалиста, на свою собственную неосведомленность в этом деле. Арест Лунина прекратил его дальнейшее предпринимательство.

Новые хозяйственные условия времени сказывались в жизни Лунинских дворовых еще с одной стороны. Часть дворовых, с детства обученных специальному делу, для чего они посылались в Петербург, потом отправлялись на промыслы и выплачивали Лунину оброк, т.-е. превращались в орудие производства. Сколько именно таких „промышленников" насчитывалось среди Лунинских дворовых, нам не известно, но в од-

ной только ведомости о выданных отпускаемым на промыслы в Петербург паспортах их записано 21. По специальности это были — медники, обойщики, женский портной, кучера, купцы, маляры, кузнецы, клавикордный мастер, башмачник, бронзовщик, портниха, кухарка. Мужчины платят в год по 60 руб. О женщинах ничего неизвестно. Такие специальности, как клавикордное мастерство или работа бронзовщика, конечно, могли, хотя и в редких случаях, пригодиться и дома, т.-е. в имении, или в городе в барском доме, но так как Лунин жил в Варшаве, то его мастера вообще промышляли в Петербурге на стороне, давая своему хозяину определенный доход. Если мы к этому прибавим еще несколько способов приобретения денег — сдача в аренду земли своим же крестьянам, продажа лошадей, стережение стад, взимание денег за пропуск стад через свои владения, продажа фруктов, воска, пчел и т. п. мелочей, то этим и исчерпаем все способы получения доходов с имения. В общем нужно будет сказать, что, несмотря на разностороннюю деятельность имения, все-таки главным источником дохода хозяина служила земля: в 1823-24 г. от земли Лунин получил 70,8% всего своего дохода, в следующем году 75,8%. Приход по всему имению давал в разные годы от 40 до 66 тысяч. И это совершенно будет понятно, если мы вспомним, что здесь чернозем. Не даром Лунин свою землю тщательно оберегал от покушений со стороны и всегда готов был расширить свои владения. Только приказчик своей трезвой головой останавливал пыл хозяина. „Да", говорил он, „земли действительно в Саратовской губ. продаются", потому что „все нуждаются в деньгах, но без наличного капитала при ежегодном уменьшении на все цен опасно решаться покупать земли, которые могут быть в убыток покупщику, ибо не дадут процентов" [1]). Прекрасно почувствовали оба и помещик, и его слуга, ту перемену, которая наступила на рынке приблизительно с 1819 — 20 года. Эта чуткость весьма характерна. Как она далека от того философского равнодушия, в котором-де мог пребывать спокойно барин на Кузнецком мосту в Москве, взирая на гибель всего мира [2]).

[1]) Письмо от 7/VIII 1825 года.

[2]) Милюков П. Н. „Очерки по истории рус. культуры".

В северной нечерноземной области помещичье хозяйство велось иначе. К началу XIX в. в вологодском имении помещика Межакова числилось около 1500 душ крестьян. Общий приход имения в первое десятилетие века выражался в среднем цифрой около 30.000 руб. Постатейно получение этого дохода изображается следующей таблицей.

Крестьянский оброк давал приблизительно . . . 42%
Продажа сельскохозяйственных продуктов. . . . 26%
Промыслы 32%

Сельскохозяйственные продукты состояли из:

Хлеба 18%
Молочных продуктов . . . 7%
Лошадей 1%

Промыслы заключались главным образом в винокурении и поставке вина на государство. Хлеб для вина покупался частью в Вологде у купцов, частью в окрестных деревнях у крестьян. Работали на рынок также черепичный и кирпичный заводы. Крестьяне эксплоатируются в смешанной форме — барщина и оброк. Помещик прибегает и к найму рабочих со стороны, главным образом для возки хлеба на рынок и для работы на заводах. Помещик, несмотря на значительные и разнообразные предприятия, всегда нуждается в деньгах, которых ему нужно много, для приведения в движение довольно сложной машины. Недостаток оборотного капитала не позволял эксплоатировать более выгодно значительную часть крепостного населения вотчины — отсюда почти половина дохода помещика падает на крестьянский оброк.

Северное имение очень значительно отличается в своей работе от черноземного, но эти различия, если к ним присмотреться внимательнее, очень показательны. Оказывается, что оба, непохожие в своих функциях, типа хозяйств рождены общими условиями развивающегося капитализма, который одновременно и убивал и поднимал земледелие, выдвигал барщину на первое место в наивыгоднейших способах эксплоатации крепостного труда и отодвигал ее на задний план в зависимости от условий общественного производства. Мировой процесс ставил перед Межаковским имением роковой вопрос, быть или не быть: перестраиваться ли окон-

чательно на новый лад, решительно повинуясь новым требованиям производства, либо погибать. Вот скорбный лист помещиков Межаковых. Они должны были выплачивать в банк одних

в 1808 — 1810 гг. . . .	5.019	руб. —	к.
„ 1811	4.015	„ 40	„
„ 1812	3.011	„ 60	„
„ 1818	2.007	„ 80	„ и т. д.

и кроме того на погашение самого долга вносить по 16.730 р. в год. В таком затруднительном положении не раз имению грозила самая реальная опасность быть проданным с публичного торга. Очевидно, в имении далеко не все обстояло благополучно. Сейчас нам сравнительно не трудно давать хозяину запоздалые советы, но современникам не всегда приходил в голову правильный способ выхода из трудного положения. Лунин на примере своей суконной фабрики почувствовал пульс жизни и решил закрыть свою фабрику; но у него оставалась другая фабрика, сельско-хозяйственная, которая, как мы видели, прекрасно приспосабливалась к требованиям рынка. Межакову труднее было справиться с своим имением, потому что переход к новым формам требовал большей ломки старых производственных отношений. То, что было выгодно на юге, считалось невыгодным на севере. Это действие развивающегося денежного хозяйства бросалось в глаза уже в конце XVIII в. Ярославские, Владимирские, Шуйские дворяне просят в своих наказах в Комиссию по составлению нового уложения дать крестьянам свободный торг своими продуктами и оптом и в розницу разрешить им подряды и откупа; а дворяне южной полосы настаивают на том, чтобы крестьянам запрещен был торг в городах и уездах, чтобы они могли „упражняться единственно... в земледельчестве и в разных принадлежащих до них работах, отчего умножится хлеб". [1]) Главные фабрики наши возникали в нечерноземной полосе, тогда как в Нижнем Поволжье в 20-30 годах XIX в. не было не только фабрик, но и крестьянских промыслов [2]). и вся энергия устремлялась на землю; в 1803 году в Екатеринославской губернии собрано 1½ м. четвертей хлеба, в следующем году почти 2½.

[1]) Фальская, „Крест. вопрос в наказ. двор. XVIII в." М. 1911, стр. 4.
[2]) Ляхов А. „Основ черты соц. и экон. отн." М. 1912, стр. 46.

Итак, в итоге своего экономического развития Россия, как мы видели, в начале XIX века уже распадалась на отдельные хозяйственные районы: промышленный, где выгоднее было эксплоатировать не землю, а ремесло, уменье, творческий труд, и земледельческий, где самым существенным становился вопрос об извлечении наивысшего денежного дохода из поземельной собственности. При ограниченности денежного капитала у земельных собственников самым простым, естественным выходом из положения являлся подневольный труд. От оброка русский помещичий крестьянин, прогрессируя в указанном направлении, преходил на барщину, а дальше путь шел на месячину. По свидетельству декабриста кн. Трубецкого на месячине в его время были многие поместья в Белоруссии, Литве и Польской Украине; реже в Оренбургской и Симбирской губерниях. Вынужденный общими хозяйственными условиями, помещик всячески старался улучшить организацию своего имения прежде всего путем точной статистики рабочих сил, чтобы „и не быв в имении, он мог бы одним взглядом в опись видеть, как в зеркале, хозяйство во всех его отношениях“ [1]) Каждая рабочая душа берется на учет с тем, чтобы ни одна из них не оставалась в бездействии. Для достижения последней цели одной статистики, конечно, мало, и время, нас интересующее, насыщено теоретическими рассуждениями на тему о том, как сделать крепостной труд наиболее продуктивным. Искание увеличения прибавочного продукта и в теории и в практике привело к предпочтению барщины оброку крестьян. Ряд авторов изощряется в поисках наивыгоднейшего способа эксплоатации сельского крепостного рабочего и среди этих опытов попадаются и такие, которые, как мы отчасти видели, говорят и о свободном труде. На землях недворянских, именно на купеческих и крестьянских, свободный труд стал успешно применяться на деле и давал хорошие результаты. Помещики тоже применяют иногда свободный труд, но в дополнение к подневольному крепостному, на который они имели исключительное право.

Параллельно с трактовкой вопроса о способах поднятия интенсивности труда идет разработка вопросов о технике земледелия. Растут и множатся специальные сельско-хозяйственные

[1]) Карпович, „Хозяйственные опыты“.

общества; деятельность их возбуждает несомненный интерес у публики. Энергично ведутся споры о фермерстве, плодопеременении, травосеянии и т. п., поощряются опыты в этом направлении, тратится много сил и денег, пока возбужденная мысль не приходит к выводу, что исконное русское зерновое трехполье дает наивысшие результаты.

Стремление к увеличению денежного дохода приводит землевладельцев к усилению промыслов, тесно связанных с земледелием — винокурению, разведению свекловицы для сахара и разведению овец для сукна. По закону 1765 года „вино курить дозволяется всем дворянам и их фамилиям, а прочим никому". Одна из наиболее доходных статей хозяйства попадает исключительно в руки дворянства. Дворянство в своем предпринимательстве, конечно, не ограничивалось сельским хозяйством и смежными с ним промыслами. Из вышеприведенных цифр видно, что дворянская фабрика быстро росла в рассматриваемый нами период: число рабочих на вотчинных фабриках, т.-е. тех-же крепостных крестьян, загнанных на фабрику, выросло на 144% в то время, как число посессионных упало на 5,8%. Свидетельства о первых стремлениях помещиков к устройству фабрик относятся ко второй половине XVIII в. Московское дворянство просит в „Комиссии по составлению нового уложения" о разрешении открывать фабрики и мануфактуры. О том же просит Вяземское дворянство. Крестьян сгоняют на помещичью фабрику часто из отдаленных имений, дают им маленькую заработную плату деньгами, остальное дополняют натурой. Оторванный от земли он считается номинально крестьянином, будучи по существу прототипом настоящего пролетария. Помещичий крестьянин часто попадал в качестве рабочего и на фабрику купеческую, пока 16-VI-1825 этот вид эксплоатации крепостных не был запрещен. Купцу приходилось искать выхода в вольнонаемном труде, который давно уже практиковался на, так называемой, крестьянской фабрике.

С 1812 по 1825 год число свободных рабочих выросло на 88,8%. Главную массу этого вида рабочих мы видим на крестьянской фабрике, самое появление которой есть продукт промышленно-капиталистического развития России. Эти фабрики производят наиболее ходкий, демократический товар — хлопчатобумажный ситец, имевший огромный спрос на рынке. Это

наиболее типичная фабрика капиталистического характера по сравнению с фабриками поссессионной и вотчинной, которые, кстати сказать, до 1816 года работали в сущности не непосредственно на рынок, а на казенную поставку без права свободного торга.

Вольная крестьянская фабрика впервые открыто встретилась со всеми условиями капиталистического производства и не только не погибла при столкновении с реальной жизнью, но вполне приспособилась к ней и стала заметно прогрессировать. В это время зародились фирмы русской крупной буржуазии— Бурылины, Гарелины, Морозовы, Гучковы, Каретниковы, Ямановские, Грачевы и пр. и пр... Только в 1825 году от гр. Шереметева выкупились на волю Ямановские, в 1827 г. Гарелины, Бурылины; в 1820 Морозовы от Рюмина. Как сельское хозяйство, так и фабрика, подчиненные общим условиям хозяйственной жизни, усиливают дифференциацию в среде крестьянства, с одной стороны выбрасывая из своей среды все большую и большую массу пролетариата и создавая с другой стороны сельскую крестьянскую буржуазию и промышленного капиталиста.

Дворянская среда не осталась, конечно, незатронутой процессом. Новые формы развивающегося хозяйства разбивают и здесь позицию за позицией в старом дворянском укладе жизни: необходимость найти приложение денежному капиталу в земле и превратить самую землю в товар начинает исподволь уничтожать дворянскую привиллегию исключительного права владения землей, этому же процессу способствует все более и более укрепляющаяся связь помещичьего хозяйства с требованиями рынка, понуждая дворянина энергичнее обращаться к кредиту и тем подвергать себя всем последствиям риска; она создает новый фактор разложения дворянских привилегий — задолженность дворянских имений и неизбежно вытекающую отсюда мобилизацию их земель. Часть дворянства, как мы хорошо знаем, целиком ушла в промышленность, и интересы крупной буржуазии стала считать своими. (Строгановы и др.).

Дифференциация в дворянской среде выражается в следующих цифрах, относящихся хотя и к несколько более позднему крепостному времени, но все же прекрасно указывающих общее направление развивающегося явления.

В руках $^1/_6$ русского богатейш. дворянства сосредоточ. 80 % всех помещ. кр-ян.
„ „ $^1/_4$ „ среднего „ „ 5 % „ „ „
„ „ $^1/_4$ „ мелкого „ „ 15 % „ „ „

К последней категории отнесены помещики, владевшие меньше, чем 10 душами, ко второй от 10 до 100 душ. Шереметев имел 60.000, Потемкин 50.000, Разумовский 45.000 душ [1]).

После учреждения в 1754 г. дворянского заемного и купеческого банков, деятельность коих ширилась, с конца XVIII в. по 1825 год открыты были ссудные и сохранные казны (1772), приказы обществ. призрения (1775), Государственный заемный банк (1786). Последний имел целью поддерживать дворянские землевладения, чтобы „всякий хозяин был в состоянии удержать свои земли, улучшить их и основать навсегда непременный доход своему дому". В 1806 году открываются учетные конторы в Москве, Архангельске, Таганроге, Феодосии, в 1809 г. первый городской банк в с. Слободском, Вятской губ., в 1818 г. в Осташкове, Тверской губ.; в 1807 — первый сельский банк в селе Любучах, Рязанской губернии. В том же году учрежден Государственный Коммерческий банк, в 1818 открыта его контора в Москве, в 1819 — в Архангельске и в Одессе, в 1820 г. — в Риге, в следующем году — в Астрахани. Рост этих учреждений не требует комментариев. В то же время организуются значительные предприятия на коллективные капиталы: к 1827 году состояли в России следующие торговые акционерные компании: Северо-Американская, образованная в 1799 году с целью распространения торговли с дальними северо-восточными островами и Северной Америкой; Российская юго-западная для устройства судоходства по юго-западным речным системам; Черноморская, учрежденная в 1825 году для устройства паровых мельниц и торговли мукою через Одессу; страховая морская контора, учрежденная купцами в Одессе для страховки судов и товаров, отправляемых из Одесского порта за границу и в другие порты Черного и Азовского морей; компания на паровое судоходство по Волге, Каме и Каспийскому морю, утвержденная в 1823 году; торго-

[1]) Ляхов А. Op. cit., стр. 69.

вое общество в Одессе для расширения торговли через Черноморские порты, утвержденное в 1826 году.

Вступив на путь капиталистического развития, Россия естественно не могла уклониться от всех неизбежностей капитализма, прежде всего хозяйственных кризисов. В рассматриваемое нами время кризис стал замечаться в самом начале 20 годов. 29 декабря 1826 года Российская Академия Наук, в данном случае по инициативе двух виднейших экономистов своего времени академиков Шторха и Германа, опубликовала на премию задачу, где между прочим говорилось: „известно, что ходячая цена земледельческих произведений России, постоянно возвышавшаяся с половины 17 столетия, в продолжении последних лет понизилась". Требовалось указать на причины этого понижения цен, чтобы найти способы борьбы с ним. Очень интересны соображения автора, получившего академическую премию. Причины постепенного возвышения цен на продукты земледелия он видит, между прочим, в следующих явлениях: „Города, уже существующие, распространяются и возникают новые. Часть сельских обитателей, оставляя возделывание земель, поселяется в городах и предается ремеслам и торговле. Новые ветви промышленности представляют более ценностей в обмен на земледельческие. Распространение внешней торговли вследствие приобретенного Россией обладания портами..." Нового, чего бы мы сейчас сами не замечали в русской жизни той поры, здесь как будто бы ничего нет. Тем интереснее полное совпадение наших наблюдений с выводами автора - современника, писавшего 100 лет тому назад. Дальше он продолжает: „возвышение цен прекращается с 1819 года, понижение оных начинается с 1820 года". Этот период хозяйственного упадка автор объясняет следующими соображениями: „если бы обитатели сел могли свободно переходить из состояния земледельцев в состояние ремесленников и торговцев, то они умножили бы народонаселение городов и занялись бы в оных разными промыслами..., но население наших городов находится или в неподвижном состоянии или в упадающем, число купцов и купеческие капиталы уменьшаются, число мещан также". Правительство обратило внимание на это зло и предприняло с своей стороны некоторые меры: „облегчен переход из состояния крестьян в мещанство и купечество и сих из одной губернии

в другую; уменьшена цена на паспорты крестьянам, и учрежден комитет об улучшении городов", но меры эти распространены только на казенных крестьян, между тем как $^2/_3$ крестьян, находясь под властью помещиков, не могут свободно выбирать себе занятий. Довольно дружным хором и люди науки и люди практики твердили на разные лады о том, что дальнейший рост русского хозяйства неизбежно связан с реформой в положении как сельско-хозяйственного, так и всякого другого рабочего. Интересно отметить, как почувствовали на себе этот хозяйственный кризис отдельные хозяева непосредственно у своего дела.

Мы уже видели, что когда Лунин хотел купить землю в Саратовской губернии, приказчик не советовал ему этого делать, указывая на то, что дворянство действительно продает землю, потому что нуждается в деньгах, но что и покупать землю без наличного капитала „при ежегодном уменьшении на все цен (он имел в виду продукты, которыми торговал), опасно". Отсюда сам собой напрашивается вывод, что русское дворянство вынуждено продавать земли, что Лунин сам без наличного капитала, что цены на продукцию имения и фабрики падают ежегодно. „По причине низких цен на хлеб" приказчик отказывался возить на рынок хлеб наемными извозчиками. Тщательно собираемые сведения о ценах на хлеб постоянно посылаются к Лунину; приказчику приходилось за годы 1823—25 непрестанно повторять о том, что цены не возвышаются, а понижаются. Кризис коснулся не только хлеба, но и сукна, выделываемого на Лунинской фабрике. По этому поводу приказчик тоже много раз писал своему хозяину приблизительно в роде следующего: „что фабрика почти не приносит дохода, сие и я вижу. Сему причиною не худая выделка сукна, но низкие цены на сукна, ибо у нас тоже самое сукно, таковой же отделки и доброты, как назад тому года за три продаваемое за 7 руб. аршин, ныне продается оно не более 4 руб. за аршин, да и по этой цене не покупают. Я смело утверждать могу, что не похвалится ныне выгодами и никто из фабрикантов". Тут же он прибавляет „равно и на хлеб низкие цены не от нас, а за доброту нашего хлеба я ручаюсь". „Доложу вам", пишет он в другом письме, „что ни от каких сукон, как я вижу, не может быть выгоды никакой, потому что оным нет продажи, будто бы никому совершенно оных

не надобно". Когда же вышел закон 4 апр. 1825 года, явно защищающий интересы крупной буржуазии, по которому всякий торг обкладывался довольно высокой пошлиной, приказчик окончательно вышел из себя, написал хозяину ядовитое письмо и оба они решили закрыть суконную фабрику.

Отражение на русском хозяйстве первых десятилетий XIX века бурных событий международного характера дают нам возможность еще с большей отчетливостью разглядеть основные моменты в хозяйственном состоянии русского общества.

Земледельческое дворянство, интересы которого естественно связывались с Англией, обеспечивавшей ему верное получение доходов с их имений (сбыт хлеба, леса, сала, пеньки, льна и пр.), никогда не могло мириться с попытками власти разорвать сношения с этой державой. Несмотря на то, что континентальная блокада была несомненно выгодной для многих русских фабрикантов и промышленников, Александр I вынужден был пожертвовать их интересами в пользу дворянства, получавшего свой доход от земли. Колебания Александра в выборе линии поведения чрезвычайно интересны; они прежде всего показывают, что реальная сила двух классов, представителей крупного землевладельца с одной стороны и промышленности с другой, достигла столь значительных размеров, что между ними можно было уже делать выбор. Борьба этих двух сил, наполнявшая историю Александровского времени, с полной ясностью подтверждает мысль о том, что мы имеем дело с явлениями капиталистического характера. С какой стремительностью восстановляются торговые отношения с Англией, лишь только появилась формальная возможность действовать в этом направлении открыто: еще не был ратифицирован договор со вчерашней противницей, а уже особый манифест открывает все порты для английского флота, спешно отменяются все стеснения континентальной системы; одновременно правительство устанавливает торгово-договорные отношения со Швецией, Испанией, Турцией, Персией, Данией и ведет работу по упрочению торговых связей с Китаем, Монголией, Египтом и Северо-Американскими Соединенными Штатами. Переходы от одной тарифной системы к другой, сопровождаемые резкими изменениями в положении той или иной отрасли промышленности, того или иного класса, далеко не безразлич-

ные для соседних держав — все это свидетельства очень значительного и прочного товарного общения России в международном масштабе.

В такой хозяйственной обстановке, по необходимости кратко здесь очерченной, зародились и созрели общественные идеалы декабристов в различных своих оттенках, начиная от правого своего крыла, кончая „Русской Правдой" Пестеля. Только представив себе отчетливую картину хозяйства того времени, мы сможем понять позицию тех из декабристов, которые считали шагом вперед освобождение крестьян без земли, как „способ пробудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться" (Якушкин), и в то же время способ, сохраняющий „обязанность крестьян в отношении доставления доходов" помещику, который таким путем вполне резонно надеялся „сохранить собственные выгоды" и только очень наивно думал таким путем „составить счастье крестьян и дворовых людей" (Лунин). Делается понятной и позиция Пестеля, не в те моменты, когда он осуждает „постыдное" и „гнусное" преимущество обладания другими людьми, а в его научных рассуждениях, когда, например, он пишет: „Из политической экономии известно, что те только изделия полезны, которые заводимы быть могут без всяких насильственных и принудительных мероприятий, которые собственным своим избытком себя поддерживать могут. По сей причине одни вольнонаемные работники должны быть при всяких заводах употребляемы". Подновите здесь терминологию, и вы получите вполне законченное выражение сущности капиталистического хозяйства. Вот еще интересные мысли, далеко опередившие свое время по своей проникновенности в суть вещей. Отличительная черта нынешнего столетия — это „явная борьба" между народом и феодальной аристократией, и возникновение „аристократии богатств, гораздо вреднейшей аристократии феодальной". По мнению Пестеля „сия последняя... всегда потрясена быть может", а первая очень сильна, неуловима и в то же время „приводит народ в совершенную от себя зависимость". Эти наблюдения могли быть сделаны только в обществе, где капиталистический строй уже успел внести ряд специфических изменений.

Б. Греков.

Мотивы реальной политики в движении декабристов.

1.

Термины: „декабристы“, „движение декабристов“ получили в нашей исторической литературе очень широкое и не совсем определенное значение. В ближайшем, строго фактическом смысле слова, „декабристы“ — участники попытки восстания против самодержавной власти в декабре 1825 года в Петербурге и на юге; точнее — организаторы „бунта“, члены Северного и Южного обществ, а личный состав этой группы определяется, прежде всего, привлечением к „делу“ о декабристах в качестве обвиняемых. Но само следственное дело не смогло удержаться в таких рамках. Северное и Южное общества были лишь последним актом более широкого движения. „Декабристами“ называют и тех, кто был причастен только к Союзу Спасения и Союзу Благоденствия, а в этих „Союзах“ лишь отчасти, неустойчиво и расплывчато скристаллизовались элементы общественного движения, искавшего в тайных обществах организационной формы для более четкого и сознательного самоопределения и пути к осуществлению своих назревавших требований. Чем больше сведений получала правительственная власть о „движении декабристов“ и чем больше изучали его историки, тем шире становилось само представление о нем, охватывая целое поколение „людей двадцатых годов“. Француз-наблюдатель декабрских событий, посол Карла X, лично близкий к Николаю Павловичу, пояснял своему правительству, под свежим впечатлением разыгравшейся в Петербурге исторической драмы и данных разроставшегося расследования, что „главная беда“ для правительственной власти в широком сочувствии многим основным требованиям декабристов — людей,

„самых благоразумных“ и с ужасом отвергавших революционный путь борьбы с властью: эти „благоразумные“ понимали, как „опасно пребывать в неподвижности“, толковали о необходимости широких преобразований, чтобы „хотя бы издали, но идти за веком, и медленно готовиться к еще более решительным переменам“.

Оттенки воззрений и настроений от более решительных элементов „революционного ядра“ к периферии крайнего „благоразумия“ и полной нерешительности в стремлении к „преобразованиям“, эти переливы, которых так много в среде подлинных декабристов, расходились и дальше в окружавшей их общественности, которой они были наиболее ярким выражением и которая их вскормила. „Движение декабристов“ — только „девятый вал“ общественного брожения, вызванного тем кризисом, какой переживали в первой четверти XIX-го века установившееся в России формы народного хозяйства и социально-политических отношений, а „декабристы“ — группа наиболее ярких представителей общественной среды, охваченной этим брожением.

Поколение питомцев Александровской эпохи представляется нам, в исторической перспективе, культурно-историческим явлением довольно определенного типа, несмотря на все богатство индивидуальных и групповых различий и даже противоположностей. Вельможное боярство XVIII-го века, достигшее зенита в „век Екатерины“, сходит с исторической сцены. Его пышный закат озарен расцветом на верхах русской общественности типично-барской культуры классицизма в дворцах и усадьбах, в художественной литературе и бытовой обстановке рационализма и вольтерианства, в воззрениях „просвещенного века“. Но это пышный расцвет заката. Общие условия социальной жизни — развитие торговли, рост промышленности, приспособление крепостного хозяйства к требованиям международного и внутреннего спроса, заметное усиление значения города в общем строе страны — вызывали подъем иных интересов и выдвигали к более активному влиянию иные общественные слои. Это среда — довольно пестрая по социальному составу. Тут и выходцы из провинциального помещичьего общества — землевладельцы средней руки и вовсе мелкие; по общественному положению — рядовое офицерство, однако, проникавшее

более интеллигентными и удачливыми элементами в гвардейские полки, или служащие на гражданской службе, обычно младшие члены небогатых дворянских семейств. По бытовым связям и отношениям все это среднее и мелкое дворянство часто ближе к среде „городских обывателей", купечества, городского духовенства и мелкого чиновничества, с которой сплетается родством и свойством, интересами и бытом, чем к аристократическим вельможным верхам. Но и от этих верхов оно, конечно, не вполне оторвано: по сословно-общественным отношениям в столичных городах и по землевладельческому соседству в провинции, по службе в полках и правительственных учреждениях, иной раз и по родству-свойству, связи и тут имеются; общественная грань, не стираясь вполне, осложнена и затушевана. Явление сложное и момент переходный в эволюции русских общественных отношений,—одно из наглядных свидетельств наростания противоречий между сословным разграничением общества и его подлинной классовой структурой.

Противоречие это сказывается определенными и значительными чертами уже в Екатерининскую эпоху. Не даром при организации выборов в Екатерининскую комиссию 1767 г. от городов установлено правительством, после ряда колебаний, понятие „городского общества", как избирательной единицы, оказавшейся на деле крайне неопределенной и пестрой по составу. Это та среда, к которой обращался с своей издательской деятельностью Н. И. Новиков, рассчитывая на иной склад ее вкусов и интересов, чем у питомцев салонной культуры „высшего" общества. Это, действительно, та общественная почва, которая восприняла и вскормила новое культурное течение, нашедшее свое характерное воплощение в литературном направлении так называемого сентиментализма.

На Западе общий подъем буржуазных общественных слоев в движении, „освободительном" по отношению к феодально-аристократическому строю, вызвал напряженное развитие новых культурных тенденций к возрождению значения „чувства и веры" против рационализма, под знаменем свободы личности и личного самоопределения, общественной свободы — труда, собственности и политической самодеятельности, а также сильного национального самочувствия и самосознания обществен-

ной массы. В немецкой среде это брожение, пройдя через период „бури и натиска“, поднялось с особой яркостью в сфере духовной культуры, преобразуя направление, цели и формы философского, литературного и художественного творчества, и создало наиболее яркие проявления „романтизма“. Но глубокие экономические основы всего этого многосложного общественного движения осознаны с наибольшей силой в Англии — школой экономического либерализма Адама Смита, а политические выводы обобщены в трудах Бентама, давших систему либерализма и буржуазной общественности. Великая революция сокрушила здание „старого порядка“ во Франции, освободила рост производительных сил страны от устарелых пут традиционного общественного строя и доставила господство новому общественному классу. Революционный подъем Франции открыл период буржуазных революционных движений и обострил общеевропейское брожение общественных сил.

Переход от „старого порядка“ к господству буржуазии совершался во всех странах Европы, но в каждой из принимал новые формы, в зависимости от местных условий народно-хозяйственного и социального уклада, и осуществлялся с различной степенью полноты, причем возникали своеобразные комбинации общественных отношений — от полной ликвидации крупной землевладельческой аристократии до компромиссного ее приспособления и превращения в устойчивый элемент буржуазного строя, как носительницы аграрного капитализма.

По своему был пережит начальный период подъема б ных тенденций в народно-хозяйственной, обществе культурной жизни России. Вековой рост ее значения в м народном торговом обороте, определенность и устойчивость ее роли, как поставщицы сырья и полуфабрикатов для с Запада и потребительницы произведений его промышленн интенсивно продвигали Россию по путям развития торгов капитализма и приспособления всего ее хозяйства к производству на рынок. Нарождавшаяся промышленность крепла, росла в размерах с концентрацией производства и получала все больший удельный вес в русском экономическом быту первой четверти XIX века. Но ряд неустранимых объективных условий поддерживал, в то же время, жизненную силу и преобладание по значению и влиянию интересов крепостного помещичьего

имения. Крепостное хозяйство далеко еще не изжито. Оно еще на пути к новым завоеваниям, ростет количественно и развивается вширь. Южные области империи — черноземная и степная полосы и Поволжье, по среднему течению великой реки — служат сферой земледельческой и землевладельческой колонизации, усиленной эксплуатации непочатых земельных богатств в формах привычного крепостного хозяйства. Закрепощение вольных элементов местного населения и беглых на юг новоприходцев, переселение крепостных из гуще населенных местностей средней России, покупка крестьян на своз в полном ходу. Новым потребностям и исканиям, какие порождались относительной зрелостью торгового капитализма и зарождением крупной промышленности, противостояла еще крепкая устойчивость сложившихся на стародавних корнях форм хозяйственной организации и социальных отношений, еще не исчерпавших своей исторической роли. Все это создавало большую сложность исторического момента, в условиях которого выросло [illegible]коление, выделившее из себя будущих „декабристов", обилие и напряженность противоречий в той действительности, с какой им пришлось считаться при выработке своих воззрений, и на которую они стремились воздействовать в порыве к активной общественной работе.

Историко-литературный и культурно-психологический подход к изучению декабристов выясняет тип „революционера-романтика", как наиболее показательный и характерный для [illegible] поколения. Острые противоречия действительности, [illegible]до создания, все сильнее будоражили мысль и чувство [illegible]ний, активных в исходе XVIII и первой четверти XIX века, [illegible] наталкивали их на переоценку основных традиционных „цен[illegible]тей" политических и социальных, религиозных и моральных. [illegible]едники культуры „просвещенного" века, они находили [illegible] рационализме сильное орудие такой переоценки, но подходили к ней с характерным для всей этой эпохи восприятием жизни „сквозь призму чувствительного сердца" и философствующего индивидуализма „любомудров". В массе это течение создавало преобладание общественно-пассивного сентиментализма и лишь в натурах, более импульсивных, захватывало более активные волевые стремления в насыщенном „романтическим" порывом увлечении образами „республиканской добро-

детели" героев-борцов за свободу, готовых „пожертвовать собою" в этой борьбе против „тиранний" и „деспотизма", в индивидуальном „подвиге" тиранноубийства и революционного восстания; сами образы эти — тоже наследие классицизма с его увлечением античностью, усвоенной на чтении биографий Плутарха и исторических трудов Тацита. Увлечение ими воплощалось в горячих речах и поэтических излияниях на боевые и героические темы, более или менее „революционные" по содержанию; показательны для этого поколения его представители — поэты и, прежде всех, Кондратий Рылеев. И все оно, поколение это, выросло на западной литературе и поэзии, впитывая нараставшее в ней настроение восторженного и боевого протеста против опостылевших пут устарелого социального, политического и бытового уклада всей жизни, и на ее отражениях в русском литературном творчестве. А в „восторженности" этих переживаний — выкипала, сплошь и рядом, энергия порыва к подлинной борьбе и разменивалась на особый стиль литературы, фразеологии и бытовой позы, переживаемый по своему искренно, но общественно-бесплодно.

Общественное движение, отражавшееся в такой литературно-психологической „надстройке", было чрезвычайно сложно, сочетая весьма разнородные элементы и интересы: отсюда его подъемы и срывы, причудливый переплет в нем прогрессивных стремлений и революционных порывов с течениями консервативными и прямо реакционными. Сложность анализа этого движения обусловлена тем, что указанный „переплет" тенденций, кажущихся часто несовместимыми и противоположными, наблюдается не в обособленных только и враждебных друг другу общественных лагерях, но в одной и той же среде, даже в идеологии одних и тех же деятелей, и, в конечном счете, объясняется недостаточно определившейся классовой структурой общества. Французская революция создана движением городской буржуазии и подъемом массы мелкобуржуазного и рабочего населения городов, при сильной поддержке охватившего всю страну, аграрного движения. В других странах иная структура социально-экономических отношений задержала развитие буржуазной революции, и прежде всего условием такой „задержки" было сохранение руководящего значения в общественно-политической жизни за землевладельческими элемен-

тами. Россия, с ее еще крепкой базой крепостнического строя, переживала ранние стадии движения, по существу буржуазного, в особо-своеобразных условиях. Тут сравнительно слабо выявлено участие в движении подлинно-буржуазных элементов — купечества или разночинцев, а роль его авангарда, активного и идейно-сознательного, играют группы среднего дворянства, офицерства и частью чиновничества из той же среды мелкого и среднего землевладельческого класса. Охваченная патриотическим подъемом в годы Наполеоновских войн, потрясенная участием России в крупных исторических событиях общеевропейской жизни, остро переживавшая последствия экономического кризиса, каким Россия расплачивалась за свое решительное вмешательство в ход мировых событий, среда эта, в лице своих элементов, наиболее просвещенных общим образованием и знакомством с укладом западно-европейских общественных отношений и государственных порядков, отнеслась весьма вдумчиво и наблюдательно к ощущительным недостаткам русской действительности. Пусть тут нахлынувшие настроения выражались в порывах чувствительной восторженности и романтической революционности (весьма условной). Рядом с этим шла достаточно упорная работа более трезвой мысли, искавшая программных формулировок для очередных задач реальной политики и необходимых реформ государственного порядка, общественных отношений и экономического быта. Нарастало сознание определенных целей движения, искание организации сил для их достижения, выработка тактики борьбы за их осуществление. В этом значение и назначение тайных обществ.

2.

Есть не мало свидетельств о том, что крестьянский вопрос занимал центральное место в размышлениях членов союзов Спасения и Благоденствия о назревших задачах преобразования России. Вопрос о перестройке на новых основах всей системы социально-экономического строя неизбежно выдвигался на очередь по мере оживления торговой и промышленной деятельности, требования которой будили более сознательное отношение к тормазам развития производительных сил страны — крепостному праву и крепостнической организации производ-

ства. Поднимался этот вопрос в Екатерининское время — в речах депутатов комиссии о составлении проекта нового уложения, в Вольном Экономическом Обществе, в литературе и в переписке государственных деятелей; обсуждался он и в „негласном“ комитете Александра I, как проблема подъема производительности народного труда „правами свободы и собственности“. Поколение будущих „декабристов“ выросло в условиях обсуждения этого коренного вопроса русской жизни. В набросках его разрешения намечались разные тенденции. То заходила речь о развитии фермерского хозяйства на землях крупных землевладельцев, по английскому образцу; то выдвигалась задача интенсификации помещичьего хозяйства на батрацком труде; то выступала на первый план мысль о превращении крепостных в мелких землевладельцев — самостоятельных производителей. Преодоление оброчной и барщинной системы крепостного хозяйства для раскрытия новых путей аграрному капитализму, с одной стороны, а с другой — тенденция к образованию из крепостных мелкой сельской буржуазии. Эта последняя выявлялась всего слабее и в двух противоположных направлениях. Обычно, она выступает в форме, усложненной влиянием определенной политической тенденции: к усилению буржуазией государственности (в виде бюрократически организованной буржуазной монархии) с преодолением помещичьего классового господства (а, стало быть, и дворянской сословности) путем массового перевода крепостных в положение государственных крестьян. Такой путь ликвидации крепостного права не мог быть популярным даже в наиболее „передовой“ среде дворянства. Дворяне-землевладельцы чаще сетовали на учащение случаев перехода задолженных имений в состав государственных имуществ и негодовали на министерство финансов, обвиняя его в намеренной политике подрыва дворянского землевладения в пользу расширения количества казенных земель. Такой политике противопоставлена из дворянской среды мысль о создании нового сословия „свободных хлебопашцев“, которых выход из крепостной зависимости превращал не в государственных крестьян, а в класс мелких земельных собственников [1]).

[1]) Поучительную историю этого опыта изложил В. Бирюкович в „Архиве истории труда в России“, кн. 1 и 2.

Смелая мысль Пестеля по своему разрешила эту диллему тем, что делала аграрную реформу базой для республиканской (сильно централизованной) государственности.

В кругу этих проблем, поставленных на очередь самой жизнью, вращалась и мысль членов тайных „союзов“ и „обществ“, поскольку она была обращена на крестьянский вопрос. В обновленной России, о какой они мечтали, не было места крепостному праву. В основе представлений об этой будущей России стояло коренное изменение народно-хозяйственной, а стало быть, и правовой ее организации, и, в частности,—построения землевладельческого хозяйства. Сама жизнь наталкивала на соображения о такой перестройке нароставшей бездоходностью рутинного крепостного хозяйства. Урожаи скудны, обеспечивают только продовольствие и посев. Труд барщинных крестьян и на себя и на владельца слишком вялый, без „напряжения сил“, и мало производителен. Повышение требовательного надзора над крестьянами мало помогает и не дает разрешения задачи „поставить их в необходимость прилежно трудиться“. К тому же этот путь претит своим рабовладельческим характером: бесплодная и нерассчетливая жесткость сложившихся отношений образовала узел, который должен быть развязан, или в противном случае, „насильственно разорванный, он может иметь самые пагубные последствия“.

Так рассуждал не один Якушкин. Отрицание личного закрепощения распространено довольно широко среди наиболее „просвещенной“ части дворянства; среди декабристов — оно общепринято. Освобождение крестьян от крепостной зависимости мыслится как благо и для них, и для помещичьего хозяйства, поскольку оно стремится к техническому производственному подъему. Речь идет об освобождении безземельном, и крестьянская реформа, проведенная в остзейских губерниях, встречена с полным сочувствием и надеждой на ее распространение в коренных русских областях. Но она же вызвала некоторую тревогу в дворянском — помещичьем обществе: там, в Остзейском краю, реформа выгодна для подъема хозяйства в землевладельческих губерниях, поскольку „освобожденным“ крестьянам некуда уйти из его пределов и поскольку такой выход стеснен административными мерами. А в России—другое дело: подвижность населения, побеги на юг и восток в мест-

ности еще только колонизуемые, наводили на опасение, что личное и безземельное освобождение лишит землевладельцев обеспечения рабочими руками. И мысль реформаторов, искавших „спасения“ и „благоденствия“, останавливается на закреплении за крестьянами некоторой оседлости: усадьбы и выгона, пожалуй и небольшого надела—не больше 3-х десятин на тягло. Варианты [1]) и колебания отдельных рассуждений тут не важны. Основные черты одинаковы. Остальная земля остается помещику, что бы „половину обрабатывать вольными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам“: так определяет Якушкин конечную цель реформы.

В последние годы—1824 и 1825—его мысль сдвинулась по иному направлению. Он теперь рассчитывает на такой подъем собственного хозяйства крестьян (при рациональном ведении дела помещиком), который даст им возможность платить оброк, „часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались“ так, что „современем они, совершенно освободясь, будут иметь в собственность нужную им землю“. Дело в том, что целью крестьянской реформы в это время для Якушкина является освобождение крестьян с предоставлением им „достаточного количества земли“: это необходимо, чтобы избежать развития пролетариата со всеми его последствиями. Симпатии к развитию капиталистического хозяйства прорезаны представлением об его изнанке—пролетаризации трудовых масс.

Поэтому поколебалось и отрицательное отношение к общинному землепользованию. Теперь Якушкин так рассуждает: „распределение поземельной собственности между крестьянами и общинное владение ею составляют у нас основное начало, из которого со временем должно развиться все гражданское устройство нашего государства“. Социально-экономическая проблема получает определенно политическую окраску, и на допросе в следственной комиссии Якушкин говорит о том, что роковой узел крепостничества должен быть развязан правительством, хотя бы в форме выкупа крестьян у помещиков; стало быть,

[1]) Их обзор у В. И. Семевского—в сборнике „Крестьянский строй“ (изд. П. Долгорукова и С. Л. Толстого, П., 1905) и в книге „Политические и общественные идеи декабристов“ (П., 1909).

с отказом от первоначальной мысли искать разрешения крестьянского вопроса в самодеятельности помещиков, просвещенных новыми экономическими идеями, на что так рассчитывали члены тайных обществ в начале. Есть свидетельство (Завалишина), что к мысли о выкупе крестьян государством склонялось „большинство мнений", тем более, что эта операция облегчалась крупной, уже тогда, задолженностью большинства имений в кредитных учреждениях. Свидетельство это имеет за себя полную внутреннюю вероятность.

Объективные условия народно-хозяйственного состояния России перерождались в таком направлении, которое вызывало к жизни тенденции социально-экономического либерализма и создавало почву для восприимчивости к западно-европейским влияниям буржуазного строя отношений. Но их воздействие не шло достаточно глубоко в общественную массу. Недостаток денежных и технических средств для перехода к более интенсивным формам хозяйства, плохое состояние путей сообщения и трудности доступа к рынкам сбыта, относительная устойчивость привычных распорядков крепостного хозяйства и их поддержка условиями колонизиции новых окраин — все это создавало косный консерватизм дворянской помещичьей массы, которая отнюдь не готова идти за своим передовым авангардом: „дворянский либерализм тонул в крепостническом море". [1]) Даже отрицание личной зависимости крепостных встречало резкие возражения с точки зрения интересов мелких помещиков, для которых торговля людьми была существенным „подспорьем, [2]) а также интересов помещичьей колонизации в мало-заселенных областях [3]), для чего была необходима закупка людей без земли. Передовые элементы дворянства, носители буржуазного либерализма, не имели опоры в массе своего класса, равнодушие и враждебность которого ко всяким новшествам еще усилена в 20-х годах, как указал М. Н. Покровский, падением цен на хлеб, что вре-

[1]) А. Н. Шебунин, „Н. И. Тургенев" (М., 1925); Его-же „Из истории дворянских настроений 20-х годов XIX века" („Борьба классов", кн. 1).

[2]) Впрочем не только мелких: и крупные владельцы торговали обученными дворовыми мастеровыми или сдавали их в наем.

[3]) А. Н. Шебунин, „К истории борьбы по вопросу о продаже крестьян без земли" (Архив истории труда в России, кн. 6 — 7 и 8).

менно ослабило тягу к интенсификации хозяйства. Не имели они сколько-нибудь существенной опоры и в подлинно-буржуазных элементах торгово-промышленного класса, слабосильного и экономически и культурно, а тем более в народной массе: самая мысль о ее движении приводила их в ужас свежей памятью о пугачевщине.

Оставалось возлагать надежду на энергичную преобразовательную политику правительственной власти. Вопрос о программе такой политики — основной во всем „движении декабристов": от критики действий правительственной власти идут они к выработке желательной программы преобразований и к замыслу реорганизации государственного строя путем давления на эту власть или решительного переворота.

3.

Показательно, что в том своде суждений декабристов о разных сторонах русской государственной жизни, какой было поручено составить правителю дел следственной комиссии [1]), ликвидация крепостного права не заняла сколько-нибудь видного места. Отмечены только бытовые ужасы крепостничества и то, что „мелкопоместные дворяне особенно составляют язву России". А свод Боровкова довольно верно передает общую перспективу этих суждений и их разрозненность, так как они не сложились в сколько-нибудь цельную программу, продуманную и сведенную к единой основе: преобразованию социально-экономической базы всего общественного и государственного строя.

Исполнительный чиновник и не мог дать ничего иного, как перечень замечаний по отдельным вопросам, расположенных в кое-какой системе, по рубрикам, довольно случайным.

Замечания эти — не плод теоретического прожектёрства, а отклики на острые впечатления русской действительности. Члены тайных обществ изучали эту действительность, собирали сведения о разных ее сторонах, обменивались ими и обсуждали их. К вопросам правительственной политики в области финансового хозяйства и экономики страны, суда и администрации,

[1]) А. Д. Боровков и его автобиографические записки — „Русская Старина", 1898, ноябрь.

положения разных классов населения, военного дела и международных отношений, они подходили конкретно и реально, как люди, искавшие пути к активной общественной работе с сознанием ее задач и знанием ее условий.

Положение страны представлялось им критическим, а деятельность правительства имп. Александра вредной. Основное явление этого положения—экономический кризис, сказывавшийся упадком землевладельческого хозяйства, торговли и промышленности. Наиболее острую критику вызвала деятельность министерства финансов в ее отношении к экономике страны.

Углубление денежного хозяйства, когда страна все больше втягивается в товарное производство и в потребление покупных товаров и когда растут обороты как внешней, так и внутренней торговли и в абсолютном их размере, и в их относительном значении для экономического быта, требует энергичной и умелой финансовой политики для регулировки денежного обращения и нормировки условий развития торговли и промышленности. Это неизбежно—период усиления государственной власти и централизации управления, а, стало быть, правительственной ответственности за весь ход экономической жизни — в сознании широких слоев населения, захваченных новыми ее тенденциями. В первой четверти XIX века Россия переживала такой период при крайне неблагоприятных условиях. От XVIII-го века унаследованы расшатанное денежное обращение, с отсутствием свободного обмена ассигнаций на серебро, и крупные платежи по внешнему займу — голландскому займу 1773 г. А войны Павла I, войны 1805 — 1809 г.г., континентальная блокада, 1812—1813 годы в конец расшатали неокрепшее на своих корнях русское государственное хозяйство. Дефициты возросли до крайних размеров, угнетенное состояние денежного рынка выражалось в чрезвычайном падении курса ассигнаций и в общей неустойчивости всех кредитных сделок и коммерческих рассчетов. Бурные колебания международных отношений разрушали налаженность торгового обмена и обусловили ряд резких колебаний таможенной политики в последнее десятилетие Александровского царствования. Все это до нельзя усиливало недомогания русской экономической жизни в этот, типично-переходный, период ее развития. И в политике министерства финансов резко сказывалась противоположность между

преследованием казенного интереса и мерами по облегчению тяжелых условий экономического оборота страны ради подъема ее производительных сил. На эту политику и направлены удары оппозиционной критики. Углубляясь и наростая, они принимали характер осуждения излишеств государственного абсолютизма и крайнего перевеса казенных интересов над интересами „общего блага".

„Выгоды казны совершенно несогласны с выгодами народа". Это заявление Каховского выражает общую мысль — назревавшее сознание, что при данном режиме совершается „разделение трона от народа", как писал Николаю I Якубович: правительство и общество противостоят друг другу, как конкурренты в накоплении „благосостояния" и богатства.

„Недостаток капиталов" — постоянно поминается при рассуждениях о препятствиях, какие встречают на своем пути развитие промышленности и торговли, конкуррентная борьба с засильем иностранцев, интенсификация и рационализация помещичьего хозяйства. А выяснение причин этого недостатка ведет к решительной критике всей финансовой и экономической политики правительства. Затяжной период Наполеоновских войн оставил тяжелые следы в положении русских финансов и в экономической жизни страны. По общему убеждению, все другие страны Европы вышли за годы мира из угнетенного состояния к новому подъему производительных сил и финансово-экономического равновесия, а Россия оказывалась не в силах устранить „следы губительных громад Наполеона" в упадке помещичьих хозяйств и торговли, в разорении крестьянства и растройстве государственного хозяйства. Напротив, положение еще ухудшается неразумным веденим внешней политики, так как балканские дела подорвали ход южной торговли, а польская политика Александра привела к „шаткости тарифа" в смене тарифа 1810 г. — „благодетельного для российской промышленности" новым, 1816-го г., пожертвовавшим русскими интересами Пруссии, Австрии и Польше, и новым изменением системы в 1819 г., когда иностранные товары наводнили Россию. А в итоге этого „шатания тарифа" — „многие купцы обанкрутились, фабриканты в конец раззорились, а народ лишился способов к пропитанию и к оплачиванию податей".

Критическое состояние народного хозяйства только ухудшается финансовой политикой правительства. Подати должны стоять в таком отношении к общей доходности народного хозяйства, чтобы взимались они „сообразно процентам с капитала, которого не разрушают". В России не так: и размер налогов, и, особенно, неудовлетворительная система их раскладки и взимания тяжело ложатся на народную массу, беззащитную притом перед злоупотреблениями и произволом правительственных чиновников. Но больше всего нареканий вызывает практика „земских повинностей" — наряды крестьян на ремонт дорог и мостов, на перевозку казенных грузов, на работу при казенных постройках и т. п.; повинности эти „в совершенном произволе местного начальства" отбываются в страдную пору, отрывая крестьян от очередной работы в поле, распределяются неравномерно и служат поводом множества притеснений и вымогательств. А за последнее десятилетие такие требования участились, особенно по дорожной повинности, и стали вовсе разорительны. Состояние страны, еще не оправившейся от иноземного нашествия, требовало бы уменьшения податей и „улучшения всех гражданских отраслей".

Тут слышатся жалобы провинциального поместного дворянства, знакомые и по депутатским наказам Екатерининской комиссии 1767 г. Это голос помещика, который, защищая свои владельческие интересы, чувствует себя, в то же время, защитником крестьян от насилий казенной администрации. Пройдут десятилетия — и в эпоху крестьянской реформы то же понимание деревенских отношений, вскормленное веками крепостного строя, будет звучать по прежнему в суждениях поместного дворянства... Однако уже к 20-м г. XIX-го века эта общественная среда настолько втянута в разростающееся на Руси денежное хозяйство, что ему близки интересы торгового капитала. Дворянство причастно в той или иной форме к его оборотам; его связи с торговым и промышленным предпринимательством значительны и многообразны.

Декабристы близко знакомы с положением российской коммерции и полны живого к ней интереса. И опять-таки в этой области осуждение вызывает деятельность министерства финансов, которая подавляет и подрывает частную инициативу системой казенных монополий, чрезмерностью регламентации и уси-

ленным обложением частных предприятий. Характерно, с этой точки зрения, не только отсутствие отрицательного отношения к винным откупам, этому, пожалуй, наиболее хищническому виду накопления капиталов, но прямое сочувствие им и заботливое к ним отношение. Объясняется такое отношение не только тем существенным обстоятельством, что помещение сбережений в капитал того или иного откупщика было весьма распространено среди поместного дворянства, но более общей тенденцией: тягой к оживлению русской экономической жизни свободной деятельностью частного предпринимательства и сознанием, что на пути тому преградой стоит недостаток капиталов. К тому же эксплоатация винокуренных заводов и поставка им зернового хлеба были существенным источником дохода в помещичьей среде. Попытка правительства увеличить с 1814 г. откупной доход казны и усилить строгость его взыскания вызывает, поэтому, самое резкое осуждение, как приведшая ряд откупщиков к банкротству. Столь же отрицательное отношение к себе вызвал опыт преобразования винной продажи в казенную монополию: народ спаивают чиновники по долгу службы, а наживаются на такой торговле правительственные агенты, а не частные лица. То же соперничество казны с частным предпринимательством вызывает критику отношения власти к подрядчикам по казенным поставкам: затяжкой уплаты, начетами и прижимками при приемке чиновники раззоряют купцов и подрядчиков, а с ними — их кредиторов, вложивших в их дело свои средства. Помимо злоупотреблений провиантских и иных чиновников, сама бюрократическая волокита, неизбежная в делах с казною, подрывает предприимчивость и выгодность предприятий, а операции казны занимали слишком крупное место в оборотах русского внутреннего рынка, чтобы не иметь почти подавляющего влияния на него. Еще более обоснованное осуждение вызывает стремление министерства финансов повысить доходы с казенной продажи соли, чрезмерно понижающее потребление столь важного предмета первой необходимости не только в питании народной массы, но и в скотоводстве.

Своей политикой правительство подрывает благосостояние населения, тормозит накопление капиталов и развитие производительных сил страны. Даже таможенное покровительство мало

приносит пользы русской промышленности, обогащая только контрабандистов, а цены повышает, преимущественно, на предметы роскоши, чуждые русскому производству.

Дворянство не только тяготится „худым сбытом своих произведений“ и „дороговизной предметов роскоши“, но обеспокоено, в передовых своих группах, общим упадком торговли и промышленности, за который винит, прежде всего, слишком фискальный характер правительственной финансовый политики и непоследовательную, шаткую таможенную политику. Мысль отдельных его представителей, напр. А. Бестужева, работая в этом направлении, доходит до характерных обобщений на тему о слабости русской буржуазии, „класса почтенного и значительного во всех других государствах“, а у нас—ничтожного, о незначительном развитии у нас городов: эти „города существуют на карте“. Развитие русского торгово-промышленного класса стеснено правительственной регламентацией и чрезмерным обложением. Цехи и гильдии лежат на нем стеснительными путами, тем более, что министерство финансов провело значительное повышение гильдейских сборов, а новые постановления о гильдиях 1824 г. привели к массовому переходу купцов из высших гильдий в нисшие и в разряд мещан, а у мелкого мещанства вовсе отняли возможность удержаться в прежнем положении.

Вся эта критика причин „болезненного“ состояния торговли и затруднений в развитии промышленности находит, в общем, свою параллель в отзывах купеческих обществ на запрос правительства о причинах упадка торговли и купеческих капиталов. В 1823 г. сводный отзыв на этот запрос был представлен министерству финансов Московским купеческим обществом [1]). Конечно, дворянская и купеческая критика не во всем совпадают. Тут большое место занимают жалобы на конкурренцию крестьянского торга, торговли оброчных крестьян, о которой там нет речи. Не менее показательно и другое отличие: в московском купеческом „начертании“ слышен, преимуще-

[1]) „Начертание представления М. К. О. о причинах упадка торговли и купеческих капиталов в России и о средствах к направлению оных для умножения казенных сборов“, — издано В. Н. Сторожевым в „Истории Моск. Купеческого Общества“, т. II, в. I, стр. 290 — 328.

ственно, голос промышленности, а потому совсем иное находим отношение к вопросам таможенной политики: промышленники настаивают на покровительственных и запретительных пошлинах, которые охранили бы их от непосильной иностранной конкурренции, и осуждают усиленную растрату русского сырья на заграничный вывоз. Капиталистические симпатии поместного дворянства направлены более в сторону торговли и промышленности добывающей, чем купеческой фабрики. В суждениях декабристов почти не отразились интересы крупных землевладельцев — фабрикантов, в многом совпадавшие с суждениями Московского Купеческого Общества. Преобладают тенденции экономического либерализма, порождающие либерализм политический. „Прямая связь между развитием капитализма, благосостоянием народа и существованием народного представительства“ принцип, усвоенный не только Н. И. Тургеневым, но популярный вообще в среде декабристов.

4.

Из критики экономической и финансовой политики правительства выростала критика всей системы государственного управления и порядка. Эта политическая критика идет по двум направлениям. С одной стороны, протест вызывают излишества централизации, окрепшей с организацией министерств. Бюрократическая централизация, возглавляемая комитетом министров, вызывает резкое отрицание. Наиболее яркое выражение этому суждению дал Батеньков, правда—бывший под сильным влиянием Сперанского: он осуждает учреждение комитета министров, как организованное „прикрытие всех беспорядков“, осуждает безответственность министерского управления, прикрывавшегося „высочайшими соизволениями“. Но под этими формальными сторонами дела выступает определенная реальная основа: пробужденные к самодеятельности общественные силы тяготятся „разделением трона от народа“, отрывом правительственных интересов от общественных, „выгод казны“ от „выгод народа“. Голос провинциальной общественности слышится в нареканиях на то, что „все почти капиталы и все обращение оных привлечено в столицу, находящуюся в самом углу империи“, так что многие области обширной страны лишены возможности „брать

участие в обращении капиталов", а „губернии, лежащие вдали от границ и вне водяных путей к столице" оскудевают при изобилии хлеба, ненаходящего сбыта, разорены взысканием недоимок по непосильным платежам и чувствуют себя заброшенными. Подобно тому, как представители крупной промышленности, чтобы „ввести класс свой в силу", потянулись к организации своего влияния на правительственную экономическую политику учреждением „особых комитетов из самих же фабрикантов" для властного руководства развитием промышленности и „комитетов торгующего купечества" для нормировки внешней торговли [1]), в передовых группах поместного дворянства назревало более широкое представление о подчинении государственной власти организованному воздействию общественных сил — в форме народного представительства того или иного типа. Конституционные искания шли, как известно, в разных направлениях. Среди декабристов была своя „гора" и своя „жиронда", причем „жиронда" декабристская типичнее для их среды. Конституция Никиты Муравьева с ее уклоном к смягчению централизации в пользу областной жизни, к „федерализму", родственному планам преобразования всего строя империи, какое намечал сам Александр I рукой Новосильцева в „Государственной уставной грамоте" 1818 г., с высоким имущественным цензом, притом обеспечивавшим политическое влияние за массой помещичьего землевладельческого класса значительно шире, чем за представителями денежного капитала, для которых ценз вдвое выше, тут наиболее показательна. Либеральная буржуазная монархия удовлетворила бы вполне большинство декабристов и им сочувствовавших элементов русского общества. Только разочарование в первой мечте „Союза благоденствия" добиться мирным путем от императорского правительства выполнения намеченных преобразований и существенного изменения правительственной программы, толкнуло их к попытке государственного переворота и подчинило их, отчасти, влиянию более радикальных течений, возглавляемых Пестелем, с их требованием более решительной ломки всего общественного строя и создания сильной революционной диктатуры в централизованной демократической республике.

[1]) Сторожев, указ. соч., стр. 259 и 274.

Целью новой политики, какой добивались эти умеренные элементы движения, было обеспечение условий свободного развития торговли, промышленности и просвещения. Оно требует устойчивого гражданского правопорядка, и декабристы ведут речь о точном и ясном законодательстве, по образцу Наполеоновского „гражданского кодекса“, опирающегося на прочное основание „непременных постановительных законов“, о реформе всего судоустройства, о гласном и устном судопроизводстве с введением суда присяжных, адвокатуры и американской пенитенциарной системы; говорят о необходимости изменить в корень всю административную систему, чтобы упразднить бюрократизм и искоренить произвол губернаторов, распущенность и взяточничество чиновников, необеспеченных, невежественных и всеми презираемых, настаивают особенно на пересмотре всей финансовой системы.

„Верховное правительство“ раздражало не только своей деятельностью, но в не меньшей мере — бездеятельностью. Не только осуждаемое направление его политики вызвало разочарование и острую критику, но и его бессилие, при неограниченности произвола и деспотичности приемов. „Высочайшие повеления потеряли свойственную им силу и важность“; верховное управление страной разменивается на множество мелочей, идет без всякого плана, „потеряло единство“, дезорганизовано самочинными действиями отдельных ведомств и второстепенных агентов власти, превратилось в „нестройную громаду“. Падало традиционное уважение к государственной власти, устарелой по формам своей организации, терявшей определенную содержательность своих задач, но еще сильной и подавляющей грузной тягостью неокрепшие силы страны.

Государственное здание казалось расшатанным и готовым рухнуть. Декабристы толкуют о неизбежности переворота, который „может быть последствием одного только несовершенства финансовой системы“, и которого „ни предвидеть, ни остановить нельзя“. Накоплялись впечатления, отталкивавшие от „существующего порядка“, и заставляли думать, что „революция близка и неизбежна“.

Среди этих впечатлений большое место занимали состояние армии и военного дела. Офицерство преобладало в рядах членов тайных обществ. Настроение армии, положение воин-

ских частей, командного состава и солдатской массы было им близко и задевало за живое их личные и общественные интересы. Боевым войскам, по возвращении из заграничного похода, было труднее прежнего сносить уродливую „фронтоманию", с ее „солдатской вытяжкой" и „одиночным учением", мучительную для солдат, губительную для их сил и здоровья, вредную для боевой подготовки войск, но проводимую неукоснительно преемниками гатчинских традиций с Александром и его братьями во главе. Возмущали бесцельная жестокость дисциплинарных наказаний, забитость солдата, эксплоатация солдатского труда на личные потребы командного состава, — весь склад армейского быта, отравленного отношениями крепостнической деревни. Походная жизнь, высвободившая войска из казарменной кабалы, продолжительное пребывание их заграницей, впечатления от западных гражданских войск, не только французских, созданных революцией, но и прусских, обновленных реформой комплектования и воинского устава, участие в крупнейших событиях европейских осободительных войн — все это будило сознательность солдатской массы и усиливало ее ропот на тяжкие условия службы в мирное время. Частичная демобилизация выбрасывала „отставных" в постылую жизнь, осуждая их либо на нищенское скитание, либо на возврат в крепостную среду; „отставные" — и раньше являлись элементом, будившим ропот в крестьянской массе и игравшим заметную роль в волнениях крепостного крестьянства. Весь этот армейский опыт нашел отклик в офицерской среде, и ее группы, давшие основной состав тайных обществ, пытались обновить полковой быт новыми приемами воспитания и обучения солдат, сближением с ними, пробуждением их сознательности. Назревала потребность в коренной реформе воинских порядков с сокращением срока службы и изменением порядков обучения войск. А правительство откликнулось на эту потребность — учреждением военных поселений. В широких кругах дворянского общества, а также среди декабристов военные поселения вызвали отрицание и тревогу. Их рассматривали, как „военную касту с оружием в руках, не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России", а потому вдвойне опасную: либо она станет орудием в руках деспотической власти для подавления всяких стремлений к по-

литическому освобождению, либо явится она источником стихийного революционного взрыва. Упразднение военных поселений — одно из существенных требований декабристов. Они доказывали, что облегчение рекрутской повинности и удешевление содержания войск — лучше достижимы при сокращении срока службы с зачислением отбывших срок в „ландвер", т. е. в запас, что средства, расходуемые на поселения громадны и составляют капитал, на проценты с которого можно обеспечить содержание такого же количества полков. Сознают они, конечно, что реформа армии в указанном ими направлении несовместима с крепостным правом, но видят в этом лишь новое основание для отмены крепостничества.

Декабристы не даром видели в „солдатстве" Николая — „дань политике". Политика была в солдатстве и Павла и Александра. Сперанский четко выразил один из основных принципов самодержавия XIX века словами: „воинская сила есть верх и утверждение всех других сил государственных и сие не только в отношении к внешней безопасности, но и в отношении к внутренней силе правительства". Но чтобы войско подлинно служило надежной опорой власти самодержца — особенно в период общественного брожения и перелома — армия должна стоять в стороне от какой-либо общественности, безусловно и слепо послушная „своему" государю — верховному вождю. Армейская масса приводилась в состояние безгласной покорности жестокой, безпощадной дисциплиной и всей системой фронтовой муштровки, направленной к обезличению солдата, командный состав — воспитанием в армейской обособленности от гражданского общества, „фрунтомании" и преданности вождю, на которых строилась вся военная карьера. Война 1812—1813 г.г. испортила армию, по мнению Александра и его братьев: подорвала ее выправку, расшатала „гатчинскую" дисциплину, зародила в солдатской массе и, тем более, в офицерстве более сознательное отношение к своему положению. Возвращавшиеся из заграничного похода войска с трудом и ропотом входили снова в постылую обстановку казарменного быта, бесцельной жестокости обычной муштры, крепостнического духа полковых отношений. В офицеской среде вызывало ропот возвышение фронтовиков — службистов над людьми с боевыми заслугами, отстранение от

высших должностей тех, кто смел рассуждать, как Ермолов, о том, что войско служит не государю, а отечеству, и существует для того, чтобы защищать Россию, а не для парадов. Уважение и популярность становились в годы аракчеевщины обратно пропорциональны возвышению лиц и их близости ко двору. Так и в военной сфере наростало ощущение, что происходит „разделение трона от народа". К тому же все острее сознавалась тягость рекрутчины и содержания огромной армии, как опоры европейского влияния России, подавляющего движение Запада к свободной жизни; возмущали непроизводительные затраты на флот, пришедший в полный упадок, запущенность всего военного хозяйства.

Настроения эти доходили до большой остроты в связи с отрицательным отношением к внешней политике Александра.

Декабристы пристально всматривались в ход западно-европейских событий, осмысляя на чужом опыте значительность своих стремлений и требований. Они сознавали себя в потоке национальных и либеральных стремлений Запада. А эти стремления связаны неразрывно с определенными течениями экономической жизни и политики, с исканием обеспечения развитию производительных сил каждой данной страны. Подавление этого развития чужеземной властью, экономической и финансовой эксплоатацией для чужих интересов — выковывало национальные движения, поднявшиеся против Наполеоновского господства в Европе. Задачей становилось — добиться национальной независимости, избавиться от внешнего бессилия, высвободится для политики, соответствующей собственным интересам и нуждам данной страны; отсюда и стремление к национальному объединению стран, политически раздробленных, в поисках более широких рамок для хозяйственного развития и независимости, обеспеченной своей национальной государственной организацией. Завершением национальной освободительной борьбы представлялось освобождение народных сил от пережитков „старого порядка" — феодальных основ и политического строя абсолютных монархий.

Национальные движения оказывались формой буржуазной революционности. На русской почве отражением тех же общих условий было сплетение либерализма с национализмом в движении декабристов.

Критика всей внутренней политики правительства, подавлявшего своим властвованием самодеятельность общественных сил, особенно его финансовой системы и экономической политики, тормозивших рост еще неокрепшего русского капитализма, переходила в обостренную критику его внешней политики из за принесения русских интересов в жертву тем или иным комбинациям международных отношений. Помимо общей тяжелой стоимости для страны затяжного участия в европейской борьбе, напряженные годы войн подрывали русскую торговлю, срывали и без того слабое равновесие бюджета, создали полный распад денежного обращения. Годы мира — с 1814-го слишком медленно залечивали раны, нанесенные войной народному хозяйству России, а ее зависимость от общеевропейской политики стала только еще сложнее в эпоху конгрессов. Эта зависимость переживалась в патриотически настроенных общественных кругах, как национальное унижение и осуждалась, как жертва народными интересами чуждым России целям. Особенно волновали два вопроса: польский и греко-турецкий. Польская политика Александра отнюдь не была популярной. Она принесла России новые напряжения внешних отношений, усложняла ее положение на Западе; она обусловила резкие колебания таможенной политики, пробив брешь в устойчивой покровительственной системе в пользу прусской торговли и транзитной и ввозной: наводнение русского рынка иностранными товарами подорвало „способы к обращению русской промышленности". В землевладельческой среде возмущали толки о намерении Александра отделить от империи в пользу царства Польского литовские и западно-русские области: известие об этих планах вызвали впервые в тайном обществе речи о необходимости цареубийства. Самое дарование Польше конституции хотя и обнадеживало — ввиду речи Александра при открытии первого варшавского сейма — перспективой конституционного преобразования, однако раздражало предпочтением поляков — русским, как бы еще не дозревшим для опыта политической свободы. Отказ от Польши, как части империи, ради укрепления национального единства России, решительно сформулированный Пестелем, не встретил бы возражений в широких кругах дворянского, да и купеческого общества, настроенных националистически.

„Балканские дела привели в упадок русскую торговлю и скорое приведение в порядок греческих дел необходимо для процветания южной торговли". Это заявление Поджио вскрывает связь греческих симпатий, столь популярных и в русском и в западно-европейском обществе, как симпатий к национально-освободительному движению, с местными русскими интересами. Южная торговля только начинает входить в силу; 1817—1822 г. время одесского порто-франко, несомненно, ее оживило; для хлебородных областей юга открывался лучший доступ к путям международного обмена и сбыта. „Греческие дела": закрытие Турцией проливов, упадок русского влияния на Балканах, подчинение ближне-восточной политики России давлению венского кабинета—реакционной „системе Меттерниха"—воспринимались как прямое предательство „императором Европы" русских национальных интересов.

Во всех этих суждениях члены тайных обществ не расходились по существу с консервативнейшими элементами дворянского общества. Но их критика разрасталась в протест против роли русского правительства, как орудия общеевропейской реакции. Для служения этой реакции, для подавления освободительных движений на Западе (так рассуждали в их кругах) Россия обременена содержанием чрезмерной войнской силы и связана в преследовании своих интересов. С расстроенными и надорванными средствами страна, перераставшая в подъеме своих производительных сил устарелые формы социально-политической организации, подавлена и задержана в назревшей перестройке силами организованной государственной власти. Так, можно сказать, воспринималась в оппозиционных кругах русская действительность последних лет правления Александра I. Требования этой среды, разрозненные в отзывах по отдельным вопросам, слагались в общую схему новой политики — экономической, социальной и государственной, для осуществления которой была-бы необходима реорганизация на иных началах всего политического строя.

5.

Однако, совокупность этих требований не выходит по существу за пределы достижимого на путях эволюции дворянской монархии в монархию буржуазную в соответствие с во-

влечением дворянской землевладельческой среды в интересы производства на рынок, торговли и промышленности. Расчет тайных обществ на сочувствие и поддержку в правящей среде был основан на согласии их стремлений во многих существенных пунктах с мнениями Сперанского, Мордвинова и других, даже Киселева. Казалось, им на встречу шли и проекты государственного преобразования, с которыми еще в 1818 – 1819 году носился сам имп. Александр. Надежды на то, что общественное движение, окрепшее в организации тайных обществ, найдет поддержку со стороны правительственной власти, оказались ошибочными, но не были, по началу, наивным заблуждением. Не основные программные противоречия, а тактика действий привела к решительному разрыву. Ведь даже в последний момент попытки вооруженного выступления в Северном обществе преобладало стремление использовать смуту по вопросу о престолонаследии не для революционного удара, а для давления на власть внушительной демонстрацией, которая вынудит ее на уступки.

Трагический конфликт был обусловлен резким поворотом правительственной политики после 1820 года в сторону подавления всяких самочинных проявлений русской общественности и водворения в управлении Россией начал „священного союза“ и общеевропейской реакции. Разделение „трона“ и „народа“ получило яркое воплощение в аракчеевщине, военных поселениях, цензурном терроре над печатью и просвещением. Недовольным оставалось либо смириться, утешаясь жалобами на пренебрежение дворянством, разорение купечества и крестьянства, строгость в военном управлении и т. д., и т. д., либо идти на борьбу с властью, поставив задачей — государственный переворот. Борьба в данных условиях могла итти прежде всего за главную „силу правительства“ — армию. Военные восстания в Испании, Неаполе, Пьемонте, излечившие Александра от утопических мечтаний о согласовании самодержавной власти с конституционными формами управления, давали членам тайных обществ пример „возможности и удобности“ производить революции. И в России почва казалась подготовленной для такой „удобности“. Восстание в Семеновском полку, волнения в солдатской среде других гвардейских полков и в южной армии, оппозиционное настроение командного состава — казалось откры-

вали широкие возможности армейского „пронунциаменто“ по испано-итальянскому примеру: революции без участия народных масс, под руководством командного состава армии, хотя среди руководителей и не оказалось крупных армейских авторитетов, чье влияние охватывало бы не отдельные роты или полки, а широкие военные круги. Эти надежды и настроения привели к взрыву. Но подготовлен он был более радикальным течением, которое зародилось и окрепло не в столичных центрах, а на юге, воплощалось в деятельности Пестеля с одной стороны, а с другой в агитации союза „соединенных славян“. Тут планы и требования были иные, отходившие значительно дальше от того понимания очередных задач реальной политики, какое господствовало в декабристской среде буржуазно настроенного дворянства на Севере. На Юге умеренному и цензовому либерализму противостояло революционно-демократическое стремление к радикальной ломке социальных отношений и политического строя. Пестель смелой мыслью вскрывал более глубокие слои в европейском революционном движении. Он признал, что „главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными“; выход он видел в устранении этих „аристократий“ как капитала, так и феодального землевладения, которые „суть главная препона государственному благоденствию и при том могут быть устранены одним республиканским образованием государства“. А общество „Соединенных Славян“ расширяло задачи русской революции до размеров общеславянского движения к образованию обширной федерации славянских народов на широкой демократической основе. В критический момент эти южные тенденции, которые М. Н. Покровский определяет как мелкобуржуазные, внесли струю революционного порыва в северное декабристское движение и своим влиянием подогрели падавшее на севере настроение до попытки не то восстания, не то вооруженной демонстрации, так трагически разыгравшейся 14 декабря 1825 года на Петровской площади — ныне площади Декабристов.

А. Пресняков.

Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов.

В дни происшествия в Семеновском полку одним из самых важных вопросов для петербургской и общеимперской власти было добиться полной локализации происшествия в пределах оказавшего неповиновение полка. Для этого прежде всего надо было суметь получить своевременные и точные сведения о том, что думают и говорят в солдатских частях столицы, чтобы иметь возможность быстро принять меры к предупреждению и к пресечению всякого возможного беспорядка, как только донесения обнаружат, что он задуман или подготовляется, или хотя бы только откроют в солдатской среде недовольство и ропот. Эти меры могли быть и были различными, однако, их подговить и провести можно было, только хорошо зная настроения солдатских масс. Прежде всего власть — и военную и статскую, и местную и общеимперскую — интересовали, конечно, гвардейские полки, как более простых полков ненадежные и по составу и по старой привиллегированности положения и более их эффектные и в роли твердых защитников порядка и в виде его смелых нарушителей.

Так как в распоряжении собственно военной власти не оказалось к началу работы по собиранию сведений о настроении солдат потребного для сего аппарата, пришлось, может быть, в большей степени, чем непосредственные интересы военной власти это позволяли, обратиться к содействию гражданской власти, т.-е. к услугам санкт-петербургской столичной полиции. Таким образом, перед полицией Петербурга встала очень большая и ответственная задача, от успешного выполнения которой в очень значительной степени зависел успех локализации происшествия в Семеновском полку. И понятное дело, что петербургской полиции в выполнении этой задачи особенное внимание пришлось обратить на гвардейские полки столицы

Каково же было настроение солдат корпуса гвардии в момент „происшествия“ в семеновском полку?

Те немногие известия, которыми мы располагаем, рисуют нам совершенно определенную картину полноты солдатского сочувствия „бунтовщикам“. И когда налаживались военные операции против них, начальство оказывалось перед явным, иногда трудно преоборимым, нежеланием солдат других полков идти сражаться с семеновцами. Так, боевой и очень популярный среди солдат генерал наполеоновских войн энергичный Бистром лишь с большим трудом сумел заставить выступить против семеновцев своих егерей, — этот „наиболее надежный из всех пехотных полков“ гвардейского корпуса: они все „колебались и выражали полное нежелание идти против товарищей“. А когда, наконец, уступая своему командиру, эти егеря „пришли первые“ на место предполагаемых действий, они, видимо тотчас по приходе, „дали знать семеновцам, что... в них стрелять не будут“.

При таком настроении и поведении самого надежного полка какими надо полагать их у остальных полков, менее, чем он, надежных? И повидимому, полки гвардии чувствовали и вели себя в эти дни все приблизительно одинаково. Ген. И. В. Васильчиков писал о них кн. Волконскому многозначительные слова: „Не нужно себя обманывать: войска исполняли свои обязанности, но в них не было чувств негодования, заставляющих идти драться с товарищами“. Но им пришлось в сущности только „идти драться с товарищами“, а не „драться“ с ними... Что было-бы, ежели-бы пришлось последнее? Ответ на этот вопрос дает Бенкендорф словами письма к Волконскому: „Более чем вероятно, что если бы настоящая катастрофа потребовала вмешательства вооруженной силы, то сия последняя отказалась бы повиноваться, так как большая часть полков уже давно разделяла неблагоприятное мнение семеновцев о полковнике Шварце“. Очевидно-ведь кажется, что здесь умному и проницательному Бенкендорфу, будущему шефу жандармов и начальнику III отделения, совершенно можно верить — полки, ежели бы им пришлось „драться с товарищами“, „отказались бы повиноваться“. Мы, повидимому, имели бы тогда пассивное начало военной революции. Были ли способны эти полки приступить к ее активному началу? Повидимому, петербург-

ская военная и гражданская власть этого очень боялась. Конечно, отзвуки ее настроений звучат в письме Бутурлина, который полагал, что, если-бы кто-нибудь из офицеров встал во время „происшествия“ во главе солдат и предложил им взяться за оружие, „все пошло бы к чорту“. И, повидимому, таковым было настроение всех полков гвардейского корпуса, расположенных в столице. Так, по словам Васильчикова, хотя и все командиры полков „надеялись“ на своих солдат, все-же „решительно отвечали“ из них „только Орлов и Бистром“. А по другим, дошедшим до государя сведениям, только эти двое вообще отвечали за свои полки. Преображенцы „громко роптали“, горько оплакивали судьбу своих „братьев по оружию“ и в их гибели видели начало своей. Державшие караул в крепости, куда вели семеновцев, лейб-гренадеры, не стесняясь обстоятельствами, „кричали“: „Сегодня очередь Шварца, не худо было бы, если бы завтра настала очередь Стюрлера“. А московцы, встречая семеновцев на их печальном пути в крепость, с ними „целовались“ и „прощаясь, изъявляли им сожаление“. Так по крайней мере говорили в Петербурге и писали государю. И такие вести о московцах почему-то до того взволновали государя, что он запрашивал о них Васильчикова. Тот отрицал их правильность, но признал, что „сожаление изъявляют во всех полках“.

Но, как видно, наиболее ненадежны были пехотные полки. Рассудительный Бутурлин, продумывая настроение гвардейских полков, пришел к некоторым общим очень интересным выводам. Он отмечал двойную разницу в национальном составе полков гвардии и ею объяснял различие их поведения. По его словам, во первых, пехотные полки „целиком составлены из настоящих русских“, т.-е. великороссов, а конные в большей части из малороссов: В результате — мало связей меж конными и пешими полками. Во вторых, во главе пехотных полков стоят сплошь немцы, а во главе кавалерийских — русские, первые в обстоятельствах момента не могут пользоваться в достаточной мере доверием своих подчиненных, вторые не могут вызвать против себя подозрений своих солдат. Построение Бутурлина, конечно, очень схематично, но доля истины и, может быть, значительная в нем есть: не надо забывать, что „происшествие“ случилось в пехотном полку, что во главе его стоял немец и

что пехотные полки, повидимому, действительно оказали героям и жертвам происшествия гораздо более внимания, чем конные. Любопытно, что из пехотных даже егеря вели себя предосудительно; за то конный полк Орлова показал верх лойяльности и приверженности к власти [1]). При всем том, когда происшествие окончилось благополучным для власти образом, и военное и гражданское начальство стало расценивать положение, как более устойчивое, Васильчиков с некоторым пренебрежением говорил о „городских сплетнях", которые „заставили... обратить внимание на гренадерский полк", и намекал на легковерие ген.-губ. Милорадовича, который, впрочем, наконец и „сам... убедился" в том, что „все эти известия фальшивы". Действительно, следуя, видимо, указаниям своей полиции, Милорадович под благовидным предлогом сам ездил к лейб-гренадерам проверить „все эти известия". И Закревский спокойно и точно констатировал отсутствие связей у семеновцев с другими полками: „сей случай, кажется, не имеет никакой связи с другими полками". А министр вн. дел Кочубей, опираясь на свой—правда, довольно слабый—аппарат политического наблюдения, доносил государю, что в полках все спокойно, и только кое-где идет легкий ропот солдат на суровость наказаний, большую требовательность по службе или „лишнюю службу". Но при всем том сочувствие солдат семеновцам, сожаление к ним, ожидание, что государь простит свой любимый полк — живут в солдатской среде [2]). Чем надо объяснять этот упадок в настроении солдат? Вероятно, решительностью действий власти.

Но уже ближайшие дни принесли осложнение солдатских настроений.

В первые смутные дни сам петербургский военный генерал-губернатор гр. Милорадович, этот импозантный и эффектный

[1]) „Былое", 1907, I, стр. 25 и 30; „Рус. Арх.", 1875, II, стр. 129 — 30, 140, 424; Шильдер „Имп. Александр I", IV, 535 etc.; „Щук. Сборник", I.

[2]) Васильчиков подмечал у солдат гвардии—правда, не у всех—негодование на семеновцев. Но трудно верить его успокаивающим заявлениям. См. „Былое", 1907, I, стр. 33; „Рус. Арх.", 1875, II, 424 и 427; „Сб. Рус. Ист. Об-ва", т. 73, стр. 109; Н. К. Шильдер, „Имп. Александр I", IV, стр. 541—542. И. Ф. Рыбаков, „Тайная полиция в Семеновские дни", „Былое", 1925, № 2, стр. 69—75.

генерал и популярный и шумливый „герой" двенадцатого года, не отказывает в своем непосредственном участии в деле обнаружения подлинных настроений солдатства. Он получил какие-то тревожные сведения о лейб-гренадерском полку и, чтобы их проверить, хочет сам „узнать настоящее положение и всю истину от самих людей". И самолично едет в казармы [1]). Но, конечно, таким путем непосредственного общения главного начальника столицы с ее солдатскими массами невозможно держать их всех под контролем: на такой путь можно стать лишь изредка и при наличии особенных обстоятельств. Но постоянным, нормальным такой путь не может быть. И, конечно, в эти дни выступает и работает рядовая полиция Милорадовича. Она должна охватить своим надзором обширное солдатское поле и поймать на нем и медленно текущие и быстро исчезающие толки.

Полиция Милорадовича, действительно, стремится охватить своим вниманием толки во всех уголках солдатского мира гвардейских полков столицы. Она умело проводит своих агентов во всякое место, где слышится вольная солдатская речь, и отовсюду собирает в свой ежедневный букет солдатского недовольства очередные цветы этих вольных речей. Эти наблюдения полиции, повидимому, сводились в канцелярии обер-полицеймейстера и оттуда в форме особых „записок" доставлялись главе политического надзора в армии—дежурному генералу Главного Штаба, а, быть может, и командиру Гвардейского Корпуса. В эти годы дежурным генералом был осторожный и внимательный к делу, умный и настойчивый в работе Арс. Андр. Закревский, сделавший впоследствии неровную, но очень большую карьеру, и очень прочно связавший свое имя и свою деятельность с самыми упорными в отстаивании умиравшего крепостнического порядка людьми, а тогда — молодой генерал, очень близкий к кружку фрондирующих генералов, где яркой звездою блистал „проконсул Грузии", герой наполеоновских и кавказских войн и настоящий госу-

[1]) Дело началось, повидимому, с заявления по начальству командира полка, что он не отвечает за своих солдат. Ср. Шильдер, IV, стр. 535. Документы см. в деле Военно-Ученого Архива, из бумаг Закревского, под названием: „Разные сведения, полученые от полиции". 1820 и 1821 г.

дарственный человек — А. П. Ермолов. Со своей обычною аккуратной деловитостью Закревский сохранил донесения петербургской полиции, как и позднейшие донесения специальных военных агентов. Благодаря им, мы узнаем настроение солдат нескольких военных частей столицы. Первая полицейская записка, входящая в состав „дела“ Закревского, охватывает 23 и 24 октября 1820 г. и в сущности распадается на две самостоятельных записки — по этим октябрьским дням.

„Записка“ от 23 октября охватывает только „вторую часть“ города. Присмотримся, где поставила своих агентов полицейская власть. Прежде всего—это „дом Цвета“. Записка говорит о нем, как о чем-то всем хорошо известном и не требующем никаких пояснений. Между прочим она отмечает: „из дому Цвета вчерашнего числа проживающие в оном посещаемы были солдатами Измайловского, Егерского, Московского и Учебного Карабинерного полков. Разговор общий всех почти в одном содержании“... В дальнейшем выясняется, что „дом Цвета“ обитаем „гостеприимными женщинами“; в их лице или вокруг них и налажена агентура. „Женщина“ фигурирует и в сведениях с берега Фонтанки недалеко от Калинкина моста: там двое рядовых „шедши“ разговаривали с „женщиной“... Опять таки—она сама донесла об этом разговоре или его подслушал и по начальству донес полицейский агент? Такой же вопрос встает о разговорах, которые вели солдаты на перевозе через Фонтанку — неясно, между собой или с посторонними, и агент был собеседником или только подслушивал...

Большая часть солдатских речей записки связана так или иначе с семеновскою историей. Так солдаты лейб-гренадерского полка, которые проходили берегом Фонтанки у Калинкина моста, говорили, „женщине“, что, „ежели государь по приезде в С. П-бург не простит семеновских, тогда все гвардейские полки положат ружья и будут просить, чтобы их сослали туда, где и семеновской полк“. „Также разговаривали, что к ним в казармы приезжал Павловского полка командир Бистром и еще с прочими начальниками, уговаривали их, ежели государь будет спрашивать о Шварце, чтобы они сказали, что он добрый и хороший у них был начальник, но они все вообще отвечали, что сего сказать не могут, а скажут, что он у них был тиран“. Так толковали солдаты полка, который очень беспокоил и

Васильчикова и Милорадовича. От их между собою на его счет беседы сохранилось в „деле“ в копии письмо Милорадовича к Васильчикову. В нем, между прочим, Милорадович писал, что он „под видом осмотра нового строения“, „так как содержание казармы от городу назначается“, поедет в казармы лейб-гренадеров, о которых есть у него „по полиции невыгодные на счет расположения умов сведения“, чтобы „узнать настоящее положение и всю истину от самих людей“ и, проверив таким образом свои сведения, сообщить все „для дальнейшего, уже законного действия“ Васильчикову [1]). Солдаты Измайловского полка, „переезжая на перевозе чрез Фонтанку“, „разговаривали, что Преображенского полка в преображенских казармах все уже солдаты выходят из повиновения и бунтуют против начальства“. Слова измайловцев о преображенцах по своему существу весьма значительны, ибо были сказаны про „первый полк российский“, которому „вся российская армия должна повиноваться“ [2]).

Те же измайловцы, а с ними егеря, московцы и карабинеры делали и естественный вывод из положения вещей: они „в доме Цвета“ высказывали надежду, что „с прибытием государя... Семеновский полк будет возвращен и причина поступка их будет беспристрастно обследована; в противном же случае будут смотреть на действие Преображенского полка и все единодушно к оному приклонятся“. Так вырисовывалась невеселая для власти и ее полиции перспектива равнения четырех полков по старшему, о котором в той же готовой по нему равняться солдатской среде говорили, как об уже выходящем из повиновения и поднимающем против начальства бунт! Правда, солдаты отлагают это равнение до приезда в Петербург государя и его решения на месте судьбы семеновцев, но в принципе они вопрос о равнении уже разрешили, а приезд и решение государя в эти октябрьские дни казались солдатам такими близкими... В „доме Цвета“ это настроение солдатской решимости и солидарности, повидимому, поддерживалось текущими происшествиями солдатской жизни разных полков,—так было, конечно, и в других „домах“ и везде, где встречались солдаты разных

[1]) Указанное дело Военно-Ученого Архива, л. I

[2]) В. И. Семевский, „Волнение в Семеновском полку в 1820 г.“, „Былое“, 1907, II, стр. 83.

частей. Из этих мест встречи там узнанные и обсужденные факты растекались по частям, солдаты которых там встретились, и через новые места встреч катились быстрыми ручьями слухи далее. Из таких фактов в „доме Цвета“ на этот раз большое впечатление произвел рассказ солдата лейб-гвардии Конного полка. Сущность его по записке сводится к следующему: „На днях истекшей недели рядовой лейб-гвардии Конного полка был наказан эскадронным командиром, который потом, явясь в Главный Штаб Его Имп. Вел., приносил жалобу. Оттуда отправлен обратно к командиру того полка, коим якобы добавлено сему рядовому двести розог, что привело протчих в негодование“. Такие происшествия в полках были, конечно, с точки зрения власти, совсем не ко времени, ибо „приводили... в негодование“ солдат. Повидимому, так смотрела и полиция. По крайней мере ее агент или автор записки сделал вид, что не совсем верит этому рассказу солдата,—осторожною вставкою недоверчивого „яко-бы“. Было ясно, что такие и подобные факты должны были, хотя бы на время, исчезнуть из обихода и мыслей солдат.

И записка следующего дня показывает, что они начали исчезать. Эта записка охватывает сведенными в ней наблюдениями больший район, чем первая: не только, как та, вторую, но и четвертую, Рождественскую, Петербургскую и Нарвскую части. Приемы наблюдения в ней частью те же, что вскрываются первою запиской; но есть и новости в этих приемах. По второй части сведения идут из „домов седельника Цвета и купца Низовцева“. „Домы сии вчерашний вечер были посещены рядовыми полков: Московского, Егерского, Измайловского и Преображенского“. В „доме Цвета“ повстречались два измайловца и преображенец; „обнялись сии трое“. Измайловцы спросили преображенца: „Что у вас?“. Тот отвечал: „Хорошо, а будет лучше: Императрица М. Ф. вступилась, послала семеновцам 4 т.“. „К сему разговору подошли другие, и потом сделался общий, с восхищением: „семеновцы возвратятся!“ и тем кончился“. В „доме Низовцева“ тоже толковали о четырехтысячной поддержке старой государыней семеновцев, „добавляя, якобы бывший командир Потемкин также послал столько же“. По четвертой части не было „слышно“ „толков никаких“ ни „на перевозе чрез Фонтанку“, ни в Гвардейском Экипаже.

Зато некоторый материал—и очень показательный—был собран в Гвардейском Саперном Батальоне. Там командир полковник Геруа 23 октября в 7 ч. вечера, как точно фиксирует записка, отдал приказ, „чтоб начальники рот, наказывая солдат, не могли дать более 10-ти лозанов,—и то, чтоб вина была значительная; в противном случае доносить ему лично". Не в прямой ли связи с этим распоряжением Геруа стоит дальнейшее известие о гвардейских саперах: „Батальона сего нижние чины не одобривают ныне поступка солдат Семеновского полка и при том говорят, что им лучше бы было подать в обиде прошение, нежели употреблять насилие"? „Не одобривают ныне" — значит, ранее, до умной меры Геруа „одобривали"? Значит, она повернула настроение солдат?

Это место записки об умных мерах Геруа нельзя не счесть очень значительным. Но его значительность еще более возрастет, ежели принять во внимание, что Геруа, вообще говоря, вовсе не был любим своими саперами. Так, почти месяц спустя после его рассказанных мероприятий, Закревский писал о нем Волконскому: „В саперном батальоне люди, действительно, жалеют о Сазонове и не терпят Геруа: они называют первого отцом, а последнего собакою" [1]). И Геруа сумел преобороть, по крайней мере на время, такое твердое и для себя неблагоприятное настроение своих сапер... Сведения по рождественской части захватывают всего один четвертый квартал. Осведомитель — сам начальник части, как можно догадываться — 23-го октября „в 4 часа был... в торговой бане возле воскресенского моста, где парились преображенские и кирасиры", и слушал солдатские разговоры про отправку семеновцев в Кронштадт на судах. Интереснее для него оказались дальнейшие речи преображенцев: „Преображенцы еще тихо говорили", доносит он, „что нас теперь казаки караулят, а того не знают, что теперь Павловской, Гренадерской и Гвардейской Егерской полки колеблются". При этих тихих речах преображенцы „с кирасирами взяли рука с рукою и сказали между собою: „Но и кирасиры не уступят, — только подождать одного времени!" Сознание солдатского единства, видимо, росло и захва-

) „Сб. Рус. Ист. Об-ва", т. 73, стр. 118. Волконский уже имел об этом какие-то сведения в начале ноября; см. там-же, стр. 24.

тывало все новые части. Вместе с ним росла и опасность для власти. Начальник Нарвской части принял все меры, чтобы собрать сведения о толках своего района „на известный предмет", но совершенно не имел успеха. Он доносил, что „квартальные надзиратели командированы... были по известному предмету, которые в течение трех суток имели на сие тщательное внимание, прислушивались к разговорам, где в подвальные работают, в мелочных лавках, идущих из бань и около казарм, но разговоров на известный предмет между ими никаких не слыхали".

Что же касается до Петербургской части, то ее глава доносил прежде всего о самих семеновцах. Сообщал, что в крепости они „содержатся в пище хорошо, каковую привозят им ежедневно из полку", но „их мало выпускают из казематт. До вчерашнего дня ходили к ним жены и всякого рода разносчики"; но вчера их „не видно было... из чего заключить должно, что их не впускают". От всего этого „толков и разговоров никаких", по его наблюдению, не было „слышно". Далее он сообщает обстоятельство, обратившее на себя особенное внимание полицейского надзора и, видимо, воспринятое им с некоторою обидой: „Между прочим вчерашнего числа комендант Сукин сам ездил по всем караулам и постам и отдавал лично на ухо каждому караульному приказание, но какое именно, неизвестно". „За всем тем" глава части командировал квартального надзирателя Малышевского в торговую баню „для разведывания духа солдат", опасного лейб-гвардии Гренадерского полка. Малышевский донес ему, что „ничего не узнал особенного, как только, что некоторые солдаты говорили, что 2-го баталиона командир полковник Завадской должен будет выттн в отставку после происшедшего от его баталиона ему неослушания". В сознании солдат, очевидно, не только стало возможно без всякого наказания оказывать непослушание начальству, но и начальство, которому непослушание оказано, должно уйти со своего поста... Какой сдвиг с привычного мышления дооктябрьских дней!..

Как видно из этих пересказа и выдержек второй записки, она, действительно, не только охватывает больше частей города, чем ее предшественница, но и основывается на большем чем та, разнообразии приемов розыска. Дома „гостеприимных

женщин" — но уже два, а не один, — бани, перевоз, поденные работы, мелочные лавки, места возле бань и казарм и, наконец, самые казармы, и даже Петропавловская крепость охвачены полицейским надзором. Надзор протекает, повидимому, под ближайшим руководством начальника полицейской части и осуществляется, видимо, главным образом, через квартальных надзирателей. Но, надо думать, ниже их стоят свои агенты: ведь, вероятно, и не везде квартальному надзирателю, как лицу, населению более или менее известному, можно было в целях выведывания появиться. Но об этом в нашей записке нет никаких упоминаний, — даже намеком. Еще одно небольшое попутное замечание. В сонме путей политического розыска „гостеприимные женщины" оказались, видимо, одним из очень надежных и прочных путей. Их значение было в этом смысле высоко оценено и руководителями и агентами политического розыска. Высоко ставил его, сколько можем судить, и сам вдохновитель розыска — государь: в своем письме к Васильчикову от 7 ноября Волконский передает адресату его приказ: „открыть имена солдат болтунов" и, как путь открытия, указывает: „может быть, через девок" [1]). В устах государя эта высокая оценка „гостеприимных женщин" с точки зрения интересов политического розыска имеет тем большее значение, что он, как можно судить по переписке Волконского с Васильчиковым, сначала подозревал, а потом считал их орудием в руках „злых подстрекателей" и „неблагонамеренных людей", „которые действуют на дух солдат" и „всеми средствами" „стараются развращать их нравственно, заставляя их пить и предаваться другим распутствам" потому, что „люди безнравственные всегда легче дают себя увлечь". И Александр решительно требовал, чтобы Васильчиков „положил... предел" „распутству унтер-офицеров и солдат гвардии" „с девками", „тем более, что давно не было подобных распутств", а позже — и несмотря на признание специфической ценности „девок" с точки зрения нужд и интересов политического розыска — даже предложил ему „совместно с генерал-губернатором, принять некоторые меры, чтобы пресечь" их „последовательно и мало по малу" из своей среды [2]). Может, поэтому, пожалуй покажется странным, что

[1]) „Рус. Арх.", 1875, I, стр. 355, II, стр. 17 и 19.
[2]) „Рус. Ст.", 1875, II, 53.

государь недооценивал обратной политической роли солдатского домовладения, с которым он тоже (во имя буквы закона и беспрекословной, пассивной дисциплины) предписывал вести борьбу Васильчикову. И еще любопытнее, что Васильчиков понимал эту политическую роль солдатской собственности и очень убедительно писал об ней Волконскому: „не считал нужным запрещать солдату иметь свою собственность в том городе, где он квартирует потому, что во всяком случае скорее можно рассчитывать на человека, имеющего оную, чем на того, кто ничем не дорожит“ [1]).

Надо принять во внимание, что тревожные для власти речи о солдатском единстве записывались в те самые дни, как в казармы Преображенского полка была подкинута известная прокламация — к преображенцам от имени посаженных в крепость и ожидающих расправы семеновцев [2]). Прокламация носит определенный характер призыва к восстанию и программы переворота. Восстание должно быть начато преображенцами, ибо они „первый полк Российский“ и „вся Российская армия должна повиноваться“ им. Переворот направлен против царя и дворян. „Взамен государя должны заступить место законы“ и „законоуправитель“. „Законоуправитель“ — президент; его „определяют“ на должность. Он совсем не „самовластитель“, но порядок его ограничения намечен очень своеобразно через „избранных от войска депутатов“, что-то вроде совета военных депутатов, а так как по одновременно вводимому порядку весь командный состав делается выборным из рядовых, — в сущности „совета солдатских депутатов“. Об участии представителей других групп населения в этом „совете“ прямо ничего не сказано. О народе лишь вообще отмечено, что „он должен управляться через посредство начальников“, выбор которых „следует основать на беспристрастных законах“. На октябрь же падает другая прокламация, тоже призывающая к восстанию и перевороту, но требующая под угрозою „ужасной революции“ немедленного восстания и диктующая лишь основные, первоначальные формы переворота „без пролития

[1]) „Рус. Арх.“, 1875, II, стр. 448.

[2]) Прокламации см. „Былое“, 1907, II, стр. 83–86, 92–93 и С. Я. Штрайх „Брожение в армии при Александре I“, П., 1922, стр. 40–42.

крови": арест всех военных начальников с заменою их выборными „из своего брата солдата" и возвращение „командированных" полков. Вскоре был найден второй экземпляр большой прокламации у унтер-офицера Преображенского полка.

Прокламации и речи о солдатском единстве, о возможности всесолдатского восстания под водительством преображенцев, падают на одно и то же время и должны были тревожить и без того боявшуюся новой беды, оставленную государем, петербургскую военную и статскую власть... Это становится особенно ясным, ежели принять во внимание, что среди нижних чинов шли толки и слухи о по крайней мере, большой, — прокламации, а власти не была совсем чужда мысль, что прокламации вышли из солдатской среды.

Определенно противодворянский характер обеих прокламаций и их такие-же определенные, чисто солдатские, вожделения на предмет переустройства командного состава и организации общегосударственной власти, действительно, заставляют искать автора или авторов прокламаций в солдатской среде. Мы знаем, что в тогдашнем рядовом солдатстве бывали грамотные и даже образованные люди. Знаем, что эти солдатские слои рекрутировались главным образом из семинаристов и дворовых, что „они, как и все, читали журналы, газеты и проч.". Знаем, что они были в курсе вопросов русской и заграничной жизни. И вместе с тем можем догадываться, что эти выходцы из семинарий и барской дворни были в солдатской среде не только более других солдат грамотными и развитыми людьми, но и более других восприимчивыми к могучим воздействиям жизни, к офицерскому слову и служебной несправедливости.

Как слагалась эта солдатская интеллигенция от духовной школы и барских утех? Что касается старой духовной школы, то она, повидимому, как и позже, в избытке обладала удивительным свойством давать крепостной стране самых упорных и энергичных противников ее политического и социального уклада. Это объясняется ее программою и бытом. В самом деле, ведь никогда не надо забывать, что в духовной школе той поры было поставлено изучение философских предметов и что каково

бы ни было оффициальное направление в их преподавании, их прохождение будило всякую сложную и деятельную мысль и раскрывало для нее необозримые горизонты работы. Было естественным стремление сильной мысли ученика преодолеть оффициальную философскую догму и стать на пути философской и через то религиозной, политической и социальной критики. И, во всяком случае, преодоление философской учебы закаляло молодые умы, делало их способными ко всякой трудной работе. И вместе с тем, как закалялась мысль, закалялась и воля. Дело в том, что быт духовной школы в своеобразной амальгаме удивительным образом сочетал элементы бурной, почти казацкой, вольности с правилами строжайшей, почти монашеской, дисциплины. Воля, не сломленная этим бытом, становилась столь же твердою и непреодолимой, как и мысль, выдержавшая оффициальную догму и не подчинившаяся ей. Конечно, таких непобедимых было немного числом, но качеством мысли и воли они стояли высоко. Такие питомцы духовной школы, отбившись от своей среды и ее занятий, попадали в военную службу и там естественно становились представителями высокой культуры. Движение политической и социальной мысли Запада разными путями легко оказывалось в среде их постоянного и деятельного внимания. Своеобразную подготовку к усвоению мыслей Запада давала многим из них собственная политическая традиция; она в ряде мест связывала духовенство — особенно нисшее городское и сельское, а через выдвиженцев из их среды и верхушки белого городского духовенства — с крепостной крестьянской массой и ставила в ряды ее идеологов и богомольцев. Такая традиция особенно прочно держалась в Поволожье и пышно расцвела в пугачевские дни. И было естественным, что эти, зараженные вольностью философской мысли и правил товарищества, скованные дисциплиной и руководимые традицией выходцы из духовной школы примыкали к течениям политического раскрепощения. Такие оазисы давала солдатству духовная школа. Барский двор давал ему свою интеллигенцию, отдельные представители которой высоко поднимались в своем культурном развитии. Мы знаем, что к этому времени уже сложилась количественно довольно значительная, а качественно иногда очень сильная интеллигенция барских усадеб и

особняков [1]) Можно подметить на барском дворе два типа крепостного интеллигента: интеллигента-техника и интеллигента-артиста. Отдельные представители обеих групп были на европейский лад образованные люди, иногда учившиеся за границей, большие мастера своего дела или своего искусства. Барский каприз выкидывал таких иногда серых, иногда очень высоко квалифицированных интеллигентов на военную службу. Верхушки этой крепостной интеллигенции также впитывали движение западной политической и социальной мысли, как питомцы духовной школы, и, как они, естественно тяготели к течениям политического раскрепощения. Надо ли говорить, что и те и другие необходимым условием этого раскрепощения считали раскрепощение социальное — освобождение крестьян? Крепостные интеллигенты второго разряда, которым была недоступна или неинтересна политическая и социальная мысль Запада, на деле оказывались такими же проводниками его освободительных идей, как верхушка крепостной интеллигенции и питомцы духовной школы, потому что так же, как они, испытали на себе и болезненно пережили грубое господство крепостного уклада [2]). И конечно, всякая проповедь социального раскрепощения в солдатской среде, в своей основной массе крепостной по происхождению и связям, была обеспечена ревностными слушателями. Вероятно, наиболее ревностных слушателей давал антипод крепостной интеллигенции — рядовая дворовая масса. Она, конечно, вообще говоря, поставляла довольно большое количество рекрут — в порядке и экономического расчета и капризного гнева барина. Надо думать, что в большинстве своем, то был наиболее озлобленный господскою властью элемент деревни. В самом деле, ведь это парии русского крепостничества, обреченные, не вкушая, служить у стола обильных и изысканных телесных и духовных яств своих господ, не пользуясь—организовывать и хранить богатство их жизни и роскошь убранства их домов и, служа им, прозябать в бедности и униженности,

[1]) Некоторые справки о ней дает П. Н. Сакулин: „Крепостная интеллигенция“ в III т. сб. „Великая реформа“, стр. 66 и др. Вопрос заслуживал бы специальных архивных разысканий по районам страны, ее культурным очагам и сферам их притяжения.

[2]) Ссылаюсь на В. И. Семевского: „Волнение в Семеновском полку в 1820 г.“, „Былое“, 1907, I, 2 3.

тяжелой работе и духовной тьме. И те из них, кто не уступал ласковой речи и улыбке господ или не склонялся пред их суровою бранью, ударами барской руки и расправой конюшни, ожесточались и становились непреклонными в своем противобарском настроении. Такие элементы, выброшенные волею барина в армию, становились в ней, как можно догадываться, самым непримиримым элементом брожения. Не надо забывать, что обе интеллигентские группы почти всегда, а рядовые дворовые часто, попадали в армию в результате ломавших их жизнь событий и что для крепостной интеллигенции и рядовой дворовой массы таким событием обычно бывал капризный гнев барина. Поэтому противокрепостническое и противодворянское настроение верхов и дворовых низов солдатства было совершенно естественно даже с точки зрения личных биографий их незаметных и неизвестных представителей. Так можно осмыслять известные рачи Каразина о солдате-семинаристе и дворовом...

Полагаю, что в этой среде питомцев духовной школы и крепостных интеллигентов и надо искать автора или авторов октябрьских прокламаций, и что надо оставить мысль отыскать их автора в среде офицеров — активных членов Союза Благоденствия.

Но это разумеется никоим образом не означает, чтобы совершенно отсутствовала связь между деятельностью Союза и составлением прокламаций. Я полагаю только, что прокламации вышли не из офицерского политического общества, а из солдатской среды. Что же касается этой солдатской среды, то она в некоторых своих частях, конечно, была под определенным политическим воздействием офицерства. Нам сейчас очень трудно судить о размерах, путях и формах этого офицерского воздействия на солдатскую среду. Но невозможно отрицать его наличие. Не надо, однако, думать, что оно могло быть и было только, так сказать, активным. Наоборот, часто солдаты, особенно, повидимому, деньщики и канцелярские служащие, оказывались под, так сказать, пассивным политическим воздействием своих офицеров. Это пассивное воздействие никак нельзя недооценивать: сила его была в постоянстве, — по крайней мере, в длительности. И на солдат, конечно, определенным политическим образом действовала не только политическая беседа с ними, но и политическая беседа или полити-

ческое чтение при них. Разумеется, политические беседы, которые офицеры при солдатах и на понятном для них языке вели между собою, вероятно, никогда не касались политического действия самих говоривших, но эти беседы, как и чтение при солдатах политических сочинений или известий, вводили в солдатскую среду знакомство с политическими фактами и идеями Запада и России. В этом смысле октябрьские прокламации могли быть связаны с офицерскими тайными политическими обществами, то есть решение их издать и мысли, в них вложенные, могли получить толчок от бесед с офицерами или у них подслушанных разговоров и чтений. И действительно, легко предположить, что рассказы, беседы и чтение офицеров привели их слушавших или подслушивавших солдат к мысли обратиться к товарищам с призывом устроить военный переворот, как, по словам, газетам и журналам офицеров, это уже не раз было на западе. Мысли в этот призыв были вложены свои, солдатские, но в терминологии, пожалуй, звучат литературные влияния с офицерского верха...

Но и не следует в то же время думать, что вне офицерства у солдат не было путей и средств для знакомства с политическими фактами и идеями современности и недавнего прошлого. Начать хотя бы с самостоятельного чтения газет, журналов и т. д., которое, конечно, далеко не всем солдатам было доступно, но которое вводило читавших солдат в самую гущу событий и идей политического порядка у нас и на Западе [1]). И конечно, эти читавшие солдаты становились огромным рупором, через который потоками лилась в ряды серой солдатской массы политическая грамотность. Гораздо более широкое политическое воздействие солдатские массы испытали во время войн последнего времени, с их пленом, заграничными походами и оккупационными стоянками в чужой земле среди иных, чем дома, населения, хозяйства, политических и социальных отношений, материальной и духовной культуры... Эти воздействия заграницы на русских солдат были, вероятно, очень значительны. К сожалению, они совершенно не изучены [2]). Значительными

[1]) „Рус. Арх." 1875, II, стр. 430. Ср. цитир. показания Каразина, „Былое", 1907, I, стр. 3.

[2]) См. опыт сводки известий у Семевского, „Былое", 1907, I, стр. 2—3, и у Штрайха, стр. 8—9.

должны были бы быть и те воздействия, которые русские солдаты испытали от пленных врагов. И затем, как известно, во время войны 1812 г. с особою резкостью в ряде мест вставал крестьянский вопрос. Мы знаем, что местами он был связан с французской агитацией. Солдатская молодежь 1820 г. должна была испытать и помнить чаяния и движения крестьянства той поры. Да и вообще действующая Великая армия и ее оккупационные отряды, входя в боевое соприкосновение с русскими солдатами и хозяйственно-административное с русским населением, должна была оказывать на них некоторое политическое воздействие. Наконец, война 1812 и последующих годов, создавшая колоссальный сдвиг внутри страны, громадные армии и сложный тыловой аппарат победы, и бросившая на поля битв и операций в стране и за ее пределами против гениального вождя и первоклассных войск сотни тысяч человек, оказала, конечно, на солдатские массы приблизительно такое же воздействие, как и на офицерство. Если это последнее очень сильно выросло за время войны 1812—15 г.г., то и солдатство испытало в эти годы ряд политически развивающих воздействий и вышло из полосы войн политически очень обогащенным. И рядом с этим надо, конечно, поставить те воздействия, которые солдатство испытывало от могучего политического и, главным образом, социального брожения, которое с издавна шло в общественных низах страны и особенно обострилось в эпоху после Отечественной войны. Так, разными путями и средствами при активном и пассивном воздействии офицерства и помимо него русское солдатство приобщалось к фактам и идеям политического и социального порядка в разных смыслах этих слов.

К сожалению, мы можем здесь намечать лишь очень общие вехи. И мы пока еще не в состоянии рисовать политическое credo и даже вообще степень умственного и—шире—духовного развития солдат императорской армии этих лет. Но все-таки одно представляется несомненным, что в числе солдат были люди недовольные политическим и, главным образом, социальным укладом русской жизни и, если далеко не всегда — правильнее, очень редко—политически развитые, то уже тронутые интересом к политическому сюжету — конечно, чаще еще к политическому событию, чем к политической мысли. Однако, этот интерес к политическому событию, порожденный полити-

ческим и социальным недовольством, неудержимо влек за собою и интерес к политической мысли. Это, конечно, никак не значит, что рядовой солдат начинал изучать политические трактаты современности или недавнего—революционного—прошлого; это не значит даже и того, что он стал заботливо выбирать в газетах или—особенно—в журналах всякое изложение чужой политической теории. Это значит только то, что он стал настойчиво думать на темы того политического, социального и военного тупика, в который пришла страна, пришла вместе с нею и его социальная группа, пришла вместе с ними и русская победоносная армия. И солдатская мысль начинала работать с большею силой. Но, конечно, нельзя сказать, чтобы она проявила в этом направлении теоретическую осведомленность и практическую изобретательность высокой марки. За то своеобразие русских порядков дало солдатской мысли особое направление. Ведь, что касается способа политического действия, то русский солдат имел перед собою большие образцы политического действия в военных переворотах Запада. И конечно, можно думать, что эти перевороты Запада порою стояли перед русским солдатом, как близкий и осуществимый образец. Но Запад, при всем своем большом революционном опыте, при большом числе увенчанных успехами военных переворотов, не давал приемлемого для него ответа на вопрос — что делать на другой день после переворота, как строить общегосударственную и военную власть? Конечно, те солдатские группы, которые были готовы строиться в политике так же, как во фронте, т.-е. по команде и указанию своих офицеров, могли удовлетворяться ответами западного опыта. Но те, кто видел в офицере не только жестокого командира типа Шварца, каких или близких к каким становилось все больше и больше, а и помещика-крепостника, кто не отделял его служебной деятельности от его экономической и политической сущности—хозяина крепостной вотчины, не могли хотеть передать управление делами в государстве и войне в руки лиц, против которых в конце концов и устраивалась революция. И приходилось поэтому искать такие формы политического устройства страны и армии, которые наиболее закрепили бы собою с точки зрения солдата, достигнутый революцией успех. Солдат-крестьянин или близкий деревне выходец из

духовной школы естественно обращался мыслью к обычному порядку родной деревни, сохранившей под крепостным барином и его органами хозяйства и управления, органы своего деревенского самоуправления. И было совершенно естественно попытаться, применяясь к ним, строить новое, революционное, управление воинской частью и всей страной. Такая попытка и была сделана в октябрьских прокламациях. Конечно, в них она носит следы некоторой европеизации — в частности, главным образом, терминологической—но существо ее остается глубоко крестьянским. Надо думать, что план устроения власти—такой откровенно солдатский—всего скорее не случайно таков: в сознании авторов прокламаций солдаты были единственной организованной силой социальных низов и при том такой, которая при революции, проходящей по программе прокламаций, не теряет, а, наоборот даже усиливает свою организованность — с переходом военных должностей в руки солдатских избранников. Кто в самом деле, кроме солдатства, мог бы похвалиться своею способностью сохранить организованность в момент и на другой день переворота? Трудно было бы рассчитывать на такую способность широких крестьянских масс: их организации, глубоко уходящие своими корнями в прошлое, уже давно действовали под тяжелой ферулой барской или чиновничьей власти и после ее устранения оказывались-бы вне привычных форм действия, недостаточно сильными и черезчур загруженными местною работой по окончательному раскрепощению крестьянства и прочному овладению помещичьим хозяйством и помещичьей землей... Строить на них, при общей и политической темноте крестьянства, общегосударственную власть было решительно невозможно... При всем этом солдатство могло считать себя тесно и прочно связанным с крестьянством происхождением и хозяйственными интересами основной своей массы. Надо думать, что эта спаянность солдатства с крестьянством и обусловила собою, в глазах автора большой прокламации, возможность представить перед „законоуправителем“ крестьянские интересы через выбранных от войска делегатов, — т.-е. в конечном счете через избранников солдат.

Призывы октябрьских прокламаций к революции посредством военного, точнее солдатского, переворота были, конечно,

очень страшны для власти. В обстановке этих призывов особенно страшными должны были казаться разговоры в солдатской среде об едином солдатском фронте под водительством солдат Преображенского полка. И еще более страшными должны были показаться угрозы революцией, ежели пострадают семеновцы, — угрозы, которые падают на те же первые дни после происшествия в Семеновском полку. Так, солдат лейб-гвардии Егерьского полка Гущеваров толковал, похваляясь гвардейскою силою: „семеновцам за поступок их ничего не будет, да и быть не может, чтобы за одного, им несносного человека, варвара Шварца, променяли целый полк: за них вступится великий князь цесаревич и дело их решит, а коли не вступится, то вся гвардия взбунтуется и сделает революцию. Ведь здесь не Гишпания: там бунтуют мужики и простолюдины, их можно унять, а здесь взбунтуется вся гвардия — не Гишпании чета, все подымет“ [1]). Это был очень определенный устный комментарий егеря к октбярьским прокламациям, обращенным от семеновцев, но кем составленных — неизвестно, к преображенцам. И не надо забывать, что егеря „самый надежный“ из пехотных гвардейских полков...

От тех же дней — от 28 октября — идет донесение пристава Литейной части. Его содержание скромно сравнительно с записками от 23 и 24 октября, прокламациями и речами Гущеварова, но и в нем есть любопытные частности. Пристав литейной части с чувствуемой поспешностью сообщает в этом донесении, что по поступившим к нему того-же 28 окт. донесениям „в гвардейских артиллерийских казармах у солдат был следующий разговор: „Слава богу, что сего числа Семеновский полк возвращается, и никто более возмущению его не виноват, как только полковой командир за тиранское обращение“. „А на дворе преображенских казарм оного полка 3 гренадерской роты рядовой Макар Козьмин Сергеев говорил, что хорошо Семеновский полк сделал; но государь истребить его не может без сената; бранил притом Шварца тираном“.

В один и тот же день в двух воинских частях одного и того же полицейского района — Шварца одинаково зовут тираном. В одной скрытно, а в другой совершенно явно одобряют пове-

[1]) „Былое“, 1907, II, стр. 94.

дение семеновцев: в одной верят в их возвращение, а в другой предаются неожиданным, чуть-ли не конституционным иллюзиям о правах сената. Это маленькое замечание о речах преображенца очень значительно. Мы видели, как преображенцы в дни „происшествия“ „громко роптали“ на власть и „горько оплакивали“ семеновцев, как они чутьем сумели понять в их беде начало своей собственной погибели. И мы видели, как с своей стороны власть учитывала эти настроения преображенцев и ставила караулить их казаков, и как — под казачьим ли караулом или еще до него — у преображенцев начинает складываться выводом из прежних настроений и политических предчувствий сознание необходимости совместных действий полков гвардии. И мы видели, как с другой стороны настроения преображенцев учитывались солдатами гвардейских — да, видимо, и не одних гвардейских полков; мы видим, что по ним хотят строить линию своего политического поведения другие полки гвардии и, шире, — армии. Но, кажется, в преображенской среде боевое революционное настроение лишь складывалось, а не сложилось; рядом с ним чувствуется другое — совершенно неожиданное, — настроение конституционных иллюзий. Кто и как их посеял в преображенской среде? И почему не сложилось и не оформилось в ней боевое революционное настроение, всплески которого видны в ранних донесениях и на которое в солдатском миру Петербурга возлагалось столько надежд? Может быть, его смягчила послаблениями или сломила репрессиями власть? Во всяком, случае в дальнейшем мы видим в их полку и репрессии и послабления, и более не чувствуем на нем и вокруг него солдатских надежд и взоров...

В конце октября, видимо, вообще заканчивалась полоса почти боевых настроений в полках гвардейского корпуса и близких с ними полках столицы. Не даром уже 11 ноября Васильчиков, у которого, правда, мы не раз ловили нотки и фразы успокаивающего государя оптимизма, очень определенно говорит о том, что „солдаты более сдержаны в своих речах, когда находятся в городе“. Можно, конечно, и здесь заподозрить оптимизм генерала, но невозможно не считаться с тем, что он в конкретных указаниях не мог предаваться оптимистическим иллюзиям и ими окутывать государя, — а здесь как

раз мы такое, очень конкретное, указание имеем [1]), и у государя и его начальника штаба, конечно, всегда была полная возможность его проверить по донесениям дежурного генерала, военного генерал-губернатора и самого министра внутренних дел, не считая частной и получастной информации внимательных наблюдателей и заинтересованных лиц. А через неделю тот-же Васильчиков отмечает, как благополучно прошло у него чтение в полках раскассировавшего Семеновский полк приказа. С наибольшим удовлетворением он отмечает отношение Преображенского полка, хотя и признает, что во втором и третьем батальоне солдаты „после" его „отъезда позволили себе несколько рассуждений частных, касающихся только... личности" самого генерала. Так рисуется в его пересказе выродившимся — недавно складывавшееся в боевое и решительное — настроение „первого полка Российского", которому „вся русская армия должна повиноваться" — преображенцев: от почти боевого настроения до „рассуждений" по адресу командира гвардейского корпуса... Кочубей 26 ноября тоже отмечает большие перемены в положении вещей и настроении солдат и даже считает возможным отсрочить возвращение государя [2]). Вот отчего, вероятно, мы в деле Закревского для ноября почти не встречаем полицейских записок о настроении солдат: полоса твердых и продуманных мероприятий власти, увенчанная приказом от 2 ноября, почти совершенно рассеяла сгущенную атмосферу солдатского недовольства и сняла и поломала ее отдельные сгустки, — и в итоге полицейским агентам, повидимому, стало нечего ловить в солдатских беседах. Нельзя думать, чтобы этих донесений не было совершенно: конечно, они продолжали поступать и давали власти конкретные указания на бесследно глухого брожения; но в этом брожении за ноябрь и в ноябрьских об нем донесениях агентов почти ничего нет, чтобы по решительности чувства и выражения, а тем паче по своему политическому смыслу, могло стать вровень с октябрьскими речами солдат.

[1]) Конкретность его в том, что Васильчиков говорит не о настроении солдат, а о солдатских „речах", к тому же говоренных вне казарм, в „городе". „Русск. Арх.", 1875, II, стр. 433.

[2]) Н. К. Шильдер, IV, стр. 543.

Оживление обозначилось лишь в самом конце ноября. В деле Закревского сохранились о нем лишь мелкие намеки и разрозненные кусочки. Но 3-го декабря Васильчиков уже жаловался на это оживление Волконскому: „Вы должны знать, что как только-что здесь получено было известие о скором приезде Уварова, толки о помиловании Семеновского полка возобновились; даже уверяли, что государь прислал этого генерала, чтобы собрать самые точные сведения и что даже формировка Семеновского полка отложена. Эти слухи, поддерживаемые некоторыми генералами, были приняты солдатами, — и вот почему Вы увидите в полицейских отметках, что идут речи между этими последними о просьбе помиловать полк по приезде государя, на первом же разводе. Все успокоится", добавлял генерал, „как только новый полк будет сформирован: они увидят ясно, что дело кончено; но я все-таки не оставлю без внимания все эти толки и постараюсь воспрепятствовать распространению подобных мнений" [1]). Так рисовал дело Васильчиков. Возможно, что он был прав в определении его исходных точек: в дальнейшем мы увидим примеры и пути быстрого перехода служебных и политических новостей из генеральских квартир и кабинетов в солдатскую массу столицы, и их быстрое же и умелое политическое использование солдатами. Но быстрый успех в солдатской среде генеральского понимания приезда Уварова показывает, что в ней за время видимого затишья шла какая-то незримая для нас жизнь придавленных ударами и притушенных уступками власти настроений.

Уже ближайший документ передает несколько любопытных разговоров и толков, которые осведомитель собирал между 27 ноября и 6 декабря. Так „в Преображенском полку в батальонах у Таврического сада рядовые... говорят: неизвестно, за что одного фельдфебеля 5 роты взяли и без вести, где он"... Между собою думают, яко-бы он говорил что-то о Семеновском полку, то за оное и взят". Или 5 декабря осведомитель „слышал... от конных полков", что „здесь войска нетерпеливо ожидают прибытия императора; говорят: „нам при нем гораздо лучше, а без него много начальников, всякий

[1]) „Рус. Арх.", 1875, II, стр. 136—137. Ср. „Сб. Рус. Ист. Об-ва", т. 73, стр. 124.

по своему мудрит, а при государе, когда он, батюшка, здесь, то он обо всем сам знает и ученья сам назначает". Как видно, и за эти дни внимательный осведомитель не уловил в солдатской среде тех беспокойных и опасных речей, которые еще так недавно в ней постоянно слышались.

Несовсем ясная запись того же документа передает толки новгородских военнопоселенцев. 6 декабря осведомитель на Сенной площади слышал толки „мужиков" Новгородской губернии, приехавших в столицу с рыбою. Они „судили между собою такими словами: „у нас в деревнях не даром говорили, что Семеновский полк сбесился; да ведь нам сказывали ракчеевцы: они якобы мужикам говорили, что их из Петербурга и послали для того, чтобы и ракчеевцы не взбесились также, как семеновские; говорят, их будут всех скрозь строю гонять, семеновских". Очевидно, семеновское происшествие живо обсуждалось в военных поселениях. „Ракчеевцы" считали себя — и к этому, конечно, имели все основания — прямыми кандидатами „взбеситься"; действительно, жестокий и все человеческое поправший в военно-поселенце режим упорного в достижении своих целей и безжалостного в выборе путей к их осуществлению Аракчеева создавал, как это вскоре и оказалось, необыкновенно благоприятные условия к тому, чтобы несчастные, загнанные дисциплиною и службой, замученные введенным в систему надругательством военно-поселенцы, наконец, „взбесились". И „ракчеевцы" передают, что и семеновцев-де выслали из Петербурга из боязни, как бы они, „ракчеевцы", по их примеру не „взбесились". И определяют ставшее для „ракчеевца" привычным наказание „всех сквозь строй гонять" как такое, которого семеновцам никак не избежать.

В Николин день в 9 ч. вечера осведомитель сидел в семёновской казарме у капенармуса 2 роты Николая Михайлова Зудина. Рассказы самого Зудина не представили для него особого интереса; за то он обратил очень большое внимание на речи отставного унтер-офицера Конона Остафьева. Собственно и К. Остафьев не сказал чего нибудь необычного. То были слова сожаления о семеновцах, особенно старой службы, которых уже следовало бы „отставить" и которые „теперь сызнова заслуживать должны". Очень жалел он семеновцев, что они „на марше" плохо защищены от холода теплою казенною оде-

ждою: уж очень низка она была качеством. Сам Остафьев — старый семеновец; он „выслужил лета,... не захотел офицерского чина и отставлен тем же чином“; он „не имеет никакого рукомесла,... поживает и кормится около баб“, жен семеновских солдат, читая им письма и давая им советы и указания. В тех разговорах Остафьева с „бабами“, отрывки которых осведомитель приводит, с большою силою проглядывает уважение „баб“ к Остафьеву и его на них сильное влияние. Остафьев так сроднился со своею семеновскою средою и положением советчика семеновских „баб“, что хоть и жалуется на трудность быть „без места“, но мало принимает решительных мер к его получению. Правда, он подал все-таки прошение в таможню на должность надсмотрщика, „да и туда нога не тянет“. Через несколько дней, 10-го декабря, осведомитель пошел к нему в этом отношении на помощь: „рекомендовал ему управительскую должность“. Тот отказался, сказав в пояснение отказа весьма характерные слова, что „эта тревога его удерживает“. „Эта тревога“ — конечно, „семеновская история“. В этот день он вел небольшой политический разговор. Толкуя, что государь уже приехал в „Павловское“, он „с усмешкою произносил слова“, что когда „государь непременно в крепости будет спрашивать“ его „друзей,— то они разве все прокричат, что чувствуют?!“ Почуяв добычу, осводомитель расспрашивал Остафьева, где он живет, но тот, „замешавшись“ сказал только, что „недалеко“. Надо думать, что этому старому семеновскому солдату, любившему свой полк и влиятельному среди солдат и их жен, показалась с самого начала подозрительной любознательность его нового и случайного знакомца.

Судя же по записке от 17 декабря, надо полагать, что к 17 декабря Остафьев был уже взят.

Записи 8, 10, 17 и пр. 23 декабря касаются „вольного кучера“ Василия Никитина Зайцева, „который ныне еще во служении у дворового хозяина в Большой Морской в доме Жебахерах“. В квартире мещанки Матрены Игнатьевой (ее фамилия осведомителю осталась неизвестна) он „пересказывал на счет Семеновского полка солдат, что они не хотят идти из крепости, просят знамена свои и полк собрали бы на Царицын луг“. На вопрос осводомителя „почему это знает“ он отвечал, что „слышал, как последние бумаги читали Финляндского полка 2-ой роты

у фельдфебеля Федора Прокофьева", который говорил, что „часто там бывает и все знает, как и офицеры говорят: „наш император Александр боится ехать сюда семеновских!", рассказывал, что „они" т. е. семеновцы, „две просьбы присылали к его величеству, ... на вторую будто бы вышла резолюция вынести им знамена и показать, а начальники сего не исполняют; а 3-ю последнюю просьбу подали вдовствующей императрице и оную просьбу поправлял Горного Корпуса секретарь Зуев, в которой помещена вся оных служба и верность к Отечеству, и они перед знаменами на том же месте надевают траур, мужицкие кафтаны, и чтобы имени не было Семеновского полка, — или по прежнему останутся. На третью просьбу еще резолюции не получили, но ожидают скоро". К этому Зайцев „добавил", что „при прочтении бумаги корпусным командиром г. Васильчиковым... оного полка солдаты кричали и делали грубости, и он не мог найти виновного", а в заключение рассказал, что „в то время носили книгу, чтобы подписывались на щет Семеновского полка, что он уничтожается; то финляндские подписались: они без семеновских служить не хотят".

А 9 декабря Зайцев у той же Матрены Игнатьевой говаривал более тревожные вещи. Рассказав, что он „нередко бывает в крепости у семеновских солдат" и собирается „сего числа сходить к оным", он передавал, что они „хотят сызнова присягать на верность", но с тем, чтобы их избавили от „тирана" Шварца, заместо которого „они сами выбрали финляндского полка полковника Подобедова, потому он с оными служил юнкером и он честный полковник". Говорил, что они „с таковыми начальниками, как Подобедов, и умереть хотят". Как будто и без революции и даже в крепости, а не на свободе, семеновские солдаты, — правда, в укороченном виде — начинают проводить в жизнь одно из положений октябрьских прокламаций... Повидимому, осведомитель расспрашивал Зайцева о том, как он проникает в крепость и как они в крепости живут, потому, что осведомитель именно об этом ему рассказывал: „к ним пущают нас, мы несколько дней тому назад были (а с кем, не объявил), съестное и вино приносили завсегда; у них чайник с огня не сходит, даже в ночи по крепости ходят и дрова воруют, а бежать не хотят". Сам ли Зайцев оказался слишком болтливым или очень умело расспрашивал его осведомитель, только далее

в записке мы читаем про семеновцев, что они „пишут и на словах приказывают товарищам, гвардейским солдатам, чтобы не начинали до тех пор заступаться, когда окончат оных участь". Осведомитель искусно продолжал разговор замечанием: „они виноваты, — может быть и накажут виновных". Зайцев подался на коварные слова и стал говорить: „нельзя оных наказывать, да и кто будет? гвардия вся на их стороне, то в то время гвардия согласна и заступиться за несчастных"... После этих рисующих общие всей гвардии настроения речей, Зайцев „пересказывал" конкретный пример: „был" он „6-го числа сего месяца у солдат экипажа гвардейского, и солдаты ему сказывали, что генерал Карцов оным говорил: „Ребята, семеновские вернутся! государь только постращал оных," но экипажные солдаты говорили: „хорошо государь одумался, есть ли возвратит; а есть ли решит, то они не прочь от других, будут заступаться за семеновских". Очевидно, октябрьские настроения еще не совсем умерли или вновь ожили в петербургском солдатстве. А крепостное сидение семеновцев облекается красивою легендою...

В записи от 17 декабря осведомитель сообщает, что „сыскал" — по всей видимости, он исполнял задание свыше — Зайцева, и рассказывает про маленькую провокацию, которую, сыскав Зайцева, ему незамедлительно устроил. Он так повел с Зайцевым разговор, что тот „обещал сходить в Финляндский полк к его знакомым и напоследок в крепость к семеновским"; для верности осведомитель „послал, будто-бы" своим „знакомым солдатам полтину серебром" и уговорился с Зайцевым, что тот на другой день, т.-е. 18 декабря, придет к нему вечером, в 6 ч., „с приятелем", повидимому для беседы о посещении финляндских и семеновских солдат. Для характеристики организации самого розыска любопытно отметить широкое использование женских знакомств: Зайцев „сыскан у его любовницы", адрес которой так и сообщен для точности и будущего случая: „в 3-й адмиралтейской части в Малой Подъяческой, в доме г. Гольмена, № 211, у дворника", за то ее фамилия осталась „неизвестной"; после виделись в Валидо́вом доме у солдатки Матрены Игнатьевой". „Солдатка Матрена Игнатьева", конечно, одно лицо с одноименной „мещанкой" предыдущих документов („Валидов дом", конечно одно с „Московской части Аладовым

домом". Подозрения осведомителя возбудили дальнейшие женские знакомства Зайцева, раскрывшиеся в его беседе с приятельницей Матреной Игнатьевой; эту беседу ничего не подозревавший Зайцев спокойно вел при внимательно слушавшем их речи осведомителе. Из пересказа этих речей последним можно понять, что племянница Матрены Игнатьевой какая-то Аннушка „жила в горничных у ... барина" едва ли не в одно время с тем, как у него служил Зайцев. „Барина" этого обокрали, и потом куда то сбежали „двое мужчин, кучер и лакей". После этой кражи Аннушка „вместе" с Зайцевым „отправилась на остров в 17 линию, в дом Датского консула". Что они там с Зайцевым делали, из документа неясно. Сам Зайцев ко времени беседы уже дал показания по делу об этой краже у „барина". Зайцев „пересказывал, как его допрашивали"; оказалось при этом пересказе, что он „не господский, а государственный крестьянин", и что „не Зайцев, а Заикин его фамилия". Собеседники были озабочены „сыскать" Аннушку; повидимому, ей было тоже надо давать по этому делу показания.

В дальнейшем Зайцева-Заикина касается недатированная записка прибл. 23 декабря. Он „пересказывал, что семеновских из крепости отправляют по 10-ти человек с большим конвоем и оные солдаты одеты в толстые шинели и красные воротники"; он, Заикин, „дал на дорогу оным сорок копеек и оный не знает, куда отправляются". Но в этой записке нет ни слова о тех визитах, которые Зайцев обещался нанесть финляндцам и семеновцам; повидимому, о них уже рассказал осведомителю и тот рассказанное уже передал по начальству; только запись рассказов о визитах в этом деле до нас не дошла. Между тем осведомитель начинал с Зайцевым новое дело. Он „предложил" Зайцеву „на счет песни"; тот сказал: „можно ее списать в Финляндском полку". И тотчас — „в секунду сделал оборот, что из журнала можно выписать, куда и сколько рядовых, в который полк выписанных в армию". Дело касалось, вероятно, семеновцев — нижних чинов. Однако осведомителю эти имена и цифры были ни к чему. Он, видимо, с досадою, повторил ему: „говоришь не то!" но „в ответ" было Зайцевым „сказано", что „он не знает более ничего". „Из сего заметно", заключает осведомитель, „что весьма остерегается го-

ворить Заикин, что знает". И так, Зайцев неожиданно стал осторожничать; показалось ему подозрительной навязчивая любознательность собеседника, который сумел его „сыскать" и усердно зазывал к себе, да еще „с приятелем", или его манеры и тон начали обнаруживать его внутреннюю охранную сущность, — но Зайцев стал осторожен. Трудно поэтому сказать, действительным или лишь дипломатическим было его обещание „вечером с кем-то петь" у собеседника, — тем более, что в записке имя Зайцева-Заикина здесь упомянуто в последний раз.

Последняя из записок, говорящих о Зайцеве-Заикине, содержит любопытный, возвращающий нас к октябрьским записям, материал. Солдат Измайловского полка 3 роты Василий Андреев толковал, накануне дня составления записки, во 2-ой Подъяческой улице близ дома Сорокина, что солдаты его полка „надеются к Новому Году непременно приезду государя". „То будут просить", говорил Андреев, „за семеновских, чтобы по прежнему восстановить полк, а есть ли император не сделает, то пусть и нас всех туда пошлет", — куда, очевидно, послал семеновских солдат. Неясно, как думали солдаты получить согласие государя на этот отсыл их к семеновцам, — путем особого определенно демонстративного ходатайства или как иначе, вплоть до нарочитого неповиновения...

Очевидно, вновь начинало налаживаться единство настроения солдат. Немудрено, что Закревский встревожился, подчеркнул на записке часть и солдата и коротко пометил: „выписать"... В это время Васильчиков, отмечая в письме к Волконскому от 24 декабря, „толки в казармах начинают уменьшаться", сейчас же в след за словами успокоения вчиняет новые, по началу письма немного неожиданные речи — с одной стороны о „желательности... как можно скорее выпустить из крепости тех людей, которые будут признаны судом менее виновными", — „мера", которая „тем более нужна, что вид крепости дает повод толкам в народе, а также и между солдатами, а хорошо бы перестать уже толковать обо всем этом", а с другой стороны — и это стоит в прямой связи с тем, что толки все еще продолжаются, хотя было бы „хорошо... перестать уже толковать обо всем этом" — о желательности отложить „до более спокойной минуты", до февраля или марта, когда „дело Семеновского

полка придет к концу, и головы успокоятся", инспекторские смотры, „время" которых „наступает" потому что „можно опасаться", при производстве их в обычный срок, когда дело семеновцев еще окончательно не решилось и солдатские головы еще не успокоилась, „встретить жалобы солдат по пустякам, а жалобы эти при теперешних обстоятельствах могут очень затруднить и произвести дурное действие", т.-е. снова „выиграть время" у солдат. И так, очевидно, настроение солдат и Васильчикову казалось далеким от генеральных перемен, а толки в солдатской среде и ему продолжали представляться и довольно значительными и слишком беспокойными. А другому корреспонденту Волконского — Закревскому как раз 24 декабря солдатские толки показались совсем опасными; в этот день он писал своему начальнику: „Беспрестанные толки на счет прощения старого полка усиливаются, и это, делаясь всеобщим мнением, распространяет между солдатами и всеми сословиями мысль, что можно не повиноваться и получить после прощение". И прибавлял к этому: „Если случится (чего боже избави) еще что-нибудь подобное, то медленность сия будет единственно тому причиною". „Медленность" — конечно, в окончательном определении судьбы старого полка и в создании нового... Как видно, Закревский видит вещи в более мрачном, чем Васильчиков, свете; но по существу дела и тот для близкого будущего не рисует никаких особо успокаивающих перспектив.

И так, в декабре заметного падения настроений в солдатских массах Петербурга нет. Но и единство настроения, которое как-будто начало налаживаться, не сложилось в декабре, как не сложилось ни ранее, ни позже. Наоборот, в нем рано обнаружились сильные колебания и большие пробелы.

Следующие записи от 26—28 декабря обнимают собою дни перед Рождеством и первые дни праздника. Конечно, в эти дни было обращено специальное внимание на измайловцев, в полку которых только что были нащупаны опасные уклоны солдатских настроений.

Как раз в конце сочельника осведомитель проник под предлогом поисков переписчика к каптенармусу 5 роты Измайловского полка, Михаилу Федоровичу Васильеву, в самые казармы. Каптенармус, как об этом осведомитель донес по начальству, „знакомясь", заметно „опасался много говорить" и, пови-

димому, сам пытался разузнать кое-что у собеседника. Надо думать, что осведомитель вел свой рассказ с надлежащею умелостью, ибо „каптенармус беспрерывно вздыхал и сожалел о невинности оных, также пересказывал, как провозили мимо оных казарм музыкантов и кантонистов — за оными был сильный вопль матерей, и даже посторонних привели в жалость". Что же касается переписчика, то Васильев рекомендовал ему той же роты писаря Александра Яковлевича Степанова.

Степанов был у осведомителя, переписывал бумаги, угощался, а „после угощения начал делать свое суждение". „Суждение" писаря касалось разных предметов. Во первых, он толковал, что „семеновцы все должны быть собраны во Пскове и дожидаться будут смотра государя, тогда чем он решит", что их „знамена, есть ли не отданы, то отдадут под трауром в Казанскую церковь", а за тем — повидимому не без иронии — промолвил: „Пусть продовольствует он семеновцев, каждому солдату и жене в сутки по 50 коп. выдает"; он — конечно, государь. Во вторых — и это было хуже — „с восторгом сказал писарь": „Слышали ли вы, что преображенские сделали штуку: не хотели прошлое воскресенье вступить в караул — и не пошли!" Осведомитель спрашивал, „почему", писарь отвечал: „Потому захотели по своему сделать" и рассказал, что в приказе уже было отдано „оным вступать в караул, а ввечеру другой приказ... был, назначили Измайловскому полку: что вступит Измайловской вместо преображенских". И в третьих, что было еще хуже, сказал: „Есть ли и нам не понравится, и мы то же сделаем". Осведомитель расспрашивал, не сердится ли на поступок преображенцев корпусный командир. Писарь отвечал ему: „За что? Караул мы держим, солдаты, — а не генералы". Тогда осведомитель стал „любопытствовать, от кого это вышло". Вероятно, ответ Степанова не удовлетворил его сполна, ибо не дал имен, но зато этот-же ответ обвинял в солдатском упрямстве офицеров. Степанов говорил ему: „Начало от нашей братьи, а потом от офицерства, что хотели показать", что „они в силах сделать, чтобы по праздникам не ходить в караул, а надо богу молиться; потому в приказах отдают в праздник парад, вместо того — в караул или в ученье; и сие сделано так тихо, даже и молчат начальники!" Итак, солдаты охвачены не только настроением взаимной товарищеской поддержки, но

определенным единством мысли о своих солдатских правах, и всего прежде о праве на праздник, о праве в этот день „богу молиться“. Более того, оказывается, что офицерство в порядке пассивного сочувствия поддерживает их в предъявлении этих первых, политически таких невинных прав [1])...

В новый 1821 год агент сообщил по начальству новые „рассказы“ и „сетования“ своего словоохотливого знакомца „Измайловского полка 2-го баталиона, 3-ей роты писаря Александра Степанова, прозываемого в товариществе Карасев“[2]). Судя по доносу агента — из „дела“ мы узнаем, что то был отст. чиновник 9 кл. Валяев (или Валеев) — Карасев разбалтывался постепенно. Сначала он передал слухи, что „государь нескоро будет в столицу“, а на вопросы „почему?“ и „от кого слышал?“ отвечал, что слышал от людей кн. Меньшикова про письмо князя домашним: „когда государь получил известие о семеновских, то ему чуть удара не было, и через то заболел, и оттого не будет скоро, потому, что не знает, как решится; а ныне есть лучше государю“. Потом Карасев стал говорить о „великанах и о беде, как в поданной записке сказано“, „объясняя, что имеют они ропот“, а о причине ропота отвечал: „потому угнетены: скоро достается в караул“, опять рассказывал про преображенцев и их неповиновение с караулом в воскресный день, что они как-то в воскресенье не пошли в караул и „требовали вместо себя есть ли не семеновских, то другой полк“... и имели успех: „преображенцам уважили по праздникам не ходить в караул“; по словам Карасева, ропот охватил не одних измайловских солдат, а и измайловское офицерство: „офицеры наши уже за фрыштыком или за картами говорят, есть ли преображенцам уважили по праздникам не ходить в караул, почему и нам не уважить? может, недолго — и мы тоже сделаем, что не пойдем в праздник в караул“... Карасев „выхвалял“ по этому поводу гвардию и рассказывал в подтверждение ее значения про партикулярную переписку по делам полка

[1]) Повидимому, власть считала правильными эти пожелания и жалобы солдат. „Русск. Арх.“, 1875, II, 56.

[2]) Донесение сохранилось в деле секр. фонда деж. ген., 1821 г., св. 2, № 26, „По отношению г.-а. Бенкендорфа о выключенном за дурное поведение в армию л.-г. Измайловского полка рядовом А. Степанове, по прозванию Карасев,“ 13 генв.—6 июля 1826 г.

„нашего“ ген. Мартынова с вел. кн. Николаем Павловичем, по содержанию писем говорил, что ген. Мартынов пишет вел. кн., что в полку „смирно и тихо“, но — пояснял Карасев — „неправда это, мы лучше знаем, что всякий солдат имеет сострадание о семеновских и понимает оных наказание, что без рассудка наказаны, даже и мужики о том толкуют и сожалеют“. Касаясь известного приказа о судьбе полка, Карасев говорил, что приказ „написан хорошо“ и семеновцы в нем „сделаны виновными“, но высказывал, что против этого приказа, если б было позволено, можно было бы написать другой и что, может быть, такой приказ в крепости уже и написан; „написанное“ же „в казармах можно положить и будет один знать“. В изображении доносителя здесь Карасев, видимо, разгорячился: „хватая рукою себя под груди и указывая на сердце“ он скорее восклицал, чем говорил: („произносил довольно гласно“) „вот, больше письма чувствует! где справедливость и моления 1812 г.? все забыто, послуги наши... Что даже противу религии касается и то с нами делают: когда жидам прежде вверяли полки?! А ныне Шварц из жидов: каково он с христианами поступил? Варварски, как мститель еврейский, и до чего полк довел семеновской!“ И опять Карасев возвращался к приказу, опровергал его слова, что „семеновские мундиром пренебрегли“, утверждая, что „напротив они никогда не пренебрегали законом и мундиром, изданнным Петром, отцом нашим, Великим, и не отвергались никогда: они рады его носить; но чрез тиранство жидовского правления вышла такая история, где все иностранные земли удивляются!“ И, видимо, с жаром восклицал: „Недолго тому продлиться, — выдет что-нибудь еще получше! Мы все богу молим, чтобы хорошенькая была война, как Наполеон был, - то все и отвалят тогда. Государь не знает мыслей солдатских и оных обид. У семеновских у каждого в сундуке было худо 100 руб., а у другого 700 и 800, а у 3-го более тысячи рублей, а после оных экономий продавали сундуки, разломали все, разграбили; оная претензия составляет на миллионы; видно по всему, так же зажилят сию претензию, как 1812 году за провиант и фураж не отдал нам ни копейки: пометили в долговую ведомость, и велено замолчать“. Валяев спрашивал Карасева, откуда у него сведения о „претензии“; Карасев отвечал, что со слов фельдфебеля Ильи Федосеева, который приходил из

крепости в партикулярном платье и „пересказывал о таком грабеже и убытке". Со слов того же фельдфебеля Карасев рассказывал, как один каптенармус „умнее всех сделал: вещи продал и денежек достал довольно, — без вести скрылся". На вопрос, „каким образом"—Карасев отвечал, что, б. м., достал себе „в такую суматоху" „пашпорт, что он отставной: под Шварцеву руку легко подписаться" и добавил, что много солдат, вертаясь из отпуска и узнав, что „полк под караулом", уезжали „опять гулять", говоря: „нам все одна участь будет правому и виноватому поровну", и что „может, многие, вышли таким образом в отставку, как каптенармус тот". Карасев заключил свой рассказ словами: „Нынче великий князь Михайла Павлович не смеет вмешиваться у развода: одаль стоит. И нам не велят с другими полками разговаривать о семеновских. А вестовые каждый день видятся у дворца, — то говорят, что оным нужно". И похвастался: „Знаете ли, что первый фельдъегерь приехал от государя, чтобы семеновских кассировать, то дежурный генерал испугался и без чулок надел сапоги и прибежал в канцелярию, приказывал писать приказ по полкам?" Валяев спросил, почему Карасев это знает, и Карасев отвечал: „Наш вестовой все это видел и слышал и человек генеральский сказывал, что чулки забыл надеть; потому мы еще прежде приказа узнали чрез вестовых и узнаем, естьли что нужно нам".

Валяев толковал с Карасевым еще два раза — 4-го и 7-го января. Донесений Валяева об этих беседах в деле нет. 9-го же января Карасев был подвергнут следственным приставом Мыловым допросу о всех трех, своих с Валяевым, разговорах: „где именно, у кого и с кем был и что говорил 31-го числа Декабря 1820 года и сего текущего месяца 4-го 7-го числа".

Давая показания, Карасев, конечно, был в довольно затруднительном положении; он почти и не пытался защищаться или отнекиваться. Это особенно ясно по его показанию о беседе с Валяевым 31-го декабря, в котором он подтверждает почти весь донос своего собеседника. Карасев рассказал, что отставной чиновник 9-го класса Валяев, проживающий по Подъяческой улице, с которым он, Карасев, познакомился „не так давно", но как и где не упомнит, „только кажется, как-то случайно", звал его к себе „для переписки бумаг его партикулярных" и что он, Карасев, у него, Валяева, по его зову был накануне

Нового Года вечером часу в 5-м". Карасев не один раз подчеркивает, может быть отвечая на вопросы и подходы следователя, клонящиеся к установлению в его беседах факта политической агитации, что он „не предполагал, чтоб сие куда-нибудь далее от него вынеслось", или „не ожидал, что он откроет кому". Он изображает дело так, что был-де просто очень рад, что „нашел, казалось, по себе слушателя". Тем более он отрицает всякое стороннее „возбуждение" или „рассуждение", о котором тоже, видимо, его спрашивал Мылов. Признавая, что говорил „по чувствам" или обстоятельно мотивируя причины своего нелойяльного настроения, Карасев отчасти проясняет внутренние основания своей возбужденности: тягота службы и обиды царя. Но рядом с этою искреннею возбужденностью у Карасева стоит и иное — обычная наивная хвастливость гвардейца перед мелким и, вероятно, довольно непрезентабельного вида „чинушею" — и военно-политическим значением гвардии и отличною осведомленностью гвардейского солдата. Следователь весьма интересовался источниками осведомленности Карасева, иногда, видимо настойчиво, требуя от него конкретных указаний. Карасев давал их не всегда, отговариваясь тем, что запамятовал или не знает, или же тем, наконец, что разговор по интересующему следователя вопросу был у солдат общий. Но иногда Карасев давал очень точные сведения. Так, говоря о своеобразных солдатских надеждах на войну, Карасев на требование указать, от кого слышал преступные толки, показывал, что говорил „невыдуманно, а слышал однажды у себя в роте, как, напившись пьяным, рядовой Кузьма Иванов таковые слова вскоре после происшествия семеновского произносил, которого однакоже за то наш фельдфебель, услышав слова его, выколотил порядочно; впрочем, ни в нашей роте, ни в других каких на щет сей никакого заговора нет, не было ия более ни от кого не слыхал и сам оного не внимал". Очень хорошо Карасев описывает пути, которыми становятся известны солдатам маленькие государственные и, иногда большие, служебные тайны. Здесь и толки с людьми значительных господ, в роде кн. Меньшикова или дежурного генерала Закревского, и передача вестовыми того, что они слышали или подслушали, и писарями того же, да еще содержания писанных ими в порядке службы бумаг...

В дальнейшем, за отсутствием донесений Валяева о беседах с Карасевым 4-го и 7-го января, приходится пользоваться одними показаниями Карасева. Про свидание 4-го янв. Карасев признал, что он „по слухам от вестовых" говорил, что государь не скоро будет и не прежде мая месяца, „прибавляя от себя собственно, что он напрасно там трудится, лучше бы работал здесь и все бы было с успехом". Повидимому, Карасев вслед за этим говорил Валяеву с осуждением государя, что „замучали на станциях в перегонах от государя сюда много лошадей и фельдъегерей", как это он слышал от вестовых, бывавших у дежурного генерала. Карасев, видимо, указывал, что эти жертвы людьми и лошадьми напрасны, потому что все равно, „хотя государь прежде мая не намерен приехать сюда, но, может быть, случай войны привлечет его и прежде"; так „от себя собственно рассуждал" Карасев, ссылаясь на то, что мы смертные ничего не знаем и часто, чего не думаем, то случится, — вот, например, и государь... не ожидал для себя такой неприятности, а она случилась от семеновских, и он весьма полагает, что, приедет, все будет тихо, но мы все молим бога, чтоб дал войну и опять послал Наполеонушку [1]); а как это случится, то тогда уже будет не то, что было прежде, он увидит, как надо быть справедливу противу нас и офицеров: мы прежде защищали его и отечество, а теперича по его уже не будет, — усердие пропало, и мы не станем прилетать по тогдашнему; в таком случае всем будет капут, и вы увидите и услышите тогда, ... что случится". Далее Карасев без нужной читателю определительности, утверждает, что говорил Валяеву о деревенских (? „холопских") секретах, а не об „иных каких". „Холопские" же секреты Карасев узнавал

[1]) Привожу извлечение — из приказа по корпусу гр. Воронцова от 22 Февраля 1816 г. для сопоставления с теми нотками, которые звучат у Карасева когда он вспоминает Наполеона. В его речах, пожалуй, видно не одно лишь уважение к военному гению Наполеона, но и нечто большее: слово „Наполеонушка" не говорит ли именно об этом? Быть может, Наполеон прельщал русских солдат остатками военной освободительной политики Великой Революции и порядками — и не только в смысле дисциплины, но и в социальном смысле — своей славной армии? В длительно пребывавшем во Франции корпусе гр. Воронцова это отношение к Наполеону зарегистрировано означенным его приказом, во втором разделе которого гр. Воронцов писал: „Я получил от некоторых жителей жалобы, что из стоящих у них наших

из писем приходивших „из деревень частехонько от отцов... к сыновьям“; сыновья — солдаты давали их читать Карасеву, как грамотному. Каково их содержание, Карасев не говорит.

О следующем и последнем свидании Карасев рассказал немногое: 7-го числа января, так начал Карасев свое показание, „ознакомясь я уже с г-м Валяевым, пришел к нему в гости и с зятем моим подпоручиком Павлом Емельяновым, где будучи довольно навеселе, по любопытству его к новостям, говорил между прочим ему, что рота Семеновского полка, вновь составленного, была на Ердане с Георгиевскими знаменами, удивившими всех, как могло то случиться, что знамена, старым полком заслуженные, которые бы должны были находиться в церкви, дались новобранцам и незаслужившим их солдатам, омытые кровью их предместников; и, повторяя сие с удивлением собственным без всякаго другого намерения и умысла, сказал ему „погодите немного! увидите...“ (желая продолжать, что и с ними тоже будет, что и с их предшественниками, когда обознаются и в подробности узнают разницу между армейским и гвардейским солдатом), но, будучи сторонним приходом каких-то незнакомых в том удержан, переменил материю“. Тут же Карасев с зятем простились и уехали домой. Но перед уходом Карасев пообещал хозяину „доставить ему тетрадь всем достопамятным приказам, о коих он любопытствовал“. В дальнейшей части показания Карасев передает о разговорах в его полку насчет „бумаги... от семеновских солдат к преображенским“; эта часть его показания напечатана В. Ив. Семевским в его исследовании о происшествии в Семеновском полку [1]). Карасев утверждает, что никогда не говорил об ней Валяеву „по случаю, что не заходило с ним на подоб-

воинских чинов иные в разговорах хвалят Бонапарта и хулят теперешнее правление. Я им отвечал, что сие не может быть другое, как шутки, коими наши, стоя иногда у людей приверженных королю, хотят, может быть, отмстить за дурное обхождение хозяев, и что никакой русский не может предпочесть разорителя Москвы почтенному и благодетельному королю, ныне здесь управляющему“. Далее гр. Воронцов настаивал на прекращении подобных речей. Может быть, этот отрывок поможет полнее понять оттенки речей Карасева, когда тот поминает Наполеона. — Рукоп. Отд. Б-ки Ак. Наук. СССР, „Архив ген. Н. Ф. Дубровина“, № 98, л. 56. См. также в „Военном Сборнике“, 1903.

[1]) „Былое“, 1907, 2, стр. 94.

ный предмет речи". Показание об этой „бумаге" Карасев дал, повидимому, на предложение следователя пополнить, чем имеет, прежния показания о толках среди солдат.

В этих двух последних показаниях Карасева об январьских беседах с Валяевым наиболее существенными надо счесть три момента: по словам Карасева, солдаты обвиняют государя в несправедливости не только „противу" них самих, но и „противу ... офицеров", во вторых, сам Карасев вновь и в очень твердых выражениях подчеркивает „дружество" солдат между собою и, в третьих, вносит большую поправку к своему показанию о первой беседе, — там Карасев, указав от кого (от пьяного солдата К. Иванова) слышал преступные речи о том, что солдаты при войне, о ниспослании которой молятся они Богу, „отвалят" и выдадут государя неприятелю, добавил, что таких речей он „более ни от кого не слыхал"; теперь же Карасев был должен сознаться, что такие речи „разнеслись и сделались по всему даже нашему полку, да и в прочих, известны и отчасти между многих... употребительны". В дальнейшем мы увидим подтверждение этого его второго показания. Впрочем, кажется, что оно подтверждается январьским же отзывом графа Милорадовича, который так оценил „сказанное писарем" Карасевым: „отчасти им выдумано, отчасти говорил он в нетрезвом виде; прочее же — повторения общего разговора, существующего с некоторого времени". Далее Милорадович полагал „по всем соображениям, ... что продолжение следствия подвергнет многих к допросу и может сделаться слишком гласным, — впрочем, откроет только известные разговоры, слышанные одним от другого, по глупости оных не могущие иметь ни малейшего последствия". Посему гр. Милорадович счел более правильным приостановить следствие; с этим мнением его был согласен и дежурный генерал А. А. Закревский [1]). Повидимому, оно в конце концов и восторжествовало, ибо обширного следствия из дела не выросло. В связи со всем этим любопытно отметить письмо командира гвардейского корпуса И. В. Васильчикова начальнику Главного Штаба кн. П. М. Волконскому. Ген. Васильчиков жаловался на гр. Милорадовича, что тот „отказал послать в караул Семеновский полк 13-го января". Из дальнейшего

[1]) См. кроме дела, в „Сб. Русск. Ист. Об-ва", т. 73, стр. 135.

явствует, что гр. Милорадович „страшился за свою ответственность, ежели бы случились какие-нибудь неприятности“ [1]). Указав на несообразность опасений гр. Милорадовича, ген. Васильчиков продолжал: „Измайловского полка писарь — отъявленный мерзавец. Можно держать большое пари о том, что все, что он сказал, его выдумка“ [2]).

Понятно это внимание агентов к Измайловскому полку, где перед самыми праздниками только что были уловлены опасные мысли и речи, и вместе с тем очень любопытно указание писаря на офицерские толки в полку. Ведь это полк, в 1820 г. передовой по своему корпусу офицеров и по участию их в делах „Союза Благоденствия“, где помимо управы Союза, состоявшей гл. обр. из, именно, измайловских офицеров, существовало и действовало особое „Измайловское“ тайное общество, — бывшее в особых отношениях с „Союзом Благоденствия“ и имевшее в числе своих энергичных участников молодого члена „Союза“ кн. Е. П. Оболенского, офицера того-же Измайловского полка. Оболенский этих лет был, конечно, не очень большою политической величиной, но в нем и в эту пору по энергии и умному практическому уклону можно отгадывать видного деятеля Севера последующих лет. Еще более любопытно указание писаря на сочувствие измайловских офицеров солдатам в их положении и речах, — в частности, об их солдатских правах и вожделениях. Не перекидывался ли здесь какой-то мостик между солдатами и офицерством; нельзя ли было здесь поднять оброненную в других полках надежду на совместные действия против власти, обеих частей полка?

Еще понятнее становится дальнейшее внимание розыскных агентов власти к Измайловскому полку, ежели учесть, что совсем незадолго до происшествия в Семеновском полку Измайловский полк только что пережил свое происшествие,

[1]) „Р. А.“ 1875 II, 456 - 7.

[2]) 4 июня было „Высочайше повелено писаря Карасева выписать в армию в Кавказский корпус“. Любопытно в связи со сказанным выше отметить, что Волконский в письме Васильчикову от 1 февраля, как-то очень волновался по поводу визитов писаря Карасева к Валяеву и даже восклицал: „Каким образом позволяют писарям ходить переписывать частные бумаги, что в наше время было стого запрещено и чему даже не было примера“. См. „Рус. Арх.“ 1875, II, стр. 73, а также „Сб. Рус. Ист. Об-ва“, т. 73, стр. 42.

где действующими лицами были как раз офицеры, целиком решившие в ответ на обиду со стороны полкового командира подать в отставку, и только умною хитростью командира от этого удержанные [1]). Как же было не следить за этим офицерством?

Но Измайловским полком не ограничилось в эти дни внимание удачливого осведомителя. Он пытался охватить всякое сведение о любой части и в поисках этих сведений искал всякими путями. Так в самый день Рождества он проходит около „Нагишкина дома". Там два рядовых — финляндец и лейб-гренадер „стояли под воротами". Он заговорил с ними; стал расспрашивать о „нужде"; они рассказывали и просили помочь, он спрашивал „почему они так поздно", — шел уже седьмой час вечера, а они „оба" отвечали: „Ныне праздник! Да и после истории семеновской нам вольно ходить сделалось и во всем посвободнее, — не так, как прежде в заперти нас держали; и ныне до праздника жалованье выдали и претензии наши, были года за три недопуски — и то все выдали, даже и за переноску мундиров деньгами по рукам разделили; мы нынче проситься не ходим к ротным капитанам, а только приказано сказаться фельдфебелю, — и ступай на целый день!" Осведомитель стал осторожно расспрашивать: „Есть ли завтра в караул"? разумея очевидно, — как гулять, если завтра предстоит идти в караул. А солдаты хвастливо отвечали: „Нас теперича просят ласкою, ребятушками называют, „пожалуйста, потише будьте!" — а прежде все по зубам и по бокам, и доброго слова не слыхали никогда". Тогда осведомитель задал лукавый вопрос: „Разве вас боятся"? Солдаты же ответили ему: „Нет, бояться не бояться, а побаиваются: мы все одни солдаты, как те, так и мы". „Те" — очевидно, семеновцы. При таком довольном, с сознанием своей силы, ответе он „любопытствовал оных имена"; они же с явной насмешкою отвечали ему: „На что тебе, барин, мы оба — Захары"... Так дело неожиданно обрывалось на самом интересном месте: в ответ на неосторожный вопрос мигом вспыхнуло подозрение. Чтобы как-нибудь рассеять его и вообще исправить испорченное дело, осведомитель „вновь приглашал" их „в дру-

[1]) „Рус. Ст.", 1871, дек., стр. 648 и 649; „Русск. Арх.", 1875, II; „Былое", 1907, I, стр. 11.

гое место провести время". И действительно, дело начало поправляться, потому что „финляндской соглашался", но товарищ его — показавшийся кстати осведомителю унтер-офицером — уперся: он, как видно, был подогадливее, — „подозвал извозчика; поговоря с ним тихо, севши оба, поехали, произнося бранные слова с криком: „Завтра здесь будем у Дуньки, а сегодня поздно".

В эти праздничные дни было естественно именно в таких местах выслеживать и ловить обнаружения солдатского недовольства. Как выслеживание и ловля были организованы, мы знаем мало. Поэтому особенный интерес приобретает та часть записки, которая передает новости этих операций за 28 декабря. Осведомитель рассказывает, что в этот день певчий Преображенского полка Васильев, побывав у „гостеприимных женщин, проживающих в доме Цвета, содержателю оного дома здешнему мещанину Ивану Осипову по секрету объявил, как отцу крестному, что на сих днях подкинуты какие-то бумаги" к военному генерал-губернатору Петербурга гр. Милорадовичу. Так секретным сотрудником тайной полиции выступает содержатель „дома Цвета". Осипова, правда, только по фамилии, мы знаем по громкой истории, которую в свое время раскрыл В. Ив. Семевский и существо которой заключалось в том, что Осипов, действуя по поручению статской полиции, зазвал к себе и распрашивал о прокламации своего крестника, по фамилии — тоже Васильева, а по полку — тоже преображенского; это совпадение может приводить к мысли, что жертвою Осипова в обоих случаях был один и тот же крестник; но первый Васильев с 19 ноября сидел в Шлиссельбургской крепости, да и означены они разно: первый флейтщиком, а второй певчим. Этот первый Васильев прокламации не имел, а, может быть, и не знал, но чтобы, как он объяснял, угодить своему крестному отцу, сам сочинил прокламацию, соответственного распросам крестного содержания и передал ее ему, — а тот представил ее по полиции. За эту подделку доверчивый крестник дорого поплатился [1]).

Линия смягчения службы, на которую под влиянием происшествия в Семеновском полку стала власть, давала свои плоды.

[1]) „Былое", 1907, II, стр. 93 и III, стр. 108 и 109.

В первом же письме царя к Васильчикову после семеновской катастрофы приказывалось: „Усугубьте надзор, скажу даже заботы, относительно солдат; наблюдайте тщательно во всех полках, чтобы с ними не обращались дурно, не секли бы их". И относительно сечения государь прибавлял: „Это изо всех средств самое дурное, и Вы знаете, что я всегда ненавидел телесные наказания". А далее государь делал характерный переход, обнажавший до конца истинную подоплеку его гуманной решимости: „Но раз, что вы обратили Ваши попечения на этот предмет и бдительно за ним надзираете, Вам не следует допустить послабления в требованиях службы, ни под каким предлогом"... И позже государь еще откровеннее объяснил свои требования: надо „заслужить, сколь можно, более привязанности и почтения, которые солдаты должны иметь к начальникам за те отеческие попечения, которыми их будут окружать"...[1]) Так Александр I неожиданно стал глашатаем гуманной и заботливой политики в отношении солдат: в ее основе лежало стремление привязать их к себе и к начальникам. А сам Васильчиков выступил энергичным проводником этой новой политики. В ее настойчивом проведении он доходит до конфликта с военным министром и жалобы государю на его распоряжения: „Что касается до артельных лошадей и их обозов, то с тех пор, как я командую корпусом, переписка об этом предмете не прекращалась, и теперь оказывается, что в 12-м году определенные и отпущенные деньги начальнику штаба армии не дошли в гвардейский корпус... Военный министр приказывает мне более не говорить об этой претензии; а я считаю напротив необходимым настаивать на непременной надобности удовлетворить ей, потому что было бы слишком несправедливо лишать солдата его собственности"[2]). И Васильчиков самым заботливым образом устраняет всякие экономические основания солдатского недовольства[3]). Устанавливает большую свободу солдат вне службы, следить за тем, чтобы солдат не секли и не били. И рядом с этим поддерживает во всем объеме требования службы и субординации, с одной сто-

[1]) „Рус. Арх.", 1875, I, стр. 353 и II, стр. 70.
[2]) „Рус. Арх.", 1875, II, 439.
[3]) „Рус. Ст.", 1871, дек., стр. 660; см. вообще переписку в „Рус. Арх." и „Рус. Ст."

роны, и решительно и быстро изъемлет из солдатской среды всякого вольного глашатая солдатских дум и настроений, с другой. И при этом умеет проводить свои изъятия, повидимому, без большой огласки в солдатской среде и во всяком случае без ее нового раздражения. Ведя очень осторожно свою старую линию службы и умно строя политику быстрых и решительных изъятий, тщательных розысков и безвозвратных удалений (в тюрьму или другую часть) замеченных в противоправительственном настроении солдат, Васильчиков перед взбудораженной солдатской массой широко развернул политику послаблений и забот. И плоды этой новой политики сказались уже к праздникам: рождественские речи солдат — хотя бы неудачных гостей Нагишинского дома — дышат сознанием улучшения всего солдатского быта. Особенно это сознание сказалось, оформилось и даже привело к определенному политическому выводу в речах конно-гвардейца 4 эскадрона Булавинского, о котором осведомитель в той же записке сообщал что он, Булавинский, 26 декабря, „привезя белье к живущем в доме надворной советницы Татищевой во 2-ой Подъяческой под № 20, пересказывал, когда в разговоре „касалось до истории о семеновских", а на вопрос, „почему они не защищали и преображенские?..." отвечал: „Время еще нет: ныне легко чрез семеновских стало служить; а если поприжимать будут, то и мы поговорим; нам теперича хорошо, и надо молчать!". Изменение солдатского настроения с октябрьских дней произошло. Солдат Булавинский выяснил его корни с совершенно цинической откровенностью. И с той-же откровенностью дал почувствовать, что крепости в нем нет потому, что в основе его лежит вынужденное страхом, и поэтому ненадежное, изменение службы и вообще быта солдат: и ясно, что, как только это изменение будет властью ликвидировано, прежние октябрьские настроения встанут с прежнею, если не большею силой... И казалось, реальный учет положения должен был толкать общегосударственную и военную власть к сильнейшему изменению прежних условий солдатского быта и солдатской службы, — к такому изменению, чтобы солдатская масса, им задобренная, забыла о семеновцах и предалась радостям своего нового существования. Сделала ли власть, общегосударственная и военная, то, что ей диктовал простой реальный

учет положения, и в объеме, которого этот учет требовал? Кое-что ею, конечно, было сделано. Как видно, сделанные изменения сразу были оплачены переменою — пусть неглубокою, но очень реальною — солдатских настроений [1]). Но сделано было далеко не все и не во всем объеме, чего и как требовало положение вещей... К сожалению, пока мы еще очень плохо знаем, как шли изменения с обеих сторон: изменение властью службы и быта солдат и изменение настроения солдатских масс. Мы еще не умеем установить связь между двумя процессами изменений, не знаем о кривой солдатских настроений, какие моменты ее были вызваны колебаниями правительственного курса в вопросах солдатской службы и солдатского быта, и какие—упорством власти в решении ликвидировать Семеновский полк. Но мы с отчетливостью видим, что изменения порядка службы и быта, как бы много сторон старого уклада они ни затрагивали, нигде не проникали вглубь этого уклада, нигде не разрушали его основ, а лишь плавно скользили по его поверхности. Вот отчего они легко могли утушить на время взрывы солдатского недовольства — рядом подачек и срезов острых углов, но отнюдь не убить это недовольство в его корне. Вот отчего, под личиною почти полного спокойствия, в солдатских массах столицы зреет глухое недовольство. И все равно, сойдет правительство с пути своих задабривающих солдатство уступок или сделает новый решительный шаг в суровой ликвидации Семеновского полка, — все равно, это глухо зреющее в глубине солдатских масс недовольство вдруг, неожиданно, прорвется в речах какого-нибудь экспансивного, озлобленного или доверчивого солдата или даже в каком-нибудь, иногда пустом, но всегда тревожном, а подчас и грозном, слухе. Таким образом, в итоге всех своих мероприятий власть не только к Рождеству, но даже к весне, и никогда впредь не приобрела давно утраченных солдатскою массою столицы чувств и настроений доверия и преданности, но зато она, что было в ее положении очень существенным, выиграла время. И если тогда, в октябре, было

[1]) Можно отметить, как результат улучшения быта солдат, прекращение побегов. Сам государь объяснял его недопущением пьянства, но, конечно, дело здесь было гораздо глубже. „Рус. Арх." 1875, II, 76.

можно бояться, что солдатское движение разрастется и примет страшные для власти размеры и формы, то теперь, в январе и феврале, было ясно, что солдатское движение в широком масштабе октябрьских толков решительно обречено на неудачу. Как видно, не даром власть вела свою политику уступок, соблазна и задабривания, не даром создавала свою специально военную тайную полицию и привлекала к работе политического розыска в военной среде тайную полицию министерства внутренних дел и ее отдельных агентов, не даром суровой расправой с семеновцами и постоянными арестами в солдатской среде терроризировала войска столицы... И быть может, мы здесь имеем большее, чем террор: эти аресты могли выхватывать из солдатской среды и прятать в крепости или выкидывать в далекие полки, наиболее активные, наиболее способные к организации и руководству элементы; без них солдатство столицы должно было политически осиротеть. И далее: эти аресты могли нарушить установившиеся между полками связи; тогда создавшееся единство должно было рассыпаться в прах... Не случилось-ли всего этого и на самом деле, в печальной для солдат действительности тех месяцев? Так, выиграв время, власть выиграла основную партию в сложной политической игре момента: свою партию с солдатскими массами столицы. Этот выигрыш, кажется, в конце концов закрепил за нею все достижения ее до октябрьской политики. И кажется нельзя оспаривать утверждения, что к лету 1821 года положение власти в солдатской среде Петербурга вновь становится очень прочным. Но не нужно думать, что этот решительный успех власти целиком ликвидировал ее новую политику в вопросах службы и быта солдат: отдельные послабления продолжались и далее, некоторое, большее, чем в до-октябрьские дни, внимание к солдатской нужде, и далее дает себя знать отдельными проявлениями заботливости. Так орудие, которым был достигнут успех, не было выброшено, и в дальнейшем закреплении достигнутых успехов его умелое применение сыграло свою немалую роль... Никоим образом, однако, не надо преувеличивать доли достижений, именно этим орудием, на всех этапах борьбы власти со своим столичным солдатством, — в частности в самый, пожалуй, пышный период его применения, в пору первых мероприятий по разгрому начинавшего наме-

чаться и грозить своим реальным осуществлением солдатского единства: большую роль и тогда и позже сыграла, энергичною рукой проведенная система репрессий. И, ежели в те недели один глаз власти был призакрыт на небольшие вольности и упущения солдат и одна ее рука заботливо протягивалась к ним с маленьким благотворением, то ее другой глаз зорко высматривал политический проступок солдата и другая рука сжимала скорпионы репрессий и пресекала усмотренный непорядок... Сложная система власти, система, где задабривание комбинировалось с террором и террор умерялся задабриванием, разумеется, в общем верно вела к конечной цели власти, но вела довольно медленно. Причины этой медленности успеха власти лежали, как в некотором внутреннем противоречии комбинированной системы, так и в общем положении вещей, гда власть рисуется без достаточно прочной, не внушающей в себе никакого сомнения, опоры. При медленности успеха власти мы и в пору Рождества 1820 г. встречаем обнаружения противоправительственных настроений в солдатстве.

Вопреки впечатлениям и надеждам Васильчикова, и Рождество и весь январь полны политическими слухами и толками солдат. Правда, „тишина... продолжает царствовать в войске," но „толки — одни глупее других — продолжаются". Это должен был в конце концов признать и сам Васильчиков, — по крайней мере близким к отчаянию тоном заговорил он вдруг в одном из своих писем в конце января: „однако же, я должен Вам сказать, что все, что здесь происходит, нехорошо: фальшивые известия следуют одно за другим"... И все это — несмотря на то, что новый Семеновский полк уже сформирован, получил знамена старого и назначен в караульную очередь. Предпраздничные надежды Васильчикова оказывались разбитыми совершенно [1]).

Эти январские дни петербургской военной, да и гражданской власти пришлось проводить сначала в тревоге, потом в недоумении. Дело в том, что в самом, повидимому, конце 1820 г. и в начале 1821 в Петербурге „носились слухи" о возмущении Севского полка. Взволнованная власть, хоть и полагала, что слухи „не заслуживают вероятия", но не менее того наводила справки сначала, чтобы „узнать истину", потом, когда

[1]) „Русск. Арх.", 1875, II, стр. 448 и 450.

выяснилось, что в полку все спокойно и продолжает здравствовать его командир полк. Колен, которого молва похоронила чуть ли не на остриях солдатских штыков, чтобы понять, как, откуда и почему, возникают такие тревожные слухи. Уже в начале поисков выяснилось, что „около 18 числа прошлого октября“ слухи о возмущении Севского полка ходили в Риге. Тогда власть начала сношения с Ригою, и рижский комендант дал ей вполне вероподобное объяснение слуха: „слухи о возмущении будто бы в Севском полку произошли здесь в Риге“, писал он, „вероятно от ошибки здешних немецких жителей в правильном произношении на русском языке названий полков Семеновского и Севского, так как случившееся в Семеновском полку происшествие было здесь известно“. Из взволнованной Риги этот слух приезжие привезли в столицу. Здесь о слухе узнали родственники командира Севского полка и начали свои расспросы, каковые, повидимому вели с большою энергией, — по крайней мере военные власти приписывали им и их расспросам, что слух продержался до начала января [1]).

Но, несмотря на все опровержения этого слуха, Васильчиков был им очень взволнован: „Известие о бунте Севского полка, которое опровергнуто, очень дурного свойства; оно собственно было выдумано, чтоб подействовать на дух солдат. Слух этот разнесся по городу с замечательной скоростью“). В связи с другим слухом, будто бы в Москве „один караул, учинив непослушание, оставил свой пост“, что оказалось по проверке неверным [3]), Закревский вдохновенно писал Волконскому: „Сей и подобные слухи доказывают, что множество есть таких неблагонамеренных и вредных людей, которые стараются увеличивать дурные вести. В нынешнее время расположены к сему в выс-

) Моск. Воен. Леф. Арх., секр. фонд деж. ген., 1822 г., св. 2, д. № 4: „О распространившемся слухе о последовавшем якобы возмущении в Севском пехотном полку, следствием коего было убийство командира сего полка, полковника Колена“, на 22 л.

[2]) К государю в Лайбах вместе с донесением Закревского о бунте Севского полка, пришло известие о бунте Елецкого. Оно сразу возбудило сомнение по несообразности (бунт в Митаве, где полк не стоит, Закревский объяснил его смешением названий). „Сбор. рус. ист. об-ва“. т. 73 стр. 45 и 126.

[3]) См. дело канц. деж. ген. Гл. Шт. „по дошедшим слухам, что будто-бы один караул в Москве, оказав род некоего неповиновения, оставил свой пост“. 1821 г., св. 2, № 3.

шей степени все умы и все сословия, и потому судите сами, чего ожидать можно при малейшем со стороны правительства послаблении. О Семеновском полку, ныне комплектуемом, бывают такие вздорные рассказы, что вы представить себе не можете".

А получив опровержения слуха о Севском полку, Закревский приписывает в том-же письме: „Нельзя не заключить, что сей и подобные слухи распускаются для того, чтобы сделать пагубное внушение здешнему гарнизону").

Действительно, в январе и частью в феврале солдаты переживали, видимо, последний приступ повышенного настроения и были на границе политического отчаяния... Было от чего тревожиться власти, — даже и без слухов петербургского, московского, и рижского происхождения.

В этом отношении очень интересна записка осведомителя от 10 января, посвященная беседам с солдатом 4 егер. роты 2 бат. учебного Карабинерного полка, Иваном Игинским (в дальнейшем его фамилия пишется разно: Игинский, Агинский, Огинский). К нему осведомитель применил испытанную манеру: зазвал к себе „для переписки бумаг" и, повидимому, хорошо при этом угостил, потому, что Игинский у него „ночевал". „В продолжении времени" вечера и ночи Игинский „пересказывал" ему разные солдатские новости. Так он рассказывал, как два солдата их полка „просили о своих обидах": „один егерь, просил правильно г. Бистрома, а другой ходил в ордонансгаус"; в результате первому, как действовавшему правильно, наказания не было, а „того обвинили и выслали в дальнейшие гарнизоны". Вообще же, по его словам, „после семеновской истории" к солдатам „относятся" так, „что всем полкам сделалось хорошо и дана воля; даже ротный командир не может наказать без полковника, а полковник докладывает генералу; и солдаты, другие, ныне шапки не снимают перед офицерами в надежде той, что не может наказать;... пересказывают, что недели две тому прошло времени, что кавалергардский полк взбунтовался и хотел садиться в ночи на лошадей, — однакож скоро уговорили иных". Осведомитель, конечно, сейчас же обратился с „запросом": „почему ему известно"? Тот отвечал: „мы чрез два часа узнали; сна-

*) Сравн. о слухах у Штрайха, стр. 44.

чала чрез одну девушку, которая от них пришла к нам, а на другой день и солдаты узнали, что это была правда". Осведомитель тотчас „любопытствовал, за что вышло", но узнал немногое: „за неудовольствие какое-то и невелено говорить о семеновских". В дальнейшей беседе Игинский „продолжал свою материю... с великою осторожностию", рассказывая, что солдаты „слышали: на конгрессе одно государство согласилось на мир, но другое объявляет войну нашему государю и непременно будет у нас война, —" а „с кем, еще он не знает, а когда узнает, то хотел известить"; также заключил, что, „государь не прежде будет сюда, как в мае месяце"; и потом говорил таким образом: „Дай Бог войну! Мы, солдаты рады". Осведомитель, вероятно, с удивлением спросил: „почему радоваться? лучше быть покойну!" и получил в ответ: „Для того может, лучше тогда нам будет, не станут заставлять отставных и раненых дослуживать 25 лет; которые были в отставке, то и тех опять взяли на службу и говорят: „Дослужи лета!" чрез то меньше имеют неудовольствие за 1812 год. „Вы думаете, хорошо это сделали", говорил Игинский далее, „что разослали семеновских по полкам? Поверьте, это не так хорошо: бывший семеновский солдат явится в полк, солдат — солдату друг; пожать руки — и довольно для оных сего знака, один другого не выдасть! За то и все ропщут, что государь сам не входит ни во что, а поверил начальникам; ныне вертят, что хотят". Как видно, Игинский уже разошелся и оставил свою осторожность. И тут он „вновь" и решительнее прежнего „делал свое... заключение насчет войны: „Естьли война, тогда может всякий положить ружье и сделать перемену на свою обиду".

В дни между свиданиями с Игинским, осведомитель действовал в других направлениях. Так, в записке от 15 января он рассказывает, что накануне был в казармах сводного батальона, где находились солдаты бывшего Семеновского полка, предназначенные к отправке в армейские полки. Свой визит осведомитель пытался и отчасти сумел использовать, — и в самой казарме с семеновскими солдатами и дорогою в канцелярию с вестовым он вел политические разговоры. Правда, в конце концов, но, видимо, никак не от недостатка у него усердия и умения, эти политические разговоры не привели к желанному концу. Что касается семеновских солдат, то их он застал

в казарме на нарах; большею частью они лежали, но некоторые сидели. Чтобы завязать разговор, осведомитель „любопытствовал у них, что они, сводного баталиона?“ Вопрос подействовал, и они почти в один раз заговорили: „Мы рассылаемся и мы страдаем“. Притворяясь, осведомитель спрашивал: „За что?“ а они отвечали: „Кто был в отпуску, а другие в лазарете, — и нас ссылают!“ При этом они закрывались, каждый больше, шинелью голову. Повидимому, они избегали оказаться лицом к лицу с расспрашивавшим их незнакомцем. И в дальнейшем они придерживаются той-же тактики; осведомитель отметил, что свои жалобы: „Есть ли справедливость безвинно наказывать нас“ они произносили, „поворачиваясь с боку на бок“. Так, не имея сил воздержаться от жалоб, они старались укрыться от любопытных глаз. Осведомитель рассказывает, что „кроме сих слов пришли двое рядовых, преображенец и московец“, что при их появлении „лежавшие вскочили, начали подавать руки оным, пожимая друг другу“; что семеновские говорили: „Прощайте братцы, — может, и последний раз видимся“, а „приходящие“ отвечали: „Никто таков, как не бог“. Эта формула ответа, ежели ее развернуть, могла дать агенту богатый материал для всяких построений и дальнейших расспросов, но как раз в это время вошел караульный, стал расспрашивать осведомителя о цели его прихода и в итоге расспросов направил его по его „надобности“ в канцелярию, чем и прикрыл для него возможность развернуть формулу гостей. Осведомитель, впрочем, пытался хоть отчасти наверстать утраченное расспросами вестового, егеря Ивана Анненкова время, „любопытствовал у него, что это за солдаты лежали на нарах и ходили в тулупах по двору?“ Ничего не подозревавший Анненков отвечал, что семеновские, отправляемые „по малым частям“ в армию. Тогда осведомитель задал свой коварный основной вопрос, на котором, как на оселке, было можно испробовать каждого солдата: „За что оных отправляют?“ и в ответ ему снова начал разматываться клубок солдатских мыслей и надежд... Вестовой отвечал, что „Безвинно; есть-ли были солдаты в отпуске и в лазарете, и оных ссылают!“ Осведомитель, нащупывая далее почву, осторожно спросил: „Они в крепости сидели?“ и получил в ответ горячие слова: „Нет, тех еще погоди отправлять, как еще решит оных дело! Они

на своем устояли, что знамена старые Семеновского полка не давали новому полку: всякий батальон с собою принес свое знамя; и новый полк называться не может Семеновским, а называется Александровским, и он младший всех полков". Конечно, осведомитель тотчас же приступил к насыщенной богатым содержанием горячей речи вестового: „Почему не называется Семеновским?" Вестовой отвечал и в своем ответе легко перешагнул рамки вопроса об имени: „Потому великий князь Михайла Павлович слышать не хочет Семеновского полку имени и просил вдовствующую императрицу о том, чтобы ее Величество просила государя: „не было бы Семеновского полка на свете". „Семеновские", продолжал вестовой, „со всеми полками породнилися, за них все горой стоят и жалеют оных; а Шварца делают правым, и он по воле ходит, а за него одного сколько содержится под караулом и страдает понапрасну! Как-же и не жалеть оных..." Но уже подошли к канцелярии, и кое-что обещавший разговор опять пришлось прекратить.

Повидимому, немногими днями позже этих двух, до конца недоведенных бесед, — осведомитель уловил в солдатской среде нотки очень резких и совершенно непримиримых настроений. Правда, он поймал эти нотки не у их носителей, а всего лишь в пересказе свидетеля их обнаружения носителями... Осведомитель рассказывает, что, „быв в крепости и проезжая через оную, встретил солдата артиллерийского гарнизона Евсея Ракова, посадил его с собою и стал расспрашивать, а тот на расспросы „пересказывал, что он при крепости находится более" года и всего насмотрелся в оной, и объяснил, где семеновские нижние чины содержатся, и сказал: „Хорошо, что оных рассадили порознь, и теперь посмирнее сделались; однако ж все требуют свои знамена и не унывают они нимало". Конечно, осведомитель тотчас же „любопытствовал": „Отчего они так веселы?" Раков отвечал: „Надеятся на своих друзей". Осведомитель опять стоял на пороге значительных сообщений; он торопливо спросил Ракова; „На каких?" Тот стал перечислять: „На преображенских, московских, измайловских, да и на всех гвардейских солдат", присовокупя... к тому: „Чем оных решат дело, а то, может, и другим сделают тоже: ныне они все шепчут, когда к ним придут навещать другие солдаты, и говорят, что они невинны почти ни в чем".

Так отшумели январские настроения солдат. Думается, что они имели некоторые политические последствия и вне сферы военной политики. Дело в том, что как раз в январский подъем настроений солдат гвардии в Москве на квартире генерала М. А. Фонвизина шли заседания особого съезда „Союза Благоденствия". На съезде обнаружились разные точки зрения на ближайшие возможности момента. Тактически наиболее левым оказался ген. М. Ф. Орлов. То был человек с установившимся военным и общественным именем, с громадною популярностью в армии и в общественных кругах. Он, с настоятельною решительностью, предлагал применить против правительства самые крутые меры и, настаивая на них, ручался за свою дивизию, как их опору. Против этих мер оказались и правая и центр совещания. Понятен протест правой, сознательно клонившей дело к расстройству дел Тайного Общества и даже его ликвидации. Но позиция центра требует пояснений. Дело в том, что группа центра была настроена определенно противоправительственным образом, и именно из ее рядов вышел проект созыва съезда в целях усиления средств общества и оживления его работы. И, провалив предложение Орлова, эта группа сумела провести свой план жизни и работы Общества. Правда, впоследствии очень скоро оказалось, что практически этот план центра неосуществим, но эта его неосуществимость была связана с обстоятельствами, которые в момент съезда предвидеть было нельзя. Когда сопоставляешь настроения этой группы перед решением созыва съезда с ее поведением, планами и решениями на съезде, видишь собственно одну политическую линию. Я бы сказал, что это целостный ряд дум и попыток подвести под планы руководителей Общества физический фундамент силы и сеть умно построенной организации. В этом и будет основная разница группы центра с Орловым. Он, опираясь на свою дивизию, не ищет новой физической силы и не думает о новой организации. У них нет на лицо физической силы и надо думать о ней; им, пока эти думы претворятся в факт, нужна новая организация, опираясь на которую, они переждут безвременье и подготовят себе решающую дело физическую силу. Здесь, думается, корень их несогласия с Орловым, ибо им не с чем принять и провести его решительный план самых крутых мер.

Зная, что в составе этой группы центра был ряд петербуржцев, легко возражать против высказанных суждений от фактов прослеженных выше настроений солдат гвардии. Но против этих возражений можно выставить два соображения.

Первое соображение отправляется от того несомненного факта, что солдатское движение в Петербурге складывалось и развивалось вне прямого руководства или воздействия офицеров. Конечно, как я выше уже отмечал, офицеры гвардии путем более может быть, пассивного, чем активного, вмешательства, оказывали воздействие на политическое развитие солдат. Но это было частичное воздействие, по вольному или невольному почину отдельных офицеров, без какого-нибудь общего плана. От этого в решительный момент у солдат не оказалось прочных не служебных или личных, а политических связей с офицерами. Вспоминая просмотренные донесения, легко заметить, что только в Измайловском полку есть некоторое подобие таких политических связей, — да и то довольно отдаленное. Это как раз полк, где офицерство жило особенно интенсивною политическою жизнию, где в эти месяцы рос и складывался замечательнейший деятель севера, не угасивший духа в рудниках и глуши Сибири, и сумевший в эпоху реформ выступить энергичным и умным организатором — кн. Е. П. Оболенский. Но Оболенский был еще совсем молод для ответственной политической роли и не имел ни популярности среди солдат, ни боевого или общественного имени, которое бы импонировало им. Во всяком случае Измайловский полк, как солдаты, ни коим образом и ни в какой степени не был причастен к жизни и деятельности Тайного Общества, хотя видимо, и испытывал больше, чем другие полки, политическое воздействие с его стороны. Таким образом между организованным в тайные общества и политическим движением офицерства и политическим — скорее еще — брожением, чем движением солдатства не было смычки. Это приводило к слабости обоих. Другое дело, могла ли быть смычка этих двух политических течений?

И здесь мы подходим ко второму соображению. Дело в том, что солдатские планы политического переворота полны таких неожиданных частностей, которые, конечно, никак не могли быть приняты офицерством. Здесь надо, прежде всего, указать на знаменитые октябрьские прокламации, которые определенно

направляют движение не только против правительства, но и против дворян, как помещиков и как офицеров. Свой план государственного и военного быта прокламации строят, разрушая институты крепостного поместного хозяйства и офицерского командования. И дворянину-помещику и офицеру нечего делать в этом государстве октябрьских прокламаций. Институты выборности и своеобразного совета солдатских депутатов, которые устанавливают эти октябрьские прокламации, тесно связаны с теми лозунгами всесолдатского единения, которые с октябрьских дней до конца наших сведений мы улавливаем в солдатской среде. Это всесолдатское единение заострено, конечно, не только против власти, а и против офицеров. И, наконец, как вихрь отчаяния в политической настроенности солдат проносятся идеи и лозунги пораженчества. Надо думать, что представители этих идей считали офицерство и дворянство также обреченными на гибель, как государя или корпусного командира. Конечно, офицерство не могло, как бы ни было политически вольномысленно, принять политически и социально, убийственных для него программ октябрьских прокламаций, или лозунгов и идей всесолдатского единения и поражения на фронте. Политические и социальные пути офицерства и наиболее активных солдатских кругов оказывались настолько различными, что группы делались неслиянными. В самом деле, не только офицерство не могло принять убийственных для него идей, программ и лозунгов, но и выдвинувшие их солдатские группы не могли, оставаясь им верными, пойти на офицерскую программу политического переворота и не совсем отчетливых социальных реформ, о которой они едва ли знали, но по всем признакам имели возможность догадываться[1]). Что касается руководителей Союза Благоденствия, то они, конечно, знали обо

[1]) В этом отношении чрезвычайно любопытны воспоминания декабриста Гангеблова, который как раз в это время поступил в Измайловский полк. Он называет настроение солдат своего полка „мятежническим“, говорит о „расшатанной до своевольства“ дисциплине полка, о „нескрываемом пренебрежении“ к ней и „насмешливом свысока“, отношении к офицерам солдат, о „сознании“ ими „своей силы“ и об „озабоченности офицеров“ „особливо ротных командиров“ и даже делает общий вывод: „Видно, начальство потеряло почву под собой“. Читая Гангеблова, ясно видишь, что даже в Измайловском полку солдаты и офицеры—два неслиянных лагеря. „Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова“, М., 1888, стр. 14—15.

всех этих течениях в солдатских массах Петербурга: не даром же Ф. Н. Глинка сидел у секретных дел генерал-губернатора и по его поручению, по этим делам, входил в сношения с самим министром внутренних дел. Возможно, что Глинка и его товарищи по центральной организации Союза даже несколько преувеличивали значение уловленных в солдатских массах Петербурга настроений. Но они во всяком случае видели, что эти солдатские настроения гораздо левее их настроений, и понимали, что на этих более чем у них, левых настроениях никак нельзя опереть их относительно правой политики. Понимали они, конечно, и то, что невозможно перешагнуть через эти левые настроения наиболее активных групп солдатства, и строить переворот на пассивном послушании большинства: увлеченное ими против данной законной власти присяги, оно легко нарушит новую, данную власти, ими же поставленной, ради новой программы, где полнее будут удовлетворены нужды крестьянина и солдата. Таким образом, офицерство без прямой опасности для себя не могло попытаться поднять и двинуть против власти полки Петербурга.

Может быть, такое положение вещей Союз Благоденствия и мог бы преодолеть, ежели бы располагал в Петербурге фигурою типа Орлова или хотя бы Фонвизина, который силою своего обаяния сумел бы подчинить солдат своей воле и программе Союза. Но такого человека на севере не было.

Таким образом группе центра и хорошо представленной в ней центральной организации Союза Благоденствия было, действительно, не с чем принять и провести план самых крутых мер Орлова. А раз так, она должна была его отвергнуть и приняться за медленное накопление сил и средств в хорошо скомпанованной тайной организации. Она так и сделала. Так на жизни и работе Союза Благоденствия отразились настроения солдат Петербурга, собою определили их.

На 19-ое февраля приходится новый донос Валяева на „лейб-гвардии Артиллерийской Бригады легкой роты № 1 бомбардира Евграфа Васильева сына Васильева“ [1]). Из этого доноса следует,

[1]) См. в Военн. Лефорт. арх. в секр. фонде дело деж. ген. об отправлении в Шлиссельбургскую крепость служившем Лейб-Гвардии Артиллерийской Бригады в легкой № 1 роте бомбардире Евграфе Васильеве“, 1821 г., в. 2, № 8.

что Валяев — очевидно, по поручению своего начальства — „употреблял все средства к отысканию неизвестного сочинения бумаги, под названием Песни". Но поиски не увенчались успехом: по крайней мере Валяев, ничего более об них не говоря, приподнятым образом сообщает о своей удаче с Васильевым. Так, сказав, что „употреблял все средства к отысканию... бумаги", Валяев продолжает: „Но сия записка более открывает истины и здесь обнаруживает ужасные последствия о трех принятых зловредных намерениях противу Его Величества и целой России: в продолжении времени известный бомбардир Евграф Васильев, о котором подали записки 14-го февраля, в приватной квартире, у него нанимаемой, и во время проезда своего с Васильевым в Михайловский Дворец и по городу, он, Васильев, отрывками обнаруживал"... Далее идет существо доноса. Как и с Карасевым, у Валяева с Васильевым дело началось с относительно маловажного и коснулось в конце концов важнейших сюжетов солдатской политической мысли. Сначала Васильев „обнаруживал" Валяеву „вообще о всех нижних чинах Гвардейского Корпуса неудовольствие, что оным отпущают малое жалованье противу других иностранных войск, особливо отпуск деньгами вместо вещей: за рубашки 75 коп. и за проч. вещи; за такую низкую цену невозможно исправить противу образца положенного", и затем сразу перешел к семеновской истории, в которой вопрос о солдатском обмундировании сыграл как раз довольно заметную роль, — „и упоминая историю семеновских, что оные безвинно страдают за Шварца, по приказу своих офицеров"; на вопрос „Разве офицеры на это были согласны?" ответ Васильева был таков „естли бы они не приказали, то наши братья не осмелились так поступать", говорил Васильев „естли наши офицеры нам только слово скажут, и мы исполним тоже". Тогда Валяев „вновь ему, Васильеву, делал запрос: почему он так вступается за семеновских?" Васильев отвечал, что солдаты любят их и, хотя „жизнь из нас вытянут", не выдадут их. К этому Васильев прибавил: „Когда мы взошли в Париж (наша рота стояла в лагерях), тогда государь все нам обещал, а после всех нас обманул" и на запрос: чем? продолжал: „монарх австрийский, король прусский, великий князь Константин Павлович просили государя, обещание он свое сдержал, чтобы хотя на сутки позволить нашим войскам по Парижу

погулять, — то он не согласился, и вместо того выпросили все трое, чтобы на каждого солдата по 15 червонных. Париж согласился, то оные деньги с обывателей получили, а нам, солдатам, из оных ни копейки не отпущено, а роздали на разоренных мужиков, которые не проливали крови, а мы жертвовали своею жизнию и удержали славу России и сохранили здоровье Его Величества. За то награда семеновским - крепость! Ныне мы ничего не значим... Боевые снаряды принимают, весной пойдем в поход; то тогда в первое сраженье руками выдадим государя неприятелю"! „Желая более разведать о таковых злых намерениях", Валяев „уговаривал Васильева, что не хорошо для русских и постыдно будет делать измену", на каковые уговаривания Васильев сказал: „не обижай понапрасну и не обманывай нас, государь!.." Тогда Валяев, слыша такие ужасные выражения, „более любопытствовал" вновь, его Васильева: неужели сие может случиться? то он поклялся, говоря:... все „гвардейские согласны это сделать". Валяев „уверял" Васильева: „в то время может государя не будет?..", на что Васильев сказал: „Всякого корпусного командира отдадим; нам, солдатам везде быть солдатами, а там, может, гораздо лучше будет здешнего наша жизнь". Заключается донос Валяева словами: „Касательно до обещанных оным Васильевым книжек, то совершенно отказал, что оные у них за великий секрет имеются, и потому не может доставить оных; хотя он просил у фельдфебеля и ротного писаря с них копии, но оные ему не позволили писать".

Васильев, быв допрошен большими специалистами своего дела подп. Жуковским и следственным приставом Мыловым, подтвердил все сказанное про него доносителем: „подлинно он, Васильев, но когда именно, не припомнит, только не в одно время говорил Валяеву, однако без всякого стороннего возбуждения и злого намерения и не по собственным своим чувствам, но в нетрезвом виде и со слухов среди солдат, происходивших иногда при работах и иногда в банях, и иногда в питейных домах, иногда на торговых площадях, иногда на смотрах и случайно в артелях разных гвардейских полков. Слова же насчет войны и поведения гвардейских солдат во время ее произносил Валяеву он, Васильев, от того, что оные слышал в полку, или в питейном доме от четырех человек солдат гвар-

дейских егерьских и одного измайловского, говоривших между собой при питье, но как их имена, не знает и в лицо за прошедшим временем показать не может, что готов утвердить присягою". Относительно „книжек" Васильев объяснил, что обещал достать Валяеву „формулярные книжки, но потом, не достав оных, отказал". Показания свои Васильев заключил изъявлением раскаяния и просьбою, „так как говорил без всякого умыслу" о прощении. В „непозволительных речах" Васильева к Валяеву следует отметить настойчивое утверждение причастности офицеров! Васильев даже отказывается понять, как солдаты „осмелились" бы действовать, если бы офицеры им не „приказали"; далее Васильев, поясняя, повидимому, мысль о полноте солдатского повиновения офицерам, говорит: „естли наши офицеры нам только слово скажут, и мы исполним тоже". Эти заявления Васильева, конечно, совершенно не решают вопроса об участии офицеров Семеневского полка в действиях их солдат, но бросают любопытный свет на трактовку в солдатской гвардейской массе происшествия в Семеновским полку и на отношение в ней к своему офицерству. В дальнейшем важно отметить детализацию государевых обид и обманов солдатству. Парижская легенда о том, как государь сначала „все . . . обещал" своим солдатам, а после их „всех обманул", не дав им „хотя на сутки по Парижу погулять" и не выдав им собранных с Парижа взамен прогулки по нему денег „на каждого солдата по 15 червонных", каковые деньги царь отдал „на разоренных мужиков, которые не проливали крови",—является только наивным выражением действительно бывших больших обид и обманов, и в Париже и после него. Относительно солдатских планов на будущую войну Васильев говорил, что „все гвардейские согласны это сделать". Как видно, эти планы Васильеву казались прочными.

Вольные речи и признания на следствии Васильева были, надо думать, тяжелым ударом по самолюбию государя. И несомненно отзвуки государева гнева слышатся в вопросах которые ставит по его приказанию Васильчикову Волконский: государь приказал Васильчикову „велеть... привести" „через фельдъегеря" „солдата гвардейской артиллерии" „и лично задать ему вопросы: откуда набрался он этих мыслей? зачем он был у Валяева? почему он его знал? и почему он врет на счет

лагеря перед Парижем, который никогда не существовал и куда государи никогда не приезжали? и не был ли он в Петербурге в школе взаимного обучения?". Вот почему мы о Васильеве и о том, как от него получил свои сведения Валяев, находим несколько сведений в письме И. В. Васильчикова к кн. П. М. Волконскому: „Я забыл вам сказать в последнем моем письме, ... что я допрашивал артиллериста Васильева, продержал его более получаса и старался всячески его заставить говорить. Он мне поклялся, что все это он слышал на улице, в кабаке и в других публичных местах, что он познакомился с Валяевым в том же доме, где живет с своей женой и что в этом самом доме живет публичная девка, к которой ходил Валяев, и они его там напоили и заставили говорить. Я настаивал на том, чтобы узнать, не внушил ли ему эти слова кто-либо иной, обещал ему простить его, ежели он назовет мне того, от кого он их слышал. Он мне отвечал: „Сегодня страстная пятница; в такой день я лгать не стану, и клянусь вам всеми святыми, что я все это говорил без всякого дурного намерения: я был тогда выпивши и болтал, что попало. Никто мне никаких мыслей не внушал и слышал я все это на дворе. „Я его и так и сяк старался сбить: ничего не мог добиться; а в Ланкастерской школе он никогда не бывал" [1]). В этом отрывке характерно все — от приемов политического сыска до целей и средств политического дознания. К 8 апр. Васильев был уже посажен в Шлиссельбургскую крепость.

К этому времени Васильчиков уже в сущности мог праздновать полную победу. Старый Семеновский полк до конца ликвидирован, создан и вступил в круг гвардейских службы и быта новый, сверху донизу лойяльный, Семеновский полк. Постепенно поникли слухи и толки в солдатской среде. Повидимому, это должно быть поставлено в связь с одним новым обстоятельством военного быта: как раз к этому времени проведен был ряд мероприятий, уничтожавших в ротах обстановку, при которой естественно и просто солдат раскрывал свои тайные думы и настроения, и в которой за дружною товарищеской беседою вынашивались общие суждения и чувства: была уничтожена продажа вина в ротах, — и рассеялись и потеряли прелесть

[1]) „Русск Арх.", 1875 г., т. III, стр. 414.

беседы, у которых была отнята чарка [1]). Сошли благополучно предусмотрительно отложенные и попризадержанные инспекторские смотры; он сам о них выражался даже более решительно: „сошли отлично;... люди единодушно объявили, что довольны и мне кажется, я могу удостоверить, что эта история Семеновского полка не уронила войска“ [2]). И действительно, в марте и в самом начале апреля Васильчиков спокоен за своих солдат. Как раз в это время случилось—для всех, видимо, довольно неожиданно—распоряжение о выступлении в поход гвардии, и в недалекой перспективе стала вырисовываться новая заграничная кампания. Васильчиков доносил, что „солдаты довольны“ [3]) походом. Начиналась новая походная жизнь со своими интересами и опасностями, радостями и тревогами, более, чем в Петербурге, богатая личным содержанием и разнообразная; шла энергичная и быстрая подготовка к ней. Надо думать, что во время этой подготовки не в одной солдатской голове пронеслись мысли своеобразного пораженчества осенних и зимних месяцев: ведь война, так долго многими жданная, наконец давала случай осуществить намерения и надежды... Но в нашем распоряжении нет никаких известий об обнаружении в эти недели марта и апреля в гвардейской солдатской массе пораженческих идей. Трудно сказать, объясняется это недостаточною изученностью материала, случайностями розыска или чем другим. Но никак нельзя не принять во внимание, что государь начал гневаться обнаружениями тайной полиции. Его верный слуга Волконский еще в середине марта писал Закревскому, (и тогда же Милорадовичу), что „государь замечает из многих записок, от полиции получаемых, что люди, коим поручается выведывать у нижних чинов, большею частью делают им вопросы, о коих они никакого понятия не имели, и вводят ниж-

[1]) Много позже декабрист Гангеблов вспоминал об этих собраниях: „Солдаты, ничем не стесняемые, сходились на выпивки целыми сборищами, а где сборище,—там и толки, особливо „под чаркою“. Понятно, о чем толковали эти подогретые винными парами, грубые, недовольные умы, затронутые к тому же прежними примерами открытого протеста“. Он даже считал эти „сборища“ с „толками... под чаркою“ главною причиною того, что расшатанная дисциплина дошла до своевольства“. „Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова“, М. 1888, стр. 17.

[2]) „Русск. Арх.“, 1875,. 2.

[3]) „Русск. Арх.“, 1875 г., III, стр. 402.

них чинов в рассуждения совсем им не приличные, и может быть, своими вопросами и разговорами дают им мысли, о коих, может быть, солдаты никогда бы и не думали". Закревский, отвечая, признал, что „действительно, полиция делает при разведывании неприличные вопросы рядовым, как замечать можно из дел". Припоминая, что по делу Степанова — Карасева оба адресата Волконского полагали при узнанной и доказанной распространенности „основанных на пустых случаях и рассказах" „нелепых разговоров", что, „если входить" в их „подробное разыскание, то, судя по множеству их розыски будут беспрестанные; полиция и другие чиновники будут ими обременены, а пользы никакой от этих розысков не будет", — припоминая это, легко догадываться, что они дали по полиции — и военной и статской — соответственное распоряжение о тематической перестройке „разведываний" [1]). А оно, конечно, должно было повлечь за собою и изменение содержания донесений. Таким образом, как представляется мне, рядом с упадком настроения солдат и новою ориентировкою их быта, ожиданий и интересов, в прекращении наших сведений о противоправительственных и в частности определенно пораженческих настроениях в их среде играет роль изменение тем и, вероятно, приемов „разведывания", а быть может, и значительное сокращение самых операций по „разведыванию".

Понятное дело, что все это вместе взятое делало Васильчикова значительно спокойнее за своих солдат.

Но очень скоро нотки его писем сильно меняются. Инспекторские смотры дивизионных командиров в апреле дали два инцидента — у Розена и Потемкина, генералов, которых Васильчиков очень не жаловал. И Васильчиков снова взволнован. Он решает, что здесь „злонамеренные люди — действуют на войско" и заботливо ловит следы этих „злонамеренных людей". На короткий срок после нового инцидента в Преображенском полку у него, наконец, мелькает, как ему видимо казалось, осязательная надежда поймать, если не подстрекателей, то хоть злонамеренных зачинщиков". Это надежда никак, однако, не реализовалась... Вот отчего Васильчикову остается радоваться, что войска идут в поход: ведь петер-

[1]) „Сб. Русск. Ист. Об-ва, т. 73, стр. 58 и 56.

бургский воздух вреден и в частности очень заразителен для войска[1])...

Но действительно Васильчиков в апреле имел основания к волнению и беспокойству. Ведь оказывалось, что вне зависимости от вопросов политики, общей и в военном деле, солдаты крепко стояли на платформе своих основных, так сказать житейских и повседневных, требований — в области разнообразных хозяйственных — и в частности денежных — отношений и связей, и в области приемов обращения и воздействия сверху вниз. Остается впечатление, что политическая буря в их среде успела отшуметь и разбуженные ею политические настроения и думы — улечься; пусть все это сделалось не навсегда и готово опять подняться и зашуметь, когда сложатся к тому благоприятным образом обстоятельства, пока оно лишь тихо тлеет в глубине чувства, воли и мысли солдат... Но завоеванием эпохи подъема политических настроений и дум для солдат осталось повышенное сознание своих прав в области материальных и служебных отношений и открытая готовность легальным путем защищать свое имущество и свою честь. Это было важным завоеванием зимы, и Васильчиков чувствовал, что пассует перед ним. Сознанию Васильчикова оно предносилось особенно страшным потому, что „никогда солдаты не были лучше содержаны, как в эту минуту“[2]), — так сам Васильчиков оценивал материальное обустройство солдат и, судя по той заботливости, которую проявляла к солдатству испуганная его брожением власть, был совершенно прав в своей оценке. Дело же заключалось в том, что солдаты быстро переросли плоды заботливой уступчивости власти...

Если северный солдат пережил зиму 1820 — 21 гг. в довольно приподнятом настроении, солдат южной армии переживал эту зиму, видимо, в глубокий его упадок. Там жестокая тяжесть службы вызывала побеги в Румынию. Очень любопытно, что сам чуждый каких-нибудь новшеств ген. И. В. Сабанеев находил справедливыми жалобы солдат на тяготы изнурительной и сопряженной с постоянным битьем службы[3]). Конечно, должно

[1]) „Русск. Арх.“, 1875, III, стр. 408 — 09, 411 — 12, 415 — 16.
[2]) „Русск. Арх.“, 1875, III, стр. 408.
[3]) „Сб. Русск. Ист. Об-ва“, т. 73, стр. 579.

было-бы считаться важным, чтобы на этот далекий страдающий солдатский юг не перебросились приподнятые настроения солдатского севера. И, однако, рассылкою семеновцев это было сделано.

Ближайшие к происшествию в Семеновском полку месяцы, русская армия живет тяжелыми о нем и о расправе с полком воспоминаниями. Конечно, концентрируются тяжелые воспоминания в гвардии. Но ее поход в 1821 г. перенес густой слой этих воспоминаний на русский запад, а рассылка старых семеновских солдат, по разным военным частям русской армии, перекинула их в разные, иногда очень отдаленные, пункты страны. И, конечно, вместе с этими тяжелыми воспоминаниями переносились на новое место и в новую среду и чувства сдавленного, бессильного раздражения, и чувства живой жалости к славным товарищам, и чувства столь же живого опасения за свое собственное будущее. К сожалению, известий обо всем этом в нашем распоряжении до крайности мало. Тем больший интерес получает сохранившаяся в деле Следственной Комиссии по делу декабристов „О рассмотрении в комиссии бумаг, найденных в кабинете покойного государя“ (л. 67 — 81), всеподданейшая записка „Неизвестного“, богатая разнообразными конкретными указаниями на современную неизвестному автору действительность.

Через год с небольшим после происшествия в Семеновском полку, М. М. Сперанский получил от пожелавшего остаться неизвестным лица записку на имя государя. В сопроводительном к ней письме автор говорил Сперанскому, что считает себя „должным“ „осмелиться представить и свои мысли“. Он пояснял эту свою решимость рядом обстоятельств: 1) „слухами“, которые „до самых отдаленных пределов нашего отечества доходят“, что государь „намеревается коли не совсем дать новое образование в управлении Империи, то по крайней мере исправить некоторые упущения и многосложности в судах, кои дают повод нередко к злоупотреблениям“, 2) тем фактом, что государь „для блага государства... приблизил... вновь к своей высочайшей особе“ адресата, т. е. Сперанского, и 3) соображением общего характера, что „всякий россианин родится на то, чтоб быть в чем либо полезным“. А в заключение просил Сперанского поднести из „своих мыслей“, „что найдет“ к тому „достойным“ государю на его „воззрение“. Но искушенный опы-

том Сперанский поступил иначе, чем его просил автор записки: он представил сразу и целиком, без каких-либо своих отмет, государю и записку и препроводительное к ней письмо неизвестого, видимо через главный штаб с коротенькой записочкой без обращении и надписи. В ней он характеризовал работу неизвестного словами: „Мысли не новые; но есть примечательные и вообще видно искренее чувство к добру и доверие к правительству", но „на случай, если бы благоугодно было приказать расведать о неизвестном сочинителе приложил конверт, по коему, может быть, какия-либо сведения собрать от почтамта будет можно". Не останавливаюсь здесь на разборе мыслей и настроения записки; отмечу только, что Сперанский совершенно правильно определил и то и другое. Для меня в этой записке сейчас важно отметить строки, посвященные ее неизвестным сочинителем некоторым новым моментам в жизни солдат русской армии.

Автор записки говорит, что „к дерзости нижеследующие строки начертать к... усмотрению" государя его „побудило" „происшествие, случившееся" в государево „отсутствие в столь им отличаемом полку". Любопытно, что автор свои замечания „по воинской части" начинает с определенно политических: „Хоть строгость и обхождение с нижними чинами (чего точно не знаю) полкового командира были, может быть, неприличны, но, конечно, от каких либо злых умов русских или иностранных выльются в резиденции твоей, а паче в полках многочисленной гвардии, в желания видеть какую либо конституцию, самопомысленную,—может быть, более для блага своего, а не для отечественного; военное начальство, тобою в отсутствие выставленное, укротило непослушных; но знаю (хотя доказать точно не могу), что слухи и до отдаленных мест твоего владычества распространились, что якобы многих оставших полков гвардии, а паче молодой, говорили: „не так повели дело: коли б за роту от полка отлученную, полк пошел к военным поселянам сказать, что случилось, не так бы скоро уняли". Стало, дух сей поселился. Дай боже, чтоб наказание полку сделанное и выход гвардии на время из резиденции дух сей совсем уничтожили! Но если отголоски какие будут, позволь доложить: на что такое большое количество гвардии в одном городе? уничтожить вновь сформированную—мудрено;

но распределить часть в Москву, часть в Киев и часть в Казань или Астрахань можно. Ты, государь,—подвижный, все пределы государства своего посещаешь, везде гвардию иметь можешь, в случае войны она должна давать пример линейным войскам на тех границах где военные действия открыться могут". Далее автор вспоминает время, когда гвардии было менее, чем теперь, и делает очень любопытное замечание об ее офицерстве той поры: „по малому количеству тогда офицеров определялись в гвардию из лучших фамилий, хорошо воспитанных, и кои от родителей своих ничего другого не слыхали, как о верности к государю и отечеству без всякого умствования нащет образа управления государством"—и прибавляет политический кивок в сторону офицерства нового времени: „хотя ты всемилостивейший государь, смотрами последними был доволен и отлично наградил начальников, но не доказано еще, чтоб в числе субалтерн-офицеров, от коих и в других землях начинались беспокойства, не было недовольных, а паче по дороговизне и скуке того края, где теперь расположены". Далее идет рассмотрение ряда вопросов военного устройства России, включая важнейшее—напр., о сокращении срока службы. В их обсуждении видно практическое знание автором записки современного ему военного дела и военной политики. А затем автор продолжает: „В заключение всего, государь, не могу оставить в молчании замечания почти общего, что никогда поселянин казенной или помещичей с оруженосцом в такой дружбе друг к другу не пребывали, как теперь,—от того ли, что первый хотя и щитает себя отягощенным постоем в том, что определительного времени не знает, когда для постояльца иметь должен кашу и щи готовые, но извиняет его в том, как будто от соболезнования, что и он приходит к нему в крайней усталости от частых и беспрестанных учений, а взаимно и воин гораздо прежнего снисходительнее к хозяину и обходится с ним много ласковее, как будто из сожаления, что в рабочую пору он много его беспокоить должен требованием, когда только свободен сам от учения и других должностей, пищи, повод для перемещения рот или команд, нужных к препровождению и подвоза рекрутских партий, и самих крестьян и телег запряженных для ведения лошадей ремонтных, для калтаментов соломы, дров и лесу для биваков. Не знаю, полезнее ли, чтоб они так в сношениях своих

о взаимных трудах дружились или чтоб была прежняя между ними холодность и определительные часы на обязанности одного и требование другого; солдаты, бывшие в последних походах, что нередко случалось мне самому слышать, рассказывают хозяевам не токмо о своих подвигах, что и свойственно защитнику отечества сообщать кормителю оного,—где, что и как он свое дело отправлял, но большею частию жалеют, что они теперь дома, „заграницею-де нам везде лучше было, да и крестьяне много вас богачее, и лошадь и упряжь и повозка ваших превосходнее, и исправников и управителей так не угощают, как здесь; таковые беседы откровенные между войном и поселянином не вредны ли для общего спокойствия?“

Как видно, автор записки знает соладтскую жизнь на местах и в частности в деревне, на постое. Можно сказать, что он полон ее впечатлениями и расценивает многие из них, как новые, ранее не бывшие и тревожные. Так его и поражает новизною и волнует большою тревогою, подмеченное им и его осведомителями, устанавливающееся содружество защитников и кормителей отечества — солдат и крестьян, помещичьих и казенных. Он видит в этом создающемся содружестве угрозу спокойствию страны и жалеет о прежней, утраченной ныне, холодности между ними. Это, пожалуй, самое интересное из его сообщений. Но рядом с этим сообщением нельзя не поставить другое — речи солдат гвардии, особливо молодой, что семеновцам помощи надо было искать в военных поселенцах. Невольно вспоминаются речи новгородских мужиков..

И в свете естественно возникающих добрых отношений между теми, кто равно обойден и замучен установившимся порядком жизни, и одинаково перед ним бессилен и бесправен,—между победоносным защитником отечества и его трудолюбивым кормителем, солдатом и крестьянином, начинает особенно опасным казаться не убывающее недовольство солдат. Правда, в итоге умных и решительных мероприятий власти, оно заметно теряет в силе и резкости своего выражения, но за то, видимо, широко распространяется по лицу страны и глубоко залегает в солдатском сердце. И как видно, начинают сознаваться ошибки и уроки осени 1820 г. и в частности политические, может быть самая крупная из них — игнорирование в октябре и ноябре естественного союзника, верного и решительного,—физически

и морально замученных аракчеевским режимом и до конца им озлобленных, военных поселян.

И действительно, все это большое солдатское недовольство, так выпукло при всей краткости изображения нарисованное Карасевым, Васильевым и другими не умерло в зимние месяцы 1820—21 г. и весенние 1821 г. Так, от 1823 г. у нас есть свидетельство, показывающее, что недовольство и толки типа этих месяцев еще жили в солдатской — и уже не гвардейской — массе (о настроении гвардейских солдат в моем распоряжении для 1823 г. нет материала). Рядовой пехотного принца Вильгельма Прусского полка Иов Гобов (или Гобоев) говорил, в отпуску у матери в деревне, „дерзкие слова нащет высочайшей особы государя императора". Дело происходило по показаниям испуганных свидетелей так: односельчанин, повидавшись с Гобовым и узнав, что он приехал в отпуск, сказал: „Дай бог многие лета нашему великому государю императору, что он милосерд к подданным своим, — отпущает солдат в отпуск для свидания к родственникам. Солдат Гобов, вставши с места, с дерзостью сказал, что вы мужики, почитаете государя за бога, а он чтит его за черта, нахаркав, плюнул на пол и говорит, что государь император лукавец глухой: когда француз был в Москве обещал за спасение его отечества солдатам прибавить жалованье и уменьшить срок службы, но после всех обманул, естли-бы де знали обман сей, то бы верно все поставили штыки в пол и неприятелю дали свободу. Естли какой другой король будет впредь воевать с Россиею, то верно измену сию сделают, — пропустят неприятеля даже в Сибирь, что слышав, они ужаснулись, и голова говорил ему, Гобову, чтоб он молчал и что он принял на верность службы присягу за веру, отечество, за царя и за мать пресвятую богородицу и нарушать ее ни в чем недолжен. Гобоев, не удовольствуясь тем, пояснил, что пресвятая богородица — на стене, ничего не говорит, а солдаты все знают" [1]). Речи Гобова дышат раздражением против государя, в выражениях по адресу которого Гобов совершенно не стесняется, а иногда („лукавец глухой") бывает и очень меток.

[1]) Арх. канц. деж. ген. по секр. части. Св. 4, д. № 21. По отношению министра юстиции о рядовом пех. Пр. Вильг. Прус. полка Иове Гобове, произносившем дерзкие слова нащет высочайшей особы государь императора. Нач. 4 окт. 1823 г. конч. 19 сент. 1826 г.

Он, как и Васильев поясняет, в чем заключался обман государем солдат, — но по иному, чем тот: государь не сдержал обещания „прибавить жалованье и уменьшить срок службы". В угрозы по части войны Гобов вносит еще одну решительную черту: заявляет, что в случае войны солдаты „пропустят неприятеля даже в Сибирь". Заключает свои раздраженные речи Гобов кощунственными словами про „мать пресвятую богородицу".

К тому же приблизительно времени относятся некоторые сведения о настроениях во второй (южной) армии. Как известно, проведение дисциплины и военное обучение осуществлялось там — особенно местами — с большою жестокостью. 16 мая 1823 г. ген. Сабанеев получил из Скулянского карантина любопытное для историка известие: несколько дезертиров из 17-ой дивизии переправлены обратно из-за Прута, при турецком чиновнике и письме от австрийского консула в Константинополе; австрийский консул сообщал, что число русских солдат, бежавших в Молдавию, чрезвычайно увеличилось, что некоторые из них были представлены султану и объявили следующее: войска России не имеют хлеба, солдат жестоко бьют и учат до совершенного изнурения; все солдаты согласились при объявлении войны и переходе чрез Прут, брося оружие, передаться туркам, дабы избавиться таковых мучений. Начальник турецких войск в Молдавии снимал с них допрос, на котором они показали, что им в России более жить невозможно, их не кормят, денег не дают, а бьют и учат с утра до вечера и, что они, зная о том, что здесь христианам головы режут, перешли, предпочитая таковую смерть беспрестанным мучениям. „Записка о последних происшествиях, случившихся в 17-ой пех. дивизии", сохранившая нам известие об этом письме австрийского консула, приводит и показания солдат, подтверждающие факты бегства и самоубийств в солдатской среде на почве порядков службы. Любопытен рассказ, как один солдат, не выдержав тягот службы хотел кончить жизнь свою самоубийством, но решил, что христианину приличнее умереть от руки бусурман и бежал за смертию в Турцию. Но солдаты утверждали, что ничего не говорили турецкому паше на счет перехода, в случае войны, русских солдат на турецкую сторону. Это не значит, конечно, чтобы другие солдаты, принятые султаном, того не говорили [1]).

[1]) Архив акад. Н. Ф. Дубровина, 72, 5

Два вопроса встают при ознакомлении с этим местом записки: первый, стоит ли настроение солдат второй армии в связи с настроением гвардии 1820 — 21 гг., — в том смысле, что сложилось под воздействием ее настроений? а ежели действительно так, то не содействовало ли распространению этих гвардейских настроений, в южной армейской массе, распределение по армейским полкам семеновских солдат в виде кары за октябрьское происшествие? Можно думать, что семеновские солдаты в 1820 — 21 г. были далеко не лойяльны по отношению к государю и позволяли себе на его счет довольно резкие суждения. Основанием к такому заключению будет не только знаменитая большая прокламация, объявляющая о своем семеновском происхождении, но оспариваемая в нем. Покойный В. Ив. Семевский привел донос некоего тайного агента на капгенармуса Семеновского полка Бобровского, в котором переданы разговоры солдат — семеновцев о государе: в декабре 1820 г. они считают его оставившим престол по присяге, данной при восшествии на него, и всего лишь своим шефом: ему как государю курс вышел, у нас нет теперича царя,... потому он присягу принимал только на 20 лет, и срок вышел, и он шеф теперича семеновских, пусть с нами вместе и идет", — далее насмешливо — резкая фраза о в. кн. Михаиле Павловиче[1]). Второй вопрос таков: русская политика в восточном вопросе в 20-х гг. (да и ранее, вообще после 1815 г.) отличается отсутствием твердости в отстаивании обеспеченных договорами русских интересов и равнодушием к судьбе греков, сперва готовивших борьбу с турками, потом в нее бросившихся. Последнюю черту русской политики принято объяснять преданностью имп. Александра идее Священного Союза. Можно и не сомневаясь в ней, ставить вопрос о том, что собственно ее, эту преданность идее Союза, создавало? Нельзя ли полагать, что обусловливала ее, между прочим, и неуверенность императора в своей армии? В самом деле, мы видели, какие в ее солдатской массе были настроения; давно известны настроения широких офицерских кругов. Пожалуй, рискованной, при их наличии, могла казаться мысль о новой войне. И надо учесть еще одно: армия вернулась из заграничного похода с расшатанною, по-

[1]) „Былое", 1907, 2, стр. 112.

видимому, дисциплиной и покачнувшейся военною выучкой. Пускать ее в новую войну такою казалось рискованным. Принялись за насаждение в ней строгой дисциплины и точной выучки. Спешность дела многих командиров заставила быть в этом насаждении жестокими.

Так солдатские настроения 1820 — 21 г. дожили до 1823 г.

Мудрено ли, что власть — и в частности и, быть может, особенно военная власть — живет ближайшие к происшествию в семеновском полку годы в большой тревоге за военные части столицы и всей страны. Ее очень волнуют вырастающие по временам в том или другом месте государства слухи — иногда преувеличенные или даже вздорные о неповиновении, или непорядках в солдатской среде. Так напр., в 1822 г., в октябре месяце, в Петербурге были получены известия о происшествии большого калибра в Тобольском полку. На деле—там, всего на всего, была неосновательная претензия одной из рот по части экономических сумм, а в Петербурге ее поняли, как нечто гораздо более значительное и опасное [1]).

Понятно это легковерие власти, испуганной в октябре и не переставшей с той поры переживать сюрпризы самых неожиданных и острых настроений в солдатских массах столицы. Еще понятнее оно станет, ежели принять во внимание, что население Петербурга, тоже доверчиво и нервно, воспринимало слухи о происшествиях в раскинутых по стране полках. Конечно, эти слухи знали и ими украшали свое упавшее настроение и солдаты петербургских войск.

Мудрено ли что, нервничая, власть становилась подозрительной. Так, в том-же 1822 г. в июле месяце разыгралось довольно большое дело титул. сов. Патракеева и мещанина Никитина, „оказавшихся подозрительными неблаговидностию своих расспросов, кои они делали в лагере Лейб-Гвардии Гренадерского полка рядовому". Существо происшествия так изображено в показании рядового, которому Патракеев и Никитин делали свои неблаговидные расспросы: «сего месяца 11-го числа пополудни в 12 и во время стояния его в лагере на семеновском парадном месте перед палаткой у правого фланга, придя два неиз-

[1]) Моск. Воен. Леф. Арх,. секр. фонд деж. ген., 1822 г., св. № 5, д. № 32 „о случившемся происшествии в Тобольском пехотном полку".

вестные человека, одетые в партикулярное платье, стали спрашивать его, ходят ли в лагерь играть музыканты и поют ли тут песельники, он отвечал, что музыканты приходят только по воскресным дням, а песельники поют каждый вечер, после чего они спрашивали: „каково у вас в лагере продовольствие? хорошо — ли стоять в лагере? как с вами обращается начальство? и весело ли вам стоять?“ он отвечал, что пища у нас хорошая и весьма достаточна, начальство с нами обращается хорошо, и нам здесь стоять очень весело; потом спросили: „где твоя палатка?“ можно ли в нее взойти и послать за вином, а между тем и с вами обо всем поговорить? Ермолаев сказал, что палатка моя здесь порожняя и в в нее взойти можно; но только у меня денег на вино нет; на что они дали ему 20 к. серебром и сказали: „возьми и пошли за вином; мы выпьем, и вам поднесем“; который, взяв деньги и видя, что они спрашивают противузаконное, тот же час сказал о сем фельдфебелю, а оной представил к господину ротному командиру капитану Кулеваеву, который повел их к баталионному командиру, перед коим они, став на колени, просили, чтоб их отпустить и никуда не отправлять“. Разговор Ермолаева с „неизвестными“, как Ермолаев его рассказал, подтвердил другой рядовой Кир. Егоров.

Патракеев и Никитин упорно отрицали опасные показания С. Ермолаева. В их изображении дело обстояло совершенно невинным образом: они — де расспрашивали — глав. обр. Никитин — Емельянова, как обстоит в лагере дело с музыкою и пением, всегда ли бывают? Емельянов им отвечал и предлагал „повеселить“; Никитин замялся — так показывал Патракеев — словами, что-де „повеселить“ будет стоить „дорого“, но попросил чего-нибудь выпить и дал солдату, чтобы купить „чего-нибудь выпить“, 80 к. сер., а тот, деньги взяв, позвал их к себе в палатку, где они и были задержаны. Их спрашивали и вместе и врозь, делали им очные ставки и меж собою и с Ермолаевым, но сбить или уличить их не могли, — они, при некоторых разногласиях между собой, в основном остались и солидарными и неуступчивыми. Государь уже через несколько дней — 20 июля — повелел «титулярного советника Патракеева и мещанина Никитина за непризнание и хождение в лагере посадить в Петропавловскую крепость в каземат на 2 года, а между тем еще допросить, не подучали ли их к тому и с ка-

кими намерениями делали подобные вопросы". Они отвечали, что „сделали сие без наущения, по простоте" [1]).

В свете этих настроений солдатства и тревог за его политическое поведение, власти становятся понятнее расчеты членов Тайных Обществ на солдат, начиная с знаменитого решения московского совещания 1821 г. о цели общества и средствах к ее достижению, каковые участник совещания И. Д. Якушкин формулирует так: „Цель Общества состоит в том, чтобы ограничить самодержавие в России, а чтобы приобресть для этого средства — признавалось необходимым действовать на войска и приготовить их на всякий случай" („Записки И. Д. Якушкина", изд. 2, М., 1905, стр. 54). При наличии же у власти бесспорных сведений о таком настроении в солдатской среде понятна ее нервность и подозрительность к офицерству, для которого, впрочем, она к этому времени приобретает много и иных оснований. Вот отчего власть в 1821 — 23 г. так упорно принимает меры к ослаблению связей взятых на учет по политической неблагонадежности лиц с частями, которыми они командовали. Шла борьба за армию, за ее основную солдатскую массу, и правительство ее выиграло в таких крупных делах, как с Граббе в Смоленском районе „Общества 1821 г.", и с Орловым и Раевским на Кишиневском юге. У Орлова и Граббе были отняты их части, а они сами были взяты под бдительный надзор, из которого позже Граббе вышел на воинскую-же службу политически обезвреженным, но никогда не выбрался Орлов. Раевский же вынес длительное заключение, навсегда разлучившее его со службою. По нашим источникам это наиболее эффектные случаи борьбы, разыгравшейся в эти годы за покачнувшуюся в своей лойяльности армию между властью и неблагонадежным, входившим в тайные общества и близким к ним командным составом, — борьбы, в которой в конце концов победительницею осталась власть.

С. Чернов.

[1]) Моск. Воен. Леф. Арх., секр. фонд деж. ген., 1822 г., св. 3, № 13.

„Диктатор 14-го декабря"

Декабристу Трубецкому не посчастливилось в исторической литературе. О нем не только нет специальных монографий или статей, но и в общих построениях истории революционного движения 20-х годов XIX века личность и деятельность его до недавнего времени оставалась мало и туманно освещенной.

Такое отношение к Трубецкому со стороны историков, по преимуществу писавших о декабристах, довольно понятно. Они подходили к изучению „героев-декабристов" с оценкой с точки зрения „общечеловеческой морали". Трубецкой казался „изменником" делу борцов за свободу и о нем, вспоминая первые проблески русского революционного движения, говорить не хотели, да, в условиях старого режима, и не могли психологически.

Забывая значение Трубецкого вообще в жизни тайных обществ и в частности его роль, как одного и, может быть, главного организатора Северного Общества, и, выдвигая на эту роль казненного Рылеева, говорили о случайности выбора Трубецкого диктатором декабрьского восстания, благодаря лишь густым эполетам и княжескому титулу, или о его странном и необъяснимом поведении в день 14 декабря, или о его крайне мягкой натуре, боявшейся крови.

Лишь в последнее время было сделано несколько попыток характеристики идеологии и отчасти деятельности Трубецкого. Мы имеем в виду работы по истории движения декабристов М. Н. Покровского и Н. А. Рожкова. Покровский в своем четырехтомнике, характеризуя восстание, говорит, что 14 декабря встретились две социальные силы: вокруг Николая, шедшего на приступ императорской короны, сплотилась знать, а завоевы-

вать республику шли те, у кого были „не тысячи, а только сотни душ". На стороне восставших из „блестящих рядов „знати" 14 декабря сиротливо и конфузливо стоял один князь Трубецкой — видимо чрезвычайно смущенный тем, что он попал не в свое общество. Ибо нельзя же объяснить невозможное поведение „диктатора" только его трусостью: все же он был солдат, и в нормальной обстановке сумел бы по крайней мере не прятаться. Но его участие в заговоре именно было ненормальностью..." Трубецкой, таким образом, заблудившийся представитель „правительной аристократии" как бы случайно очутился в заговоре против этой самой знати и, почувствовав в последнюю минуту кровную связь с ней, вышел из заговора. Так объясняет Покровский психологию „измены" Трубецкого [1]).

Дальнейшим развитием этой точки зрения является построение Рожкова. „Аристократами большинство декабристов вовсе не были, почти единственным исключением в этом отношении был князь Сергей Петрович Трубецкой", пишет Н. А. Рожков, как бы повторяя Покровского. Происхождение либерализма Трубецкого Рожков объясняет отчасти боязнью демократического переворота, „громоотводом" которого могла служить программа заговора декабристов, в особенности умеренно-либеральная программа Северного Общества. Сближая политические идеалы Трубецкого с либеральными проектами аристократов или бюрократов того времени: графа Воронцова, князя Меньшикова, Мордвинова и Дмитриева-Мамонова и, больше того, считая Трубецкого историческим потомком конституционалистов XVIII века: кн. Дм. Мих. Голицына и князя М. М. Щербатова, Рожков так поясняет „социальный смысл политической идеологии" Трубецкого: „По существу либеральный диктатор был не более как либеральничающий аристократ очень умеренного конституционно-монархического типа. Не менее характерна его психология, та подсознательная сфера, которая послужила почвой политической идеологии. Одной из наиболее характерных черт Трубецкого было непомерно развитое самолюбие и честолюбие, несоответственное его личным дарованиям. Декабристы привлекали его тем, что выдвигали на первый план, поручая участие в комиссии по разработке устава Союза Благоденствия, выбирая диктатором для руководства восстанием; Пестель привлекал его перспективой участия в директории

Южного Общества и руководства всеми делами вместе с ним Пестелем. Но как только доходило до дела, — у Трубецкого замирала рука, его охватывал страх. Ничего нет характернее в этом отношении, чем поведение в день 14 декабря: руководитель восстания позорно дезертировал. Потом, во время следствия и суда, Трубецкой вел себя в полном смысле постыдно. Он униженно ползал на коленях перед Николаем, целовал ему руки, со слезами молил даровать ему жизнь. А когда жизнь ему была дарована, он не только искренно рассказал все о себе — это было его правом — но дал дальнейшее показание о других, выдавая всех с головою, шел даже до того, что донос возвел в нравственную обязанность, до прямой клеветы на себя, как на человека готового донести на Пестеля в то время, как они вместе подготовляли восстание. Все это понятно и естественно: Трубецкой слишком зарвался за ту меру, которая была допустима и терпима для людей его круга, оторвался от своего класса. Для людей смелых и сильных это в известной степени возможно,—Трубецкому это было не по плечу". Иные слова, иные извинения у Рожкова для революционеров — Пестеля, Рылеева, С. Муравьева - Апостол, Каховского, Бестужева-Рюмина*), которых он считает идеологами среднего или мелкого дворянства или нарождающейся буржуазии. Характеристика личности Трубецкого, данная Рожковым, невольно вызывает недоуменный вопрос: если Трубецкой был бездарностью тянувшейся в общество революционеров ради честолюбия, то почему же они то, революционеры, выдвигали его на руководящие роли? Ведь не может же быть, чтоб они, проведя в совместной работе с ним 10 лет, не знали его, не понимали, что он им чужой?

Новое объяснение личности и деятельности Трубецкого дает М. Н. Покровский в своих последних работах о декабристах. „Северным Пестелем" называет он Трубецкого в одной из этих работ, указывая на его руководящую роль в Северном Обществе. Но самое Северное Общество, как по идеологической программе, так и по тактике, противополагает Южному. Последнее Покровский считает мелко-буржуазной, революционно-демократической

*) К революционерам он причисляет, кроме помянутых казненных, только лишь Юшневского и Лунина.

организацией, имевшей целью захват власти путем вооруженного восстания. Северное же общество в целом было по его мнению „типичной буржуазно-помещичьей", либерально-оппозиционной группировкой. Тактика его 14 декабря была не тактикой вооруженного восстания, а „вооруженного давления" на власть с целью понуждения ее на либеральные уступки,—тактика „соглашателей". С этой точки зрения Трубецкой конечно не революционер, а „соглашатель", во время сумевший учесть слабость сил оппозиции и силу Николая и рассчетливо понявший, что лучше головой не рисковать; „соглашатель", который после ареста легко стал „предателем" [3]).

Так противоречивы сказания историков о декабристе Трубецком.

I.

Князь Сергей Петрович Трубецкой происходил из древнего рода князей Трубецких, владельцев Трубчевских потомков Гедимина.

Не углубляясь в историю рода Трубецких, отметим, что среди них было много государственных деятелей, игравших исключительно крупную роль в истории России в XVI—XVIII веках. Но к началу XIX века Трубецкие уже несколько „измельчали" [4]). Сергей Петрович был правнуком по прямой линии известного генерал-прокурора Елисаветинских времен, князя Никиты Юрьевича. Дед Сергея Петровича, Сергей Никитич (1731—1813) был военным, участвовал в польских войнах при Екатерине II и дослужился до чина генерал-лейтенанта. Все дети Сергея Никитича (5 сыновей и дочь) оставили мало по себе следов, не выдвинувшись сколько нибудь заметно по службе и не получив в наследство крупных имений.

Отец декабриста князь Петр Сергеевич (1760—1817) в молодые годы был на военной службе в конной гвардии, но уже в 1793 году был уволен к „статским делам" с чином бригадира, переехал в Нижегородскую губернию, где у него было около 200 душ крестьян, да у жены его, рожденной кн. Грузинской, около 1500 душ, и зажил там жизнью провинциального дворянина средней руки.

Крестьяне Трубецких были разбросаны по нескольким деревням Нижегородского уезда, находившимся в чересполосном

владении с другими помещиками, главным образом князьями Грузинскими. Землю крестьяне, сидевшие на оброке, обрабатывали „всю без остатка“, женщины сверх полевых работ пряли лен, посконь и шерсть, ткали холсты и сукно, не только для собственного потребления, но и на продажу. Исходя из средней цифры оброка для тех местностей в конце XVIII века в 5—6 рублей ассигнациями, годовой доход Трубецких надо полагать в 8—10 тысяч рублей. Впрочем князь Трубецкой, кажется, имел еще несколько сот душ крестьян в Орловской губернии, так что общий годовой доход его и его жены достигал максимально 12000 рублей ассигнациями. Более или менее влиятельное положение среди местного дворянства создавало ему родство по первой жене с князьями Грузинскими. В 1798—1800 г.г. Петр Сергеевич занимал должность Нижегородского уездного предводителя дворянства, а в 1801—1806 г.г. был губернским предводителем. После смерти первой жены, Петр Сергеевич женился второй раз на купчихе Кроминой. От первого брака у него было 4 сына: Сергей (род. 29 августа 1790 г.), Александр (1792—1853), Петр (1793—1840), Павел (1795—1802) и дочь Елисавета, и от второго брака сын Никита (1804—1855) [5]). Никто из детей Петра Сергеевича не сделал крупной жизненной или служебной карьеры [6]).

Наиболее блестящая карьера ожидала, быть может, Сергея Петровича, благодаря женитьбе его на дочери графа Лаваля. Но до того момента, когда рухнули всякие надежды на эту карьеру, он ее еще не сделал, и причислить его к кругу „правительной аристократии“ было бы неправильно.

Он родился и вырос, как мы видим, в дворянской семье, вполне обеспеченной, но вовсе не магнатской и при том провинциальной, и далекой от дворцовых и правительственных кругов.

По общественному положению он несомненно был ниже не только таких членов тайных обществ, как кн. Долгорукий, Лопухин, М. Ф. Орлов или Н. И. Тургенев, но, я сказал бы, ниже и всех Муравьевых, Муравьевых-Апостол и Пестеля; а эту последнюю группу декабристов обычно причисляют к среднему дворянскому кругу.

Первоначальное образование Сергей Петрович получил дома, в Нижнем-Новгороде, дядькою у него был англичанин, учителями русского языка и математики—учителя Нижегородской

гимназии, французского языка — эмигрант капитан Сталлер, немецкого — пастор Лундберг. Позже, когда юноше минуло 17 лет, отец повез его в Москву и там он стал посещать лекции в Университете, а дома занимался с учителем математикой и фортификацией. Учение было, повидимому, довольно систематичным и не бесплодным. Сергей Петрович приобрел большой интерес к естественным наукам и в бытность свою в Париже прослушал полные курсы этих наук *). Восемнадцати лет Сергей Петрович вступил в военную службу подпрапорщиком в Семеновский полк. Здесь он встретил тех, с кем судьба связала его на дальнейшую жизнь: Александра Николаевича Муравьева, Матвея и Сергея Муравьевых-Апостол, Сергея Шипова и Якушкина. Вместе они провели войну 1812 года и поход на Париж. Между этими людьми завязалась и крепла „откровенная" сильная и „живая" товарищеская связь, „сплетенная на биваках, на поле битвы, при делении одинаких трудов и опасностей" *).

Во время военных действий Трубецкому пришлось быть во многих боях. По свидетельству современников, он отличался большою неустрашимостью, хладнокровием и умением командовать. В Бородинской битве в течение четырнадцати часов под страшным огнем французов с замечательным присутствием духа распоряжался он своей ротой. В сражении под Кульмом он, командуя одним из баталионов Семеновского полка, не имея ни одного патрона, штыками выбил засевших в лесу французов. И это не единственные примеры его боевой карьеры. Перед нами, несомненно, стойкий военный человек и притом знающий военное дело.

Война 1812 года, как известно, была весьма популярна в широких дворянских массах. Молодое поколение русского дворянства восприняло эту войну именно как отечественную и шло защищать родину от „тирана Наполеона", который казалось грозил поработить ее так же, как поработил народы Запада. Оно шло затем освобождать эти порабощенные народы, поддерживаемое в своих чувствах официальной фразеологией императора Александра, клик которого огласил берега Рейна и Сены: „Свобода, освобождение".

*) Слова Трубецкого.

Эти патриотически-вольнолюбивые настроения в кругах наиболее образованной части военной молодежи, под влиянием наблюдений над бурной общественной жизнью Запада и восприятия тогдашних либерально-буржуазных политических учений, оформились в определенную политическую идеологию. Среди гущи русского офицерства образовались тонкие прослойки политически мыслящей интеллигенции. Представительное правление и свобода личности стали казаться этой интеллигенции, говоря словами Трубецкого, „необходимостью века".

Если, выступая в поход, будущие декабристы были настолько молоды, что не знали еще русского общественного быта с его самодержавием и крепостным правом, то по возвращении их в Россию быт этот оказался в резком контрасте с их новой либеральной идеологией. „В продолжении двух лет", писал один из них, „мы имели перед глазами великие события, решавшие судьбу народов и некоторым образом участвовали в них, теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. В это время Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы [Апостол] и я — мы жили в казармах и очень часто бывали вместе с тремя братьями Муравьевыми; Александром, Михаилом и Николаем. Никита Муравьев также часто видался с нами. В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет была почти каторга, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще. То что называлось высшим обществом, большею частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях и говорить уже нечего". Горячая любовь к родине заставляла эту мыслящую часть дворянства быть верной ей не только на „поле чести", но и на поприще мира. Она стала задумываться о необходимости перемен в общественно-политическом строе жизни, об отмене крепостного права и введении конституционного правления.

Так в мыслях о судьбах родины молодая русская интеллигенция ушла от „староверцев" далеко вперед, так возник ча-

стичный отрыв этой интеллигенции от классовых интересов и классовой психологии, породившего ее дворянства. Это было причиной и необходимым условием возникновения тайных обществ, ставивших целью коренное изменение общественного и государственного строя России.

II.

Вопрос о времени основания Союза Спасения, его инициаторах и первоначальном составе представляется не совсем ясным.

Трубецкой в своих записках определенно указывает, что Союз Спасения был основан 9 февраля 1816 года и что основателями его были Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и он, Трубецкой, а позже к ним присоединились А. Н. Муравьев, Новиков, Бибиков, кн. И. Долгорукий, Ф. Н. Глинка, С и М. Муравьевы-Апостол, кн. П. П. Лопухин и И. Д. Якушкин. В одном из показаний на следствии Трубецкой, не сообщая ничего об основателях общества, перечисляет его состав, но не полностью. Дату основания общества он указывает ту же, что и в записках, после некоторого однако колебания, обозначив год—„1816“, он написал было „и л и“, но потом зачеркнул. Очевидно год в памяти был непрочно. В другом показании Трубецкой более подробно рассказывает о зарождении Союза Спасения: „Я был дружен с Александром Муравьевым, с Шиповым; сей был дружен с Пестелем, с которым и я познакомился. Мы часто говорили между собою о бывших событиях, рассуждали что, уже быв каждый по возможности своей полезен отечеству в военное время, не должны быть бесполезны и в мирное... Тогда масонство было в большом ходу. Александр Муравьев, бывший тогда молодым человеком с пламенным воображением, пылкою душою, видел в нем какое то совершенство ума человеческого, предлагал вступить всем в масоны, но Шипов и я не были масонами, другие, которые у нас в виду были люди, также не были масонами и потому его предложение не было принято, а положено было написать небольшой устав для порядка и формы его. Устав был написан Пестелем. Собрались для прочтения его“. Таким образом, в этом показании Трубецкой говорит о первоначальном составе

общества, точнее о его основателях, совершенно сходно с тем, как много позже он изложил это в своих записках. Датирует же возникновение общества он в этом показании лишь годом — 1816. Иначе сообщает о возникновении Союза Спасения И. Д. Якушкин в своих записках. По его словам первоначально условились о составлении общества Трубецкой, Никита и Александр Муравьевы, а затем предложили вступить в него ему и М. и С. Муравьевым-Апостол. Даты основания общества он не указывает, но из сопоставления данных его записок видно, что оно относится к 1816 году. С. Шипов в своих записках, в полном противоречии с Трубецким указывает, что он узнал об образовании Союза в ноябре 1816 года от своего брата Ивана, который был принят в Союз летом 1816 года. Далее С. Шипов сообщает, что, вскоре после разговора его с братом, к нему приезжал Пестель и убеждал вступить в Союз, но он будто бы отказался. Сам Пестель говорит, что переговоры об учреждении Общества с ними вели Трубецкой, Никита Муравьев, Новиков и Ф. Глинка, Самую же организацию общества он относит к январю 1817 г. Не говоря об инициаторах общества, Пестель перечисляет его состав: Председатель — Трубецкой, надзиратели или блюстители — князь Лопухин и Александр Муравьев, секретарь — Никита Муравьев. Членами общества, кроме него, Пестеля были: Сергей и Матвей Муравьевы-Апостол, И. Долгорукий, кн. Шаховской, Федор Глинка, Иван Шипов, Новиков, Лунин, Бурцев, Якушкин и М. Н. Муравьев. И, наконец, оба Муравьевы-Апостол, в противоречие с данными Якушкина, указывали на следствии, что они были приняты в Союз Спасения в начале 1817 года, а основание союза Сергей Муравьев относил к 1816 году.

Было бы безнадежно трудно разобраться в приведенных противоречивых свидетельствах, если бы из этого затруднения не выводило показание Никиты Муравьева. Вот что он сообщает: „В продолжении 1816 года Александр Муравьев предложил мне составить общество, имеющее целью введение в России монархического представительного правления. По сему случаю пригласил он к себе Сергея и Матвея Муравьевых-Апостол, Якушкина и меня. После многих совещаний дело разошлось без всяких последствий. Якушкин через непродол-

жительное время перешел в армию... В это время познакомился я с Пестелем, и найдя в нем те же мысли, сблизил его с Александром Муравьевым, который в тоже время вступил в связь с кн. Трубецким. Пестель взялся написать устав общества, которое и возымело свое начало в феврале 1817 года, под именем Союза Спасения".

Теперь становится ясным, что в образовании Союза Спасения было два разных хронологических момента. Первоначальная попытка возникла скорее всего в первой половине 1816 года. Инициаторами ее следует полагать Никиту и Александра Муравьевых и Трубецкого. О последнем, впрочем, как инициаторе, Никита Муравьев не упоминает. Да и сам Трубецкой говорит об участии в организации союза лишь вместе с Пестелем, а этот последний относит организацию к концу 1816 и началу 1817 года. Но об участии Трубецкого именно в первой попытке определенно говорит, как мы видели Якушкин. Думаем, что память ему не изменила. Трубецкой в ней участвовал, но не столь деятельно, как Никита и Александр Муравьевы. Возможно, что его участие и ограничилось лишь одним посещением Муравьевых-Апостол, на котором зашел один из первых разговоров об учреждении тайного общества и о котором вспоминает Якушкин. Н. Муравьев говорит о другом собрании, у А. Муравьева. Трубецкой почти всю вторую половину 1816 года, лишь с небольшим перерывом, был тяжело болен и естественно не мог принимать живого участия в переговорах.

Первая попытка учреждения общества неудалась: некоторые из его инициаторов уехали из Петербурга, в том числе Якушкин, да и болезнь Трубецкого, вероятно, мешала не мало. Вторую попытку учреждения общества надо относить, согласно свидетельству Пестеля, к январю 1817 года. Основателями общества явились Александр Муравьев, Никита Муравьев, Трубецкой и Пестель. Устав был принят в феврале и к февралю следует относить окончательное оформление союза. Возможно, что это случилось именно 9 февраля. Эту дату, как мы видели, приводит Трубецкой, связывая впрочем ее с 1816 годом. В этом последнем отношении он очевидно запамятовал. В члены Союза Спасения в то время были приняты, кроме указанных выше инициаторов его, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостол, кн.

Ф. Шаховской, Федор Глинка, Новиков, Лунин, кн. Илья Долгорукий, кн. П. Лопухин, Сергей Якушкин, Иван Шипов, И. Бибиков и несколько позже Бурцев, М. Н. Муравьев, Фонвизин и Калошин.

Высказанное мнение о времени и ходе возникновения Союза Спасения, а также об инициативной группе или, вернее, группах подтверждается розысканиями следственной комиссии, изложенными в ее донесении: „В 1816 году несколько молодых людей, возратившись из заграницы после кампаний 1813, 1814 и 1815 г.г. и знав о бывших тогда в Германии тайных обществах с политическою целью, вздумали завести в России нечто подобное. Первые, сообщившие друг другу мысль сию, были Александр Муравьев, ныне отставной полковник, который сначала полагал сие тайное общество вместить в состав какой-нибудь масонской ложи, Никита Муравьев (капитан) и полковник кн. Трубецкой. На сих первых совещаниях о заведении Общества были сверх именованных офицеры прежнего Семеновского полка: Якушкин, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостол. Они не приступили тогда к исполнению своих планов и только в феврале следующего 1817 года, когда капитан Никита Муравьев познакомился с полковником Пестелем, сблизил его, как он говорит, с Александром Муравьевым, имевшим тесную связь с князем Сергеем Трубецким, учредилось их первое тайное общество, под названием Союза Спасения или истинных и верных сынов отечества“ [10]).

Устав Союза Спасения был составлен по поручению Общества особой комиссией, в которую были избраны: Трубецкой, И. Долгорукий, Пестель и Шаховской. Трубецкой, по словам его самого, занялся правилами принятия членов и порядком действий их в обществе; Долгорукий целью общества и занятиями его для ее достижения; Пестель формою принятия членов и внутренним образованием Общества. Кроме того Пестелем было написано общее вступление к уставу. Нельзя не пожалеть, что устав не сохранился. Хотя в уставе в целом, конечно, отразилась коллективная мысль — он был заслушан и принят Обществом — все же мы могли бы по отдельным его частям судить о тех или иных взглядах его составителей. Теперь об этом можно лишь отчасти догадываться. Пестель во вступлении к уставу выразил мысль, как рассказы-

вает Трубецкой, что „Франция блаженствовала под управлением комитета общественной безопасности“ т.-е. в эпоху террора. Эта мысль вызвала общее возмущение членов и поселила в некоторых из них недоверие к Пестелю, „ум и отличительные способности которого увлекали многих“. В этом инциденте уже сказалось более революционная настроенность Пестеля сравнительно с другими членами, которою он и позже всегда отличался. Трубецкой очевидно не разделял мнения Пестеля и здесь он впервые увидел в нем своего политического противника, с которым впоследствии ему не раз пришлось столкнуться [11]).

Пестелем кроме того была, как мы видели, выработана часть устава, в которой предусматривались формы приема членов и внутренняя организация Общества. Прием членов по уставу был обставлен довольно сложной и торжественной обрядностью, присягой, клятвами. Здесь, несомненно сказалось влияние масонства.

Пестель, Александр Муравьев и Трубецкой были масонами. Хотя последний на следствии это и отрицал, но теперь в наших руках имеется неоспоримое свидетельство о принадлежности его к ложе „Трех Добродетелей“: протокол того заседания ложи, когда он был принят. Как оказывается, он вступил в ложу 25 января 1816 года, т.-е. еще до того времени, как появилась мысль об организации тайного общества и следовательно, вне связи с работой общества, но возможно под влиянием настояний А. Муравьева, о которых Трубецкой говорил на следствии. Александр Муравьев также был членом ложи „Трех Добродетелей“. У него первоначально возникла мысль сосредоточить работу Общества в какой-либо масонской ложе. Некоторое время мысль эта приводилась в исполнение. Избрана была с этой целью именно ложа „Трех Добродетелей“, возникшая в 1815 году, в которой к тому времени состояли уже членами и Трубецкой и А. Муравьев. Последний был в высших масонских степенях. В конце декабря 1816 и в начале января 1817 г. в ложу были введены почти все наличные в то время члены Союза Спасения: Матвей и Сергей Муравьевы-Апостол, Никита Муравьев, кн. Ф. Шаховской, в нее перешли из других лож Пестель и кн. Долгорукий, а надзиратель ложи кн. Павел Лопухин был присоединен к Союзу Спасения. Ал. Муравьев на следствии прямо показал, что он стремился привлеч в ложу „Трех Добродетелей“ членов Союза Спасения

дабы их „обезопасить“. Возможно, впрочем, что некоторое время члены Союза пытались вести в самой ложе политическую работу. У М. Муравьева-Апостол создалось даже неверное впечатление, что ложа „Трех Добродетелей“ была основана с этой целью. Но скоро эти попытки были оставлены, вследствие того, как говорит М. Муравьев-Апостол, что все время заседаний ложи было занято масонскими работами и всякий масон мог приехать в ложу. Вместе с тем, члены общества встретили, повидимому, некоторое сопротивление со стороны масонов, чуждых Обществу: один старый масон Р. Кусаков писал Я. Ф. Скарятину в 1826 году по поводу событий 14 декабря: „мне кажется, что если бы покойный император не уничтожил масонских ложь, то не удалось бы карбанарству столько усилиться. На вашей памяти, как мы парализовали карбанариев ложи „Трех Добродетелей“, ни в каких правилах сей секты не успели они сделать прозелитов, даже принуждены были выйти из членов от нестерпимости слышать учение истины христианской. Иные же затейливые головы образумились как то: А. Н. М....“. „Затейливые головы“ действительно образумились: они скоро отошли от масонства, поддерживая однако, через Трубецкого, связь с ложей „Трех Добродетелей“, на которую Союз Спасения и позже Союз Благоденствия смотрели вероятно как на хороший вербовочный пункт. Трубецкой оставался действительным членом ложи до своего отъезда за границу в 1819 году. По возвращении из за границы Трубецкой уже не поддерживал связей с масонами.

Не следует думать, что масонские формы и обрядность, введенные в Устав Союза Спасения, были просто лишь подражанием модному тогда масонству, они имели и определенную практическую цель: надо было создать в тайном обществе твердую дисциплину, которая гарантировала бы его безопасность. Однако, эти формы и обрядность, стесняя деятельность общества и вызывая возражения со стороны некоторых членов, чуждых масонству, не привились в Обществе [1]).

Согласно уставу члены Союза делились на три степени: „Братий“ „Мужей“ и „Боляр“. Болярами считались основатели Союза, т.-е. очевидно все наличные тогда члены общества. Имена боляр должны были оставаться тайною для всех других членов. Боляре образовывали Верховный Совет Боляр, кото-

рому все члены были обязаны беспрекословным повиновением. Из боляр ежемесячно избирались очередные старейшины, председатель, два надзирателя или блюстителя и секретарь. Первый состав старейшин был таков: председатель Трубецкой, надзиратели Лопухин и Александр Муравьев, секретарь Никита Муравьев.

Конечными целями Союза Спасения по непреложному свидетельству ряда его членов были: введение монархического конституционного правления и освобождение крестьян. Но достижение этих целей представлялось возможным лишь в неопределенном будущем. В частности введение конституции мыслилось возможным в момент перехода власти после смерти Александра I к его наследнику путем отказа от присяги, пока новый император не согласится на ограничение своей власти представительством [14]).

Конкретные задачи, которые поставил себе Союз, заключались, во первых, в „воздействии на умы", путем поддержки пропагандой „полезных для общего блага" или порицания „вредных" правительственных мероприятий, разглашение злоупотреблений чиновников и во вторых в вербовке новых членов[15]).

„Воздействие на умы" имело в виду главным образом пропаганду ликвидации крепостного права.

Крестьянский вопрос никогда не сходил с русской исторической сцены, а в эпоху декабристов он обострился. Некоторые историки нашего времени это явление ставят в связь с тем подъемом народного хозяйства, который наблюдался после окончания войны 1812—1814 г.г. В частности указывают на то, что рост хлебного вывоза и хлебных цен заставлял русского дворянина искать способа увеличения продукции сельского хозяйства и в этих поисках придти к мысли о большей производительности вольного труда, сравнительно с трудом крепостным. Таким образом ликвидация крепостного права как бы диктовалась экономическими интересами помещиков и естественно стала в порядке дня. Отчасти, и для некоторых местностей России это верно. Некоторые помещики действительно считали необходимостью освобождение крестьян ради увеличения хлебной продукции. Хорошо известный рассказ Якушкина о предположении его, именно с этой целью, освободить часть принадлежащих ему крестьян, и некоторые сочинения

того времени, касающиеся вопросов крепостного труда, вполне подтверждают это. Но столь же неоспоримо однако и то, что такое отношение было свойственно не то, что меньшинству, но можно сказать только лишь единичным представителям землевладельческого класса. Дворянская масса своих крестьян освобождать не хотела. Якушкин сам рассказывает, что когда он поделился мыслями о необходимости освободить крестьян со своим дядей, то тот счел его сумасшедшим. Есть целый ряд свидетельств, что всякие предположения в этом направлении, даже исходившие от власти, дворянство встречало неудовольствием, и что, если бы правительство все же сделало попытку ликвидации крепостничества, то дворянство оказало бы сопротивление. Сошлемся еще раз на Якушкина. „Все почти помещики", говорит он в записках, „смотрели на своих крестьян, как на собственность, вполне им принадлежащую и на крепостное состояние, как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного права уничтожалось и самое дворянство" Грубецкой в записках говорит о том же: „Император Александр приступил к исполнению двух своих мыслей: 1-е был составлен проект для освобождения крестьян Эстляндских и явно начали говорить, что он намерен дать свободу всем крестьянам помещичьим... проект должен был иметь противниками почти всех помещиков". И дальше: „Государь выехал... через западные губернии и Малороссию. Кажется что цель этой поездки была приготовить мысли жителей этих губерний к свободе крестьян... В речи своей к малороссийским дворянам, государь объявлял о своем намерении, но в сердцах их не нашел сочувствия. Сопротивление изъявилось в ответных речах губернских предводителей Полтавского, Ширкова и Черниговского". Чем же в таком случае, если не экономическими интересами дворянства, объяснить движение в пользу освобождения крестьян, которое наблюдалось не только у декабристов, но и в правительственных кругах?

Нельзя не связывать этого движения с подъемом народного хозяйства после Наполеоновских войн и, в частности, с ростом хлебных цен, но только в „конечном счете". Помещики конечно искали способа увеличить производительность крепост-

ного труда, но нашли его по старине в усилении крепостного гнета. А это вызывало усиление крестьянских бунтов. Чтобы убедиться в правильности этого, достаточно указать, что с 1812 года количество бунтов непрерывно возрастает параллельно с ростом хлебных цен вплоть до 1818 года, следующего за годом наибольшего подъема цен. Усиление волнений крестьян было настолько значительным, что грозило перейти в новую пугачевщину. Трубецкой в своих записках говорит об этом совершенно определенно: „Язва крепостного состояния крестьян располагает Россию к большим бедствиям, в случае внутренних беспокойств, как был тому пример во время Пугачева, нежели всякое другое Европейское государство". То же самое он говорит и в одном из первых своих показаний: „Свободный образ мыслей..... укоренился во мне убеждением, которое я имел, что состояние России таково, что неминуемо должен последовать переворот современем, сие мнение особенно основывал я во-первых на частых возмущениях крестьян против помещиков и на продолжительности оных, равно как умножении таковых возмущений".

Крестьянской революции, пугачевщины, Трубецкой не хотел и боялся ее. „С восстанием крестьян", говорил он, „неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев; наконец может распасться на части, и из одного сильного государства обратиться в разные слабые. Вся слава и сила России может погибнуть, если не навсегда, то на многие века". Этой революции не хотел не только Трубецкой. Ее не хотел и Пестель. Это было общее мнение декабристов, и не только во времена Союза Спасения, но и позже. В этих настроениях сказывалась отчасти конечно, и классовая психология декабристов, вышедших из дворянской среды. Но не только классовая психология. Массовое дворянство в большей степени было ею проникнуто и боялось пугачевщины, вероятно, больше декабристов. И тем не менее оно стояло за сохранение крепостного права, правильно рассуждая, что с пугачевщиной пока существует самодержавие с его войском, можно будет справиться. Из приведенных выше слов Трубецкого видно, что он не хотел крестьянской революции, „боясь за славу и силу

России". Для декабристов чувство национализма чрезвычайно характерно. Но „национализмы" бывают разные. „Староверцы" из помещиков, отстаивая крепостное право, тоже ссылались, как это мы видели из выше цитированных слов Якушкина, на национальные интересы России. Но дело в том, что „староверцы" не мыслили себе Россию иначе, как дворянской. По мнению их, повторяем слова Якушкина, „Россия держалась одним только „благородным сословием". Декабристы понимали национализм уже в другом смысле, в смысле „общенародном", как толковал это понятие западно-европейский либерализм. Здесь сказалось уже „отщепенство" декабристов от дворянской психологии.

Члены Союза Спасения отчетливо представляли себе позицию в крестьянском вопросе дворян „староверцев" и видели, что борьба за освобождение крестьян предстоит серьезная и упорная. Решения вопроса они ожидали лишь со стороны правительства. А правительство колебалось. Продолжим рассказ Трубецкого, в котором он говорит о путешествии Александра I по западным и малороссийским губерниям: „Сопротивление изъявилось в речах губернского предводителя Полтавского Ширкова и Черниговского. Это кажется поколебало твердость государя, ибо в Москве он удержался от выражения своей мысли касательно этого предмета ". Приходилось вместе с тем считаться и с личным деспотизмом Александра, который вовсе не искал для осуществления своих проектов содействия с чьей бы то ни было стороны, а требовал лишь повиновения его воле. Когда Александр Муравьев представил императору записку по поводу освобождения крестьян, то получил такой ответ: „дурак, не в свое дело вмешался". И декабристы пришли к мысли что, Александр хочет не столько „счастья подданных, сколько личной славы". Таким образом, пропаганда освобождения крестьян стала принимать противоправительственный характер. [16]).

Остановимся еще на одной конкретной задаче, поставленной Союзом Благоденствия. Мы имеем в виду борьбу с мерами правительства по введению военных поселений, вызывавшими восстания поселян. Трубецкого, как и других его товарищей по обществу, не только возмущали те беспощадные формы подавления восстаний, которые проводились Аракчеевым по

приказу Александра. Самый факт учреждения поселений они понимали как создание „особой касты", которая, „не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения".[17])

Очерченные сейчас задачи Союза, представлялись Трубецкому, как наиболее существенные. [18])

Работа Союза Спасения однако не ладилась... Некоторые из членов уехали из Петербурга, в том числе наиболее влиятельные: Пестель и Трубецкой. Последний уже в феврале 1817 года был вызван к умирающему отцу, в Нижний Новгород, где оставался до осени этого года.

Среди оставшихся в Петербурге членов Общества можно наблюдать в это время два течения. Одно— более решительное в вопросах тактики, стоявшее за большую дисциплинированность членов, другое—более умеренное, требовавшее „медленного действия" в достижении целей и изменения тех правил устава, которые, как масонская обрядность, присяга, клятвы или требование повиновения верховному совету, связывали свободу отдельных членов суровой дисциплиной. С этой последней точки зрения устав встретил возражение особенно со стороны Якушкина, который, как мы знаем, не участвовал в его обсуждении. Ему устав послали в Москву, одновременно предложив вступить в число „бояр". Изменения устава требовали также Мих. Ник. Муравьев, Бурцов, и Калошин, которых очень хотел привлечь в Общество А. Муравьев.

Осенью 1817 г. гвардия была переведена в Москву. Там собрались тогда из членов Союза: Александр, Михайло, Никита Муравьевы, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостол, Шаховской, Калошин, Бурцев, Якушкин и М. А. Фонвизин. Споры о форме и деятельности Общества возобновились, в результате чего было решено отказаться от устава Союза Спасения и составить новый, руководствуясь уставом Тугендбунда. Брала верх, очевидно, умеренная группа членов, во главе которой был Михайло Муравьев. Занялись составлением устава. Но внешние события несколько накаляли создавшуюся в Обществе „академическую" атмосферу... „В это время", рассказывает Якушкин", приступили к введению военных поселений в Новгородской губернии, которые вызвали волнение крестьян, переводимых на военное положение. Для их покорения вызвана была

артиллерия и кавалерия, по ним стреляли, их рубили, многих прогнали сквозь строй.... Известия о новгородских происшествиях привели всех в ужас. Все знали, что истинный виновник этих страданий народа император Александр ... Тогда же была опубликована польская конституция. В ней было, между прочим, сказано, что никакая часть территории Царства Польского не может быть от него отторгнута, но что к нему по усмотрению императора могут быть присоединены некоторые части России. Все знали, все говорили, что Александр нелюбит Россию". Членов Тайного Общества с их националистическими настроениями, все это не могло не волновать. [19]).

Чашу миролюбия их переполнило письмо Сергея Трубецкого из Петербурга, в котором он сообщал о некоторых новых слухах по поводу намерений Александра, казавшихся подтверждением всех самых худших ожиданий.

Мы имеем несколько различных по содержанию рассказов об этом в показаниях декабристов и в их мемуарах. Ник. Муравьев первый, повидимому, сообщил подробности этого инцинднента следственной комиссии в показаниях от 5 января 1826 г. *). „В это время т.-е. осенью 1817 года", рассказывал Н. Муравьев, „пришло к Якушкину письмо от кн. Трубецкого из Петербурга, в котором он извещал, что государь император решился отделить польские губернии от России, и зная, что таковое предприятие не может исполниться без сопротивления, едет со всею царствующею фамилией в Варшаву, из коей издаст манифест о вольности крепостных людей и крестьян, что тогда народ примется за оружие противу дворян и во время всеобщего смятения польские губернии будут присоединены к новому царству...." Далее Н. Муравьев сообщает, что это „нелепое" известие произвело „чрезвычайное действие" на Якушкина, который тогда „мучился несчастной страстью" и не раз уже покушался на самоубийство. Якушкин решил принести себя в жертву: „Я убью царя и после застрелюсь". Фонвизин и С. Муравьев-Апостол убедили, однако, Якушкина дождаться объяснений Трубецкого. Последний был вызван в Москву, но не мог подтвердить своих сообщений и вопрос о цареубийстве был оставлен. Следственная комиссия

*) Комиссии, впрочем, было что-то уже известно о предполагавшемся в 1817 году цареубийстве, но о письме Трубецкого она не знала.

тотчас же обратилась к Трубецкому за подтверждением сведений, сообщенных Муравьевым, не раскрывая, однако, их полностью. Вопросы комиссии были сформированы таким образом: „На вас есть прямое показание, что в 1817 году вы писали Якушкину, что государь император положил тогда присоединить российско-польские провинции к Царству Польскому. Комитет требует от вас определительное показание:

a) от кого именно вы о сем слышали, b) с какою целью писали о сем Якушкину, c) не упоминали ли в том письме еще о других мнимых намерениях Государя Императора и о мерах, предположенных к исполнению сего присоединения, d) какое действие произвело письмо ваше на умы членов Общества, которым Якушкин оное сообщил, e) кто знал о письме вашем и о намерении, вследствие письма сего".

Трубецкой ответил очень осторожно: „Действительно в сентябре или октябре месяцах 1817 года я писал из Петербурга означенное здесь письмо, но, кажется, не к Якушкину, а к Сергею Муравьеву-Апостолу, a) слышал же я писанное мною от кн. Лопухина, b) писал потому, что по уставу общества полагал себя обязанным уведомить о том членов... c) поистине не могу упомнить упоминал ли я о каких других мнимых намерениях государя императора, о мерах же касательно присоединения российско-польских провинций Царству Польскому, сколько помнить могу, полагал, что об оном будет объявлено при открытии первого сейма в Варшаве, d) означенное письмо мое произвело самое вредное действие на умы членов, коим оно было сообщено, оно чрезвычайно некоторых взволновало до того что некоторые едва не решились на цареубийство, но бог помиловал их и меня, укротил сердца их, и письмо дальнейшего действия не имело, e) кто именно знал о письме моем я удостоверить заподлинно не могу, равно и о том, кто знал о принятом было вследствие оного намерении".

В этом ответе обращает наше внимание указание Трубецкого на то, что некоторые члены решились на цареубийство. Возможно что он писал так, чтоб не открывать Якушкина, но возможно, однако, что Трубецкой знал, что цареубийство предлагал не один Якушкин. Ответом Трубецкого комиссия не удовлетворилась: „В ответах ваших 10 ян-

варя вы неопределительно ответствуете. 1) О каком еще намерении покойного государя императора упоминается в письме вашем, писанном в сентябре или октябре 1817 года к Якушкину (а по словам вашим к Сергею Муравьеву-Апостолу)? Комитету же известно, что вы писали, что государь, зная неудовольствие, которое произведет на дворян присоединение к Царству Польскому российско-польских провинций, решился уехать со всею императорскою фамилиею в Варшаву, а оттуда обнародовать сказанное присоединение, дабы в случае сопротивления дворян, мнимо присужденным выездом своим из России возмутить крестьян против помещиков и тем принудить их к согласию на отделение от России польских провинций. Объясните, точно ли вы сие писали. 2) Кто именно первый... возымел посягнуть на жизнь покойного государя? (на это Комитет уже имеет определительное показание).

Следует отметить разницу между показанием Н. Муравьева и формулировкой вопроса Комитета: Н. Муравьев в своем изложении связывает предположение Александра о присоединении русско-польских губерний к Царству Польскому с намерением освободить крестьян. Комитет же устраняет эту связь, вовсе не упоминая о последнем.

Ответ Трубецкого снова оказался не вполне „определительным.“ 1) „Нет“, показывал он, „я никогда не писал ни в означенном письме, ни в другом каком-либо писанном, что государь император хочет со всею императорскою фамилиею уехать в Варшаву, дабы в случае сопротивления дворян мнимо принужденным выездом своим из России возмутить крестьян против помещиков и тем принудить их к согласию на отделение от России польских провинций. Я надеюсь, что все те, которые читали помянутое письмо мое утвердят, что сего в нем писано не было. Или уже совсем бог у меня память отнял... Тогда был слух, что государю императору угодно было освободить от крепостности помещичьих крестьян двух малороссийских губерний, в кои его величество и изволил тогда ездить, но сим слухом я был доволен, следовательно и не мог думать основать на нем какое-либо сопротивление. Может быть я писал в письме, что, с намерением отделения российско-польских провинций, отделяют из армии уроженцев сих губерний в Литовский корпус, но заподлинно утверждать сего не могу...

2) Кто именно первый из тогдашнего общества возымел злодейское намерение посягнуть на жизнь покойного государя, я утвердительно сказать ничего не могу, потому что сие я узнал после из рассказов, сколько помню, то мне сказывали, что более всех горячился Якушкин, но он ли первый возымел такую ужасную мысль, я удостоверить не могу".

В первом пункте ответа Трубецкого обращает внимание во первых, упоминание о том слухе, что Александр намеревается освободить крестьян малороссийских губерний — я заключаю отсюда, что в памяти Трубецкого содержание письма было каким то образом связано со слухами об освобождении крестьян, иначе он не упоминал бы об этом: следственная комиссия его о том не спрашивала, во вторых, упоминание о том, что предполагается выделение уроженцев „российско-польских провинций" в особый Литовский корпус в связи с присоединением этих провинций к Царству Польскому—надо думать, что и в письме об этом намерении Александра упоминалось, и в третьих: категорическое отрицание упоминания в письме о намерении Александра возмутить крестьян против помещиков своим „мнимопринужденным выездом" в случае сопротивления дворянства присоединению к Польше российско-польских провинций.

Во втором пункте ответов Трубецкого следует отметить новое указание на то, что не один Якушкин возымел злодейское намерение посягнуть на жизнь Александра.

Приведенных данных, однако, мало чтобы уяснить содержание письма Трубецкого и восстановить картину московских настроений. Трубецкой в записках своих, которые, как известно написаны много позже, так вспоминает события 17 года: „Сомнение, что он (Александр) ищет больше личной славы нежели блага подданных уже вкралось в сердца членов общества, сделавшимся им известным откровенным разговором наедине государя с князем Лопухиным. Перед самым отъездом из Петербурга государь объявил ему, что он непременно желает освободить крестьян от зависимости помещиков и на представление князя о трудностях исполнения и о сопротивлении которое будет оказано дворянством сказал: „если дворяне будут противиться я уеду со всей своей фамилией в Варшаву и оттуда пришлю Указ". Когда эти слова были

переданы некоторым членам общества, бывшим в Москве, то в первую минуту мысль о том, каким ужасам безначалья могла подвернуться Россия от такого поступка, так сильно поразила одного из членов общества, что он выразил готовность, если бы государь показал себя таким врагом отечества, принести его в жертву, не щадя собственной жизни".

Таким образом, сопоставляя только что приведенный рассказ Трубецкого с его отмеченным мною упоминанием во втором показании о намерении Александра освободить крестьян малороссийских губерний, следует заключить, я думаю, что в письме Трубецкой действительно писал и о предположении общего освобождения крестьян путем, в случае сопротивления дворян, указа из Варшавы, который мог, по мнению Трубецкого, спровоцировать крестьян на восстание.

Но есть свидетельства, которые могут еще пополнить сведения, как о содержании письма Трубецкого, так и о тех результатах какое оно имело. Я имею в виду показание Якушкина и его рассказ в записках. В первом он говорит: „В 1817 году, кажется, в октябре месяце, которого числа не припомню, но прежде прибытия покойного государя императора в Москву, был я вместе с другими сочленами приглашен на особенное совещание, назначенное по случаю чрезвычайных известий, полученных из Петербурга. На сем совещании один из членов сообщил другим письмо, содержание которого до сих пор со всем моим старанием точно припомнить я не мог, но вообще, если не ошибаюсь, то оно заключало в себе извещение, что будто бы покойный государь император, дав конституцию Польше, учредив отдельный Литовский Корпус, присоединяя польско-российские губернии к Царству Польскому, старается сим привлечь к себе привязанность поляков, дабы иметь в них верную опору, в случае сопротивления в России угнетениям, угрожающим ей при учреждении военных поселений и проч. Излагая содержание упомянутого письма я может быть и ошибаюсь, но уверен, вопреки единогласного показания всех бывших моих сочленов, что в это время от князя Трубецкого никакого письма я не получал, что письмо, читанное на совещании, было послано не ко мне, но я его читал. По выслушании письма, представляющего Россию в самом гибельном положении, я спросил у присутствующих

на совещании членов, точно ли они убеждены в справедливости полученных извещений, и по уверении, что они нисколько не сомневаются в достоверности оных, равно как и в том, что для России не может быть ничего несчастнее, как остаться управляемой покойным государем, объявил я им, что в таком случае я готов пожертвовать собой, дабы спасти Россию от погибели и решаюсь покушаться на жизнь покойного государя императора. Присутствующие на совещании члены предложили мне разделить со мной опасность предприятия и предоставить жребию назначить того, кто должен совершить оное; но я отверг их участие, не желая никого из них подвергнуть опасности предложенного мною предприятия". Отсюда мы видим, что в письме сообщались сведения и о Литовском Корпусе и о присоединении российско-польских провинций к Царству Польскому, причем связывалось это с стремлением императора иметь опору в Польше на случай грозивших волнений в России в связи с введением военных поселений. Но здесь нет никаких упоминаний относительно проектов освобождения крестьян. В записках же Якушкин очень сходно со своими показаниями говорит о польских симпатиях Александра, о том, что царь влюблен в Польшу, что ненавидит Россию, которую он считает несравненно менее „образованной" по сравнению с Польшей, что он намеревается отделить некоторые земли от России и присоединить их к Польше и что, наконец, он хочет и столицу перенести в Варшаву. Сопоставляя данные, которые мы имеем из свидетельств Якушкина и Трубецкого о содержании письма последнего, мы кажется не ошибемся, если включим в его содержание все те сведения, которые ими (но не Н. Муравьевым) приводятся. Итак, Трубецкой в своем письме писал: 1) о том, что царь влюблен в Польшу, которую считает несравненно образованнее России и смотрит на нее, как на часть Европы, 2) что он ненавидит Россию, 3) что он намеревается отторгнуть от России польские губернии, чтобы их присоединить к Польше, что видно между прочим и из того, что уроженцев этих губерний выделяют из армии в Литовский Корпус, 4) что он намеревается перенести столицу в Варшаву, 5) что всем этим он хочет создать в поляках опору на случай возникновения волнений в России в связи с введением военных поселений и, наконец,

6) что Александр, как сообщил Лопухин, намеревается освободить крестьян, причем Александр, на возражение Лопухина о трудности этого и возможности сопротивления дворян, заявил, что в таком случае он уедет в Варшаву, и оттуда пришлет Указ о вольности крестьян; а это последнее обстоятельство, по мнению его, Трубецкого, может вызвать крестьянское восстание, „подвергнуть Россию всем ужасам безначалия и поставить ее тем самым на край гибели". В такой реконструкции письмо Трубецкого не представляется уже таким „нелепым", каким оно действительно кажется из намеренно спутанного изложения Н. Муравьева. Наиболее „невероятными" кажутся последний пункт письма да, по свидетельству Якушкина, сообщение о перенесении столицы в Варшаву, но, говоря словами Якушкина, „после всего невероятного, совершаемого русским царем в России", члены Союза Спасения могли всему поверить. Н. Муравьев, намеренно изложил письмо Трубецкого очень спутанно, представив сведения последнего еще более невероятными, чем они были на самом деле. Целью его было стремление отвести подозрения в „злодейском намерении" от Общества в целом *).

На самом же деле было совсем не так. Якушкин в записках подробно описывает картину совещания Союза Спасения, на котором было прочитано письмо Трубецкого. Александр Муравьев два раза прочитал письмо, после чего Якушкин спросил присутствовавших—тогда в совещании участвовали: Н. Муравьев, Муравьевы-Апостол, Фонвизин, Шаховской и Якушкин — точно ли они верят тому, что сообщил Трубецкой и что Россия не может быть более несчастной, как оставаясь под управлением Александра—все отвечали утвердительно. Тогда Якушкин заявил, что „Тайному Обществу тут делать нечего, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и собственному убеждению". После некоторого молчания Александр Муравьев высказался, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и предложил бросить жребий, чтобы узнать кому достанется нанесть удар царю. Якушкин возразил, что „он решился без всякого жребия

*) В таком случае, он и сам бы становился участником преступления.

принести себя в жертву и никому не уступит этой чести". Вопрос в этом совещании остался нерешенным. Фонвизин отговаривал Якушкина от „безрасудного предприятия". Да и среди некоторых других членов наступила реакция. На другой день они уговорили Якушкина отказаться от цареубийства, ссылаясь на возможную неправильность сообщений Трубецкого. Якушкин, однако, в своем рассказе несколько упростил событие. Есть известия, что не только он, но и Шаховской и Лунин также предлагали себя в исполнители „злодейского намерения" *). Мысль о цареубийстве возникла не только в связи с письмом Трубецкого и оставлена была не только в связи с тем, что, когда Трубецкой приехал, то не мог подтвердить сообщенных им в письме слухов. Пестель так рассказывает об этом событии: „В 1817 году в бытность мою в Петербурге, получил князь Сергей Трубецкой из Москвы от одного из членов письмо, в котором извещались члены в Петербурге бывшие, что члены в Москве находящиеся, решились действие начать и поэтому требуют нашего согласия и нашего прибытия в Москву. Князь Трубецкой в тот же день испросил себе отпуск в Москву с тем, чтобы туда отправиться и тамошним членам сказать, что мы не соглашаемся на их предложение и их удержать от исполнения оного. Но между тем они сами уже сие намерение бросили. Оное возникло между ими, по случаю известий ими полученных о тех ужасах, которые якобы происходили в Новгородской губернии при введении военных поселений". С. Муравьев-Апостол также возражал против цареубийства по причине „скудости средств их (т.-е. общества) и совершенной невозможности начинания какого-либо действия".

Указанные факты становятся вполне понятны, если мы вспомним, что в этот момент в недрах Союза Спасения происходила оживленная борьба между правым и левым крылом Союза, по вопросу о его целях и тактике. Эти факты указывают, как кажется, на серьезный натиск, сделанный некоторыми из членов левой группы по одному конкретному поводу. Натиск этот не удался. Возражения последовали не только со стороны „правых", но и со стороны „левых".

*) Отметим, между прочим то, что тогда, согласно уставу Союза Спасения наступал момент действий для введения конституции.

III.

Составление Устава Союза Благодействия - „Зеленой Книги" — происходило в условиях „фракционной" борьбы. Некоторые намеки на это можно найти в рассказе брата М. Муравьева, Сергея Николаевича, который дошел до нас в изложении Кропотова.

„Кроме двух братьев Муравьевых и Калошина", пишет Кропотов, „вызвались принять участие в работах Комиссии Никита Муравьев и Князь Трубецкой, не жаловавшие Пестеля за его высокомерье и самонадеянность. Так как оба они не принадлежали к интимному кружку братьев Муравьевых, то сотрудничество их оказалось бесполезным. Никита Муравьев, хотя и вооружался против устава Пестеля, но от политической ломки однако же не мог отрешиться. Поэтому и составленные им предположения о занятиях и целях общества не могли войти в состав устава Союза Благоденствия. Сотрудник Муравьева по работам в Комиссии П. И. Калошин нашел, что написанная Н. Муравьевым часть устава не соответствует прочим. После четырехмесячной работы устав Союза Благоденствия получил окончательную, всеми одобренную, редакцию... Этот устав составлял резкую противоположность с уставом Пестеля". Указание Кропотова на то, что отдел устава, составленный Н. Муравьевым, не был принят, подтверждается и самим Н. Муравьевым, который в одном из своих показаний говорит, что отдел этот был пересоставлен Петром Калошиным. Если основываться на рассказе Кропотова, то среди собравшихся в Москве членов тайного общества можно различить три группировки — группа Михайлы Муравьева, группа пестелевцев и центр: антипестелевцы, но и антимуравьевцы. Распределить сколько-нибудь точно, хотя бы не всех членов Общества, но лишь составителей устава по указанным группам, представляется невозможным. Кропотов полагает, что и Александр Муравьев и П. Калошин держались на стороне Михайлы Муравьева. Но относительно первого можно сомневаться: мы знаем, что незадолго перед тем он первый открыто выступил с предложением цареубийства. Нельзя также и Никиту Муравьева безоговорочно причислить к антипестелевцам вспомним, например, что при обсуждении устава Союза Спасения он поддерживал Пестеля во взглядах на француз-

скую революцию. Что касается Трубецкого, то он, вероятно возглавлял центр общества, так как с одной стороны, по словам Кропотова, он не принадлежал к интимной группе Муравьевых, а с другой не был сторонником и Пестеля. Это последнее обстоятельство подтверждается рассказом Трубецкого об отношениях между ним и Пестелем, создавшихся при основании Союза Спасения, о чем мы уже говорили. Как „центровик" Трубецкой отказывался от немедленной активной противоправительственной политики Пестеля, но не мог вовсе отказаться от мысли о необходимости введения конституции и ликвидации крепостного права. Надо помнить, что в то время он, как и все члены общества, были сторонниками конституционной монархии. И цареубийство имелось в виду лишь как средство с одной стороны избавить Россию лично от Александра, а с другой приблизить момент политических перемен. Поскольку однако слухи о настроениях Александра были разноречивы, поскольку не были изжиты тогда надежды на то, что Александр сам намерен освободить крестьян и дать коституцию, поскольку, наконец, предполагалось, что эти свои намерения Александр не выполняет лишь вследствие пассивного сопротивления дворянства,—постольку умеренные члены общества имели все основания говорить о нецелесообразности или преждевременности активных противоправительственных выступлений и наоборот о необходимости возможно более энергичной пропаганды, направленной к содействию „благим" намерениям Александра.—Вот точка зрения Трубецкого, которая подтверждается словами его самого.

„Главная мысль составлявших общество членов", как показывал он на следствии, „была, что блаженной памяти государю императору угодно было дать России конституцию, подобно как его величество дать изволил в Царстве Польском. И что первою мерою к сему должно служить освобождение крестьян от крепостности помещикам; о последнем тогда очень много говорили московские жители. Мнение сие основывалось на речи государем императором произнесенной при первом открытии польского сейма, и потом на мерах, принятых касательно крестьян немецких губерний. Члены общества должны были истолковать незнающим что такое конституционное правление и изъяснить необходимость освобождения крестьян от крепостного состояния".

Как отразилась, и отразилась ли изложенная программа Трубецкого в „Зеленой книге“. В дошедшей до нас первой части „Зеленой книги“ она не отразилась ни в какой степени, там нет никаких указаний на те цели, о которых говорит Трубецкой. Но во второй части ее, как известно, должны были бы быть изложены, как основы будущей конституции, так вероятно и способы ее достижения. Сам Трубецкой и Н. Муравьев на следствии категорически утверждали, что эта вторая часть устава Союза Благоденствия не была написана. Донесение Следственной Комиссии однако столь же определенно приписывает составление ее Трубецкому. Если верить Следственной Комиссии, а мы к тому именно и склоняемся, видя косвенное подтверждение в показании А. Муравьева, утверждавшего, что она была составлена, но не была принята Обществом и что черновик текста ее он видел у Трубецкого, то можно догадываться, что свою программу Трубецкой изложил именно здесь. Программа эта была очевидно отвергнута М. Муравьевым, на стороне которого оказалось большинство Общества.

Можно однако думать, что расхождение произошло не столько по вопросу о конечных целях, сколько по линии тактики. В самом деле уже из цитированного несколько выше показания Трубецкого видно, что Общество не отказалось вовсе от достижения политических целей. Более определенно об этом говорит близкий к Трубецкому Семенов. По словам этого последнего „достижение конституции было сокровенной целью Союза Благоденствия, известной однако вначале только его главным членам“. Об этом говорят впрочем и другие члены Общества, а Пестель прямо утверждает, что политические цели всегда имелись в виду Союзом Благоденствия, и что первая часть „Зеленой Книги“ была лишь средством сокрытия истинных намерений общества. Впрочем Михайло Муравьев вряд ли думал также, как Пестель. Он был последовательным проводником тактики „медленного действия“, что хорошо отразилось в „Зеленой Книге“.

Задачи Союза Благоденствия, как они намечены первой частью „Зеленой Книги“, в одно и тоже время и узки и утопичны. Они охватывают все стороны общественной и частной жизни

в целях достижения „общего блага". Но это „благо" в области крестьянского вопроса, например, сводится к необходимости „склонить помещиков к хорошему с крестьянами обхождению, представляя, что подданные такие же люди и что никаких в мире отличных прав не существует, которые дозволили бы властителям жестоко с подвластными обходиться" и „к истреблению продажи крепостных людей в рекруты и отклонению вообще от продажи по одиночке, путем вразумления, что люди не суть товар и что только простительно народам непросвещенным светом христианства, почитать подобных себе собственностию, участию коей каждый имеющий оную, располагать может по произволению" [21]).

Структура Союза Благоденствия по уставу была довольно сложная. Учредители Союза, „коренные" члены, как их иногда называли, составляли коренной союз или коренную управу. Из состава коренного союза избирались шесть человек в совет коренного союза. Один из них был блюстителем, остальные именовались заседателями. Из числа заседателей избирался на срок в два месяца очередной председатель. Через каждые четыре месяца двое заседателей коренного совета заменялись новыми. Коренная управа законодательствовала, выбирала должностных лиц и была верховным судилищем. Коренному совету принадлежали исполнительные функции. Каждый коренной член был обязан образовать одну деловую управу. Эти последние могли образовывать побочные управы. Побочные управы могли в свою очередь образовывать такие же, после чего сами становились „деловыми". Управа образовавшая три управы получала название главной управы. Фактически эти сложные формы, как свидетельствуют некоторые из членов Союза, не соблюдались. Разделение управ на деловые, побочные и главные на практике произведено не было и все управы, кроме коренной, имели одинаковое значение. Кроме управ члены Союза могли организовывать с разрешения коренной управы вольные общества, соответствующие целям Союза [22]).

По возвращении гвардии из Москвы летом 1818 г. в Петербург, собралось большинство членов Союза. Трубецкой принимал самое деятельное участие в работе Союза. Он состоял в коренном совете и был председателем и блюстителем его. Семе-

нов, позже немного бывший секретарем коренного совета, указывает, что с отъездом князя Трубецкого заграницу порядок в Обществе рушился, почти перестали работать и управы и самый коренной совет. Получается впечатление, что Трубецкой пока он был в Петербурге являлся главной организаторской силой Союза.

За это время, по показаниям его самого, в Петербурге были образованы четыре управы. При посредстве Трубецкого была организована управа в Нижегородской губернии помещиком Белавиным. Следует отметить также ближайшее участие Трубецкого в организации литературного общества „Зеленая Лампа", которое, как убедительно показал П. Е. Щеголев, было одним из вольных обществ Союза Благоденствия, где члены Союза стремились пропагандировать его идеи. Общество „Зеленая Лампа" сыграло в развитии движения декабристов большую роль, благодаря влиянию его на творчество Пушкина, который также был членом этого общества. „Вольнодумственные" стихи Пушкина, как известно, широко были распространены среди военной молодежи и не мало способствовали развитию либерально-революционных настроений.

Численный состав членов Союза также значительно увеличился. Не перечисляя новых членов, отметим среди них Пущина, Оболенского, Митькова, Н. Тургенева, как игравших позже в Северном Обществе крупную роль. Н. И. Тургенев был принят Трубецким. В своей книге „Россия и Русские" Тургенев так рассказывает об этом факте: „В конце 1819 г. ко мне зашел однажды кн. Трубецкой. Я его едва знал по имени. Не слишком входя в предварительные объяснения, он мне сказал, что все то, что он мог знать обо мне и моих убеждениях, обязывало его предложить мне вступить в общество, устав которого он мне тут же преподнес. Это был устав того самого „Союза Благоденствия", о котором говорит донесение следственной комиссии о событиях 1825 г. Он только что сделал, по его словам, такое же предложение одному поэту, с которым я находился в очень дружественных отношениях, но последний отказался. Князь Трубецкой этого поэта знал не более, чем самого меня. Он вел свою пропаганду с откровенностью и наивностью, доказывавшей по меньшей мере, что в его намерениях не было ничего опасного. Я просмотрел устав. Об-

щество ставило себе целью общественное благо. Члены союза должны были быть разделены на несколько разрядов или секций, из коих одна занималась народным просвещением, другая—юстицией, третья—политической экономией и финансами и т. д. Во всем проекте так же, как и в отдельных частях его, шла речь только о теориях, намерение действовать, произвести перемены в государстве нигде не проявлялось. Подобный план не представлял ничего привлекательного для меня. Я не верил, что бы в России какое-нибудь общество могло дать необходимые средства для достижения важного и сложного результата, предполагавшегося в этом предприятии. Для этого нужны были серьезные писатели, которым различные отрасли человеческих знаний были бы хорошо знакомы, люди, понимающие вместе и теорию и практику дел; Россия же почти совершенно лишена таких людей. Я прибавлю, что в этом случае, как и во многих других, меня опечалило то обстоятельство, что между добрыми намерениями в уставе общества совершенно не было вопроса, который с моей точки зрения, доминировал над остальными: об отмене рабства. В общем принятый план обнаруживал мало опытности, мало зрелости и даже некоторое ребячество, что мне не нравилось. Тем не менее, я не счел себя вправе последовать примеру моего друга-поэта. Я думал, что всякий человек должен был оставить в стороне мелкие формальные соображения и пренебречь личными неудобствами, даже опасностями, если бы ему пришлось им подвергнуться, что бы содействовать, по мере своих сил, всякому полезному и нравственному делу. Упущение, о котором я только что говорил, может быть, содействовало принятому мною решению, так как я сейчас же составил план обратить внимание общества на вопрос о рабстве. Я объявил об этом немедленно моему собеседнику, и, убежденный его словами, что он был так же как и его друзья одушевлен лучшими намерениями относительно бедных русских крепостных, я ощутил в душе моей сладкую надежду на то, что постоянный предмет моих занятий подвинется вперед".

В этом рассказе Тургенева неверны два момента: во первых хронологическая дата вступления Тургенева в общество, — оно произошло раньше, во-вторых указание на то, что он мало знал Трубецкого,—в своих дневниках он упоминает о Трубецком еще в 1818 г.

Важнее, однако, отметить впечатление, произведенное на Тургенева нежизненностью устава Союза Благоденствия, отсутствием в нем указаний на намерения действовать, произвести перемены в государстве. Важно также указание Тургенева на фактическое, не по уставу, отношение Трубецкого и Союза к крестьянскому вопросу. Об этом Тургенев упоминает еще в своем дневнике и в одном из своих писем, давая попутно характеристику Трубецкого, которая для нас не безынтересна. В записи дневника от 27 ноября 1818 года Тургенев отмечает: „Вчера по вечеру слушал у Оленина Трумфа. Говорили там много с Трубецким и, между прочим, он сказывал мне, что хочет дать свободу своим крестьянам. В нем я нахожу большую неутомимость в стремлении к добру: это редкое достоинство, особливо у русских". Позже, в письме к брату Сергею, отправленному в июне 1819 г. с уезжавшим за границу Трубецким, Тургенев писал: „Трубецкой сам хотел сделать опыт со своими крестьянами, но по сию пору ему не удалось... Этот человек по нашим теперешним обстоятельствам, — полезный — только честный и ревностный патриот полезным быть может. Я знаком с ним года с полтора и нахожу в нем человека весьма почтенного, стремящегося всеми силами и неутомимого ко всему доброму..." Припомнив уже изложенные раньше взгляды Трубецкого на значение крестьянского вопроса, мы должны придти к определенному мнению, что Трубецкому этот вопрос всегда казался наиболее существенным.

Вместе с тем из цитированной записи дневника Тургенева открывается для нас еще сфера деятельности Трубецкого, как члена Союза Благоденствия—пропаганда в среде петербургского общества. В светских гостиных, в кругах гвардейского офицерства, в литературных обществах, повсюду—члены Союза Благоденствия вели определенную противоправительственную агитацию, которая имела несомненный успех. „Многие притеснительные постановления правительства", вспоминает Якушкин в своих записках, „порицались членами Союза Благоденствия, через что во всех кругах петербургского общества, стало проявляться общественное мнение; уже недовольствовались, как прежде, рассказами о выходах во дворце и разводах в манеже. Многие стали рассуждать, что вокруг них делалось".

Весной 1819 года произошел развал московской организации союза. В Москве было две управы; во главе одной из них стоял Ф. Шаховской, а во главе другой — А. Муравьев. Между двумя названными лицами возникли какие то трения. Коренной совет, блюстителем которого тогда был Трубецкой, обратился с письмом к ним, в котором указывал на необходимость устранения разногласий. А. Муравьев после этого решил выйти из Общества, и написал совету письмо, в котором сообщал, что он „познал свое заблуждение, уничтожает заведенную им управу, не хочет более быть членом Тайного Общества и всем советует последовать его примеру". Коренной совет был видимо не мало взволнован уходом из Общества одного из первых и деятельнейших его организаторов и принял решительные меры к устранению возможных последствий ухода Муравьева. Последнему было сообщено с целью скрыть дальнейшую работу Общества от ненадежных московских членов, что „Союз распущен". В Петербурге работа не была прекращена, но была проведена большая ее законспирированность, отобраны от членов и сожжены экземпляры устава и прекращены всякие письменные сношения по делам Общества.

Болезненное состояние Трубецкого, как последствие ранений полученных на войне, заставило его на время оставить дела Союза и уехать за границу. Чтобы получить возможность уехать не выходя в отставку, он в мае 1819 года перешел из строевых офицеров Семеновского полка на должность старшего адъютанта Главного Штаба и через месяц уехал за-границу, где пробыл до сентября 1821 года [23]).

За время отсутствия Трубецкого из Петербурга, и в жизни Союза Благоденствия, и во внешней общественно-политической обстановке произошли существенные изменения.

Уже вскоре после отъезда Трубецкого в петербургских организациях Тайного Общества начинается некоторый разлад. Разлад этот усилился после попытки приезжавшего в Петербург в 1820 году Пестеля направить работу Коренного совета в сторону большей активности. На одном заседании совета Пестель сделал доклад о форме будущего государственного устройства России, высказавшись за республику и предложив принять общее решение по этому вопросу. Все члены совета — тут были и старые коренные члены Муравьевы-

Апостол, Глинка, Шипов, Долгорукий, Лунин, Калошин и новопринятые Тургенев, Семенов, Бригген — все, кроме Глинки, высказались за республику. На следующем собрании Пестель поставил вопрос о способах ликвидации монархии и предложил цареубийство. На этот раз предложение Пестеля вызвало резкий отпор со стороны всех членов, кроме Н. Муравьева, всецело ставшего на точку зрения Пестеля. Общего решения по этому вопросу не было принято. В результате деятельность Союза разладилась еще более. Некоторые члены, „отстали" от Общества. Кризису Общества весьма способствовало вместе с тем усиление деятельности тайной полиции, которой стало известно существование Союза Благоденствия, и усиление общей реакционности правительственной политики после Семеновской истории. В поисках выхода из кризиса в 1821 году был организован в Москве съезд, на котором присутствовали представители Петербургской и Тульчинской организаций и московские члены Коренного Союза. На съезде выявилось три течения: правое, в лице одного из Тульчинских представителей — Комарова, левое, в лице М. Ф. Орлова и центр: петербургские делегаты Тургенев и Глинка, тульчинский Бурцев и москвичи Фонвизин, Граббе, Якушкин и Михайло Муравьев. Съезд отказался от немедленных активных действий, направленных на ликвидацию существующего строя, которые предлагал Орлов, отказался и от ликвидации Союза, предложенной Комаровым. Решения съезда были серединными. Официально закрыв Союз и обязав делегатов объявить об этом, что бы избавиться от ненадежных и нежелательных членов, съезд выработал новую структуру общества, близкую в сущности к старой структуре Союза Благоденствия, но более гарантирующую его от проникновения чуждых и опасных для него элементов. Внешняя обстановка, однако, не давала возможности осуществить решение съезда. Если можно было спорить о конечных целях Союза, то в вопросе о тактической линии выбора не могло быть: либо ликвидация Союза, либо активная революционная работа.

Пестель не подчинился решению съезда и создал на юге революционную организацию. В Петербурге Тургенев объявил о закрытии Союза, но в тоже время сделал попытку образовать новое общество, согласно постановлению съезда, из

более умеренных членов, не сообщив о подлинных решениях съезда ни Никите Муравьеву, ни вернувшемуся вскоре Трубецкому. Попытка Тургенева не удалась. Тайное Общество на некоторое время прекратило свое существование в Петербурге. Этому способствовало, впрочем, и одно внешнее обстоятельство: весной 1821 г. гвардия была выведена из Петербурга в западные губернии и вернулась лишь через год [24]).

Трубецкой вернулся из-за границы женатым на графине Екатерине Ивановне Лаваль. Отец ее француз — эмигрант, приехав в Россию в 90-х годах XVIII столетия, начал служебную карьеру учителем Морского кадетского корпуса. Немного позже он женился на Г. Козицкой, одной из наследниц московского богача, купца Мясникова. Получив в приданое около 20 т. крестьян, заводы на Урале, деньги, Лаваль ссудил некоторую сумму жившему в то время в Митаве Людовику XVIII, за что и получил титул графа. После этого граф Лаваль сделал более или менее видную служебную карьеру, перешел на службу в Министерство Иностранных Дел и получил придворное звание. Одна из дочерей его вышла замуж за австрийского посла Лебцельтерна. Деньги дали Лавалю возможность купить роскошный дом на Английской набережной и вести широкую светскую жизнь. Для Трубецкого денежный вопрос в ту пору был довольно острым. От отца он получил в наследство всего лишь 200 душ оброчных крестьян, которые притом едва ли не были заложены в Опекунском Совете. Для Лаваля брак его дочери с Трубецким был также не безвыгоден: Трубецкой, хоть и захудалый, но все же природный князь и при том гвардейский офицер с хорошей в будущем служебной карьерой. Было бы несправедливо, однако, думать о Трубецком, что лишь материальные соображения заставили его жениться на Екатерине Ивановне Лаваль, скорее богатство ее было приятным, но привходящим обстоятельством. Между молодыми людьми возникла искренняя взаимная любовь, которая позже стала для Трубецкого источником мучительных страданий, а со стороны Екатерины Ивановны выросла до самопожертвования [25]).

IV.

„Возвратясь из чужи хкраев с любимою страстно женою", пишет Трубецкой в одном из своих показаний, „я делил время

между ею и должностью моей по службе. Членов прежнего Общества не нашел здесь почти никого, Общество нашел разрушенным, горячность прежняя во мне простыла, и я уже не думал никогда более заниматься прежним делом. Так и было до того времени, как приехать должен был сюда Пестель... Но когда я с ним увиделся и узнал его мысли, тогда уже я полагал обязанностью противопоставить ему что-нибудь здесь такое, которое могло бы удержать его и препятствовать его действию".

Исходя из данного рассказа Трубецкого следовало бы придти к заключению, что Северного Общества не было до приезда в Петербург Пестеля в 1824 г. То же видно и из другого его показания, в котором он указывает, что попытки Пестеля, через посредство приезжавших в Петербург членов Южного Общества, побудить Никиту Муравьева к восстановлению деятельности Тайного Общества, остались безрезультатны, и что лишь известие о приезде в Петербург самого Пестеля заставило образовать Управу „для узнания мыслей и состояния Общества Пестеля". В полном противоречии с этими показаниями Трубецкой в записках своих говорит, что по приезде в Петербург „первым делом его было соединиться с теми, которые оставались верными Союзу"...

Сообщение записок кажется более вероятным по сравнению с несколько тенденциозным рассказом приведенных показаний. Сам же Трубецкой в другом показании сообщает, что Общество вновь сорганизовалось по возвращении гвардии из похода в западные губернии.

Можно с большой уверенностью сказать, что одним из тех членов Союза Спасения, которых Трубецкой по возвращении из заграницы нашел в Петербурге и о которых он вспоминает в записках, был Никита Муравьев. Последний как раз в то время хлопотал о принятии его вновь на военную службу и в конце осени отправился в Минск, где тогда квартировал штаб гвардейского корпуса. Н. Муравьев рассказал Трубецкому о судьбах Союза Благоденствия, об официальном закрытии его московским съездом 21 года, о разложении петербургских организаций и о развивающейся деятельности Пестелевской организации в Тульчине... Были ли приняты Трубецким и Муравьевым в результате их бесед осенью 1821 г. какие-

либо решения определенно сказать нельзя. Но можно догадываться, что они решили восстановить Тайное Общество. Мы знаем, по крайней мере, что Н. Муравьев, когда приехал в Минск, постарался встретиться с двумя членами Союза Благоденствия, Оболенским и Нарышкиным. Знаем также, что как раз в это время он усиленно работает над составлением проекта конституции. А затем сразу после того, как гвардия вернулась в Петербург, т. е. осенью 1822 года, Общество было сорганизовано. Об этом совершенно согласно свидетельствуют и Трубецкой и Оболенский и Н. Муравьев.

Кто теперь были инициаторы новой организации общества, остается неясным. Н. Муравьев в одном из показаний говорит, что „виновниками сего" были он, Тургенев и Оболенский, а в другом—что в конце 1822 года он, Трубецкой и Оболенский составили Думу. Это последнее указание Муравьева не точно: он или к 1822 году неправильно относит факт, имевший место значительно позже, или под названием „Дума" разумеет, может быть, инициативную группу. В одном показании Трубецкого можно видеть намек и на первое организационное собрание нового Общества. „По возвращении гвардии в Петербург из Бешенковичей", говорит он, „я увиделся с Н. Муравьевым, Оболенским и Пущиным, которые объявили мне, что можно вскоре некоторых членов собрать". Несколько позже, повидимомому, к обсужению вопроса были привлечены и другие находившиеся в Петербурге старые члены Союза Благоденствия. „По возращении из похода прежних товарищей наших, рассказывает Оболенский, оставалось не более пяти или шести, кн. Трубецкой, Муравьев, Пущин, Нарышкин, я и еще двое или трое других, коих имена упомнить не могу... Воспоминание прежнего побудило нас возобновить прежнюю цель соединения нашего".

В первоначальном составе Северного Общества, кроме названных поименно Оболенским, из старых членов надо считать еще Н. Тургенева, С. Шипова, отставшего от Общества в 1823 году, а из вновь принятых Рылеева и Поджио.

Структура Союза Благоденствия по словам того же Оболенского сохранена не была. Вместо прежних сложных форм, для руководства деятельностью общества, был избран один правитель — Н. Муравьев. Ближайшей тактической задачей Тай-

ного Общества было „распространение просвещения и умножение членов". Мы знаем уже, что под „распространением просвещения" в петербургских организациях „Союза Благоденствия" разумелась в сущности политическая пропаганда. И теперь, при небольшом пока количественном составе Общества и ради „умножения" его, пропаганда была единственно возможной точкой приложения сил общества, в практическом отношении.

Но не эти практические задачи были, в данное время, центром тяжести деятельности Общества. Они стояли даже на втором плане. По крайней мере прием новых членов происходит довольно медленно. Причина этого с одной стороны внешняя: Муравьев отмечает отсутствие интереса к общественной жизни среди гвадейского офицерства, которое по прежнему считалось членами Тайного Общества главным полем их деятельности. С другой стороны Оболенский указывает на то, что внутри самого Общества, в то время сложились условия, которые делали прием новых членов бесполезным. [26]).

Можно догадываться, что в руководящих кругах Северного Общества происходила углубленная работа по выработке политической идеологии и программы тактической деятельности. Если основная конечная цель Общества оставалась той же; как и во времена Союза Благоденствия—переустройство политического и социального быта. России—то тактика Общества должна была измениться. Тактика „медленного действия", тактика только лишь пропаганды идей теперь, в условиях сильнейшей не только правительственной, но и общественной реакции, была бы и безрезультатной, и весьма опасной. Надо было в работе тайного общества переходить на новые рельсы. Надо было вместо прежнего большего по составу и сложного по формам пропагандистского Союза создать конспиративную организацию, способную на революционный переворот. А для этого конечно необходимо было предварительно детально разработать и тактическую программу, и вопросы конечной цели, надо было добиться единства в понимании членами организации ее задач. Словом, нужно было создать революционную, политическую партию.

С большой долею основательности можно предположить, что эта предварительная теоретическая работа выпала на долю

Муравьева и Трубецкого. Мы сейчас увидим, что именно ими были продуманы основные программные вопросы и что в их воззрениях есть нечто общее, как-будто указывающее на совместную их разработку.

Увидим также, что работа, как в области теоретических вопросов, так затем и в организации политической партии, происходила в условиях взаимного воздействия и борьбы с руководителем Южного Общества Пестелем. Неправильно поэтому думать, что лишь воздействие Пестеля вызвало к жизни организацию Северного Общества, или полагать, доверившись несколько наивному утверждению Трубецкого, что он и его товарищи создали Северное Общество только лишь с целью препятствовать деятельности Пестеля. Организаторы Северного Общества выработали свою программу и стремились сделать ее также, как и Пестель в отношении своей, обязательной для обеих организаций Тайного Общества: Северной и Южной.

V.

Наиболее детально „предположение" будущего государственного и отчасти социального строя России было разработано Н. Муравьевым в его Конституции.

До сих пор остаются известными две редакции этой Конституции. Одна из них была найдена в бумагах Трубецкого и сохранилась в следственном деле, а другая в семейном архиве Якушкиных.

Кроме этих текстов Конституции Муравьева известно еще довольно подробное изложение ее, сделанное самим Н. Муравьевым во время следствия.

Сравнение обеих редакций Конституции и ее изложения показывает, что она была предметом довольно продолжительной работы, вносившей в отдельные ее детали существенные изменения. Данные других источников указывают на то, что Конституция обсуждалась в среде Общества и иногда на его собраниях.

Отношение Трубецкого к Конституции Муравьева можно, кажется, выяснить на основании той ее редакции, которая найдена в его бумагах. Весь текст этой редакции, как отмечено академиком Дубровиным на его копии, а равно и имеющиеся

на полях ее примечания к отдельным статьям, писаны рукою Трубецкого *). Можно счесть, что автором примечаний был сам Трубецкой: некоторые варианты в примечаниях указывают именно на то, что только автор, а не переписчик мог их сделать. Это обстоятельство дает возможность полагать, что Трубецкой, принимая в целом мнения Н. Муравьева о планах политических преобразований, расходился с ним в некоторых деталях.

Не останавливаясь подробно на разборе Конституции Н. Муравьева, отметим ее основные тенденции. Характерной особенностью ее, по сравнению с Русской Правдой Пестеля, например, является сочетание политического либерализма и даже радикализма с социальным консерватизмом. Совершенно естественно, что, в условиях деспотизма последних лет Александровского царствования, возник именно политический радикализм. Русское самодержавие казалось декабристам основным злом русской жизни. Они искали оправдания этой своей мысли и в преданиях веры, и в историческом прошлом, и в началах разума. „Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества, что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека, невозможно согласиться, чтоб все права находились на одной стороне, а все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества! Что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы — тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным, или они несправедливы—тогда зачем хотят они подчинять им других. Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский заслуживает, то и другое".

Первая статья Конституции в соответствии с такими взглядами гласит: „русский народ, свободный и независимый, не

*) К сожалению редактором издания Центрархива не сделано никаких указаний относительно почерков текста Конституции и примечаний к ним.

есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства". Трубецкой в примечании подчеркивает эту мысль указанием, что „не должно быть и предположения принадлежности".

Хотя будущее государственное устройство России и мыслилось, по проекту Н. Муравьева, в форме конституционной монархии, но роль монарха предполагалась настолько ограниченной, что он долженствовал быть скорее наследственным президентом. Впрочем вопрос о форме правления, монархической или республиканской, не был окончательно решен в Северном Обществе. Н. Муравьев сам допускал возможность установления республики, в случае непринятия Конституции императорской фамилией.

Конституция провозглашает принцип народного верховенства: „Источник верховной власти", говорится в статье второй, „есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя".

Эта статья вызвала характерное замечание Трубецкого: „власть народа, говорит он, ограниченна, ибо и целый народ не имеет права гнести и одного гражданина". Трубецкой, как следует заключать из этих его слов, являлся последовательным либералом, отрицающим всякую диктатуру, всякое нарушение свободы отдельной личности с чьей бы то ни было стороны. Это сочетание принципа народоправства с принципом свободы личности является основным моментом идеологии Трубецкого. Исходя из принципов народного верховенства и гражданской свободы, Н. Муравьев строит систему государственного управления. Признается единственно возможной федеративная система управления. „Народы малочисленные, говорится во вступлении к Конституции, бывают обыкновенно добычею соседей и не пользуются независимостью. Народы многочисленные пользуются внешнею независимостью, но обыкновенно страждут от внутреннего утеснения и бывают в руках деспота орудием притеснения и гибели соседних народов. Обширность земель, многочисленное войско препятствуют одним быть свободным; и те, которые не имеют сил, ни удобств, страждут от своего бессилия. Федеральное или Союзное правление одно разрешило сию задачу, удовлетворило всем условиям и согласило величие народа и свободу граждан".

Все государство по проекту Конституции делится на 14 держав и 2 области, пользующихся полною автономией внутреннего управления и, отчасти, законодательства, а также правом установления местных налогов. Державы делятся на уезды, уезды на волости. Исполнительная власть в волостях вверяется выборным „старейшинам“, в уездах — выборным „тысяцким“.

Правительственная система держав и союза построена на строгом разделении властей: законодательной, исполнительной и судебной. Законодательная власть в державах принадлежит Законодательному собранию, состоящему из двух палат: палаты выборных и Думы. Исполнительная власть вверяется правителю избираемому центральным представительным органом, из числа кандидатов, представленных Державным Законодательных Собранием.

Законодательная власть Союза осуществляется „Народным Вече“, состоящим из Верховной Думы и палаты народных представителей. Народное Вече обладает правом издания Гражданского, Торгового, Уголовного и Военного Уложений и правил судопроизводства и управления присутственных мест, правом объявления войны и заключения мира, правом объявления тех или других местностей на военном положении в случае войны или „возмущения“, правом амнистии, правом установления налогов и государственного бюджета и т. д. Исполнительная власть принадлежит наследственному императору. В области законодательной он имеет право относительного veto. В области военного управления он является главнокомандующим войсками, но не имеет права распоряжения в случае „возмущения“ без ведома Народного Вече. Он ведет переговоры и заключает трактаты с иностранными державами, но лишь „с совета и согласия Верховной Думы“. Он не имеет права подписывать ни одной бумаги, кроме трактатов, отчетов, представляемых Народному Вече, грамот посланникам и чиновникам и законов, утвержденных Народным Вече. Все остальные бумаги, предписания, донесения, „счета“ подписываются „главами приказов“, т.-е. министрами. „Главы приказов“ назначаются императором, но являются ответственными перед Народным Вече. Народное Вече не имеет, однако, права изменения Конституции и избрания на царство новой династии. Для осуществления этих задач должен быть собран Народный Собор.

Так последовательно проведен, в проекте Н. Муравьева принцип народного верховенства.

Однако, это верховенство ограничивается свободой личности и юридического равноправия граждан. „Все русские“ объявляются равными перед законом. „Крепостное состояние и рабство отменяются“. Различие между „простолюдинами“ и „благородными“ считается несовместимым „с христианством“. Вводится всеобщая воинская повинность, право собственности „на одни вещи“ объявляется неприкосновенным, и лишь Народное Вече может делать изъятия в общеполезных целях, при условии вознаграждения владельца. Устанавливаются известные гарантии неприкосновенности личности, вводится суд присяжных, как обеспечение безопасности жизни и собственности граждан; провозглашается абсолютная свобода совести, слова и печати, на которые не может посягнуть даже Народное Вече. Уничтожаются гильдии и цехи, объявляется свобода промысла.

Но насколько последовательно в проекте Н. Муравьева был проведен принцип юридического равенства, настолько же последовательно проведен принцип социально-политического неравенства.

Это последнее обстоятельство прежде всего сказалось в установлении имущественного ценза для избирателей и избираемых в представительные учреждения и на выборные должности.

По проекту конституции все граждане делятся на 4 категории:

1) Граждане, имеющие на 30 т. руб. сер. недв. им., или 60 т. руб. сер. движ. им.

2) Граждане, имеющие на 15 т. сер. недв. им., или 30 т. руб. сер. движ. им.

3) Граждане, имеющие на 2 т. руб. сер. недв. им., или 4 т. руб. сер. движ. им.

4) Граждане, имеющие на 500 [1]) руб. сер. нед. им., или 1 т. руб. сер. движ. им.

Граждане первой категории могут быть избраны в члены верховной думы, правители держав, тысяцкие; второй кате-

[1]) В напечатанном тексте стоит 5 т. — Это очевидно или опечатка или ошибка переписчика, т.-е. Трубецкого.

гории в члены Державных Дум, судов, третьей категории в члены палаты представителей Народного Вече и палат выборных Державных Законодательных Собраний и, наконец, четвертой категории могут быть лишь присяжными в судах и избирателями.

Таким образом, благодаря такому цензу, лишались не только активного, но и пассивного права на участие в общественной жизни все крестьяне и низшие слои городского населения. Активного избирательного права была лишена значительная часть мелкого дворянства и мелкой буржуазии и доступ в верхние палаты и на высшие выборные должности был открыт лишь крупным землевладельцам и представителям крупной буржуазии *).

Избирательная система Н. Муравьева создавала, по выражению Пестеля, „ужасную аристократию богатств“ и вызывала возражения со стороны многих членов Тайного Общества *).

Возражает Муравьеву и Трубецкой, но, главным образом, против лишения пассивного избирательного права низших слоев населения, допуская ценз для избираемых в депутаты и на выборные должности. В своем замечании по поводу слов Муравьева (в ст. 51): „Поелику различные имения доставляют жителям различные права Трубецкой пишет, „Потому то сие разделение и не хорошо“. Можно имение сделать условием должностей, но неприлично делать имущество мерою прав“.

В другом месте, по поводу статьи о лишении „общественных владельцев“, т.-е. крестьян-общинников, права на участие в выборах тысяцкого, Трубецкой замечает: „неравенство прав, следовательно, различие состояний“, указывая тем самым на то, что в данном случае Муравьев как бы уже отступает от принципа гражданского равноправия.

Трубецкой, таким образом, является более последовательным „прозелитом“ либерализма. Допущение им ценза, как условия для занятия должностей, не только не противоречит либерализму, но, наоборот, вытекает из его ученія: личная состоятельность того или иного „должностного“ лица обеспечивает „политическую независимость“.

*) В скобках заметим, как любопытный пример, что С. Трубецкой, с его несколькими сотнями десятин земли, мог при данной системе быть зачислен лишь в 3 категорию граждан.

Можно полагать, что Трубецкой возражал вместе с тем и против неравенства ценза, так сказать, в вертикальном разрезе: для двух групп населения — дворянства и буржуазии. Мы видели, что Муравьев устанавливает для первого, т.-е. для владельцев недвижимых имуществ, ценз вдвое меньший, отражая тем самым, больше, может быть, чем Трубецкой, классовые интересы дворянства.

Это последнее обстоятельство еще более ясно выявляется в отношениях того и другого к крестьянскому вопросу. В статье 25 Конституции Муравьев пишет: „Земли помещиков остаются за ними. Особый закон определит вознаграждение, которое обязаны сделать поселяне, которые вздумают оставить свое селение и переселиться в другое место — за временное прервание доходов, с возделываемой сими поселянами земли". Трубецкой возражает Муравьеву: „при срочных свободных условиях сие постановление не нужно. А на первый случай должно освобождение так устроить, чтоб подобных разорительных, как для помещиков, так и для крестьян переходов не было". И здесь Трубецкой выступает, как сторонник большей юридической свободы, по сравнению с Муравьевым, свободы, которая, как учил тогда европейский либерализм, определяет и свободу, и прогресс хозяйственного развития. Последовательно отстаивая эту мысль, Трубецкой возражает против введения общинного владения, которое должно было по проекту Муравьева быть введено на землях удельных и экономических крестьян. „Верный способ, замечает Трубецкой, для стоячего положения земледелия. При общей собственности оно никогда преуспевать не может в усовершенствовании". Позднее, вопрос об условиях освобождения крестьян подвергся некоторому пересмотру. В изложении Конституции, сделанном на следствии, Н. Муравьев говорит, что предположено было при освобождении наделить крестьян землей по 2 десятины на двор. Очевидно, по этому поводу не было установившегося решения. Думаем, что Трубецкой, всегда, как мы видели, придававший крестьянскому вопросу исключительное значение, был сторонником наиболее радикального его разрешения.

Итак, политическая и общественная идеология Трубецкого обрисовывается, таким образом, довольно определенно: он последовательный либерал, он больше оторвался по сравнению с Му-

равьевым от классовых интересов дворянства, он больше воспринял психологию нового класса — буржуазии.

Политическая программа Трубецкого коротко изложена в составленных им тезисах Манифеста, который восставшие войска должны были предъявить Сенату 14 декабря.

„В манифесте Сената объявляется:

1) Уничтожение бывшего правления.

2) Учреждение временного, до установления постоянного, выборными.

3) Свободное тиснение и потому уничтожение цензуры.

4) Свободное отправление богослужения всем верам.

5) Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей.

6) Равенство всех сословий перед законом и потому уничтожение военных судов и всякого рода судных комиссий, из коих все дела судные поступают в ведомство ближайших судов, гражданских.

7) Объявление права всякому гражданину заниматься чем он хочет и потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин, все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобретать всякого рода собственность, как то: земли, дома в деревнях и городах. Заключать всякого рода условия между собою. Тягаться друг с другом перед судом.

8) Сложение подушных податей и недоимок по оным.

9) Уничтожение монополий, как то: на соль, на продажу горячего вина и проч., и потому учреждение свободного винокурения и добывания соли, с уплатою за промышленность с количества добывания соли и водки.

10) Уничтожение рекрутства и военных поселений.

11) Убавление срока службы военной для нижних чинов, распределение оного последует по уравнении воинской повинности между всеми сословиями.

12) Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.

13) Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов членов сих правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от гражданского правительства назначаемых.

14) Гласность судов.

15) Введение присяжных в суды уголовные и гражданские.

Учреждается правление из 2-х или 3-х лиц, которое подчиняет все части высшего управления, то-есть все министерства, совет, комитет министров, армию, флот, словом—всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законодательную и не судную. Для сей последней остается министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел, не решенных в нижних инстанциях остается департамент сената уголовный, и учреждается департамент гражданский, кои решают окончательно, и члены коих останутся до учреждения постоянного правления.

Временному правлению поручается приведение в исполнение:

1) Уравнение прав всех сословий.

2) Образование местных, волостных, уездных, губернских и областных правлений.

3) Образование внутренней народной стражи.

4) Образование судной части с присяжными.

5) Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями.

6) Уничтожение постоянной армии.

7) Учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных, кои долженствуют утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение".

Еще характернее для Трубецкого его отношение к вопросу о способах осуществления нового строя. В этом он является прямой противоположностью Пестелю, который, как известно, полагал, что лишь более или менее длительная диктатура временного революционного правительства может осуществить эту задачу. Трубецкой, мы увидим это немного ниже, упорно боролся с Пестелем по этому вопросу.

Трубецкой полагал, что лишь „народные представители" вправе решить вопрос о будущем „порядке правления" и утвердить „государственное законоположение". В этом отношении, впрочем, мнение Трубецкого разделяли и Н. Муравьев, который и на свою Конституцию смотрел лишь как на проект, долженствовавший поступить на рассмотрение Народного Собора, и Н. И. Тургенев, который еще в 1821 году писал, что „спасе-

ние“ можно „искать“ лишь в совете „народа“, и другие члены Северного Общества. Созыв полновластного выразителя народной воли*), Народного Собора, и являлся по существу конечной целью стремлений Северного Общества.

VI.

Для Пестеля, хорошо понимавшего необходимость сильной организации в Петербурге, было конечно не безразлично направление ее деятельности; и объединение в виду этого, обоих обществ в организационном и идеологическом отношениях казалось ему насущной потребностью.

Сношения Южного Общества с Северным начинаются поездкой князя Волконского в Петербург, повидимому, в самом конце 1822 года, имевшей целью информацию о планах и деятельности Северного Общества. Н. Муравьев отправил с Волконским Пестелю начатую им Конституцию. В феврале 1823 г. Пестель прислал с Давыдовым Н. Муравьеву письмо, в котором „оспаривал разные пункты его Конституции и предлагал главные черты своей“. Муравьев в беседе с Давыдовым и в ответном письме к Пестелю давал общие заверения в своей готовности содействовать Южному Обществу, отстаивая, однако, принципы своей конституции. Вместе с тем он послал текст Конституции Сергею Муравьеву-Апостол. Получается довольно определенное впечатление, что Северное Общество ищет связей с Южным, но уклоняется от принятия программы Пестеля и пропагандирует там свою. Это впечатление вполне подтверждается при наблюдении дальнейшего развития отношений Севера и Юга.

В ту же весну 1823 года в Петербург приезжал князь Барятинский, через которого Пестель вновь пытается побудить Муравьева к более энергичной деятельности. Барятинский должен был сказать, что Южное Общество намеревается начать „действие“ в данном году, и требовать от Муравьева содействия. Н. Муравьев обещал начать „действие“, но лишь „пропагандою“, указывая в то же время, что набор новых членов встречает большие затруднения. Барятинский ведет переговоры помимо правителя Муравьева. Он знакомится с Поджио, одним из новых

*) В понимании, разумеется, присущем либералам того времени.

членов Северного Общества. В нем южане рассчитывали, повидимому, найти один из путей своего влияния. Кроме того Барятинский пытается организовать в Петербурге как бы независимое отделение Южного Общества. Он принимает в состав последнего двух кавалергардских офицеров — Поливанова I и Вадковского. Очевидно Пестель через Барятинского искал в возможности провести в Петербурге свою программу помимо руководящих верхов Северного Общества, если те на нее не согласятся.

Когда Барятинский был еще в Петербурге, там появляется новый посланец с юга — Матвей Муравьев-Апостол с аналогичными поручениями.

Барятинский и М. Муравьев некоторое время вместе вели переговоры с членами Северного Общества. Они оба были недовольны направлением работ Петербургского Общества, находя, что оно в полном расстройстве, что Н. Муравьев и Трубецкой вовсе отклонились от общества, что они только „умствуют и ничего не делают". Разработка политической идеологии обоим, Барятинскому и М. Муравьеву, казалась, очевидно, излишней, раз на юге эти вопросы были решены. Они в соответствии с теми поручениями, которые имели от южной директории, настаивали на немедленном приступе к практической работе. Руководители Северного Общества не могли на это пойти, не сходясь с Южным Обществом в программных вопросах.

Деятельность Барятинского в Петербурге и особенно организация ячейки Южного Общества заставили, видимо, руководителей Северного Общества начать активную работу. Предпринята была реорганизация Общества. В октябре месяце состоялось совещание у Пущина, на котором присутствовали: Н. Муравьев, Тургенев, Оболенский, Пущин, Митьков, Нарышкин, Бригген, М. Муравьев-Апостол, Поджио. Н. Муравьев открыл совещание заявлением о том, что Южное Общество требует начала немедленной активной работы, которая, однако,предполагает предварительную организацию Общества. В совещании было решено реорганизовать управление Обществом. Вместо одного правителя была составлена Дума из трех директоров: Муравьева, Оболенского и Трубецкого. После этого обсуждался план дальнейших работ Общества. Предположено было на следующих совещаниях обсуждать Конституцию Н. Муравьева. Кроме того,

Тургенев предложил написать об уголовном судопроизводстве и теорию уголовных законов, а Оболенский об „обязанностях гражданина“. В этом же совещании Пущин предложил привлечь в общество Рылеева, что и было принято.

Последующие совещания Общества были у Н. Муравьева, Оболенского, Митькова, Рылеева и Нарышкина. На этих совещаниях были выработаны правила организации Общества, обсуждались Конституция Н. Муравьева и вопросы тактики.

Правила организации Общества не были написаны вовсе. Вообще было установлено в конспиративных целях, чтобы все „делано было в виде знакомства, основанного на одинаковом образе мыслей, а не в виде Тайного Общества“. Прием новых членов был обставлен также весьма осторожно. Трубецкой при этом всегда настаивал, чтоб „приемы были как можно рассудительнее, чтоб не брали пустой молодежи, которая будет только болтать, кричать и наделает шуму, чем и принудит опять уничтожить Общество. Но чтоб искали людей рассудительных, на которых бы можно было надеяться, говоря, что „числом достоинства не заменишь“.

Таким образом, общая деятельность протекла в сущности в узком круге его основателей, к которому первоначально были присоединены лишь Рылеев и В. Голицын. Вновь вступающие члены, как о том свидетельствует, например, А. Бестужев, действительно не знали большинства членов. Несколько позже, уже после отъезда Трубецкого в Киев, структура Общества была несколько изменена. Общество было формально разделено на два круга: убежденных и соединенных, т.-е. членов основателей и членов, находившихся в различных его отраслях, но с тем чтобы с течением времени членам второго круга был открыт доступ в первый.

Вопросы идеологии не были вырешены в окончательной форме, и Конституция Муравьева в целом не была принята. Но основные принципы ее были, очевидно, восприняты Обществом. По крайней мере о намерении „доставить государству конституцию, подобную Американским Штатам“ говорит и Рылеев, и Бестужев, и Титов и другие новые члены.

На этих же совещаниях Общества в 1823 — 1824 годах обсуждались и основные вопросы тактики. В одном из своих показаний Н. Муравьев, на вопрос Следственной комиссии о том,

какими средствами Общество думало „исторгнуть согласие" императора на введение конституции, коротко отвечал: „силою оружия". В другом показании он несколько подробнее излагает свои предложения: „Я полагал, сообщает он, и 1-е распространить между всеми состояниями людей множество экземпляпляров моей Конституции, лишь только оная будет мною окончена.

2-ое. Произвесть возмущение в войске и обнародовать оную.

3-е. По мере успехов военных во всех занятых губерниях и областях приступить к собранию избирателей, выбору тысяцких, судей, местных правлений, учреждению областных палат, а в случае великих успехов, и Народного Веча.

4-ое. Если-б и тогда императорская фамилия не приняла конституции, то как крайнее средство, я предполагал изгнание оной и учреждение Республиканского Правления".

Таким образом, вооруженное восстание мыслилось, как единственное и неизбежное средство к достижению конечной цели.

Вопрос о судьбе царской фамилии, в случае несогласия ее на конституцию, по свидетельству Рылеева, был решен обществом именно в том смысле, как говорит Муравьев.

В одном из собраний Общества шла речь о созыве „Народного Собора" и Временном Правительстве. М. Муравьев-Апостол развивал точку зрения Пестеля о необходимости установления Временного Правительства из членов Тайного Общества, облеченных диктаторскими полномочиями. Северяне решительно возражали против этого, указывая, что „никакое общество не имеет права вводить насильно в своем отечестве нового образа правления, сколь бы оный ни казался превосходным, что это должно предоставить выбранным от народа представителям". Трубецкой, в частности, возражал против введения в состав Временного Правительства членов Общества, полагая, что оно должно быть составлено из лиц, известных всей России, и предложил в состав правительства Мордвинова и Сперанского. Это мнение Трубецкого было принято Обществом и оставалось неизменным по словам Рылеева до 14 декабря.

Так оживленно протекала осень и начало зимы 1823—24 годов. М. Муравьев-Апостол и Поджио не успели в своих намерениях склонить Северное Общество к принятию программы

Пестеля. Оно уверенно выбрало свою дорогу. В конце декабря или самом начале января 1824 г. в Петербург приезжали Давыдов и Волконский. Пестель, посылая с ними свою „Русскую Правду", поставил им задачей добиться соглашения прежде всего по вопросам идеологическим. Южане вели переговоры с С. Трубецким, Н. Муравьевым, Митьковым, но неимели успеха. Северяне твердо отстаивали свои программные позиции [29]).

Для Южан объединение Обществ казалось крайней необходимостью. Они поэтому решили не оставлять попыток в этом направлении. Пестель сам решил поехать в Петербург. Но еще несколько раньше Пестеля в Петербург явился Повало-Швейковский с письмами от С. Муравьева-Апостол к Трубецкому, Н. Муравьеву и Тургеневу, в которых С. Муравьев убеждал Северян присоединиться к Южному Обществу. Во время свидания Трубецкого с Повало-Швейковским между ними произошел любопытный разговор. Приведем его в изложении проф. Довнар-Запольского. „Сначала шел партикулярный разговор... Его прервал М. Муравьев, сказав Трубецкому: „Вы здесь все лишь проводите время в разговорах и спорах. У вас нет и не будет согласия. Вы умствуете только, а Южное Общество устроено. Я давно говорю: присоединитесь скорее к оному; там написан и положительно уже признан порядок нового правления, там и войска много, вам это полковник подтвердит, а у вас нет ни того, ни другого".

В разговор вступил Швейковский, который сказал: „что это действительно справедливо, что приличнее присоединиться к тому, которое устроено—ежели точно ваше общество находится в таком несогласии между собой, то трудно требовать, чтобы к нему присоединилось то, которое устроено. Разве согласиться на это для того, чтобы было расстройство и в том и другом". На эту речь Трубецкой с досадой отвечал:

„Полковник, в устройстве Южного Общества надо доказательства: расскажите мне какие ваши средства и какие правила предположены нового правления, а без того я полагаю все слова ничтожны".

На это Швейковский сказал:

„Князь, позвольте ваше любопытство оставить без удовлетворения".

Швейковскому трудно было удовлетворить „любопытство Трубецкого"; он сам не был посвящен в детали планов Южного Общества и не имел, очевидно, официального поручения на ведение переговоров.

В марте 1824 г. в Петербург приехал Пестель. Пробыл он там около двух месяцев. Прежде всего он повидался с Матвеем Муравьевым, который ознакомил его с положением дел в Северном Обществе. Пестель принял решение вести предварительно переговоры с каждым из членов Думы в отдельности, „дабы их отклонить друг от друга". Повидимому, уже в день своего приезда он увидался с Оболенским. Пестель произвел на Оболенского весьма благоприятное впечатление. Изложив ему „главные правила" своей конституции, Пестель указал, что неопределенность целей и тактики, которые тогда были действительно еще не вполне разработаны в Северном Обществе, должны препятствовать деятельности Общества. Пестелю удалось убедить Оболенского. „Новость мыслей, связь оных и в особенности главные основные правила оной, (т.-е. конституции Пестеля) были причиною, что я одобрил оную", писал Оболенский в одном из своих показаний. Не столь благоприятны были переговоры Пестеля с Трубецким и Н. Муравьевым. Трубецкого Пестель посетил на другой день после своего приезда. В беседе с ним Пестель также указывал на бездействие Северного Общества, на энергичную работу Южного, на необходимость соединения Обществ под одним управлением, которому члены должны безусловно повиноваться; изложил также свою конституцию, свое мнение относительно осуществления нового строя через Временное Правительство, составленное из директоров Общества, облеченных диктаторскими полномочиями.

Трубецкой, во время этой первой беседы с Пестелем, не возражал ему и не высказывал своего мнения, которое сложилось в отрицательном для Пестеля смысле. Он рассказал о своей беседе Н. Муравьеву. Последний не мог принимать участия в первоначальных переговорах с Пестелем, вследствие болезни жены.

Пестель видался в первые дни пребывания в Петербурге и с Рылеевым, с которым свел его вероятно Обсленский. В беседе с Рылеевым Пестель был видимо очень осторожен, не вы-

сказывал своих взглядов, старался ознакомиться со взглядами Рылеева. „Пестель, вероятно, желая выведать меня", рассказывал Рылеев на следствии, „в два упомянутых часа был и гражданином Северо-Американской Республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником Английской конституции, то поборником Испанской". На вопрос Пестеля какое же правление Рылеев считает наиболее удобным для России, последний отвечал, что таким ему представляется американская конституция, но при императоре, власть которого не должна быть больше власти американского президента. Рылеев добавил однако, что готов согласиться на всякий устав, который будет выработан Обществом, лишь бы он был представлен Народному Собору, „как проект, и чтоб его не вводить насильно". Пестель возразил на это, не открывая, очевидно, полностью своих мнений, что ему „напротив кажется и справедливым и необходимым поддержать одобренный обществом устав всеми возможными мерами". В конце беседы Пестель излагал свои мнения по крестьянскому вопросу. Надо думать, что на Рылеева беседа с Пестелем произвела двойственное впечатление. Оболенский указывает в своих записках, что Пестель „привлек" его к своему „воззрению на цель общества и на средства к оной"; но сам Рылеев в своих показаниях сообщает, что он считал Пестеля „человеком опасным".

Виделся Пестель, кроме того, еще с Тургеневым. Предметом их беседы был крестьянский вопрос. Тургенев очень возражал Пестелю по поводу его проекта „разделения земель". В течение первой же недели пребывания Пестеля в Петербурге, состоялось в квартире Рылеева совещание членов Северного Общества. В нем принимали участие Трубецкой, Оболенский, Тургенев, Митьков, Пущин, сам Рылеев. Н. Муравьева не было. Трубецкой сообщил предложение Пестеля о слиянии Обществ. Оболенский говорил о необходимости принятия предложения, и большинство видимо склонялось к этому. Возражал лишь один Трубецкой. Он указывал, что для Пестеля будет совершенно неприемлема Конституция Н. Муравьева, что Пестель будет настаивать на принятии его Конституции. Рылеев, в то время еще не вполне осведомленный во взглядах Пестеля, указывал, что „находить в этом препятствие, есть признак самолюбия", так как тот или иной проект может всту-

пить в силу лишь после утверждения его „Великим Собором".

Тогда Трубецкой сообщил предположения Пестеля относительно Временного Правительства и введения Конституции. Рылеев говорит, что это сообщение Трубецкого и припоминание о разговоре его с Пестелем заставило его заподозрить Пестеля в „честолюбивых замыслах" и настаивать именно поэтому на соединении Обществ, дабы „не выпускать его из виду". Эта точка зрения и была принципиально принята большинством участников совещания.

В отношении же конституции Пестеля, решено было никоим образом не принимать ее безусловно, „но истребовать от Пестеля письменное изложение ее и плана действий" с тем, чтобы затем составить нечто общее, избрав из проектов Пестеля и Н. Муравьева „все хорошее и полезное".

Через неделю после приезда Пестель посетил Н. Муравьева. В беседе между ними зашла речь о способах действий и Пестель, развивая свою точку зрения, высказался о необходимости уничтожения императорской фамилии, диктатуры Тайного Общества... Муравьев сообщил этот разговор Трубецкому и Оболенскому и склонял их к тому, чтобы порвать с Пестелем.

Оболенский и Трубецкой вновь имели беседы с Пестелем. Трубецкой довольно подробно рассказывает в показаниях о своем споре с Пестелем по вопросу о недопустимости цареубийства, о невозможности организовать Временное Правительство из членов Тайного Общества, о трудности осуществить в России республиканское правление.

В этом последнем вопросе Трубецкой, быть может, и колебался. По крайней мере об этом говорит Пестель. Но и сам Пестель, по словам Трубецкого, готов был, или делал вид, что готов, идти на уступки.

После этих новых переговоров членов Думы с Пестелем, состоялось на квартире Тургенева вторичное собрание, на котором присутствовали: Н. Муравьев, Трубецкой, Оболенский, Тургенев, Митьков, Рылеев и Нарышкин. В совещании этом были сообщены подробности о Конституции Пестеля и его тактических планах. Видимо было много прений. Тургенев особенно возражал против мнений Пестеля по крестьянскому вопросу, Трубецкой—по вопросу о диктатуре Временного Прави-

тельства, Муравьев горячо высказывался против цареубийства.

После этого состоялось собрание в квартире Оболенского. На нем присутствовали Трубецкой, Н. Муравьев, Оболенский, Тургенев, Пестель и Матвей Муравьев-Апостол.

Главным предметом спора был вопрос о Временном Правлении, против которого больше других, по словам Пестеля, говорили Трубецкой и Никита Муравьев. Впрочем, Пестель на этот раз не столько настаивал на принятии его политической программы, сколько на единстве Обществ. Ему возражали Муравьев и Трубецкой, указывавшие, что так-как не было достигнуто соглашение по программным вопросам, то они не могут согласиться на слияние Обществ.

Таким образом переговоры полного успеха не имели. Все же представители обоих обществ сговорились, что если одно из них вынуждено будет выступить, то другое поддержит, начав решительные действия.

Пестель, однако, искал еще случая воздействовать на Общество через кого либо из членов. Он еще раз заходил к Трубецкому, снова много говорил с ним, убеждая его в необходимости слияния Обществ и образования общей директории в составе его Пестеля, Трубецкого и Юшневского. Но Трубецкой категорически отказался.

Перед отъездом было еще одно собрание, в результате которого, по словам Трубецкого, он и Пестель расстались недовольные друг другом. Пестель выходя сказал: „стыдно будет тому, кто не доверяет другому и предполагает в другом личные какие виды, последствие покажет, что таких видов нет".

Не успев в вопросе о слиянии двух обществ, Пестель решил организовать в Петербурге особую ячейку Южного Общества. Для этого он принял в число боляр Южного Общества кавалергардов Вадковского и Свистунова, которые вскоре приняли в члены несколько человек.

Итак, Северное Общество выдержало со стороны Пестеля серьезный натиск на свои идеологические позиции. Трубецкой наряду с Муравьевым представляется наиболее принципиальным защитником этих позиций. Центром борьбы для обеих сторон был, быть может, не столько вопрос о форме правления

будущей России, сколько вопрос о переходном моменте, вопрос о Временном Правительстве и Народном Соборе.

Надо отметить то неблагоприятное впечатление, которое Пестель лично произвел на членов Петербургской организации. И Трубецкой, и Рылеев говорят о его крайнем честолюбии, заставлявшем их опасаться за дело Общества, за судьбу будущего переворота. Если эти впечатления и были несправедливы, то все же они не были вполне безосновательны. Довольно определенно говорит об этом в своих показаниях Матвей Муравьев. Характеризуя поведение Пестеля в Петербурге, он писал брату Сергею: „Я вполне убежден, что пока ничего нельзя сделать, ничего не сделать и в Петербурге для оправдания наших друзей. Скажу более: самый опыт показывает, что тут ничего не поделаешь. Визиты, которые там были сделаны, породили разлад; иначе и быть не могло: с одной стороны выражали чувства, с другой высказывали предположения на счет вероятностей, а это последнее вышло уж очень холодно... И все это делается из ничтожного тщеславия ради того, что бы тоном учителя навязать писанные гипотезы, о которых одному лишь Богу известно применимы они или нет“ [30]).

VII.

Северное Общество решило теперь повести борьбу против Пестеля уже в недрах самого Южного Общества и добиться единства действий обоих Обществ на основе северной программы. С этой целью Трубецкой воспользовался предложением князя Щербатова занять должность дежурного офицера штаба 4 пехотного корпуса, находившегося в Киеве. Приехав туда в марте 1825 года он сразу же вступил в тесную личную и деловую связь с руководителями Васильковской управы. В своих показаниях он вполне определенно указывает, что в Муравьеве он нашел союзника в борьбе с Пестелем „Муравьев говорил мне, что он долгое время не вступал опять в Общество, не хотел более иметь никаких подобных связей, но после того почел нужным вступить с Бестужевым, чтоб ближе знать действия Пестеля, и что хотя Пестель и весьма скрытен и недоверчив, и Муравьев тем менее может знать что он делает, что он не может отлучаться от своего

места, однако-ж они дали себе слово вместе с Тизенгаузеном и Швейковским, что если б что нибудь Пестель затеет д л я с е б я, то всеми средствами ему препятствовать".

При таком настроении Муравьева Трубецкому было легче достигнуть с ним соглашения по вопросам революционной программы. Но все же это соглашение далось после довольно длительных переговоров и не без труда. С. Муравьев в одном из своих писем к брату Матвею так пишет об этом: „Хороший посредник и вместе с тем сколько случаев я могу рассказать. Вот один, недавно случившийся и который Вам доставит удовольствие. Вы знаете петербургскую апатию и благоразумность, овладевшие С. Трубецким. И вот, мой друг, знайте, что по прошествии месяца пребывания, Бестужев так хорошо сумел, что Сергей не только откровенно присоединился к Югу, но обещает смело присоединить к нему весь Север, дело которое он в состоянии исполнить и на которое можно рассчитывать, раз это обещает, потому что он человек чистосердечный. Надеюсь, дорогой Матвей, что дело было не легкое и что услуга значительная для нашего дела".

Бестужев-Рюмин в показаниях на следствии говорил, что выработанный Васильковской управой революционный план был известен Трубецкому, который вполне одобрил его и на все „совершенно" согласился, обещая при том принять все меры к тому, чтоб подготовить выполнение этого плана на Севере. Спрошенный следственной комиссией по поводу этого показания Трубецкой, признался в его справедливости, но с оговоркой: „Я согласен", показывал он, „действовать и одобряю их план действия, исключая того, что я не в одном пункте не одобряю Пестелевой Конституции".

Это последнее показание Трубецкого дает возможность придти к совершенно определенному выводу. Было достигнуто очевидно соглашение лишь по тактическим вопросам. Можно думать, впрочем, что сюда входил и вопрос о цареубийстве и форме правления. По поводу последнего Трубецкой, на вопрос следственной комиссии о том „был ли он убежден в необходимости установления республики в России?", отвечал: „Я не был в душе моей убежден установлением республиканского правления в России. Я точно всегда думал, что оно несвойственно народу русскому, и что если-б

и введено было, то удержаться не может. Но так же противно моей совести сказать, что сия уверенность моя никогда не колебалась, особенно в последнее время пребывания моего в Киеве... Я откровенно признаюсь, что когда я колебался и сомневался, то я действовал двояко: иногда представляя Сергею Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину, что в России народ не поймет республики, что нет человека, который бы мог быть главою оной, что сие может сделать возмущение и беспокойства внутри государства, а иногда, соглашаясь с ними, что особенно было в последнее время".

Было бы неправильно заключать, из только что приведенных слов Трубецкого, что он не был устойчив в своих политических воззрениях, хотя он в данном случае быть может и хочет создать у следственной комиссии такое впечатление. Мы знаем, что он был всегда последовательным противником политической программы Пестеля. Вопрос о республике или монархии никогда не был для Трубецкого вопросом идеологической важности, но он всегда был важен, как впрочем видно и из цитированных сейчас его слов, как вопрос тактический. Мы знаем, он был последовательным либералом, отрицающим всякую диктатуру и видящим основную цель своей революционной работы в установлении представительного правления. Если представительное правление можно достигнуть легче при монархии, это хорошо, если же носитель монархической власти будет препятствием к достижению основной цели, то для Трубецкого была ясна необходимость его устранения, даже физического уничтожения, и установления республики. — „Гнушался я также мысли о цареубийстве и пролитии крови", писал он несколько дальше в том же своем показании, „...но должен чистосердечно признаться, что я имел преступную слабость скрывать, что покушение на жизнь покойного государя устрашает мою совесть, и имея слабость сию даже до того, что не только не оспаривал сей мысли, но даже изъявлял, что я одного мнения"... В этом полупризнании, если отбросить моменты оправдания, следует, как нам кажется, видеть полное признание.

Таким образом, Трубецкой полностью принял весь операционный план революционного восстания, выработанный в это время Васильковской управой.

Но он не соглашался на установление диктатуры Временного Правительства и введения им Конституции Пестеля, которую он полностью отвергал. В этом отношении Васильковская управа уступила Трубецкому, она согласилась на созыв немедленно после захвата власти Народного Собора, который и должен был установить новый государственный строй. Васильковская управа должна была согласиться на это условие тем более, что этого требовал не только Трубецкой, но требовало и Общество Соединенных Славян.

По выработанному плану революция должна была начаться на юге, летом 1826 г., когда ожидалось присутствие в расположении 1-ой армии императора Александра, цареубийством, арестом высшего командного состава армии и закончиться походом на Москву. Северное Общество по этому плану должно было принять меры к аресту членов императорской фамилии и захвату правительственных учреждений.

Деятельность Трубецкого на юге не ограничилась переговорами об общем плане революционного восстания. Трубецкой принимает живое участие в работе Васильковской управы. В одном из своих показаний Рылеев определенно говорит, что Трубецкой „и там играет важную роль". Сохранившиеся отрывки писем его и Бестужева к Муравьеву свидетельствуют, что летом 1825 года Трубецкой был как бы посредником в текущих сношениях Бестужева и Муравьева. Сохранилось также одно весьма любопытное показание командира Киевского драгунского полка Гротенгельма, указывающее, что квартира Трубецкого была местом свиданий членов Васильковской управы. Гротенгельм во время своих визитов заставал у Трубецкого С. Муравьева-Апостол, Швейковского, Тизенгаузена, Набокова. Правда, судя по показаниям М. Муравьева-Апостол, Трубецкой не выполнил поручения Васильковской управы, которая будто-бы рассчитывала, что он поведет пропаганду в частях 4-го корпуса. Но кажется, что главная роль Трубецкого заключалась в соответствующем воздействии на высшее командование корпуса. При благоприятном стечении событий в его руках могли оказаться все войска корпуса. Это обстоятельство, можно предполагать, заставляло держаться его возможно осторожнее. Некоторые данные указывают, что командование первой армии после получения известий о 14 де-

кабре насторожилось в отношении и командира 4-го корпуса князя Щербатова. и начальника его штаба генерала Красовского. Наконец, письмо генерала Дибича на имя графа Сакена от 15 декабря 1825 года, в котором первый прямо указывает на Трубецкого, как на одного из „горячейших сочленов тайного общества", свидетельствует, что революционная работа Трубецкого на юге не укрылась от розысков тайной военной полиции.

VIII.

Установив соглашение с Южным Обществом в вопросе о тактическом плане, Трубецкой поспешил в Петербург, чтобы подготовить Северное Общество к восстанию.

Приехав туда в начале ноября, он констатировал слабые его успехи. Общество не только мало увеличилось количественно, но нисколько не улучшилось качественно. Вспоминая об этом в Сибири, он высказал даже сожаление о том, что уезжал на юг: „Может быть", писал в своих записках, и удалившись из столицы Трубецкой сделал ошибку. Он оставил управление общества членам, которые имели менее опытности и, будучи моложе, увлекались иногда своею горячностью, и действие которых не могло производиться в том кругу, в котором мог действовать Трубецкой. Сверх того, тесная связь с некоторыми из членов, отсутствием его прервалась." Может быть это и не было бы ошибкой, если бы с одной стороны в Петербурге мог кто нибудь его заменить, а с другой, если бы Трубецкой мог иметь в своем распоряжении достаточно времени, что бы наладить деятельность петербургской организации.

Никита Муравьев, по складу своего характера, был выдающимся теоретиком, но, повидимому, плохим организатором. Да к тому же всю осень 1825 года его не было в Петербурге. На место Трубецкого, когда он уезжал в Киев, в Думу был выбран Рылеев.

Поэт-романтик, пылкий идеалист, горячо любивший родину и веривший в ее лучшее будущее, фанатически убежденный в правоте целей Тайного Общества, Рылеев был прекрасным „агитатором", умевшим привлечь в Общество таких же, как и он сам мечтателей, готовых на большое самоотвержение. Но он не был способен поставить организацию общества таким

образом, что бы за ним пошли не отдельные поручики и мичмана, но баталионы и полки...

Кроме Н. Муравьева, Оболенского и Рылеева, мы видим теперь в Северном Обществе все новые лица, братьев Бестужевых, Каховского, Якубовича, Завалишина, Торсона и еще нескольких молодых гвардейских офицеров. Братья Бестужевы активно участвовали в день 14 декабря, но об их деятельности в Обществе до этого времени мы знаем мало. Более видную роль играл повидимому Александр Бестужев. Весной 1825 г. он был введен в верхний круг Общества.

По его показаниям, которым нет кажется оснований не доверять, он хотя и разделял идеи Общества, но не верил в успех его деятельности и активно не работал. Тоже, повидимому, надо сказать и о его старшем брате Николае, моряке, служившем в Кронштадте. Через него и Торсона Рылеев намеревался организовать ячейку в Кронштадте, но неудачно. Оба они отказались от этой задачи.

Через А. Бестужева в связь с обществом вошел Якубович. Сблизившись с Рылеевым, Бестужевым и Оболенским, он сообщил им о своем якобы намерении убить императора Александра, мстя за незаслуженный обидный перевод из гвардии в Кавказскую армию и предложил им воспользоваться этим актом в целях Общества. Но неподготовленность Общества к скорому выступлению и, может быть, некоторое недоверие к нему заставили членов Думы настаивать на том, чтобы Якубович отложил свое намерение.

Более ясным представляется нам Каховский, с именем которого связаны также планы цареубийства.

„Пылкий", „готовый на обречение" „революционер — романтик", Каховский в тоже время, является человеком прекрасно знавшим недуги русской общественной жизни и понимавшим необходимость ее коренных изменений. Он убежденно воспринимает задачи тайного общества и идейно „готов собою жертвовать отечеству", принимая на себя подвиг цареубийства. Важно отметить, что Каховский очевидно, отлично понимал необходимость участия в революционном перевороте значительных военных сил и сам принял участие в организационной деятельности Тайного Общества. При его посредстве образуется ячейка Общества в гвардейском Гренадерском полку, в которую вхо-

дят Сутгоф, Панов, Кожевников, Жеребцов. Он принимает в Общество офицеров Измайловского полка Фока и Глебова, штабного офицера Палицына. С ними он до конца поддерживает близкую связь, непрестанно возбуждая в них свободолюбивый патриотизм.

Менее чем Каховский, представляется способным, а может быть и вовсе не способным, к личному самопожертвованию лейтенант Завалишин, несомненно имевший положительное значение в организационной деятельности Северного Общества. Им была образована ячейка в Гвардейском экипаже, в которую входили Арбузов, Дивов, братья Беляевы, братья Бодиско.

Важность наличия таких ячеек в войсковых частях совершенно ясна. Через них Общество могло бы вести пропаганду в солдатских массах, суровая аракчеевская дисциплина, жестокие репрессии, вообще тяготы долголетней военной службы конечно могли бы сделать солдата того времени легко восприимчивым к революционным призывам Тайного Общества. Но пропаганда развернута не была. Кроме двух, отмеченных выше ячеек, в других полках их не было, если несчитать ячейку Южного Общества, организованную Пестелем из Кавалергардских офицеров, о существовании которой Петербургская организация знала, но вряд ли могла рассчитывать на ее безусловное содействие. Вместе с тем Петербургская дума не сумела привлечь в состав Общества никого из сколько нибудь крупных военных начальников, на которых можно было бы рассчитывать, что приведут с собой значительные отряды. Не развернула она и агитации в широких кругах Петербургского Общества, чтобы создать моральную сочувствующую атмосферу на случай революционного переворота, если не считать некоторых слабых и, повидимому, мало удачных попыток такой агитации среди петербургской буржуазии.

„Наши дела плохи", говорил Рылеев Трубецкому, когда тот приехал в Петербург, „мы ни на какое решительное действие не готовы".

„Это худо", отвечал Трубецкой [32]).

Это оказалось тем хуже, что наступило событие, которое, сорвало выработанный на юге тактический план революции, не оставляя времени улучшить положение.—Умер Александр I.

IX.

Известие о тяжкой болезни императора Александра было получено в Петербургском Зимнем дворце вечером 25 ноября. Известье это быстро распространилось по городу.

Мы знаем, что смерть Александра, „каким бы образом оная ни последовала", „положена была в правилах" Тайного Общества „знаком к собранию членов и действию". Трубецкой, узнавший о болезни Александра 26 числа, тотчас же сообщил об этом Рылееву и предложил ему „съехаться" для переговоров. Но известие о смерти Александра пришло скоро после известия о болезни, и петербургское военное командование так быстро приняло соответствующие меры, что члены Общества не только не могли подготовиться к восстанию, но и не успели еще собраться на совещание. 27 утром приехал из Таганрога фельдъегерь с сообщением о смерти императора, и в тот же день войска и высшие государственные учреждения присягнули на верность императору Константину Павловичу. Так сложившиеся обстоятельства вынудили Северное Общество занять выжидательную позицию. На совещаниях Общества предположено было, в случае „благополучного" вступления на престол Константина, временно приостановить деятельность Тайного Общества, обявъив его закрытым и распустив членов. Трубецкой впрочем в одном из разговоров с Рылеевым высказал предположение, что более готовые к революционному восстанию члены Южного Общества „непременно подымутся", и указывал на необходимость подготовиться к содействию ему. Это было еще в один из первых дней после присяги. Рылеев тогда же собрал членов Общества, сообщил им предположение Трубецкого и предложил им избрать Трубецкого диктатором.

Император Константин, находившийся тогда в Варшаве, не спешил появиться в Петербурге.

А между тем одновременно с принесением присяги Константину стало известно, что Александр особым завещательным актом назначил наследником престола, минуя Константина, великого князя Николая Павловича. Распространился слух, что этот последний пытался еще до получения известия о смерти Александра заявить о своих претензиях на престол, но должен был отказаться от них, ввиду того, что не нашел поддержки

со стороны петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. Отношения к двум претендентам на престол в Петербурге было, действительно, различно. Трубецкой в своих записках сообщает, что лишь придворная знать предпочитала иметь императором Николая Павловича, а военные круги с большой охотой присягнули Константину. Это последнее обстоятельство подтверждается показаниями на следствии и Трубецкого, и других декабристов.

3 декабря из Варшавы приехал великий князь Михаил Павлович, привезший полуофициальные заявления Константина Павловича об отказе от престола. Их однако не решились объявить публике, предполагая, быть может не без основания, что Константин, узнав о принесенной ему присяге, может изменить свои намерения. Курьер за курьером были отправлены Николаем Павловичем в Варшаву с просьбами о приезде в Петербург или об официальном отречении от престола.

6 декабря вернулся из Варшавы первый курьер, с которым были посланы Константину сообщения о присяге. В ответном коротеньком письме Константин в таких выражениях и притом в совершенно неофициальной форме вновь отказывался и от престола и от приезда в Петербург, что Николай не имел никакой возможности воспользоваться этим письмом и сообщить его публике. Как ни старались скрыть до времени эти „домашние сделки" императорской семьи, слухи об отречении Константина быстро распространились по городу. Александр Бестужев в своих показаниях говорит, что именно 6-го он услыхал эти известия. Трубецкой также рассказывает, что слышал о возвращении курьера Лазарева, который привез письмо от цесаревича с надписью „его императорскому величеству". Все эти сведения подавали членам Тайного Общества надежду на возможность, в случае новой присяги, воспользоваться ею для осуществления своих планов. На одном из совещаний с Рылеевым и Оболенским Трубецкой заявил, что в случае отречения Константина „мы должны все способы употребить для достижения цели Общества и не можем никакой отговорки принести Обществу, избравшему нас". Оба, и Рылеев, и Оболенский, приняли мнение Трубецкого.

Обстоятельства складывались исключительно благоприятно для Тайного Общества. Гвардия, и солдаты, и офицеры, были

очень „не расположены“ к Николаю Павловичу, а „цесаревича любили.“ Члены Общества, естественно могли предположить что „переприсяга“ на имя Николая вызовет неудовольствие в войсках, а может быть и волнения. „Никогда не представится, по выражению А. Бестужева, благоприятнейшего случая отыскать права, коими пользуются другие нации“. Начались каждодневные собрания Тайного Общества в квартире больного Рылеева. В этих собраниях участвовали Трубецкой, Рылеев, Оболенский, братья Александр, Михаил и Николай Бестужевы, Каховский, Одоевский, Арбузов, Сутгоф, Батенков, Якубович и затем приехавший из Москвы 9 декабря Пущин. Совещания не были общими. Когда приезжал Трубецкой, то обычно он вместе с Рылеевым и Оболенским запирался в комнате, где лежал больной Рылеев, а остальные члены находились в другой комнате, и входили лишь по одному, по два человека для сообщения руководителям Общества необходимых сведений.

На совещании 9-го числа, как сообщает Оболенский, было принято окончательное решение начать подготовку членов Общества к „действию в случае новой присяги и распространить действия Общества в полках“. 10-го числа Трубецкой привез положительные известия о том, что император отказывается от престола. Тотчас началась работа по выработке плана революционного восстания[30]).

Прежде всего надо было учесть те вооруженные силы, на которые могло рассчитывать в своих действиях Тайное Общество, чтобы в соответствии с наличием этих сил выработать тот или иной план восстания.

Мы уже знаем, что в двух гвардейских частях, в Гренадерском полку и Морском экипаже были весьма активные ячейки Тайного Общества. Поэтому на обе эти части Общество возлагало большие надежды. Не менее надежным казался и Московский полк, в котором одним из ротных командиров был М. Бестужев, сумевший привлечь к Обществу еще одного ротного командира, князя Щепина-Ростовского. Кроме того Общество рассчитывало еще на полки Измайловский, Егерский и Финляндский. В двух первых надежды подавало настроение солдатской массы, по слухам явно враждебное по отношению к Николаю Павловичу, да кроме того некоторые из офицеров Измайловского полка были членами Тайного Общества. На

Финляндский полк надеялись, главным образом, потому, что два батальонных командира Моллер и Тулубьев были членами Тайного Общества. Особенное значение придавалось Измайловскому полку, как одному из старейших, коренных гвардейских полков.

Были члены Северного Общества и в некоторых других частях, в конной артиллерии, в конном саперном эскадроне, но они не обещали увлечь за собой свои части. Наконец, некоторую надежду подавала Кавалергардская ячейка Южного Общества. Еще в день получения известия о смерти Александра I, А. Муравьев по поручению Свистунова ездил к Оболенскому осведомиться о том, что думает предпринять Северное Общество.

Этот предварительный учет сил дал возможность построить план широкий и, казалось, легко осуществимый и безошибочно сулящий успех. Завалишин в своих „Записках декабриста" характеризует этот план совершенно правильно. „План движения в Петербурге", пишет он, „составлен был очень основательно. В следственном комитете всеми средствами доискивались, кто составил этот план. Им все мерещилось, что это должно быть дело какого-нибудь известного опытного генерала. Но это была самая грубая ошибка с их стороны, потому что это был скорее политический, нежели военный план. Яснейшим доказательством тому служит то обстоятельство, что вся сущность плана заключалась в решении начинать восстание с тех частей гвардии, на которых можно было рассчитывать наверное и немедленно вести их на полки, представлявшие затем наиболее вероятности на принятие участия в восстании, и так далее, таким образом, представят такую массу войск, что сопротивление было бы и не мыслимо, тем самым предупредить его и избежать всякого кровопролитного столкновения". В основе плана было предположение, что полки откажутся от присяги Николаю Павловичу. Чтобы склонить солдатскую массу к этому отказу члены Общества должны были распустить слух о том, что известие об отречении Константина ложно, что Николай намеревается самовольно захватить престол. Мы понимаем теперь, почему члены Тайного Общества, для которых по существу их политической программы вопрос о личности императора не мог играть роли, вынуждены были

искать точки опоры своих действий в этой сознательно ими придуманной лжи. Никакой пропаганды среди солдатских масс, Северное Общество не вело и не могло бы в короткий срок успеть развить ее в достаточной мере. Правда, члены Общества одновременно должны были обещать солдатам облегчение тягот военной службы и т. п., но они не могли открыть им истинных своих намерений произвести государственный переворот. Для гвардейца Александровских времен авторитет царя стоял несомненно высоко и в два дня разрушить этот авторитет было нельзя. Надо было найти средство не допустить в сознание солдатской массы мысли о законности переприсяги Николаю, надо было противопоставить авторитету Николая авторитет Константина, на время конечно, только до того момента пока власть не окажется в руках Тайного Общества.

Такой план действий был составлен Трубецким. Он состоял в следующем: „Полк который откажется от присяги надобно стараться вывести из того места, где он будет собран для присяги, и вести его к ближнему полку, на который надеются, и когда тот пристанет, то итти к следующему и так далее. Что лучше будет если можно с начала вывести Измайловской полк, как один из коренных Гвардейских, и можно скорее надеяться что к оному пристанут другие полки. Что таким образом можно полагать, что пристанут и из тех полков, на которых не считают. Когда полки пехотные почти всей или большей части гвардии будут таким образом собраны вместе, тогда вероятно важнейшие из начальствующих лиц, будут присланы их уговаривать; в таком случае должно настаивать только на одном: требовать прибытия Государя Цесаревича, и если будет объявлено что будет послано к Государю Цесаревичу, тогда вытребовать место для квартирования полков до того времени, как Его Высочество прибудет. Сим образом будет соблюден весь вид законности, и упорство полков будет сочтено верностью; но цель общества введения конституции будет уже потеряна. Если же не будет объявлено, что пошлется известие в Варшаву к Государю Цесаревичу, но объявят, что Его Высочество не изволил принять присяги и станут уговаривать полки, тогда их вести к Сенату и требовать общего собрания, и когда оное сберется, то потребовать, чтобы Сенат издал манифест, коим бы всенародно объявил, что Государь Цесаревич не принял

присяги, и как такой пример есть в нашем государстве первый, какому подобных еще не было, то для разрешения, что в сем случае делать, просить ли Его Высочество от всего государства о принятии престола, или поднести присягу государю императору Николаю Павловичу, назначается общее собрание депутатов из всех губерний, из каждого сословия по одному (или двум), коим и собраться в столицу в самоскорейшем времени; в том же манифесте должно бы было объявить, что оное депутатское Собрание поставит законоположение для управления государством на будущее время; сим же манифестом объявить, что даются равные гражданские права всем сословиям (не произнося однакож слова *вольности* для крестьян, чтоб тем не сделать возмущений), что срок службы солдатам убавляется и, наконец, что для управления государством до решения, какое последует от депутатского собрания, назначается временное Правление из двух или трех лиц из известнейших особ Государственного Совета, а Сенат до того ж решил депутатского Собрания закрывается, оставя буде нужно департамент для судных только дел; но всякая законодательная власть должна прекратиться до сбора депутатов... Манифест сей должен был быть разослан в тот же день, и по рассылке только его полки отвести на место, которое будет избрано для стояния им до собрания депутатов".

Конкретно предположено было, что Гвардейский экипаж, после отказа от присяги, со своими пушками двинется к Измайловскому полку и, соединившись с ним и соседним конным саперным эскадроном, вместе направятся на Петровскую площадь к Сенату. Московский полк зайдет за Егерским полком и также вместе двинутся на Петровскую площадь. Гренадерский полк должен был зайти за артиллерией, а на Финляндский полк надеялись, что он придет самостоятельно. Этих сил, по мнению Трубецкого, было достаточно, чтобы избежав кровопролития, заставить правительство пойти на уступки [31]).

Скоро однако выяснилось, что этот план, план „вооруженного давления", не может быть выполнен, так как члены Общества, учитывая свои силы, ошиблись в надеждах.

Агитация, которую, видимо, вели члены Общества в эти дни, не имела успеха. Некоторые из офицеров, членов Общества, стали явно уклоняться от участия в восстании.

Когда Трубецкой сам стал собирать сведения от офицеров о настроениях в полках и о числе членов самого Общества, то увидел, что „расположение умов не подает надежды в успехе исполнения", и что Общество „состоит из самых незначущих людей". 11 декабря Оболенским было собрано совещание членов Общества, полковых офицеров. Собрались Кожевников, Сутгоф, Щепин-Ростовский, Розен, Богданов, Одоевский, Арбузов и Рылеев. На этом совещании выяснилось, что Измайловский и Финляндский полки представляются мало надежными. Это обстоятельство привело присутствовавших в смущение, и разговор принял „томительный" характер. Чтобы затушевать начавшееся создаваться тягостное настроение, Рылееву пришлось прервать разговор и призвать всех дать честное слово явиться на площадь с тем числом войск, который каждый может привести, или придти на площадь самому. Все дали слово и разъехались. Несколько позже к Оболенскому приехали по его вызову кавалергардские офицеры Анненков и Арцыбашев. Рылеев и Оболенский уговаривали их принять участие в заговоре и агитировать среди офицеров полка, „скрытно от Свистунова", на которого они, повидимому, уже не надеялись. Анненков и Арцыбашев не дали решительного согласия. Тогда Трубецкой сделал попытку оказать воздействие на Свистунова. Вызвав его к себе, он объявил ему, что Общество намерено возмутить солдат и настаивал, чтобы Свистунов принял меры в полку. Свистунов возразил, что при этом будет „неизбежно пролитие крови." „Что же делать", ответил Трубецкой. Свистунов отказался от участия и заявил, что он уедет из города.

Кроме того, Трубецкой решился еще на довольно рискованную попытку привлечь на сторону заговорщиков командира Семеновского полка, Сергея Шипова, который, как мы знаем, был когда-то одним из активных деятелей Союза Спасения и Союза Благоденствия и некоторое время состоял в Северном Обществе.

Попытка эта не удалась. Трубецкой дважды ездил к Шипову, но должен был убедиться, что „Шипов передался совсем на сторону Николая". „Это для нас была, говорит Трубецкой, большая потеря, потому что Шипов был всегда членом, на которого полагались, и очень дружен с Пестелем. Он был полковой командир и не только по словам его, но и по слухам,

был любим в полку. И хотя, быть может, слишком много приписывал себе власти на своих подчиненных, но без сомнения мог иметь довольно влияния на умы их и, следовательно, сделать большой перевес на ту сторону, которую примет".

К 12 декабря таким образом выяснилось, что определенно можно было рассчитывать только на три гвардейских части, т.-е. на те же Московский и Гренадерский полки и на Гвардейский экипаж. С такими незначительными силами Трубецкой уже не мог думать о возможности осуществления выработанного им плана и это тем более, что если и можно было надеяться, что пехотные полки откажутся стрелять в восставших, то относительно пешей гвардейской артиллерии такой уверенности не было; наоборот, у Трубецкого были положительные сведения, что „артиллерия палить будет". Надо было, следовательно, или отказаться от задуманного предприятия, или выработать новый, более осуществимый план.

Трубецкой решился на последнее.

Главной задачей этого нового плана был арест и, если нужно, то и убийство Николая Павловича и всей царской семьи в день новой присяги. Сам Трубецкой на следствии долго пытался замалчивать и затем опровергать тот факт, что эта задача была поставлена им самим. Весьма иногда откровенный на следствии Каховский, в одном из первых своих показаний, 18 декабря, сообщил, что в день происшествия было препоручено дворец взять Якубовичу, в коем должен был он арестовать всю царскую фамилию, но в Обществе говорили, что буйное свойство Якубовича, конечно, повергнет жизнь оных опасности". То же он повторял и в позднейших показаниях. То же самое еще в декабре показывал и А. Бестужев, а в показании 14 марта он довольно определенно сообщил, что Трубецкой, как-то между разговором говорил о необходимости убийства императора, но что это не было принято Обществом. Рылеев в показаниях 24 апреля категорически отрицал намерения Общества истребить императорскую фамилию. Но в то же время также определенно показывал, что занятие дворца и арест царской фамилии было предположено в плане Трубецкого, который поручил выполнить это Якубовичу и Арбузову. 15 февраля следственная комиссия в упор поставила Трубецкому вопросы: 1) кто назначен был выполнить цареубийство, с при-

давлением, что ей уже известно, что и сам Трубецкой „требовал“ принести на жертву императора и 2) кому поручено было занять дворец, сенат и крепость. На второй вопрос Трубецкой ответил указанием, что сам он не давал никому поручения занять дворец, сенат и крепость и что ему ничего неизвестно об этом предположении. Но по первому вопросу он вынужден был, с обычными своими оправдательными мотивами, признаться в „умысле“ на цареубийство. „Кто вызывался“, говорит он, „и кто назначен был нанести удар Государю Императору, я совершенно не знаю; мне, и при мне, никто на сие не вызывался; я никого не назначал, и предложение о таком назначении мне никто не делал; и если что по сему было положено без меня, то до сведения моего не доходило, и не было мне ни кем сообщено. Тот, или те, кои показали, что я требовал, чтобы государь император был принесен на жертву, должны знать, если я кого на сие ужасное дело и назначил; если я оного требовал то вероятно и назначал кого-нибудь для исполнения. А как я выше показал, что я совершенно не полагал иметь сего преступления на совести моей, то не могу и помнить, чтобы я назначал кого. В обоих случаях я должен был быть в совершенном беспамятстве, и потому только должен верить, что я был столь несчастлив что произнес таковое требование, что не могу никак предполагать, чтоб кто решился меня оклеветать, или умышленно неверно показать на меня“.

После уже приведенных показаний Рылеева о том, что занятие дворца и крепости было намечено в плане самим Трубецким следственная комиссия вновь поставила Трубецкому этот вопрос, уже с определенной ссылкой на Рылеева. Трубецкой в показаниях от 4 мая вновь категорически отрицал это, ссылаясь на свой уже известный нам план „вооруженного давления“. Но на очной ставке с Рылеевым 6 мая он должен был признаться в справедливости показаний Рылеева.

Таким образом, мы можем совершенно определенно полагать, что главной задачей нового плана восстания Трубецкой ставил захват дворца, арест императорской фамилии и в случае необходимости „принесение ее на жертву“. С этой последней целью предполагали „спустить с цепи Якубовича“. Овладение дворцом предполагалось после успешного сбора необходимых воинских частей. Самая организация сбора войск была следующей:

Арбузов и Якубович должны были вывести Гвардейский экипаж, идти с ним „поднимать" Измайловский полк и саперный эскадрон, а затем по Вознесенской улице спуститься на Петровскую площадь. Рылееву и Н. Бестужеву находиться при Гвардейском экипаже. А. Бестужеву поднять при посредстве М. Бестужева и Щепина-Ростовского Московский полк и идти по Гороховой Булатову через Сутгофа поднять Гренадерский полк и идти через Васильевский остров и, наконец, Финляндскому полку идти через Неву. Была еще маленькая надежда у заговорщиков, что придет конная артиллерия, которую, повидимому, должен был поднять Оболенский. Помощниками себе Трубецкой назначил Булатова и Якубовича, а начальником штаба Оболенского. На себя Трубецкой принял политическую диктатуру и общее руководство восстанием [1]).

12 декабря разнесся слух об окончательном отказе Константина приехать в Петербург и опубликовать манифест об отречении от своего имени. Заговорщики должны были спешить.

12 и 13 декабря мы застаем их в непрерывных совещаниях и подготовке к восстанию. Совещания происходят то общие у Рылеева, то только лишь руководителей у Трубецкого и Рылеева, то местные в Гвардейском экипаже и Гренадерском полку. Трубецкой сам уже принимает непосредственное участие в инструктировании ротных командиров. Считая себя главным политическим руководителем восстания, он набрасывает тезисы уже известного нам манифеста, который должен был быть опубликован Сенатом под давлением революционных войск. Рылеев характеризует деятельность Трубецкого в эти дни такими словами: „Настоящие совещания всегда назначались им, и без него не делались. Он каждый день по два и по три раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и когда я уведомлял его о каком нибудь успехе по делам Общества он жал мне руку, хвалил мою ревность и говорил, что он только и надеется на мою отрасль. Словом он готовностью своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностью, не всем себя открывая".

Последний подсчет сил общества не давал, однако, надежды на успех революционного восстания. Моллер и Тулубьев отказались выступить, а с их отпадением терялась надежда на Финляндский полк. Измайловский полк казался также нена-

дежным и, наконец, и гренадеры и московцы заявляли, что они не смогут поднять полки полностью. У Трубецкого накануне 14 декабря возникала мысль о том, чтобы отложить восстание в Петербурге и отправиться в Киев.

Но было уже поздно. Остановить начало восстания было невозможно, да и членам Общества стало известно предательство Ростовцева.

Надо было однако принять меры, чтобы с меньшими силами обеспечить полный успех восстания.

С этой целью Трубецкой еще раз меняет план. Вечером, 13 декабря, отдается приказ: вместо предположенного захвата дворца после сбора войск на Петровской площади, часть, которая придет первой на Петровскую площадь, должна немедленно захватить дворец и арестовать царскую семью, не дав противнику возможности принять оборонительные меры.

Но во дворце уже ждали восстания и готовились к нему. 12 декабря Николай Павлович почти одновременно получил известия, и об отказе Константина, и о раскрытии Тайного Общества на юге, и заговоре в Петербурге. Присяга была назначена на раннее утро 14 декабря. В ночь на 14-ое Николай вызвал всех командиров гвардейских полков и, отдав приказ о принятии присяги, возложил на них ответственность за сохранение порядка в войсках. По приказу императора командир Преображенского полка старался привлечь солдат на сторону нового царя. Была роздана большая сумма денег и обещаны многие милости.

Наступило 14 декабря.

X.

Свое поведение 14 декабря Трубецкой в показаниях рисует в обычных для него оправдательных тонах: он постоянно указывает на свою нерешительность, на свое нежелание руководить восстанием, на свое стремление уйти от заговорщиков, на свой страх перед последствиями восстания.

Зная теперь его, как главного и энергичного, но осторожного организатора восстания, мы не придадим веры этим обычным тонам его показаний.

Приведем, однако, его подробный рассказ.

„14-го декабря по утру я ходил к Рылееву часов в 7

и нашел, что он еще в постели; я был рад, ибо боялся по сказанным им словам Арбузову прошедшим вечером, чтоб он не ушел к нему и чтоб не возбудили в Экипаже; мне не хотелось, чтоб он, т.-е. Экипаж выходил первый, потому что он *всех слабее* и *его примеру не надеялся, чтобы другие полки последовали.* Пока я был у него, сошел к нему Штенгель (живший наверху в том же доме). Разговора о предшествовавшем вечере не было, ни о предположениях на сей день; я не в таком духе был чтоб расспрашивать, Рылеев тоже видно не хотел говорить; я рассказал только, что сбирается Сенат, а Штенгель сказал „пойду дописывать манифест, который кажется останется в кармане, он у меня в голове почти совсем кончен". С сим словом он пошел, и я также встал. Тут я узнал что Штенгель пишет Манифест; сам ли от себя или по определению других он сие делал мне неизвестно. Когда я встал, чтоб идти, приехал Репин сказать Рылееву, что в Финляндском полку офицеров потребовали к полковому командиру и что они присягают особо от солдат.

14-го числа в 10-м часу был у меня Рылеев с Пущиным (статским), как я прежде показывал, я им дал прочесть манифест, за которым я послал в Сенат, и после того они уехали; выходя Пущин мне сказал: „однакож если что будет то вы к нам придете". Я признаюсь, что я не имел духу просто сказать *нет,* и сказал „ничего не может быть, что ж может быть если выйдет какая рота или две?" Он отвечал „мы на вас надеемся"; Рылеев не слыхал сего разговора, он уже вышел в сени. После сих слов Пущина я стал более бояться, что будет еще что-нибудь, и боялся что если они придут на Сенатскую площадь, то придут за мной, почему я и ушел из дому; взял извощика и поехал в канцелярию дежурного генерала Главного Штаба Его Величества, чтоб там спросить где мне присягать, и если можно, то хотел тотчас присягнуть, надеясь, что если что будет или что откроется, то мне поспешность моя к принятию присяги во что нибудь вменится. Мне сказали (кажется старший адъютант Яковлев), что присягать надобно придти на завтрашний день в 11 часов в зал Главного Штаба; потом дали мне манифест с приложениями, которых я еще не читал, потому что я имел манифест еще без приложений, кои не были еще отпечатаны, когда я посылал в Сенат.

Я стал читать приложения, между тем старшие адъютанты приходили, здоровались со мной, спрашивали о здоровье, рассуждений же я никаких не помню. Оттуда я пошел к сестре моей в дом Потемкина в Большой Миллионной, она просила меня прочесть ей манифест и прочие бумаги. От нее я пошел к флигель-адъютанту полковнику Бибикову, которого не застал дома, но застал его жену и брата; посидев с ними и увидя, что уже первый час, я ободрился надеждою, что все уже кончено, что полки все присягнули, и что все прошло тихо: тогда я поехал домой с намерением одеться и ехать во дворец. — Выезжая на площадь с Невского проспекта, я увидел много народу на Дворцовой площади и волнение; я остановился и увидев Скалона, который служит в Главном Штабе и находится при библиотеке оного, подошел к нему спросить—что такое? Он мне сказал, что Московский полк кричит ура государю цесаревичу и идет к Сенату, что вывели караул дворцовый и поставили у ворот дворца, что выведен 1-й баталион Преображенский и зарядили ружья. Я вошел во двор Главного Штаба и опять пошел в канцелярию дежурного генерала, не зная куда деваться; правитель канцелярии Ноинский спросил меня, неслыхал ли я чего? и отвел в сторону; я сказал ему слышанное от Скалона; пришел старший адъютант (кажется Борщов), он повторил тоже. Ноинский сказал: господа подите туда, вы в мундирах, вам надобно там быть, и тогда мы вышли. Я не хотел идти на площадь и прошел двором Главного Штаба в Миллионную, не зная сам куда идти, и у ворот канцелярии г-на начальника Главного Штаба встретил входящего в них полковника Юренева, чиновника Гуноропуло и еще одного человека, мне не знакомого; они имели вид испуганный и зазвали меня с собой: я взошел на лестницу и вошел с Гунаропуло в канцелярию г. начальника штаба, где никого не было. Он с весьма испуганным видом говорил мне „беда! какая беда! Московский баталион и множество народа прошли по Морской к Сенату, я с ними встретился, бежал от них, они кричат ура! императору Константину; говорят убили Фридерикса. Последнее слово меня сразило; я почти упал на стул, едва мог говорить, Гунаропуло вставал, садился, говорил все „ах! какая беда!“, после предложил идти на площадь; мы вышли, но я идучи сказал ему, что я чувствую себя очень нездоровым и

зашел опять в канцелярию г. дежурного генерала, где также говорил Нонинскому, что я очень нездоров; пришел Случевский, старший адъютант, который звал меня идти на площадь к Исаакию и говорил, что надобно оставить шинели, потому что там Государь Император, но я ему тоже сказал, что я очень нездоров, и зашел в курьерскую, где сидел один в большом унынии и страхе; из оной вошел опять в канцелярию, спросил где Нонинский, мне сказали что в зале квартиры дежурного генерала; я вошел туда, где нашел его с полковником Ребиндером, который пришел с площади и который рассказывал, что там происходит. Я спросил можно ли пройти на Английскую набережную не мимо бунтовщиков, что я в большом беспокойстве о жене; он мне отвечал, что „ничего можно очень пройти и мимо их, даже они всех пропускают, ездят даже, они только кричат ура Константину Павловичу и стоят от одного угла Сената до другого". Тогда я надеялся, что жена моя выехала и что она может быть у сестры моей, куда я и послал, взяв извозчика".

Мы, повторяем, не придадим веры оправдательным тонам этого рассказа. Для нас поведение Трубецкого и в частности его сидение „в унынии и страхе" в Главном Штабе будет вполне понятно, если мы вспомним, что, по последним отданным им распоряжениям, первая пришедшая на площадь революционная воинская часть должна была взять дворец.

С полной основательностью, думается, можем мы предположить, что Трубецкой, сидя в Штабе, находящемся против дворца, ждал этого решающего всю судьбу революции момента. Но дворец не был занят революционерами. План восстания был сорван. Но не Трубецким, а Рылеевым, Бестужевым, Якубовичем и Булатовым. Рылеев и Якубович не пошли, как им было назначено, в Гвардейский экипаж, а Булатов не пошел в Гренадерский полк. Восстание началось в Московском полку. Бестужевым и Щепину-Ростовскому удалось вывести две роты полка и привести их к Сенату. Но вопреки диспозиции они остались стоять на площади, вместо того, чтобы идти на приступ дворца, который в тот момент был вполне для них доступен. Момент был упущен. Николай сумел быстро собрать войска не только для охраны дворца, но и для окружения восставших войск.

Гренадерский полк уже в 7 утра часов был приведен к присяге и лишь позже Сутгофу и Панову удалось поднять часть полка

и привести на площадь. Так же уже после первых выстрелов на Петровскую площадь пришел и Гвардейский экипаж.

Началось знаменитое „стояние" декабристов. Рылеев, Бестужев, Оболенский и другие утверждают, что все ждали прихода Трубецкого для принятия начальства над войсками, и что неприбытие его на площадь сыграло роковую роль в судьбе восстания. Но надо думать, что его появление не изменило бы этой судьбы. Это стало ясно Трубецкому, когда он увидел, что план сорван его смелыми, но не способными к боевой работе товарищами. Дело было проиграно и там, на площади, его уже было не спасти. На площадь Трубецкой мог придти только лишь для того, чтобы разделить горькую судьбу восставших. Но он не пришел. Это была измена, не делу, а товарищам, вождя, потерявшего веру не только в успех дела, но и в его правоту: за ним не было народных масс. Выступление декабристов было не народной революцией, а революционной вспышкой группы дворянской интеллигенции, оторвавшейся психологически от своего класса, против этого класса и его верховного представителя. Вот почему неуспех дня 14 декабря был крахом всего дела. Вот причина личной моральной катастрофы его вождя.

XI.

Тотчас после подавления восстания Николай Павлович начал следственные розыски. Для него, уже имевшего сведения о существовании Тайного Общества в южных армиях и достаточно ясные изветы Ростовцева о готовящемся сопротивлении в Петербурге, вероятным казалось, что это факты звенья одной цепи. Первые же допросы заговорщиков дали доказательства правильности этого предположения. Сразу ему удалось обнаружить и главного организатора петербургского восстания. Одним из первых был арестован еще на площади Сутгоф, который открыл „гнездо сообщников", квартиру Рылеева и рассказал о роли его в заговоре.

Рылеев, мучительно переживавший крушение своей общественной работы и еще более страх грядущей вечной, быть может, разлуки с семьей, после ареста был сразу же доставлен на допрос к императору. В бессильном гневе на Трубецкого за его „измену", Рылеев, на этом первом же допросе указал, что Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской

площади, что неявка Трубецкого „главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились" и признался, что Тайное Общество „точно существует". А далее Рылеев „почел долгом совести и честного гражданина" предупредить Николая о том, что и на юге, в полках около Киева, тоже есть Тайное Общество и что нужно „взять меры, дабы там не вспыхнуло восстание". „Трубецкой", добавил он, „может назвать главных".

По показанию Рылеева послано было арестовать Трубецкого, произвести у него обыск и взять все бумаги. Трубецкого дома не оказалось. Он ночевал у своего шурина австрийского посла Лебцельтерна. Обыск был произведен и среди бумаг была найдена собственноручно написанная Трубецким программа манифеста, послужившая главной уликой его руководящего значения в заговоре. К Лебцельтерну с требованием выдачи Трубецкого был послан министр иностранных дел Нессельроде, в сопровождении флигель-адъютанта Голицына. Лебцельтерн выдал Трубецкого и последний был привезен во дворец.

Момент первого допроса Трубецкого всегда останавливал внимание историков. Некоторые из них на одном только психологическом толковании этого момента строят понимание Трубецкого в истории дня 14 декабря. „Животный страх смерти. физических мук", пишет П. Е. Щеголев, „был чужд декабристам, этим страхом, быть может, отмечен только один князь С. П. Трубецкой, в слезах целовавший руки Николая Павловича и моливший о жизни. „La vie, sire, la vie". Трубецкой вымолил себе жизнь ценой подробнейших признаний. Его избрание в диктаторы—удивительная насмешка судьбы над декабристами". Зная роль Трубецкого в истории Тайного Общества, мы не можем, конечно, повторить вслед за П. Е. Щеголевым, да и другими историками, что избрание Трубецкого диктатором было „насмешкой судьбы", случайностью. Мы не повторим также теперь, что страх смерти был чужд всем декабристам, кроме Трубецкого. Но правильно ли, что Трубецкой отмечен „животным страхом смерти?"

П. Е. Щеголев в своей характеристике Трубецкого опирается на рассказ Греча, который передает слухи, широко распространенные уже в первые дни после 14 декабря, о том, что

Трубецкой на первом допросе пал перед Николаем на колени и в слезах, целуя ему руки, просил пощады: „La vie, sire, la vie“. Не может быть сомнения в источнике этих слухов. Они шли из дворца. Для Николая Павловича было, разумеется, настолько важно разгласить этот факт унижения главы заговорщиков, факт моральной победы над ним, что еслиб этого факта в действительности не случилось, его надо было бы выдумать.

Теперь в распоряжении историка имеется несколько рассказов лиц, которые были свидетелями допроса Трубецкого Николаем I. И прежде всего рассказ самого Трубецкого в его записках. Вот этот рассказ:

„Меня позвали. Император пришел ко мне навстречу в полной форме и ленте, и, подняв указательный палец правой руки против моего лба, сказал: „что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой! как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью, ваша участь будет ужасна“, и обратившись к генералу Толю сказал: „прочтите“. Толь выбрал из бумаг, лежащих на столе, один лист и прочел в нем показание, что бывшее происшествие есть дело Тайного Общества, которое, кроме членов в Петербурге, имеет еще большую отрасль в 4-м корпусе и что дежурный штаб-офицер этого корпуса лейб-гвардии Преображенского полка полковник князь Трубецкой, находящийся теперь в Петербурге, может дать полные сведения о помянутом Обществе. Когда он прочел, император спросил: „Это Пущина“?—Толь: „Пущина“.

Я. Государь! Пущин ошибается...

Толь. А! Вы думаете это Пущина. А где Пущин живет?

Я видел, что почерк не Пущина, но подумал, что повторив имя его, может быть назовут мне показателя. На вопрос Толя я ответил: „не знаю“.

Толь. У отца ли он теперь?

— Я. Не знаю.

Толь. Я всегда говорил покойному государю, ваше величество, что 4-й корпус гнездо тайных обществ, и почти все полковые командиры к нему принадлежат, но государю не угодно было верить.

Я. Ваше превосходительство имеете очень неверные сведения.

Толь. Уж вы не говорите,—я это знаю.

Я. Последствия докажут, что ваше превосходительство ошибаетесь. В 4-м корпусе нет Тайного Общества, я за это отвечаю.

Император прервал наш спор, подав мне лист бумаги, и сказал: „пишите показание“ и показал место на диване, на котором сидел и с которого встал теперь. Прежде нежели я сел, император начал опять разговор. „Какая фамилия, князь Трубецкой, гвардии полковник, и в каком деле! Какая милая жена! Вы погубили вашу жену! Есть у вас дети?

Я—Нет.

Император. Вы счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная! Ужасная!

И продолжив некоторое время в этом тоне, заключил: „пишите все, что знаете“, и ушел в кабинет.

Я остался один. Видел себя в положении очень трудном, не хотел скрывать принадлежности моей к Тайному Обществу, что и не привело бы ни к чему доброму, потому что ясно было из прочтенного мне и многих исписанных разными почерками листов, что более известно нежели бы я желал. Но между тем я не хотел иметь возможность упрекать себя, что я кого бы то ни было назвал. И потому я в своем ответе написал, что принадлежу к Тайному Обществу, которое имело целью улучшение правительства, что обстоятельства, последовавшие за смертью государя, казались Обществу благоприятными к исполнению намерений его и что оно, предприняв действия, избрало меня диктатором, но что я, наконец, увидя, что более нужно мое имя, нежели лицо и распоряжения, удалился от участия. Этой уверткой я надеялся отстранить дальнейшие вопросы, к которым не был приготовлен. Пока я писал, вошел Михаил Павлович и подошел ко мне, постоял против меня, и я против него не более минуты, и вышел.

Между тем приходили другие лица, которых распрашивал Толь и которых потом выводили. Входил и император для допросов и уходил обратно. Когда я окончил писать, подал лист вошедшему Толю; он унес его к императору. Несколько погодя Толь позвал меня в другой кабинет. Я едва переступил за дверь, император навстречу в сильном гневе: „Эк! что на себя нагородили, а того, что надобно не сказали,

и скорыми шагами отойдя к столу, взял на нем четверку листа поспешно подошел ко мне показав; „это что? Это ваша рука“?

Я—Моя.

Император (крича). Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять.

Я.—Расстреляйте, государь. Вы имеете право. (Сложив руки и также громко).

Император. (Также громко). Не хочу. Я хочу, чтоб судьба ваша была ужасная!

Выпихнув меня своим подходом в передний кабинет, повторял то же несколько раз, понижая голос. Отдал Толю бумаги и велел приложить к делу, а мне опять начал говорить о моем роде, о достоинствах моей жены и ужасной судьбе, которая меня ожидает, и уже все это жалобным голосом. Наконец, подведя меня к тому столу, на котором я писал, и подав мне лоскут бумаги, сказал „пишите к вашей жене“. Я, начал писать: „друг мой, будь спокойна и молись богу“. Император прервал: „что тут много писать! Напишите только: „я буду жив и здоров“. Я написал: „государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров“. Я подал ему, он прочел и сказал: „я жив и здоров буду, припишите, буду, вверху“. Я исполнил. Он взял и велел идти мне за Толем. Толь, выведя меня, передал тому же князю Голицыну, который меня привез и который теперь взял конвой кавалергардов, отвез меня в Петропавловскую крепость и передал коменданту Сукину“.

В этом рассказе Трубецкого целый ряд подробностей подтверждается другими данными. Отметим, например, что показание, которое было прочитано Трубецкому, последним изложено в записках совершенно правильно. Правильно также, что автором этого показания Николаем и Толем облыжно был назван вместо Рылеева Пущин: Трубецкой в своем показании на этом допросе ссылается именно на Пущина. Как в подлинном показании Трубецкого, так и в изложении его в записках, сходно упоминается, что заговорщики избрали его лишь ради „имени“. Но о существовании Тайного Общества Трубецкой на самом деле рассказал несколько иначе, сравнительно с тем, как он говорит об этом в записках. В последних он сообщает, что признался будто бы в принадлежности к Тайному Обществу, в подлинном же показании мы видим, что он пытается вовсе

отрицать существование Тайного Общества, говоря о нем, как о „некогда“ существовавшем, но „потом разрушенном“... Впрочем это небольшое разноречие можно объяснить и запамятованием. Записки писались, ведь, много лет спустя. Общее построение рассказа Трубецкого, его обрисовка актерского поведения главного следователя Николая Павловича весьма подкупают в пользу признания правильности этого рассказа.

Но в его рассказе не упомянуто о факте „падения“ на колени перед Николаем. Да и нет ему тут места, так сказать, психологически. Не Николай, а он, Трубецкой, по его рассказу, оказался моральным победителем во время допроса.

В совсем иных красках изображает этот эпизод в своих записках Николай Павлович. „По первому показанию насчет Трубецкого, я послал флигель-адъютанта князя Голицына, что теперь генерал-губернатор Смоленский, взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены. Князь Голицын имел приказание забрать все его бумаги, но таких не нашел: они были скрыты или уничтожены; однако в одном из ящиков нашлась черновая бумага на оторванном листе, писанная рукою Трубецкого, особой важности; это была программа на весь ход действий на 14 число, с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому. Сам князь Голицын поспешил ко мне, и тогда только много нам объяснилось. Важный документ я вложил в конверт и оставил при себе и велел ему, князю Голицыну, непременно отыскать князя Трубецкого и доставить ко мне. Князь Голицын скоро возвратился от княгини Белосельской с донесеньем, что там Трубецкого не застал и что он переехал в дом Австрийского посла, графа Лебцельтерна, женатого на другой же сестре графини Лаваль. Я немедленно отправил князя Голицына к управляющему министерством иностранных дел графу Нессельроду с приказанием ехать сию же минуту к графу Лебцельтерну с требованием выдачи Трубецкого, что граф Нессельроде сейчас исполнил. Но граф Лебцельтерн не хотел вначале его выдавать, протестуя, что он ни в чем не виновен. Положительное настояние графа Нессельроде положило сему конец. Трубецкой был выдан князю Голицыну и им ко мне доставлен.

Призвав генерала Толя во свидетели нашего свидания, я велел ввести Трубецкого и приветствовал его сими словами:

— Вы должны быть извещены о происходившем вчера. С тех пор многое объяснилось, и к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы не только участник заговора, но должны были им предводительствовать. Хочу вам дать возможность хоть немного уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного; тем вы дадите мне возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?

— Я не виновен, я ничего не знаю,—отвечал он.

— Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение: вы—преступник; я—ваш судья, улики на вас — положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите—отвечайте,—что вам известно?

— Повторяю, я не виновен; ничего я не знаю.

Показывая ему конверт, сказал я:

— В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или—вы невозвратно погибли. Отвечайте!

Он еще более дерзко мне ответил:

— Я уже сказал, что ничего не знаю.

— Ежели так,—возразил я, показывая ему развернутый его рукой текст,—так смотрите же, что это?

Тогда он, как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде.

— Ступайте вон! все с вами кончено!—сказал я, и генерал Толь начал ему допрос. Он отвечал весьма долго, стараясь все затемнять, но несмотря на то, изобличал еще больше и себя и других".

Рассказ Николая Павловича, как видит читатель, имеет характер совершенно противоположный рассказу Трубецкого. Историку было бы трудно из этих двух в одинаковой степени драматичных и тенденциозных рассказов выбрать который либо. Если в рассказе Трубецкого мы нашли ряд деталей, которые подтверждают его фактическое содержание, то в рассказе Николая, наоборот, есть некоторые фактические неточности. Отметим, например, одну из них и притом немаловажную. Говоря о документе, найденном у Трубецкого и предъявленном ему в качестве главной улики, Николай, как мы видели, назы-

вает его *планом восстания*, тогда как на самом деле это была программа манифеста, но не план восстания, который в письменном виде никогда, к сожалению, не существовал [1]). Приняв во внимание эти фактические ошибки, а может быть и сознательные извращения, ради усиления драматического эффекта, историк быть может будет склонен больше поверить рассказу Трубецкого.

Но есть еще свидетели „падения" Трубецкого: великий князь Михаил Павлович и генерал Толь.

Вот рассказ Михаила Павловича в изложении Корфа: „когда великий князь вошел к государю, чтобы донести об исполнении своего поручения, была уже поздняя ночь, и здесь представилось ему неожиданное зрелище: перед государем стоял и в ту минуту упадал на колени, моля о своей жизни, известный князь Трубецкой"... Но и рассказ Михаила Павловича, именно потому, что он изложен Корфом, не может быть вполне надежным свидетельством: Корф мог прибавить лишний факт ради прославления своего излюбленного героя.

Остается Толь, рассказ которого приведен в его „Журнале о декабрьских событиях 1825 года", написанном, как значится в самом журнале *22* декабря 1825 года, по возвращении из Петербурга в Могилев. „Сей самый Рылеев", рассказывает Толь, показал и на князя Трубецкого, как главного виновника бывшего возмущения, подстрекавшего молодежь на сие предприятие, но отклонившегося принять главное начальство тогда, когда узнал, что не все гвардейские полки к стороне бунтовщиков пристали.

По допросе князя Трубецкого, он ни в чем не сознался, как только в том, что действительно существует Южный союз, коего главное пребывание во 2-й армии под управлением полковника Пестеля.

Надобно заметить, что всякий раз когда прочитывал я государю показания преступников и если из оных открывались еще другие сообщники, тогда государь приказывал немедленно

[1]) Сам Николай Павлович в письме к цесаревичу от 14—15 декабря сообщает, что в бумагах Трубецкого был найден „проект конституции". Отметим, между прочим, что в этом письме Николай не упоминает о „падении" Трубецкого на колени перед ним, но говорит, что Трубецкой „во всем признался".

генерал-полицеймейстеру Шульгину захватить как сообщников, так и все их бумаги. Так случилось и с кн. Трубецким. На показание Рылеева послано было захватить кн. Трубецкого и его бумаги, но его не нашли дома, а узнали, что он у шурина своего австрийского посла Лебцельтерна; между тем, захватили его бумаги, которые привезены были тотчас к государю генерал-адъютантом кн. Трубецким.

В бумагах сих найден был проект манифеста, которому бунтовщики хотели дать ход, еслиб удалось ниспровергнуть законную власть.

Сей проект государь изволил положить особо в конверте. Князя Трубецкого привезли во дворец не прежде как около 7-ми часов утра. По снятии мною с него допроса, который он собственноручно написал я вошел с оным в кабинет государя, и прочитав оный, его величество заметить изволил, что если он тут запирается, то что скажет он, когда покажу ему проект его манифеста, пусть войдет. Позвав кн. Трубецкого, он предстал бледен и почти без души перед государем. Его величество, сделав ему некоторые замечания на преступление его и неосновательность его показаний, показал ему проект манифеста; „а это что?“ Князь Трубецкой хотел было отговориться, якобы все сие для него новое, но я ссылаясь на собственноручное его показание, перед сим только написанное, сказал: „стоит только сличить то и другое, чтобы удостовериться, что проект манифеста писан вашей рукой,“ после чего он признался. На сие государь строгим голосом сказал ему: „Знаете ли вы, что за сие вас на этой площади расстрелять надобно?“ На что Трубецкой, пав к стопам его величества, просил помилования; государь продолжал: „Пишите к жене вашей, что вы посылаетесь в крепость, где дальнейшая участь вас ожидает, что он тут же исполнил и потом, под прикрытием четырех жандармов и при унтер-офицере, отвезен был в крепость“.

Внимательный читатель заметит в рассказе Толя позднейшую вставку.—В самом деле: Толь, сказав кратко о показании Трубецкого и как бы уже закончив речь о нем, начинает вновь подробный рассказ об обстоятельствах ареста и допроса Трубецкого словами „Надобно заметить“ и т. д.

Но должно обратить внимание еще на одно свидетельство того же Толя. В предписании от 22 декабря капитану Сотни-

кову, который был командирован штабом 1-ой армии в Киев для наблюдения за штабом 4-го корпуса, Толь писал: „Союз обнаружился явно в С.-Петербурге и часть заговорщиков сознались в преступной цели и действиях своих. Между ними особенно замечателен дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса лейб-гвардии Преображенского полка князь Трубецкой, который быв изобличен, пал к стопам государя и сознался во всем"... Таким образом, если и признать, что рассказ Толя о Трубецком в „Журнале" есть позднейшая вставка, имеющая и некоторые неточности, то самый факт „падения" Трубецкого становится, после только что приведенного указания в предписании Сотникову, трудно опровержимым.

Предоставим последнее слово Трубецкому. Он заканчивает свое показание 15 декабря словами:

„В 4-м корпусе, хотя и показывает *Пущин*, что есть общество, но я смею уверить, что сколько мне известно, там нет ничего... В 4-м корпусе, где я дежурным штаб-офицером, я прошу спросить, кого заблагорассудиться, предлагал ли я что кому противное службе и присяге, и если не все старания мои клонились к тому, чтоб по возможности моей способствовать к поддержанию дисциплины и порядка, и всего, что требуется в службе государя моего, то я предаю себя совершенно гневу моего монарха, и *уже более просить помилования не осмелюсь*. Я чувствую, что я и теперь не достоин никакой пощады, за то, что не употребил всех сил моих к предупреждению вчерашних несчастий, и здесь более нежели гнева государя моего, страшусь гнева всемогущего бога".

— „Уже более просить помилования не осмелюсь", сказал Трубецкой.

Следовательно, он *уже* просил помилования...

Но к какому моменту допроса следует отнести „падение" Трубецкого? Упоминание о нем в показании свидетельствует о том, что это произошло, как и весь разговор с Николаем, в начале допроса, перед тем, как было написано показание. В этом отношении рассказ Николая повидимому ближе к действительности, чем рассказы Толя и Трубецкого.

Итак Трубецкой на коленях перед Николаем просил помилования. Сопровождалось ли это слезами, целованьем рук, возгласами: „La vie, sire, la vie!" мы не знаем, ни один из сви-

детелей этих подробностей не сообщает. Да это и неважно. Разница была бы лишь в степени унижения, а не в существе факта. Да, это была мольба о жизни. Но Трубецкой в этом отношении не является исключением. Рылеев в одном из писем к царю из крепости писал: „Свою судьбу вручаю тебе, государь. Я отец семейства". Разве это не мольба о жизни? У Трубецкого эта мольба выразилась более униженно. Но вспомнив, что Николай грозил ему немедленным расстрелом, разве не будет понятен для нас этот страх смерти у Трубецкого в ту минуту? — Переживший крах всего дела, преданный царю друзьями, под угрозой расстрела, Трубецкой мог остаться сильным душой лишь в том случае, если бы знал, если бы верил, что смерть его будет жертвой будущему делу народного освобождения. Но этой веры не было.

Все же, несмотря на полную, казалось бы, моральную прострацию, во время первого допроса Трубецкой сумел и смог сказать меньше, чем его спрашивали. Мы уже упоминали, что он тогда вовсе отрицал существование Тайного Общества, указывая, что оно разрушено. Далее, отлично понимая, конечно, показание Рылеева о существовании Тайного Общества в полках около Киева, Трубецкой ухватывается за слова Толя о гнезде заговорщиков в 4-м корпусе, чтобы, опровергая это, замолчать о Васильковской Управе. Открывая Пестеля, скорее всего на прямой вопрос следователя, он говорит о нем, как о „бывшем" члене Общества. Так продолжалось и дальше.

Трубецкой в своих записках очень подробно говорит о ходе следствия. В его рассказе много правды: многие отдельные факты изложены совершенно сходно с тем, как это теперь мы можем видеть из показаний. Но какое разительное несоответствие в характеристике психического настроения, которую он дает в записках, с тем, что было в действительности. В записках перед нами человек сильный правотой своего дела, сознательно борющийся с неслыханной моральной жестокостью и изощренной хитростью следователя и морально всегда его побеждающий. Показания говорят иное. Здесь Трубецкой, беспощадно преследуемый следователем, то жестокостью обращения, то милостями по отношению к жене, к сестре, к нему самому, принуждаемый рассказывать больше, чем позволяет совесть и долг перед товарищами, морально больной и по-

этому иногда искренне раскаивающийся в своем прошлом... „Я не хочу и не буду стараться оправдываться. И слишком уже и по сю пору облаготедельствован милосердием государя моего, чтобы не принять с полною покорностью всякую участь, какую бы он мне ни судил; ибо она никогда не может быть равна моим преступлениям. Чем я преступнее, тем милосердие государя моего является в большем блеске. Одно только сомнение в искренности моей может сделать меня еще несчастливейшим. Показать на других, чего я не знаю, или в чем я не уверен, я никогда не осмелюсь; ибо я тогда буду только гнусным клеветником, не долженствующим ожидать пощады ни от бога, ни от государя. Если же против меня самого есть и будут впредь какие обвинения, в опровержение коих я не могу представить ясных доказательств, я всепокорнейше прошу Комитет быть удостоверенным, что я заранее все их на себя принимаю, ибо я также не имею права думать, чтоб кто меня хотел оклеветать“... Так писал однажды Трубецкой в письме к председателю Следственной Комисси... В этих словах ярко отразилась его моральная угнетенность [37]).

Приговором верховного суда Трубецкой был осужден на смертную казнь, но по конфирмации царя смертная казнь была заменена вечной ссылкой в каторжные работы, в Сибирь.

Подавленный казнью пяти товарищей, мыслью о своей измене им, моральной отчужденностью тех ссыльных деятелей заговора, которые разделили его участь, Трубецкой первое время в Сибири мучительно, но безропотно страдал. Долгие годы каторжной жизни искупили, однако, и перед товарищами и перед его собственной совестью моменты его морального падения. Семейная жизнь дала душевное счастье. Перед концом жизни Трубецкого, мы видим в нем человека сознавшего, что дело, начатое декабристами дало новые всходы и что он своей работой в тайных организациях выполнил свой долг перед родным народом.

Умер он в 1860 году в Москве. Смерть его вызвала, по словам его товарища [38], глубокий отклик в тех, кто его знал и во всех „мыслящих людях“ того времени.

Н. Лавров.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) „Русская история“, изд. 3, т. III, стр. 364 — 365.

2) „Русское Прошлое“, т. I, 1923, стр. 28 — 32.

3) „Декабристы“, „Записки Коммунистического Университета имени Свердлова“, т. I, 1923; Предисловие к изданию Центрархива „Восстание Декабристов“, Материалы, т. I, 1925; „Из истории общественного движения в России“, „Молодая Гвардия“, 1923 г., № 4 — 5; „Очерки по истории революционного движения в России в XIX — XX в.в.“, М. 1924, стр. 37 — 44.

4) Лишь один кн. Трубецкой, Василий Сергеевич, приходившийся декабристу троюродным дядей, был в царствование Александра I и Николая I крупным военным генералом и позже послом в Англии. 14 декабря 1825 г. В. С. также принимал участие в событиях дня, но на стороне Николая (см., напр. „Записки гр. Комаровского“). Близких отношений между ним и Сергеем Петровичем, повидимому, не было. Кн. Е. Д. Трубецкая. „Сказание о роде князей Трубецких“, М. 1891.

5) „Полный список шефов, полковников и офицеров лейб-гвардии Конного полка с 1761 по 1864 г.“ СПБ., 1864, по указателю. „Экономические примечания к атласу Генерального межевания по Нижегородской губернии, Нижегородскому уезду“. (Примечания эти составлены по данным 5 ревизии): 2 Отделение Юридической Секции Ленингр. Центр. Историч. Архива (б. Сенатский Архив). См. также Архив б. М-ва Вн. Дел, Архивный фонд Канцелярии М-ра Вн. Дел. Дела 1803 г. № 3 и 1807 г. № 30, б. Сенатский Архив, фонд Департамента Герольдии. Дело 1854 г. о дворянах Трубецких.

6) Александр Петрович, в 1826 г. отставной полковник, был женат на дочери Киевского губернского маршала Росцишевского. Не чужд был общественного движения того времени — состоял в Киевской масонской ложе Соединенных Славян, не лишенной, повидимому, некоторого политического оттенка. Петр Петрович был начальником Одесского Таможенного округа, женат два раза: в первый раз на Е. И. Бахметьевой, второй на кн. К. К. Гика. Оба брата имели крестьян в Орловской и Нижегородской губерниях. Александр Петрович кроме того получил за женой в приданое село в Киевской губернии, а дети Петра Петровича от первого брака унаследовали от матери 900 душ в Саратовской губернии. Брат их Никита Петрович, в 1826 году отставной подпоручик, женатый на Нелидовой, владел в Нижегородской губ. 400 душ крестьян. Сестра Елизавета Петровна была замужем дважды, в первый раз за С. П. Потемкиным, во второй раз за И. И. Подчаским. См. „Сказание о роде князей Трубецких“.

7) „Восстание декабристов“ т. I, Дело Трубецкого, стр. 8.

8) „Сказание о роде князей Трубецких", стр. 268; „Восстание Декабристов", Дело Трубецкого, стр. 8.

9) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 9. Записки кн. Трубецкого, СПБ. 1907, стр. 79; Записки И. Д. Якушкина, СПБ. 1905 г., стр. 3, 6.

10) Записки Трубецкого, стр. 12. „Восстание Декабристов" т. I. Дело Трубецкого стр. 9, 17, 23 — 24. Дело Н. Муравьева, стр. 305. Записки И. Д. Якушкина, стр. 7 — 8. С. Шипов, „Воспоминания", „Русский Архив", 1878, т. II, стр. 153. Н. Павлов-Сильванский „Пестель перед Верховным Уголовным Судом", „Былое", 1906 г., № 2, стр. 140. В. И. Семевский „Политические и общественные идеи декабристов", стр. 670. „Донесение Следственной Комиссии" в изд. Саблина, М. 1906, стр. 8.

11) Записки Трубецкого, стр. 12—13; Показания Пестеля, „Былое" 1906, № 2, стр. 141; Дубровин, „После отечественной войны", Русск. Стар." 1904, т. II, стр. 19, 20—24; ср. показания Трубецкого, где он говорит, что устав был составлен Пестелем, а предисловие к нему Долгоруким: „Восстание Декабристов", т. I, стр. 24; Н. Муравьев и Якушкин также указывают, что устав был составлен только Пестелем: „Восстание декабристов", т. I, Дело Н. Муравьева, стр. 305; „Записки Якушкина", стр. 10. Я склоняюсь, однако, в пользу данных записок Трубецкого и показаний Пестеля.

12) „Восстание декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 23—23; „Записки Трубецкого", стр. 12 — 13; Семевский — „Политические и общественные идеи декабристов", стр. 287—292; Его же—„Декабристы-массоны", „Минувшие годы", 1908, №№ 2—5; Т. Соколовская—„Ложа Трех добродетелей и ее члены-декабристы", „Русский Архив" 1908, т. III, стр. 219—230; Дело Штаба 1-ой Армии „О злоумышленных тайных обществах", 1825.

13) „Восстание декабристов", Дело Трубецкого и дело Н. Муравьева, стр. 24—25, 305; Дубровин, op. cit. „Русск. Ст." 1904, т. I, стр. 24.

14) Показания Пестеля, „Былое", 1906, № 2, стр. 141; Дубровин, op. cit. „Русск. Ст." 1904, т. II, стр. 25; „Записки Трубецкого", стр. 13, 14, 18.

15) „Восстание декабристов", Дело Трубецкого, стр. 24; Дубровин op. cit, Русск. Ст. 1904, т. II, стр. 25.

16) М. Покровский—„Русская История", т. III, стр. 332—334; „Из истории общественного движения в России", „Молодая Гвардия", 1923, №№ 4—5; „Очерки по истории революционного движения в России XIX—XX в.в.", стр. 22 и сл.; А. Шебунин—„Н. И. Тургенев", стр. 9 и сл.; „Восстание декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 9; „Записки Трубецкого", стр. 13—14, 16—18; „Записки Якушкина", стр. 7; Дубровин op. cit. „Русск. Стар." 1904, т. I, стр. 495; В. Варадинов—„История Министерства Внутренних Дел", СПБ., 1862, ч. II, кн. 2, стр. 596.

17) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 9; „Записки Трубецкого", стр. 14—16.

18) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 24.

19) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 17, 25; Дело Н. Муравьева, стр. 305—306; „Записки Трубецкого", стр. 13; Дубровин, op. cit. „Русск. Стар." 1904, т. II, стр. 26—27; „Записки Якушкина", стр. 11.

20) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Н. Муравьева, стр. 306; Дело Трубецкого, стр. 48—52; Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов",

стр. 23—24; „Показания Якушкина"; „Записки Трубецкого", стр. 18; „Записки Якушкина, стр. 14—17; Дубровин, op. cit. „Русск. Стар." 1904, т. II, стр. 28—33.

21) А. Кропотов—„Жизнь графа М. Н. Муравьева", стр. 215; Дубровин, op. cit. „Русск. Стар.", 1904, II, стр. 243; Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов", стр. 35; „Донесение следственной комиссии" в изд. Саблина, стр. 15; А. Н. Пыпин—„Общественное движение в России при Александре I"—„Законоположение Союза Благоденствия" кн. IV, §§ 12, 62, п. 5, 1 и 2 и § 56.

22) Пыпин, op. cit. „Законоположение Союза Благоденствия", книга 3-я; Показания Пестеля у Дубровина, op. cit. „Русск. Стар". 1904, II, стр. 255; „Восстание Декабристов", т. I, Дело Муравьева, стр. 316.

23) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 26, 40, 53—54, 86, 132; Дело Оболенского, стр. 229, 250—253; Дело Муравьева, стр. 307, 316; „Записки Трубецкого", стр. 22; С. Чернов—„Несколько справок о Союзе Благоденствия перед Московским Съездом 1821 г.", стр. 6; П. Е. Щеголев—„Зеленая лампа",—„Пушкин и его современники", в VI в.; Н. И. Тургенев—„Россия и русские", М. 1915, стр. 73—75; А. Н. Шебунин—„Н. И. Тургенев", стр. 90—92; „Архив братьев Тургеневых", в. V стр. 167; Якушкин—„Записки",стр. 26.

24) Очерк истории Союза Благоденствия со времени отъезда Трубецкого за границу до Московского Съезда 1821 г. включительно, недавно сделан С. Н. Черновым в двух исключительных по богатству собранного материала и прекрасно написанных статьях: „Несколько справок о Союзе Благоденствия перед Московским Съездом 1821 г." и „К истории политических столкновений на Московском Съезде 1821 г.", Саратов, 1925 г.; Отд. оттиски из журнала „Ученые Записки Саратовского Университета", т. II, в. V, т. IV, в. III; см. также Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов", стр. 67—84 и 194—196; „Восстание Декабристов", Дело Муравьева, стр. 317; „Записки" Якушкина, стр. 52—57.

25) „Восстание Декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 4—5; кн. Трубецкая—„Сказание о роде князей Трубецких"; В. К. Николай Михайлович—„Русские портреты XVIII и XIX в.в.; Дубровин, op. cit. „Русск. Ст." 1904, т. II, стр. 28.

26) „Восстание Декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 10, 14, 15, 34, 55; Дело Оболенского, стр. 230, дело Муравьева, стр. 299, 308, 323; „Записки Трубецкого", стр. 22; Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов", стр. 195—197.

27) „Восстание Декабристов", Дело Трубецкого, стр. 107—132; В. Е. Якушкин—„Государственная власть и проекты государственной реформы", СПБ. 1906, стр. 131—160; Довнар-Запольский—„Мемуары Декабристов", стр. 58—71. Семевский — „Политические и общественные идеи декабристов", стр. 447 — 470, 618.

28) „Восстание Декабристов", Дело Трубецкого, стр. 15; Дело Оболенского, стр. 264; Дело Н. Муравьева, стр. 324; Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов", стр. 97, 98, 102, 103, 195, 207, 208—210; Павлов-Сильванский—„Пестель перед верховным уголовным судом", „Былое" 1906, № 3, стр. 228.

29) „Восстание Декабристов", I, Дело Трубецкого, стр. 15, 107; Дело Рылеева, стр. 166, 174—177; Дело Оболенского, стр. 230—231, 253—254, 264—266, 268; Дело Муравьева, стр. 301, 319, 325; Дело Бестужева, стр. 439—442;

Довнар-Запольский—„Мемуары Декабристов", стр. 202, 203, 213; Его же — „Тайное Общество Декабристов", стр. 208—210.

30) Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов", стр. 234—250; „Русский Архив", 1875, т. I, стр. 419; Павлов-Сильванский, рец. на книгу Довнар-Запольского—„Тайн. Общ. Дек." „Былое", 1907, май, стр. 317; Дело Трубецкого, стр. 15—16, 27, 35, 87, 101, 137; Дело Рылеева, стр. 154, 160, 174, 175, 178; Дело Оболенского, стр. 230—256, 264—265, 271; Дело Муравьева, стр. 308, 323—325; „Воспоминания кн. Е. П. Оболенского"; „Общественные движения в России в первую половину XIX в.", т. I, СПБ. 1905, стр. 238; Павлов-Сильванский—„Пестель перед верховным уголовным судом", „Былое" 1906, № 3, стр. 223 — 229; В. И. Семевский — „Общественные и политические идеи декабристов", стр. 488—490; „Мемуары декабристов", стр. 274—275.

31) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 16, 35, 93, 100—101, 137; Дело Рылеева, стр. 179; Архив академ. Дубровина, № 283.

32) „Восстание Декабристов" т. I, Дело Трубецкого, стр. 103; Дело Рылеева, стр. 179, 181, 186—187; Дело Муравьева, стр. 309; Дело Каховского, стр. 338, 347, 363, 375; Дело А. Бестужева, стр. 434—435; Н. А. Котляревский—„Рылеев"; П. Е. Щеголев—„Каховский". Довнар-Запольский—„Тайное Общество Декабристов", стр. 265—266.

33) Корф—„Восшествие на престол Николая I"; Шильдер—„Царствование Николая I", т. I; „Из записок Николая I"—в книжке П. Е. Щеголева—„Николай I и Декабристы", стр. 44 и сл.; „Записки Трубецкого", стр. 27 и сл.; „Восстание Декабристов", Дело Трубецкого, стр. 18, 60, 97; Дело Рылеева, стр. 154, 160, 183; Дело Оболенского, стр. 246; Дело А. Бестужева, стр. 435—436; „Воспоминания братьев Бестужевых", Пг. 1917, стр. 30—32.

34) „Восстание Декабристов", Дело Трубецкого, стр. 18, 65—66, 69; Дело Рылеева, стр. 154, 161, 185; Дело Оболенского, стр. 246; Завалишин—„Записки декабриста", стр. 183; С. А. Панчулидзев—История Кавалергардов. (По корректурному экземпляру, в котором сохранились вычеркнутые полковой цензурой места. Пользованием этим экземпляром я обязан владельцу его, неутомимому труженику науки А. В. Шебалову, которому как за это, так и за многое другое, приношу самую сердечную благодарность).

35) „Восстание Декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 19, 37, 63, 69—70, 98, 103—104; Дело Рылеева, стр. 161, 184—185, 188; Дело Оболенского, стр. 236, 247—249, 270; Дело Каховского, стр. 340, 347, 364; Дело А. Бестужева, стр. 428, 451—452; Воспоминания братьев Бестужевых, стр. 58.

36) „Восстание Декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 6, 71—72; Дело Рылеева, стр. 152, 165; Дело Оболенского, стр. 224; Дело А. Бестужева, стр. 443.

37) Записки Трубецкого, стр. 41—44; Записки Николая I, „Красный Архив", № 6, стр. 225—260; „Журнал графа К. Ф. Толя о декабрьских событиях 1825 г.", Спб. 1910, стр. 32—34; „Воспоминания вел. кн. Михаила Павловича"—„Минувшие годы", 1908, октябрь, стр. 47; „Восстание Декабристов", т. I, Дело Трубецкого, стр. 6—7, 73—74; Дело Рылеева, стр. 152; Дело Штаба 1-ой армии, № 9—О злоумышленных тайных обществах; П. Е. Щеголев,—„Каховский", стр. 97.

38) „Неизданная рукопись Н. В. Басаргина"—„Каторга и ссылка", 1925 г. № 5, стр. 172—173. Записки Трубецкого, стр. 95—96, 100.

Творческий путь Рылеева

Мы стих твой вырвем из забвенья.
И в первый русский вольный день,
В виду младого поколенья,
Возобновим для поклоненья
Твою страдальческую тень.

Вещее предсказание Огарева исполнилось ранее срока. За столетие, которое отделяет нас от казни Рылеева, его стих действительно вырван русскими исследователями из забвения и воссоздана в биографических подробностях страдальческая тень поэта-декабриста. Рылеев изучен лучше многих других поэтов плеяды, лучше чем все другие поэты-декабристы. Якушкин, Ефремов, Мазаев, Сиротинин, Котляревский, Маслов выполнили большую работу над изучением его литературного наследства [1]). Более или менее установлены рылеевские тексты, написано несколько биографий, в которых кропотливо собраны факты его жизни и политической деятельности; почти исчерпывающе полно исследованы гражданские мотивы поэзии Рылеева, связь их с мировоззрением поэта и с декабрьским движением, одним из вождей и певцов которого он являлся. Наконец, в изобилии накоплены историко-литературные материалы, позволяющие судить о генезисе его произведений, о школе подражателей и продолжателей, о литературной атмосфере, в которой появлялись на свет и читались его стихотворения.

Рылеев — человек, Рылеев — „граждании — поэт“ в основном изучен безусловно.

[1]) В. Е. Якушкин, Из истории литературы 20-х годов — „Вестник Европы“, 1888, кн. 11 и 12; А. Сиротинин, „Русский Архив“, 1890, II и 1898, I; Н. А. Котляревский, „Рылеев“, 1908; В. И. Маслов „Литературная деятельность К. Ф. Рылеева“, Киев, 1912.

Гораздо менее удовлетворительно исследован творческий путь этого поэта. Здесь работали и Котляревский и Маслов, но несмотря на ценность и систематичность их штудий, оба скорее подготовили материал, нежели изучили и использовали его для исследования поэтического стиля поэта-декабриста.

В столетнюю годовщину литературного ухода Рылеева, историки литературы обязаны осветить определяющие особенности его художественной деятельности, наметить органические этапы его творческого пути. Необходимо изучить развитие Рылеева-поэта, проследить эволюцию его поэтической техники, стилистических средств выражения, наконец, процесс его перехода от интимных любовных опытов к жанру эпической поэмы. Должна быть вскрыта обусловленность и взаимная связь отдельных этапов его деятельности, уловлена единая магистраль его поэтического развития. Таким органическим по развитию поэтом был Рылеев, и он не мог быть другим. В созвездии пушкинской плеяды его звезда стоит почти одиноко. С плеядой он разнится и в своих художественных воззрениях, и в технических приемах, и в эстетических оформлениях; и очевидно, что для того, чтобы в эту пору ослепительного расцвета поэзии остаться поэтом индивидуальным и непохожим на других, ему особенно необходима была эта органичность развития, это стальное единство ранних поэтических идеалов и поздних созданий, теории и практики: без всего этого он был бы в поэзии 20-х годов просто эклектиком.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Как и всякий поэт, Рылеев очень долго ищет свой стиль. За восемь лет, прошедших со времени окончания им корпуса до появления первой его сатиры в „Невском Зрителе“, не оставалось, кажется, такого жанра, к которому Рылеев не приложил бы руки. За границей, в походе он набрасывает описания сражений и местностей, где ему приходилось бывать, ведет дневник, заметно стилизуя его в „записки“, пишет „легкие комедии во французском духе“, нравоописательные очерки в прозе „Чудак“ и „Провинциал в Петербурге“. Но все эти опыты в большинстве не идут дальше планов и набросков, или не выходят за пределы его черновиков. Если Пушкин,

Дельвиг, Боратынский с самых первых опытов направляются по торной и широкой дороге легкой классической поэзии, на которой их воспитывают чтения, лицей, семья, то Рылеев, лишенный такого основательного поэтического воспитания мало знакомый с иностранными корифеями этого жанра, лишенный литературных друзей — Рылеев находит себя с гораздо большим трудом и значительно позже.

Но все же к 1816 году он более или менее прочно останавливает свой выбор на лирической поэзии, опыты которой наполняют его записные тетради и делают позже его имя известным читателям журналов. Прочие опыты не имеют последствий. Причины выбора лирики ясны: прежде всего факты биографии Рылеева как бы предопределяют его—ранний юношеский возраст, любовное увлечение Тевяшевой, на которой он впоследствии женится, жизнь в идиллическом одиночестве среди украинской природы вдали от литературных споров Северной Пальмиры. Литературная традиция приходит здесь ему на помощь и дает Рылееву материал, приемы и готовые штампы образов и тем для художественного стилизованного выражения его переживаний. Эта литературная традиция широка и блестяща; к концу 10-х годов она расцветает особенно пышно. Французские и русские переводы античных классиков — Анакреона, Сафо, Тибулла, Проперция, Горация рождают подражания Державина, Батюшкова, Пушкина. Высокий „одический“ стиль снижается введением антологических по образам и темам мотивов. Это влияние античного классицизма своеобразно соединяется с течением эротической лирики, идущей с запада и возглавляемой французскими поэтами — Грекуром, Шолье и всего более Парни. Под воздействием этих влияний и в полной связи с любовной лирикой XVIII века (особенно Екатерининской поры) широко расцветает русская поэтическая традиция. Авторитет „витийственных“ жанров стремительно идет на убыль. Батюшков становится популярнейшим вождем этой интимной лирики, им увлекаются, ему подражают, отчетливо улавливая тесную связь его творчества с мотивами западного эротизма и античного эпикуреизма. „Не слышен наш Парни Российский“, сетует на молчание одного из своих учителей Пушкин. Василий Пушкин, Боратынский, Дельвиг, Александр Пушкин, Милонов и др. укрепляют эти любовные мотивы русской лирической

традиции. Элегия, идиллия, триолет, любовная эпиграмма, разнообразные формы романса — пишутся в ту пору десятками поэтов, заполняют журналы и альбомы.

Рылеев переживает общее увлечение этой любовной лирикой: увлекается Парни, Батюшковым. Своей „Дориде" он пишет любовные послания и элегии; он идет с веком наравне, свободно заимствуя у Милонова эротическую тематику его „Тоски", или вместе с Пушкиным, подражая элегии Парни „Поверь, я знаю уж, Дорида". Его чтения „в пустыне" нам известны; первые места в них занимают... „Пушкин своенравный, Парнасский наш шалун", „.... Батюшков резвун, мечтатель легкокрылый", „Боратынский милый" [1]) — все поэты одной традиции. Рылеев усваивает себе их технику, размеры, образы, стилистические средства, ритмо-синтаксическую организацию стиха, их темы; он продолжает жанр и не безуспешно.

Морфологический анализ этих пьес убеждает нас в верности Рылеева канонам и формам литературной традиции. Он в плену у Парни, Тибулла, Анакреона, Батюшкова. Традиционен любой элемент его поэтического стиля — языковые средства, вращающиеся в тесном кругу выражений легкой интимной лирики; словарные формы, эпитетика; традиционны поэтические тропы и фигуры — метонимии, перифразы, образы; традиционен поэтический синтаксис, подчинения и согласования, обороты и т. д. Общая эмоциональная напряженность соответствует тематике, по преимуществу любовной. Автор или восторженно восклицает (любовь счастливая), или сентиментально элегически жалуется и тоскует (горе). Сюжетные перипетии не сложны и каноничны, герой, сентиментальный, восторженный, нескромный юноша и она „жестокая" и „прелестная" Делия, Лида, Дорида; этюды сюжета идиллического и радостного — восторженное повествование о „счастливом моменте", описание прелестей любимой девушки, повествование о приятном времяпрепровождении с ней („Романс"). Для элегической сюжетики характерны — жалобы на коварную измену милой (с описанием прошлых радостей),

[1]) Боратынский был в то время под сильным влиянием поэзии Парни. Рылеев имел это в виду, когда называл его „Милый Парни" (письмо от 6 сентября 1822). Характерно, что 2 января того же года Пушкин предсказывает Вяземскому, что Боратынский „превзойдет и Парни и Батюшкова".

тоска по милой, воспоминания о былых радостях при разлуке (соединяемые с картинами счастья).

Композиция таких стихотворений у Рылеева однообразна. Любовные элегии развертываются сплошным стихом (ср. Парни и Пушкина: „Поверь, я знаю уж, Дорида"). Строфика большей частью не идет дальше четверостиший. Метрика—ямб, 4-стопный и 6-стопный (последний размер характерен для классической традиции). Синтаксическая организация фраз также шаблонна и не идет дальше противопоставлений с обычными для эмоциональной и элегической лирики анафорами и упорядоченностью периодов. Наиболее организовано синтаксически его стихотворение „К Делии".

О п я т ь, о Делия, завистливой судьбою
Надолго, может быть, я разлучен с тобою!
О п я т ь, о п я т ь один с унылою душой...

И далее анафоры продолжаются попарно:

Ж и л и щ е скромное и неги, и отрад
Ж и л и щ е радостей—твой дом уединенный...
П о ч т о молениям твоим я не внимал!
П о ч т о, о Делия, с тобою я расстался!..
Г д е все тоску мою питает,
Г д е сердце юное страдает...
Г д е в жизни первый раз...
Г д е ты мне на любовь...
Г д е сладострастие и негу...
Г д е я мгновения...

Было бы однако ошибкой считать (как это делали Котляревский и Маслов) всю любовную лирику Рылеева подражательной и лишенной какой бы то ни было ценности. Конечно, Рылеев еще находится в рамках классической традиции, но эти рамки для любовной лирики были достаточно свободны и позволяли ему работать над стихом. Некоторые его опыты обнаруживают во всяком случае довольно большую зрелость. Из всех его стихотворений этого периода следует отметить три: во первых Рылеев работает над твердой формой триолета, построенного по всем правилам; повторяются 1, 4, 7 стихи, 2 и 8. Во вторых любопытна мелодическая структура его „Романса", где все три вида композиции сочетаются с довольно выдержанной организацией сюжета.

Как счастлив я, когда сижу с тобой,
Когда любуюсь я, глядя на тебя,
Твоею милою, любезною красою...
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда ты, друг мой милый,
Свой голос с звуками гитары съединя,
Поешь иль песенку, или романс унылый,
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда умильным взором,
Прелестный, милый друг, ты подаришь меня,
Иль обратишься вдруг ко мне ты с разговором,
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда ты понимаешь
Из взора моего, сколь я люблю тебя,
Когда мне ласками на ласки отвечаешь,
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда своей рукою
Ты тихо жмешь мою, и глядя на меня,
Твердишь в полголоса, что счастлива ты мною,
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда вдруг осторожно,
Украдкой ото всех целуешь ты меня...
Ах! Смертному едва-ль так счастливым быть можно.
Как счастлив я!

В этом стихотворении осуществлена сложная конструкция. Все 6 строф построены одинаково прежде всего метрически—ямб в первом стихе каждой строфы 5-стопный, во втором и третьем 6-стопный, в заключительном, четвертом — 2-стопный. Синтактически строфы однородны; каждая начинается анафорической полустрокой „как счастлив я“, которая замыкает строфическое кольцо, являясь кодой каждого четверостишия. Таким образом „Романс“ является правильным кольцевым комплексом, распадающимся на шесть отдельных колец. Наконец, строфическое развертывание идет неразрывно с тематическим их углублением. Как счастлив я, когда—сижу с тобой (I)—когда ты поешь (II)—разговариваешь со мной (III)—понимаешь мою любовь (IV)—жмешь руку и твердишь о любви (V)—целуешь меня украдкой (VI).

Эти примеры [1]) показывают, что отдельные опыты рылеевской любовной лирики были довольно сложны и удачны; во всяком случае здесь Рылеев не удовлетворялся уже ролью шаблонизатора Батюшкова, а пытался создать свои поэтические формы.

Если в украйнский период жизни Рылеев по преимуществу разрабатывает формы любовной лирики, то с переездом в Петербург поэтический горизонт его расширяется. Литературные знакомства, толки и чтения обращают его к новым сюжетам, которые можно было бы назвать „литературными". Сюда входят все те произведения Рылеева, где он отзывается на явления современной ему литературы. Еще в 1814 году, подражая Батюшкову, он пишет литературную сатиру „Путешествие на Парнасс", где подвергает критике поэтов-архаистов типа Шишкова и Хвостова. В эту группу литературной лирики входят следующие пьесы: „Путешествие на Парнасс", послания „К Гнедичу", „К Глинке, „К Бестужеву" („Ты разленился уж некстати"), перевод сатиры Булгарина „Путь к счастью", мелкие сатирические и шуточные опыты—эпиграммы, шарады, послания Хвостову („Переводчику Андромахи") и „Пустыня". Датировка этих стихотворений не всегда возможна. Повидимому, они писались несколько позже эротических и относятся к эпохе его поездок в Петербург, или к первому году жизни там (1820, 1821 год), хотя некоторые из них печатались позже. И здесь, как и раньше, Рылеев культивирует столь же традиционные жанры: в классической поэзии начала века сатиры, эпиграммы и послания пишутся десятками поэтов больших и малых.

Эпиграммы в художественном отношении стоят очень низко и показывают, что Рылеев не овладел техникой этого специфического для начала века жанра: в них отсутствуют поэтические образы, выражения сложны, стих и язык мало отделан pointe'ировка или отсутствует, или длинна и запутана. Что касается „Пустыни" и посланий, то по стиху и темам они не выходят сколько-нибудь далеко за пределы поэтической традиции. Поэтому биографы Рылеева поступают правильно, когда

[1]) Разностопными частями строф Рылеев развертывает и стих „Жестокой", где ямб содержит в первой строке 6 стоп, во второй 5, в третьей и четвертой 4: „Смотри, о Делия, как вянет сей цветочек, С какой свирепостью со стебелька, Вслед за листочком рвет листочек Суровой осени рука". Метр этого типа выдержан во всем стихотворении.

они подходят к этим посланиям, как к материалу для характеристики ранних взглядов и чтений поэта. Но здесь необходима осторожность: поэты, цитируемые в посланиях, в значительной мере традиционны и в высказываниях о них Рылеева следует отличать подлинные его мнения от стилизации под поэтическую моду. Так поэт и в сатире „Путешествие на Парнасс“ и в послании „Переводчику Андромахи“ иронически-отрицательно относится к Хвостову, Шишкову и вообще к „архаистам“.

Я зрел—Шихматов в ней остался,
А с ним и тысяча статей.
Я сам свидетель был в то время,
Как несколько прочтя листов,
За нанесенное тем бремя,
Был столкнут с берега Хвостов.

Но было бы опрометчиво счесть эту критику органически рылеевской и устанавливать по ней его теоретические взгляды. Он был еще черезчур молод, когда писал эти стихи и они в гораздо большей степени навеяны были литературными эпиграммами и толками поэтов современников, чем сознательным отрицанием со стороны Рылеева архаической поэзии. И послание к „Переводчику Андромахи“ не вполне убеждает нас; отрицания Хвостова не было вовсе, в лучшем случае здесь была ирония над неудачным одописцем и классиком, отнюдь не относившаяся к жанру и к той школе, которой следовал Хвостов [1]).

Как верно заметил Сиротинин, Рылеев по своим литературным взглядам классик. Интересно, что его чтения, о которых он говорит в „Пустыне“, в противоположность чтениям Пушкина почти исключительно русские. Из западных поэтов названы только „Жан-Жак Руссо с проказником Вольтером“. Зато русские поэты обильны и многочисленны: среди них названы самые родоначальники русского классицизма.

Иль с громом звучных струн,
Как диво-исполин
И честь и слава Россов
Парящий Ломоносов...

и dii minores этой же витийственной традиции: „Милонов бич пороков, иль ветхий Сумароков, Воейков-Буало, иль Озеров,

[1]) Ю. Н. Тынянов в статье „Ода его сиятельству графу Хвостову“ („Пушкинист“, IV, 1923 г. стр. 75—92) подчеркивает наличность архаических уклонов в поэтике Рылеева. Доводы П. О. Морозова („Гр. Д. Н. Хвостов“, „Руск. Стар.“, 1892, № 3) по отношению к Рылееву следует пересмотреть.

Княжнин", „иль Душеньки творец"—все те поэты, которые так популярны были в XVIII веке и в начале XIX-го. Правда, наряду с ними названы и другие—„Пушкин своенравный", „Батюшков резвун", или „Панаев милый",—но все эти поэты в то время не выходили за пределы чисто классических традиций. Классицизм действует на Рылеева в двух своих струях—в интимной лирике, антологической по своей поэтической связи с античностью, эротической и эпикуреистической по темам. Влияние и воздействие этой струи с особенной силой сказалось в ранние годы поэтической деятельности на его эротических и литературных опытах. Несколько позже классицизм воздействует на него и в другой своей традиции—лирике высокой, витийственной, декламационной. Поэты-витии пригодились Рылееву тогда, когда он от интимных мотивов перешел к лирике гражданской.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Рылеев начинает эти гражданские темы сатирой „К временщику", написанной в 1820 году, то есть еще тогда, когда любовная лирика была в расцвете. Внешние поводы к написанию сатиры установлены уже биографами Рылеева—отрицательное отношение русского общества к диктатуре Аракчеева.

В творчестве нашего поэта никакого перелома здесь не было. В своей внутренней эволюции, в постепенном тематическом расширении литературная сатира Рылеева касается временщика. Рылеев вводит сюда очень мало нового по сравнению с традиционными сатирами Милонова [1]). Он не овладел еще приемами обличительной сатиры и пользуется ими нерешительно и без изменений. Стиль, образы, композиционная структура—во всем этом Рылеев еще покорный раб традиции: классический тяжелый размер шестистопного ямба, отсутствие сколько нибудь сложных строфических размеров, однообразие синтаксических приемов (все построено на сочинении отдельных „обличений" без их развития и углубления, эпитеты не нагнетаются,

[1]) Сопоставление сатир сделано В. И Маслов ым, op. cit., стр. 158, след. Общие отдельные эпитеты, выражения, общая композиция сатиры путем нанизывания обращений, заключительная pointe и, наконец, метр—шестистопный ямб.

а только нанизываются, исторические вопросы и обращения лишены экспрессивности и т. д.)—все это не выводит первый опыт поэта из традиционных рамок. Но показательно, что Рылеев порывает здесь с интимным стилем лирики первого периода и обращается к классицизму высокому.

Сатира „К временщику“ имела успех в очень условном смысле. Малая художественная ее оригинальность препятствовала ее признанию в литературных кругах, но гражданская известность первого печатного опыта Рылеева была тем не менее чрезвычайно значительна. „Читал ли дурной перевод Рубелия в „Невском Зрителе“? Публика, особливо бабья, начала приписывать переводчику такое намерение, которое было согласно с ее мнением и принялась за цензора“ [1]).

„Дурной перевод Рубелия“ не остался без последствий и во многом определил дальнейшую поэтическую деятельность Рылеева. Успех ее гражданской темы и ясных намеков на реальную действительность заставляет Рылеева порвать связи с прежней своей традицией и обратиться к форме гражданской лирики. Не случайно здесь поэт обращается к традициям высокого классицизма. Воинствующий романтизм еще не овладел умами и настроениями, интимная же лирика связывалась с легкой классикой типа Батюшкова, Пушкина. Для того, чтобы сообщить своим поучениям и обличениям должный пафос и высокую настроенность, Рылеев с неизбежностью должен был обратиться к монументальному стилю и сюжету классической витийственной лирики. Если для любовной лирики учителем поэта был Батюшков, то теперь он обращается к Державину и к „архаистам“.

Дальнейшее усвоение и развитие гражданской лирики идет однако своеобразно. Поскольку у Рылеева уже имеется в прошлом прочная традиция любовной лирики, он преодолевает ее в первую очередь. Самостоятельные гражданские стихотворения возникают позже. Теперь же Рылеев начинает отталкиваться от прежних тем. В „Пустыне“ поэт весь во власти

[1]) „Остафьевский Архив“, т. II, стр, 151. Письмо Тургенева. Вяземский писал Тургеневу: „У этого Рылеева есть кровь в жилах и „Думы“ его мне нравятся“ (ibid., II, стр. 270).

квиетизма и оторван „от сует“, в этот период „шумные забавы сменил он на покой“.

Но ты, мой друг безценный
Быть может, хочешь знать,
Как дни мои летят
В Украйне отдаленной?
Изволь: твой друг младой,
Простясь с коварным миром,
С свободою златой,
Душ пламенных кумиром,
Живет в степи глухой,
Судьбу благословляя...

В послании к Каховскому поэт категорически отказывается от этих настроений; если раньше он предпочел пустыню златой свободе, то теперь выбор его диаметрально противоположен:

Чтоб я младые годы
Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена свободы!
Нет! нет! тому во век
Со мною не случиться...
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!

И поэт прощается с обстановкой, навевавшей ранее ему любовные и анахоретические темы:

И так простите вы,
Краса благой природы...
И мир души моей
И кров уединенный...

Его послания традиционно переходят из ранней лирики, но в них появляются новые темы и настроения:

Я славою не избалован,
Но к благу общему дыша
К нему от детства я прикован;
К нему летит моя душа...

Если первое послание к Бестужеву вращается в кругу привычных тем и мотивов, мифологических образов и литературных намеков („Ты разленился уж некстати, беглец Парнасса молодой“), то второе его послание уже отчетливо формулирует совершившийся перелом в его тематике и указывает на новое поэтическое мировоззрение.

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил;
Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу;
Мой друг, не даром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

И, наконец, это мировоззрение находит себе крайнее выражение в поэтическом уничижении, которое проявляется в позднейшем посвящении Бестужеву „Войнаровского“:

Прими ж плоды трудов моих,
Плоды беспечного досуга!
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.

Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства,
За то найдешь живые чувства,—
Я не поэт, а гражданин.

Не следует, однако, упрощать эту эволюцию Рылеева к „гражданской поэзии“: неожиданные препятствия встают на его пути в 1824 г. Под влиянием чисто биографических причин—несчастного увлечения некоей К*, Рылеев вновь обращается к формам любовной лирики. На этот раз его стихи элегичны: „К N.N.“ („Когда душа изнемогала“...), „Я не хочу любви твоей“, „Исполнились мои желанья“, „Покинь меня, мой юный друг!“.

Здесь Рылеев находится под сильным влиянием Пушкина и плеяды, которая предопределяет темы элегий и помогает поэту отточить их композицию и стиль.

Но для исследователя творческой эволюции Рылеева этот рецидив любовной лирики маловажен по двум причинам. Во первых, все эти стихотворения не печатались. Причины биографического характера возобладали, и сам Рылеев эстетической реализации их не производит. Они делаются известны только после смерти поэта [1]).

Во вторых, существенно то, что Рылеев сам ощущает тематическое несоответствие этой лирики его настроениям (при-

[1]) Следует отметить влияние стихотворения Пушкина „Я пережил свои желанья“ на рылеевскую пьесу: „Исполнились мои желанья“. Сходство несомненно идет здесь дальше обыкновенных совпадений.

Я пережил свои ж е л а н ь я,
Я разлюбил свои м е ч т ы!
Остались мне одни с т р а д а н ь я,
Плоды сердечной пустоты.

Исполнились мои ж е л а н ь я
Сбылись давнишние м е ч т ы
Мои жестокие с т р а д а н ь я,
Мою любовь узнала ты!

. . . . . .

Так поздним хладом пораженный
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

Так окроплен росой отрадной
В тот час, когда горит восток,
Вновь воскресает ночью хладной
Полузавялый василек.

Стихотворение Рылеева относится к 1824 г.; „Элегия“ Пушкина напечатана в „Новостях Литературы“ 1823 г. № 48 и не могла быть неизвестна Рылееву.

помним, что в то время он был уже деятельным членом тайного общества). Если любовные мотивы были естественны в 1817—18 году, то теперь Рылеев их решительно преодолевает. В стихотворении „Я не хочу любви твоей“ он порывает с ними.

Любовь никак нейдет на ум.
Увы! моя отчизна страждет;
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

Наступает период господства непосредственно гражданской лирики, который продолжается три последние года его деятельности.

Как мы уже указали выше, Рылеев в своей гражданской поэзии опирается на витийственную традицию высокого классицизма. Революционер в жизни, он эти свои настроения оформляет в реакционную в литературном отношении форму. Это было глубоко закономерно, ибо формы интимной лирики просто не подходили для выражения его гражданских тем. Напротив, классицизм представлял громадный фонд уже выработанных форм, приемов и построений. В своей стилистике и композиции все пьесы гражданского типа опираются на эту архаическую традицию, Рылееву необходимую.

Его гражданские стихотворения архаичны прежде всего своей предназначенностью: подобно классической оде Ломоносова, Петрова или Державина, все они пишутся „на случай“. Ода „Гражданское мужество“ по теме несомненно посвящена восхвалению носителя справедливости и закона:

Но нам ли унывать душой,
Когда еще в стране родной
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней
В совете бодрствует Мордвинов
Средь сонма избранных мужей.

На событие, вызвавшее к жизни оду „Видение“ указывает ее подзаголовок „Ода на день тезоименитства Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Николаевича“; на случай же написаны и две других пьесы—„На смерть Чернова“ и „На смерть Байрона“.

В общем и целом Рылеев несомненно связан с этой архаической традицией оды. Но, конечно, его оды лишены той ранней архаичности стиля, которая характерна, например, для Ломоносовских од. Рылеев более зависит от архаистов формации

более поздней, и по технике стиха, и по темам скорее являясь последователем Державина, чем Ломоносова и Радищева [1]).

Морфологический анализ этой гражданской лирики обнаруживает, что в отношении зависимости от классического стиля они могут быть разделены на две группы: ранние пьесы Рылеева (1823 и отчасти 1824 год) и позднюю (1825 год).

Первые—собственно „оды"—зависят от классицизма в очень сильной степени. Тематика оды „Видение" восходит к излюбленным темам XVIII века о гражданском предназначении царей и об их долге по отношению к подданным [2]). „Гражданское мужество" столь же канонически восхваляет различных мужей закона и справедливости древности и века Екатерины. По своей композиции все три оды Рылеева архаичны, хотя и утрачивают наиболее древние и каноничные приемы. В основном все архаические компоненты сохранены: „Ода на смерть Байрона" развертывается последовательно—реторическим вступлением, описанием зрелища гроба поэта-гражданина, патетическими обращениями поэта к Англии, предсказаниями будущего; ода „Гражданское мужество"—состоит из обычных противопоставлений мужества, проявленного на войне, и гражданской доблести, из рассуждений поэта, подкрепленных примерами исторических лиц. Наиболее, однако, архаична стилистика од—не лексика, которая сравнительно нова, а синтаксис и тропика. Лексика характеризуется прежде всего обилием архаических слов и форм. Есть здесь и „устаревшие", но их немного; по сравнению с традиционным поэтом-одописцем Рылеевская лирика правильнее. Его архаизм—специфично-поэтический, и преследует цель создания высокого языкового стиля употреблением классических синонимов. Все они обычны для оды. Например: „Чело покойно, стройный стан..." („Гражд. муж."); „Чело величием горит"... („Видение"); „Но вот от уст царицы мудрой" (ib.); „К прекрасному коснувшись дланью" („Видение"); „рекла", вместо сказала; „лик", вместо лицо и т. д. Для классического стиля характерно и то обилие отвлеченных понятий, которое дается

[1]) На влияние Державина указывает А. Сиротинин": „Рус. Арх.", —1890, № 6, стр. 200 и след.

[2]) Гражданские поучения в одах XVIII века представляют общее место. „Будь страстей твоих владетель, будь на троне человек" (Державин). „Не бог, но человек на троне" (Николев), и т. д.

в существительных. Рылеев избегает, как истый классик, „les noms propres“: „мужество“, „доблесть“, „свобода“, „законы“, „народное благо“, „слава“ и т. п. классические штампы пестрят в его одах:

„О доблесть, дар благих небес“; „Ничто пред доблестью гражданской“; „Но прочной славою гражданской и доблестью своих детей“; „Любовь к общественному благу, любовь к согражданам своим“. Это приводит Рылеева к полному использованию перифразов:

Военных подвигов година
Грозою шумной протекла

Твой век иная ждет судьбина,
Иные ждут тебя дела.

Характерно в лексике Рылеевской оды и обилие мифологизмов: „Но вдруг Минервы светлоокой“, „Не ты ль прославила Катонов“, „Но много ль было Цицеронов“, „Будь Антонином на престоле“ и т. д. Используется далее высокий словарь, производящий впечатление „штилевого подъема“. Отдельные выражения гиперболичны, хотя и не в такой степени, как у Петрова или Кострова. Гипербола касается по преимуществу описаний природы и событий:

Давно от слез и крови взмокла
Эллада средь святой борьбы...

Смотри, в волнении народы,
Смотри, в движеньи сонм царей...

Их беспощадная рука
Преобразит поля в пустыни.

В области синтаксической организации архаизм Рылеевской оды очевиден еще более: им в изобилии употребляются каноничные приемы прежних одописцев—патетические и реторические обращения автора к одушевленным лицам (героям прошлого) и отвлеченным понятиям [1]), обилие реторических вопросов [2]), восклицаний [3]), сравнений [4]), антитез [5]); синтаксиче-

[1]) „Царица грозная морей!“ („На смерть Байрона“). „Смотри, в волнении народы, смотри,—в движеньи сонм царей“. („Видение“) и т. д.

[2]) „Кто этот дивный великан,... кто сей“ („Гр. муж.“). „Не ты ль, о мужество граждан... не ты ли сила душ свободных...“ и т. д.

[3]) „Какое дивное виденье очам представилось моим!“ „Здесь спит возвышенный поэт!“. „Благодаренье небесам за их святое снисхожденье“.

[4]) „Стоит гранитною скалой“, „Везде лилася кровь ручьями“, „на легком облаке как дым“ и проч.

[5]) „Отчизны щит, гроза врагов“, „От древних лет до наших дней Неправды с правдою святой“.

ские перестройки выражаются у него в организации параллелизмов [1]), повторений [2]), в нагнетании форм [3]) и пр.

Если исключить вопрос о некотором тематическом преодолении штампов (обострены гражданские выпады, пуантированы „поучения“ в финалах, увеличен гражданский словарь, рабы, тираны, общественное благо, свобода и т. д.), то эта группа од может быть признана всецело архаической и классической. Но с течением времени Рылеев эту зависимость от одической традиции ослабляет. Лирические пьесы „На смерть Чернова“, „Столыпиной“, „Гражданин“ представляют чрезвычайно интересные образцы новых, индивидуально Рылеевских построений. Композиционные штампы здесь уже ослаблены до того, что трудно определить самый жанр этих пьес 1825 года: они представляют нечто среднее между „посланием“ и „прокламацией“ (рифмованной). Одическая композиция с ее приступами, кульминациями и т. д. здесь отброшена, отрывки свободны и отличаются лишь тематической обостренностью. Если оды не выходили из круга поучений, то здесь эмоциональная насыщенность доводит темы до „призыва“ и „прокламации“:

Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой,
Пусть в сонме гордых исполинов
На ужас гордых их узрим...

Клянемся честью и Черновым,
Вражда и брань временщикам,
Царя трепещущим рабам
Тиранам, нас унесть готовым...

Стилистика теряет теперь архаизм, но остается реторической Иначе говоря, лексика и тропика теряют свой классический отпечаток, синтаксис же сохраняет патетическую рассудочную организованность.

Синтаксис послания „На смерть Чернова“ изобилует фигурами, присущими „эмоциональной реторике“ политических прокламаций. Анафоры, повторения и антитезы создают в ней наряду с обострением тематики крайнее напряжение стиля:

[1]) „Любовь к общественному благу, любовь к согражданам своим“. „Довольно лавров и побед, довольно громозвучной славы“. „Будь блага подданных ревнитель:... будь просвещенья покровитель“ и т. д.

[2]) „В суде ума, в суде веков...“, „Твой век иная ждет судьбина, иные ждут тебя дела“ („Видение“) и т. д.

[3]) „Он тверд, спокоен, невредим“ („Гражданское мужество“).

(вспомним определение Греча: стихи негладкие, но замечательные своею желчью и дерзостью [1]):

Клянемся честью и Черновым...
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь,
Я ненавижу их клянусь,
Клянусь и честью, и Черновым!...
На наших дев, на наших жен...
И прах твой будет в посмеянье
И гроб твой будет в стыд и срам!
Клянемся дщерям и сестрам —
Смерть, гибель, кровь за поруганье!

Пьеса „В. Н. Столыпиной" представляет тот же синтаксический узор нагнетания анафор, заканчивающихся эффектной пуантированной градацией:

Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать;
Священный долг перед тобою —
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой;

Пусть в сонме гордых исполинов
На ужас гордых их узрим
И смело скажем: „знайте — им
Отец—Столыпин, дед—Мордвинов!.

И наконец, эти приемы получают свое полное осуществление в третьем из образцов новой гражданской лирики Рылеева — в „Гражданине". Написанный в конце 1825 года, он как бы подводит художественный итог всей лирической деятельности Рылеева, венчая ее строго продуманной конструкцией блестящей гражданской исповеди. (Строфика изменена для большей синтаксической наглядности. А. Ц).

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?

Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой,
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья!

Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.

[1]) „Записки Н. И. Греча", П. 1886 г., стр. 366.

Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.

Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги,
И в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги [1]).

Стихотворение „Гражданин" по стилю своему не является характерным для всей гражданской поэзии Рылеева (как это в наши дни доказывает И. Н. Розанов и до него В. И. Маслов и Н. А. Котляревский). Здесь Рылеев начинает только создавать свой собственный индивидуальный стиль реторической прокламации или воззвания. Архаические традиции преодолеваются им очень медленно, но упорно. В 1825 году стиль его лирики приобретает индивидуальный отпечаток, прояснить который ему мешают события.

Подведем итоги сказанному.

Эволюция рылеевской лирики сложна, ее этапы противоречивы и дальнейшие ее вехи представить трудно—внезапная катастрофа оборвала лирическую деятельность поэта. Рылеев последовательно примыкает то к интимной традиции классицизма (лирика любовная), то, оставаясь в рамках той же школы, культивирует формы высокого витийственного стиля (оды). Он находит себя после долгих и настойчивых опытов в реторических гражданских посланиях. Оставаясь в плену у классической традиции, Рылеев лишь к 1825 г. формирует свой стиль—лаконической прокламации, лирической по своей внутренней форме, реторического и дидактического характера.

[1]) Статья эта была уже написана, когда в шестой книге альманаха „Недра" (1925) появилась заметка М. Л. Гофмана „Пушкин или Рылеев", приписывающая авторство послания „Любви, надежды, тихой славы" Рылееву. Доводы Гофмана были успешно подвергнуты критике Л. П. Гроссмана (там же), защищавшем точку зрения ортодоксального пушкинизма. Несколько расходясь с последним (там, где Гроссман говорит о „прозаическом стихе" Рылеева), мы тем не менее всецело принимаем его аргументацию, как в области текстологии, так и в области стилевой аналитики. Попытка М. Л. Гофмана отнять у Пушкина это послание, приписав его Рылееву, противоречит всем без исключения фактам поэтической деятельности обоих поэтов и поэтому является совершенно ненаучной.

Образцом этого краткого самостоятельного периода лирики Рылеева является „Гражданин“.

Но восстание 14-го декабря прерывает органическое развитие его лирики, которая теперь только становится самостоятельной и преодолевшей традицию. Пьесы, написанные в Петропавловской крепости, идут в разрез с его вольнолюбивой и революционной лирикой и заменяют ее религиозными мотивами и стилем религиозных псалмов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Гражданской лирикой не исчерпывается поэтическая эволюция Рылеева. У него определенно намечаются уже в самом начале деятельности новые, чрезвычайно важные и интересные искания, уводящие его от лирики к жанрам эпическим.

Отбросив классические темы любовной лирики, Рылеев обращается к гражданским темам не сразу; они культивируются поэтом преимущественно в 1823, 4 и 5 годах. С любовной же лирикой Рылеев расстается к концу 1821 года. Этот промежуток и заполняется работой над новым лироэпическим жанром, так называемых, „Дум“.

Причины обращения к „Думам“ двояки. К ним привела его прежде всего собственная индивидуальная эволюция. Любовные темы исчерпались, они все менее могут удовлетворять поэта, искания в области драмы кончаются ничем: прозаические опыты его не имеют продолжения. Гражданской лирики, как сформировавшегося жанра, еще нет, но даже если бы она и была, она не удовлетворила бы Рылеева: стиль, в котором должны были писаться эти гражданские опыты, с неизбежностью был стилем архаическим, реакционным. Лирика эта не могла принять массового характера из-за цензурных соображений; к нелегальной форме распространения (как это было в 1824—5 году с „Солдатскими песнями“), Рылеев прибегнуть еще не решался, и этот жанр его поэзии долго оставался в полуэмбриональной форме „стихов на случай“.

За исчерпанностью других жанров, Рылееву оставался только эпос, который по тематике был бы однороден его гражданской лирике, но который явился бы некоей легальной перифразой современных политических мотивов в историческое прошлое.

К этому приему прибегал не один Рылеев: и для поэмы XVIII века „историзм“ был в значительной мере фикцией, вуалирующей основной дидактический замысел [1]).

Поиски нужного жанра продолжаются недолго. Биографические и общелитературные воздействия определяют выбор Рылеева с большой быстротой. Ему помогают обратиться к историческому народному эпосу та украинская среда, в которой он живет в 1817—21 г.г., и устные предания и воспоминания ее, которые он запоминает. В этом же направлении действуют на Рылеева его исторические чтения. К этой поре относится наибольшая популярность „Истории“ Карамзина, откуда Рылеев черпает фабулистику большинства своих „Дум“. Этому же выбору в сильнейшей степени способствовали литературные чтения—оформившаяся поэтика русской исторической поэмы и особенно воздействия иностранной традиции, к которой Рылеев был ближе всего — польских „Дум“. Поэтическая традиция, литературные чтения, исторические изучения, наконец, устные предания—таковы те многообразные источники, которые в совокупности помогают Рылееву создать новый жанр.

В настоящее время не может подлежать сомнению факт воздействия этих источников. Затруднения могут возникнуть только при определении их удельного веса и сравнительного значения для рылеевских замыслов. Повидимому, возможно такое разграничение этих „влияний“: украинские впечатления предрасполагали Рылеева к этой народной традиции и способствовали обращению его к историческим украинским темам [2]). Польская литература, которая в то время была хорошо известна не одному Рылееву, повидимому, действовала через „Думы“ Немцевича [3]), отчасти давая ему сюжетные темы (напр. „Глинский“), больше всего воздействуя на весь этот жанр Рылеева и на архитектоническую его структуру.

„Влияние „Spiewy Historyczne“ на „Думы“, говорит Маслов, „было весьма незначительно: от Немцевича Рылеев заимствовал только общую тенденцию и форму „Дум“, что же касается вы-

---

[1]) По этому поводу остроумные замечания А. Н. Пыпина: „Вестник Европы“, 1895, № 11.

[2]) Ср. В. И. Маслов, op. cit., 172.

[3]) Выяснению этого вопроса посвящена статья Сиротинина „Рылеев и Немцевич“—„Рус. Арх.“, 1898, кн. I.

бора сюжетов и их разработки — здесь Рылеев был самостоятелен“ [1]). Маслов недостаточно точен в определении „формы“: воздействия Немцевича в гораздо большей степени определяли архитектонику „Дум“, их же стилистика, как мы увидим дальше, всецело определялась русской традицией классицизма.

Было бы ошибкой называть воздействия песен Немцевича „влияниями“. Рылеев обращается к польской поэзии за тем, чего не находит в русской; но найдя этот жанр и усвоив его общую композицию, Рылеев согласует ее с традициями своих русских учителей и со своими поэтическими замыслами. Русские поэмы в духе народности и исторической гражданственности [2]) обеспечили Рылееву выбор стилистических средств. Господство в русских высоких исторических жанрах „славянского стиля“ [3]) позволило Рылееву, не порывая с русской традицией, сблизиться с польской поэзией и взять оттуда все нужное для нового жанра. Наконец, в духе литературной эпохи 20-х годов было общее стремление к „народности“ и „историзму“ сюжетов; оно культивировалось и классиками, и романтиками. Рылееву не приходилось делать еще выбора между каким-либо из этих направлений. Обстоятельства складывались необычайно благоприятно для поэта, и самые факты переноса в русскую поэзию польских традиций, использования для фабулы исторических чтений — были в духе времени и в духе эволюции самого Рылеева, органически вытекая из индивидуальных замыслов поэта. „Рылеев пробивает новую тропу в российском стихотворстве“ [4]), своеобразно сочетая эти разнообразные источники и переплавляя их заготовки в новый поэтический жанр.

Первые опыты его в этом направлении начинаются осенью 1821 года (почти в то же время, когда оказываются исчерпанными штампы его любовной лирики) и оканчиваются 1823 го-

[1]) Маслов, op. cit., 182.

[2]) Библиографию исторических поэм см. у П. Н. Сакулина, цит. статья в „Истории Русск. Лит-ры“ I, стр. 7 и след. Об естественности в ту пору приемов „исторической гражданственности“ см. у Пыпина: „Исторические Очерки“, Спб. 1900 г.

[3]) Термин П. Н. Сакулина.

[4]) А. Бестужев „Взгляд на старую и новую словесность в России“, „Полярная Звезда“, 1823 г., стр. 29.

дом. Успех первых „Дум“ заставляет Рылеева отбросить другие лирические опыты и заняться исключительной разработкой нового жанра. Его художественное внимание направляется сюда и, в результате более чем двухлетней работы, Рылеев создает 24 „думы“ и набрасывает планы новых пятнадцати. Налицо, следовательно, факт напряженной поэтической деятельности поэта, деятельности, протекавшей в одном и том же направлении.

Общий стиль рылеевских „Дум“ может быть характеризован, как лирико-эпический. Таким он существовал и в польской поэзии, совмещая „грустный лирический характер“, „smutne spiewanie“ с повествованием о прошлых рыцарских подвигах. Относя ее к элегии, польские теоретики все же подчеркивали ее исторический элемент — рыцарской элегии (elegia rycerska), лирико-исторической песни. В „Думах“ польские поэты совмещали лирическую окраску и обрамление повествования с эпической сущностью повествуемого сюжета (исторический сюжет с неизбежностью был эпическим) [1]). Также, повидимому, определяет этот жанр и Рылеев, когда он пишет в предисловии к их отдельному изданию. „Дума — старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих: Дорошенке, Нечае, Сагайдачном, Палее, — и самому Мазепе приписывается сочинение одной из них. Сарницкий свидетельствует, что на Руси пелись элегии... Элегии сии, говорит он, у русских думами называются. Соглашая заунывный голос и телодвижения со словами, народ русский иногда сопровождает пение оных печальными звуками свирели“. Здесь отчетливы указания на эпический сюжет и на лирическую окраску его в стиле народной элегии [2]).

В русской критике завязалась интересная полемика по поводу связи „Дум“ Рылеева с историческими гимнами. В то

---

[1]) Морфология и теория польской „Думы“ в главе IV кн. Маслова, стр. 172—183; ср. также упомянутую статью Сиротинина.

[2]) Чрезвычайно интересны и совершенно не разработаны указания Хвостова на то, что „Наполеон на Эльбе“ 1815 и „К морю“ „написаны во вкусе Дум“ (Граф Д. И. Хвостов, „Рус. Стар.“, 1892, VIII, стр. 414). Действительно многие компоненты здесь однородны — начальный пейзаж, поза героя, его мысли вслух и т. д.

время, как Бестужев склонен был проводить между этими жанрами знак равенства, критик „Русского Инвалида“ энергично это мнение оспаривал. „Дума не есть Исторический Гимн и не всегда служит к прославлению подвигов и доблести предков. Гимны суть похвальные, торжественные песни, а в „Думах“ излагаются уединенные размышления исторических лиц, тайные их намерения, борения противуположных страстей, угрызения совести и нередко такие чувства, кои не имеют в себе ничего ни торжественного, ни похвального. „Дума“ есть особливый род поэзии, взятый из польской литературы и который требует еще своей теории“ [1]). Определение жанра, как „уединенных размышлений исторических лиц“, само по себе очень меткое, дополняется определением „Дум“ Плетневым: „Рылеев избрал для себя прекрасное поприще. Он представляет вам поэтические явления из Отечественной Истории. Его так называемые Думы содержат лирический рассказ какого-нибудь события. Не восходя до оды, которая больше требует восторга чувствований и быстроты изложения, они отличаются благородной простотой истины и поэзиею самого происшествия“ [2]).

Приведенные определения если и не формулируют лироэпический характер жанра, то во всяком случае приводят нас к этому заключению, равно как и морфологический анализ самих „Дум“.

Все без исключения исследователи „Дум“ отмечали крайнее однообразие их сюжета, композиции и стилистики. Действительно, штамп большинства „Дум“ явственно чувствуется; определить его и охарактеризовать крайне нетрудно.

Основной характерной чертой их тематики является без сомнения гражданский дидактизм, присущий всем „Думам“. Сентенции нравоучительного характера, которые высказывает сам автор, от себя или через посредство героев, представляют основную часть повествования: сентенцию иллюстрирует рассказ и „Дума“ героя. Она высказывается автором в конце, приобретая характер особой остроты и значимости (типа повествовательной „pointe“). Эта сентенциозность, дидактическая окраска повествования при однообразии собственно художественных

---

[1]) „Русский Инвалид“, 1823 г., № 4.

[2]) „Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах“.

средств была в традиции русской поэзии, Рылееву предшествовавшей.

„Русский классицизм пользовался фактами прошлой жизни в целях нравственного воздействия на читателя: собственно исторический элемент событий изгонялся, если он этих дидактических сентенций не оправдывал, или сильно изменялся и модифицировался. И „обличенья", и „прославленья" Рылеевым тех или иных исторических героев так же строились, как приемы, ведущие к дидактическим поучениям. Думы представляли ряд исторических иллюстраций на гражданские, государственные темы; как должно и как нельзя править, служить родине и т. д. Их историзм по большей части ограничивается общей фабулой, в развитии же сюжета Рылеев вводит „вымышленные" внеисторические эпизоды. Плетнев несомненно имел в виду эту особенность „Дум", когда писал Пушкину: „Историю никак не уломаешь в лирическую пьесу. Рылеев это прежде всего доказал своими „Думами" [1]). До некоторой степени этот уход от исторического колорита Рылеев компенсировал обильным фактическим комментарием, который печатался в примечании к отдельным „Думам".

Существенной особенностью сюжеторазвертывания здесь является отведение событий в прошлое. В Думе о них не повествуется автором, а пересказывается от лица самого героя, который, вспоминая свое прошлое, окрашивает рассказ лирическими переживаниями. Вследствие этого приема понижается сюжетная эффективность „Думы"; роль эпических партий— объективного повествования становится меньше лирических— дум и переживаний героя в связи с прошлыми событиями. Этим лишний раз подчеркивается синкретичность самого жанра.

Композиционная структура „Дум" также обнаруживает большое взаимное сходство их между собой. Каноническая „Дума" Рылеева слагается обычно из следующих шести компонентов или эпизодов: описания места действия, пейзажа, описания самого героя, передачи его речей, краткого рассказа о прошлых или текущих событиях его жизни и, наконец, нравоучительной сентенции. Упомянутые эти шесть компонентов приблизительно в одной и той же комбинации образуют большую часть Дум, как законченных, так и черновых набросков.

---

[1]) „Переписка Пушкина", I, 167.

Повествование в большинстве „Дум“ начинается с описания места действия — дается или пейзаж, при котором начинается действие, или темница, в которой сидит заключенный герой-гражданин. Десять „Дум“ начинаются так, что первая строфа падает как раз на эти экспозиционные партии: „Борис Годунов“, „Михаил Тверской“, „Курбский“, „Глинский“, „Наталья Долгорукова“, „Смерть Ермака“, „Державин“, „Богдан Хмельницкий“, „Матвеев“, „Ольга на могиле Игоря“, „Святослав“ и неоконченные: „Марфа Посадница“, „Царевич Алексей“.

Пейзаж в огромном большинстве „оссиановский“; природа бушует, буря свирепствует, гремит гром, носятся тучи по небу:

Осенний ветер бушевал,
Крутя дерев листами,
И сосны древние качал
Над мрачными холмами („Ольга“, строфа I).

... в перекатах гром
На небе мрачном раздавался
И темный лес, шумя, кругом
От блеска молний освещался („Курбский“).

Ревела буря, дождь шумел:
Во мраке молнии летали;
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали („Смерть Ермака“).

Настала осени пора:
В долинах ветры бушевали,
И волны мутного Днепра,
Песчаный берег подрывали („Наталья Долгорукова“).

Гром гремит; змеей огнистою
Сумрак молния сечет;
Волхов пеной серебристою
В берег хлещет и ревет („Вадим“).

Гораздо реже рисуется пейзаж спокойный, элегический. Напр.:

И одинока, и бледна
В туманных облаках нидаря,
Текла двурогая луна
Над брегом быстрого Дуная („Святослав“).

Москва река дремотною волной
Катилась тихо меж брегами
В нее, гордясь, гляделся Кремль стеной
И златоверхими главами („Годунов“).

Если действие происходит не на лоне природы, то экспозицией места является темница, где заключен скованный герой „Думы“:

Под сводом обширным темницы подземной
Куда луч приветный отрадных светил
Страшился проникнуть; где в области темной
Лишь бледный свет лампы, мерцая, бродил. („Глинский“)

Средь мрачной и сырой темницы
Куда украдкой проникал,
Скользя по сводам, луч денницы
И ужас места озарял... („Хмельницкий“).

Далее обычно Рылеев переходит к описанию героя: он сидит, (или на берегу или в темнице) грустный и задумчивый [1]).

Как месяц утренний бледна,
Рогнеда в горести глубокой
Сидела с сыном у окна,
В светлице ясной и высокой („Рогнеда“ II).
Один задумчиво Баян сидел:
В нем думы думами сменялись („Баян“ III).
Ветхим рубищем покрытый,
С мрачной грустью в груди,
Князь — страдалец знаменитый,
Сел в цепях на площади. („Михаил Тверской“ II).
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой. („Ермак“ II).
В тяжелой цепи по рукам и по выи,
Князь Глинский задумчив сидел („Глинский“ I).
На камне мшистом, в час ночной...
Сидел князь Курбский, вождь младой.. („Курбский“ I).
Лежал Хмельницкий на земле;
В нем мрачные кипели думы... („Богдан Хмельницкий“ I).

Следующим после этих экспозиций природы и места действия компонентом является речь героя, которая следует за ними непосредственно. По большей части это „речь“ — думы героя наедине, но иногда он обращается с воспоминаниями к молчаливому спутнику. Герои обращаются к своему прошлому.

[1]) Виньетка „Войнаровского“ изображает старика, сидящего в глубокой задумчивости; „Сидят“ и герои Войнаровского „Знакомцы новые сидели“ (585 стих); „Изгнанник мрачный и унылый сидит на холме гробовом в оцепененьи роковом“ (1083 стих, конец).

О прошлом, плавая в мечтах,
Она, томясь, вздыхала,
Но огнь блеснул в ее очах —
И мудрая вещала („Ольга“ III).

В речи вслушавшись чужие,
Загрустил сильнее князь;
Вспомнил славу — и впервые
Слезы брызнули из глаз („Михаил Твер.“ IV).

В давно минувших временах
Крылатой думою летая,
О прошлых он мечтал боях,
Гремевших на брегах Дуная („Святослав“ III).

Сидел он склоненный на длань головою,
Угрюмою думой в минувшем летал („Глинский“).

Пред ним прошедшее, как смутный сон
Тревожной оживлялось думой („Годунов“ III).

Речи героя посвящены всегда прошлому, но в пределах этого прошлого они довольно разнообразны. Одни вспоминают о битвах и подвигах прошлого, коих они были свидетелями („Ольга на могиле Игоря“, „Святослав“) или участниками („Михаил Тверской“); другие думают о своих прошлых злодеяниях („Годунов“, „Глинский“, „Владимир“, „Дмитрий Самозванец“); третьи мечтают о будущих боях и победах над угнетателями („Богдан Хмельницкий“, „Смерть Ермака“). Собственно, действие приходится далеко не на все „Думы“ этой канонической группы: так, исключительно статическими, описательными и речевыми партиями, развернуты Думы „Ольга при могиле Игоря“, „Баян“, „Курбский“, „Борис Годунов“ и др. В тех же Думах, где за речами следует действие, оно тяготеет к конечным строфам Думы и сжато. Обычные мотивы действия: „смерть героя на плахе“ („Глинский“, „Волынский“), убийство его („Михаил Тверской“, „Самозванец“, „Артемон Матвеев“), смерть в бою („Ермак“). Как редкий случай иного исхода сюжета можно указать здесь на „Хмельницкого“.

Особенно острой и канонической частью „Дум“ является, как мы уже сказали, дидактическая сентенция автора или героя в конце пьесы. Тема нравоучения гражданская и говорит по большей части о „святых чувствах“ — любви к отчизне, честности, храброй защите ее, неподкупности, верности и т. д.

Стилистика этой группы „Дум“ всецело архаична. Рылеев опирается здесь на классический стиль XVIII-го и начала XIX-го

века, ибо он больше всего соответствует высокой патетике его тем. Характерно прежде всего громадное влияние на язык „Дум“ архаической лексики, употребленной подчас сознательно, как средство сделать лирические партии более высокими и торжественными.

Все Думы отличаются минимальным количеством диалектизмов и народных форм, ибо классическая поэтика не ставила себе задачи местного колорита в языке. Напротив, масса примеров придают языку „Дум“ ложный колорит места и времени, совершенно не согласуясь с исторической обстановкой. В Думе „Святослав“ на часах стоит на высоте кургана „младой гусар“ (!) „Пред ним на острову реки шатры турецкие белели“..., хотя в то время о турках не было и помина. Но этим дело не ограничивается.

Взгремела пушка вестовая (!)
И войски белого царя (!)
Покрыли берега Дуная...
Гусар умчался ... Гром взревел...
Свистя, сшибалися картечи...

Так описывается битва десятого века!

Тропы Рылеева классичны; обильны и часты гиперболы, большей частью в выражении переживаний действующих лиц.

... И у врага хладела кровь,
И дыбом становился волос... („Святослав“)
Чьи так дико блещут очи?
Дыбом черный волос встал? („Самозванец“)
Друг друга стиснули, сдавили;
Трещат... колеблется курган... („Мстислав“).

Признаком классического стиля является „отвлечение эпитета“, замена прилагательного существительным (это по большей части связано с перифразой).

В результате этих перифраз и отвлечений в „Думах“ встречаем громадное количество отвлеченных существительных, они заменяют и глаголы, и прилагательные.

Эти словесные клише помогают развертывать повествования, не прибегая к сложным нюансам, и в то же время делают стиль более „высоким“ и архаичным. Они придают его языку характернейший отпечаток — прозаизма: эпитеты однообразны и немногочисленны („угрюмый“, „мрачный“, „унылый“, „тай-

ный"—одни из самых употребительных), перифразы и формы способствуют тому, что описание отвлекается от собственных характерных признаков явления, делается отвлеченным и общим. Штампы „угрюмых и мрачных дум", „веселия" „тоскующего духа", „унылых мечтаний", „пламенных восторгов" и т. д. наполняют все „Думы" этой группы и содействуют установлению языковых шаблонов.

Классическая ода (и сам Рылеев в гражданской лирике) культивировала особые типы рифм на „енный". Причастиями этого рода пестрят и рифмы „Дум". Рылеев не только не пытается здесь оторваться от традиции, но, напротив, покорно ей следует. Причастными рифмами особенно насыщены думы „Хмельницкий", „Михаил Тверской", „Смерть Ермака", „Глинский". Классический генезис этих рифм ясен потому, что одна из каждой пары теряет свое смягчение и произносится как церковно-славянизм. Например: Блаженный — изумленный („Хмельницкий", строфа 7-ая) ожесточенный—иноплеменный (ib., 4) мгновенно—разъяренный („Мстислав", 8), надменный—побежденный („Хмельницкий", 13) угнетенным — презренным (ib., 12) обольщенный—смятенный („Михаил Тверской") и мн. др. Всюду Рылеев склоняется к фонетической структуре рифмы высокого классицизма.

В „Думах" архаической группы легко можно наблюсти определенные рифмические гнезда, собирающие большинство рифм, и эти гнезда характеризуют склонность поэта к бедной рифме. Он не разнообразит их, видимо не придавая этим стиховым ингредиентам большого значения.

Вот почему невнимание к рифме у Рылеева часто доходит до небрежности, которую никогда не позволил бы себе любой поэт плеяды. Он, например, рифмует в „Олеге Вещем" собственное имя героя „Олег" с „брег", повторяя эту рифму.

Этим невниманием вызывается и большое количество рифм приблизительных: впервые — чужие (Мих., 4) восстал — упал (Мст., 8), вздыхая — летая (Глин., 2), вбежал — читал (Мих., 10), клеветников — врагов (Мст., 3), Москвитян — сограждан (Глинский, 11), где созвучия крайне примитивны и строятся на общих окончаниях глаголов или форм склонения.

Наиболее организован синтаксис „Дум". Поскольку содержание их составляет речи героев, их поучения и проповеди, эта

сторона поэтического стиля должна была больше всего разрабатываться поэтом. И действительно, уже в ранней группе „Дум“ синтаксическая структура выступает совершенно определенно. Попробуем охарактеризовать ее на ярком примере „Волынского“ (первых его 7 строф).

Не тот отчизны верный сын,
Не тот в стране самодержавья
Царю полезный гражданин,
Кто раб презренного тщеславья!

Пусть будет муж совета он,
И мученик позорной казни,
Стоять за правду и закон,
Как Долгорукий без боязни.

Пусть будет он, дыша войной,
Врагам в часы кровавой брани
Неотразимою грозой,
Как покорители Казани;

Пусть удивляет... но когда
Он все творит то из тщеславья:
Беда несчастному, беда!
Он сын не славы, а бесславья!

Глас общий цену даст делам,
Изобличатся вероломства —
И на проклятие векам
Предастся раб сей от потомства.

Не тот отчизны верный сын,
Не тот в стране самодержавья,
Царю полезный гражданин,
Кто раб презренного тщеславья!

Но тот, кто с сильными в борьбе
За край родной иль за свободу,
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу,

Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден.

Повсюду честный человек,
Повсюду верный сын отчизны,
Он проживет и кончит век,
Как друг добра, без укоризны.

Ковать ли станет на граждан
Пришлец иноплеменный цепи —
Он на него, как хищный вран;
Как вихрь губительный из степи..

И пусть падет! Но будет жив
В сердцах и памяти народной
И он, и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной.

Славна кончина за народ!
Певцы, герою в воздаянье,
Из века в век, из рода в род
Передадут его деянье.

Вражда к тиранству закипит
Неукротимая в потомках —
И Русь священная узрит
Власть чужеземную в обломках!..

Рылеев развертывает здесь сложную синтаксическую конструкцию, характерную хотя и в меньшей степени и для „Глинского", или „Ольги", или „Артемона Матвеева". Основная тема—антитеза „тщеславного раба" и гражданина развернута в сложную систему повествования. Первая полустрофа дает тезис в отрицательной форме, подчеркивая его экспрессивность восклицанием „не тот... не тот... кто раб презренного тщеславья!" Повторение (анафора) подчеркивает риторическую организованность отрицания. Стихи 5 — 16 начинают серию уступительных предложений, из которых каждое внутри себя насыщено сравнениями: „Пусть будет муж совета он... как Долгорукий"... „Пусть будет он... неотразимою грозой, как покорители Казани". Достигнув достаточного риторического напряжения Рылеев обрывает уступление и заканчивает период противопоставлением: Пусть удивляет... но когда он все творит, то из тщеславья: „беда несчастному, беда! Он сын не славы, а бесславья"! (повторение, восклицание и антитеза усугубляют эффект конструкции). Следующие строфы продолжают развитие повествования, вскоре возвращая нас к прежним приемам: первая полустрофа повторяется целиком и образуется синтаксическое и композиционное кольцо (строфы I, II, III). Последующее развертывание представляет накопление параллелизмов („Повсюду честный человек, повсюду верный сын отчизны"), сравнений („как друг добра,... как хищный враг, как

вихрь губительный из степи"), противопоставлений („не тот... не тот, кто... но тот, кто с сильными в борьбе"), повторений („из века в век, из рода в род"). Эта сложная конструкция увенчивается концовкой, выдержанной в тех же синтаксических и морфологических чертах (будущее время, нагнетание предложений), восклицания которой завершают антитезу всего построения. („Славна кончина за народ!.." — „И Русь священная узрит власть чужеземную в обломках!").

В лексике, полной классических архаизмов, в стихе и его ингредиентах, в семасиологии, наконец в синтаксисе „Дум" Рылеев осуществляет тот стиль, который тесно связывает его традициями высокой лирики XVIII века — стиль риторических лироэпических фрагментов, где все внимание поэта устремлено на эффектность развертывания гражданской проповеди, на высоту и торжественность приемов выражения действующих лиц — граждан и героев древней Руси.

Необходимо, однако, иметь в виду, что изложенные стилистические черты характеризуют не весь жанр „Дум", а лишь его одну группу, наиболее крупную и раннюю. Наряду с этой канонической стилистикой постепенно, по мере овладения Рылеева приемами жанра, начинается другая, гораздо менее насыщенная указанными классическими формами. Эти новые стилистические явления мы находим в „Думах" второго периода, написанных Рылеевым в конце 1822 г. и в начале 1823 г.: таковы—„Олег Вещий", „Дмитрий Донской" „Мстислав Удалой", „Петр в Острогожске" и др.

Резче всего новизна этих приемов сказывается в стихе. Рылеев окончательно усваивает единый тип метра — четырехстопный ямб, заменяющий и амфибрахий „Глинского". Рифмы совершенствуются: глагольные причастия и прилагательные, сокращенные формы определений, все то, что так характерно было для группы канонических „Дум" теперь значительно сокращается.

Лексика остается архаичной не менее, чем прежде, но эти новые повествовательные установки группы существенно видоизменяют ее сантаксис. Такова „дума" „Дмитрий Донской" — чисто риторические типы „речей героя", обычные для „Глинского" или „Артемона Матвеева", теперь играют сравнительно второстепенную роль, поскольку „Дума" уже повествует не о

речах, а о делах и событиях. И здесь в повествовании Рылеев отбрасывает прежние штампы уступительных и антитетических конструкций, развертывая „Думу“ последовательными предложениями, связанными повествовательной хронологией. Синтаксис заметно упрощается, сохраняя в основе свою прежнюю организацию, но подчиняя ее иной установке.

Уж многие из храбрых пали,
Великодушный сонм редел;
Уже враги одолевали,
Татарин дикий свирепел.

К концу клонился бой кровавый,
И черный стяг был пасть готов;
Как вдруг орлом из-за дубравы
Волынский грянул на врагов.
Враги смешались...

„Повествовательный синтаксис“ организует картины битвы, которые заменяют риторические рассуждения архаических „Дум“. Очень интересна в своей повествовательной изобразительности— следующая строфа.

Повсюду хлещет кровь ручьями,
Зеленый побагровел дол.
Там русский поражен врагами,
Здесь пал растоптанный монгол.

Тут слышен копий треск и звуки,
Там сокрушился меч о меч;
Летят отсеченные руки,
И головы катятся с плеч.

Наряду с усилением повествовательных тенденций (и связанными с этим изменениями синтаксиса), Рылеев преодолевает традиционные штампы и в области описания. Каноническая „Дума“ давала описания, полные метафор и перифраз, с однообразными признаками предмета. Рылеев их разнообразит, обогащает эпитетику и явственно стремится к улавливанию мелких признаков и индивидуальных отличий предметов. В этом отношении особенно характерен конец думы: „Петр Великий в Острогожске“, одной из позднейших [1]).

[1]) „Соревнователь Просвещения“, 1823, XXI, № 3.

Там, где волны Острогощи
В Сосну тихую влились;
Где дубов сенистых рощи
Над потоком разрослись...

Где в лугах необозримых,
При журчании волны,
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;

Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов,
Городок уединенный
Острогожских казаков.

Уже в „Думах“ встречаем, хотя и редко, проблески описательного таланта: таково, например, превосходное окончание „Думы“ „Петр Великий в Острогожске“ [1]). Окончательные строфы Петра в Острогожске чрезвычайно оригинальны [2]).

Чрезвычайно любопытно, что большинство этих „новых“ по стилистическим явлениям „Дум“ отличаются вместе с тем и иными сюжетно-композиционными чертами. Это обстоятельство дает нам основание заподозрить некую связь между этими областями и наличность некоего внутреннего жанра, родившегося в результате отталкивания от архаического и статичного стиля „Думы“ первого, канонического периода.

В противоположность лишенным действия „Думам“ типа „Курбского“ или „Волынского“, где она развертывается только в Forgeschichte героя, делаемой им самим, вторая группа культивирует сюжет, как фактор повествования. Пред читателем развиваются события непосредственно без каких-либо передач и повествовательных посредников. В то время, как каноническая группа развивала мотив „дум“ героя, лишенный сюжетной динамики, здесь лейтмотивом становятся „дела“, а самые речи и думы отводятся на второй план. Прежде всего насыщается сюжетика. Мотивы этих новых дум уже предопределяют их эпическую разработку, где лирические партии иметь значения не могут. Это или военные подвиги героев, или повествование о трагической их смерти от врагов. К первой группе эпических военных „Дум“ относятся „Олег“, „Мстислав Удалой“, „Яков Дол-

[1]) Сиротинин, „Рус. Арх.“ 1890 № 6, стр. 202.
[2]) Переписка Пушкина, I, 220, письмо к Рылееву.

горукий", ко второй — „Ермак" и „Сусанин". Сюжетные перипетии останавливают внимание Рылеева; они могут быть сведены в следующие группы — подготовка к походу (описания и речи), самый поход, битва (сначала неудачная), неожиданная победа, триумф. Перипетии эти повторяются во всех думах этого типа: „Олег Вещий" начинается описанием смелого похода дружины на Царьград, повествует о бегстве византийцев, о просьбах мира и заканчивается триумфальным возвращением Олега и его дружины в Киев. В „Якове Долгоруком" развертываются мотивы военного заговора пленников на шведском корабле, восстания русских и их победы, окончившейся пленением фрегата. В Думе „Мстислав Удалой" Рылеев рассказывает о войне Мстислава с косогами, племенем горских черкесов. Во всех этих думах на лицо определенный сюжет, его перипетии довольно сложны и они то и составляют основные эпизоды военных дум.

Не довольствуясь введением динамических эпизодов в прежний статический сюжет, Рылеев реконструирует прежний архитектонический костяк. Канонические эпизоды им выбрасываются: военные думы не содержат вовсе описаний места, пейзажа, как автономных частей сюжета, какими они были прежде. Речи героев сокращены до минимума; так во всей думе „Олег" встретим одну лишь реплику героя, величиной в строку: „Идем друзья! — рек князь России"; в „Мстиславе" речь героя, Редеди, развернута на протяжении строфы, но и там она составляет часть, резко подчиненную последующему повествованию. Зато собственно нарративные эпизоды раздвигаются и количественно и функционально становятся самыми центральными в сюжете.

Все эти черты: стилистические и стиховые новшества, отход от классических архаизмов в языке, преодоление риторических построений в синтаксисе, сюжетное насыщение повествования „военными" перипетиями, композиционная перестройка эпизодов и перенесение центра тяжести с описательных партий на повествовательные — все эти черты, общие для новой, более поздней группы „Дум", позволяют нам характеризовать их, как жанр „исторической песни". Название „песни" здесь, конечно, условно и историческое, а не теоретическое. Повидимому, его придерживался и сам Рылеев в своем предисловии

к „Думам“: „В числе предлагаемых „Дум“ читатели найдут две пьесы, которые не должны бы войти в сие собрание: это, „Рогнеда“ и „Олег Вещий“. Первая по составу своему более повесть, нежели „дума“, вторая есть историческая песня (Spiewc Hystoryczny) она слаба и неудачно исполнена, но я решился поместить ее в числе „Дум“, чтобы показать состав исторических песен Немцевича, одного из лучших поэтов Польши“.

Эволюция Рылеева за эти $2^1/_2$ года и сводится к преодолению штампов архаической думы и замене ее исторической песней. Стилистическая новизна, сюжетное наполнение и композиционное усложнение и обновление — вот те стилевые тенденции, которые характеризуют его развитие от „Курбского“ к „Мстиславу Удалому“.

В бумагах Рылеева остался список „Дум“ в следующем порядке: 1. Курбский. 2. Баян. 3. Хмельницкий. 4. Смерть Ермака. 5. Святополк. 6. Святослав. 7. Матвеев. 8. Петр в Острогожске. 9. Глинский. 10. Самозванец. 11. Борис Годунов. 12. Наталья Долгорукова. 13. Олег Вещий. 14. Ольга при могиле Игоря. 15. Волынский. 16. Державин. 17. Дмитрий Донской. 18. Сусанин. 19. Рогнеда. 20. Михаил Тверской и 21. Мстислав Удалый. Если этот список признать хронологическим (а к этому имеются веские основания [1]), то такая эволюция от думы к исторической песне становится особенно ясна и уловима.

Ранние „Думы“ преимущественно лирические по сюжету и архаические по стилю. Именно в первый период своей работы Рылеев пишет большинство своих канонических дум; таковы—„Курбский“, „Баян“, „Матвеев“, „Глинский“, „Борис Годунов“, „Наталья Долгорукова“. Тогда же пишутся „Думы“, сюжетно преодолевшие прежние штампы, но стилистически все еще архаичные; к этой группе принадлежат—„Хмельницкий“, „Смерть Ермака“, „Святополк“, „Святослав“, „Петр в Острогожске“, „Самозванец“. Наоборот, во вторую половину своей работы над „Думами“ Рылеев почти отказывается от традиции лирической думы, построенной всецело по канонам классической риторики: „думы“ этого типа уже немногочисленны („Ольга при могиле

[1]) Ср. В. Маслов. „Литературная деятельность К. Ф. Рылеева“, 1912. гл. I, и П. А. Ефремов, „Рус. Стар.“, 1871, кн. I и III.

Игоря", „Волынский", „Державин"), зато культивируется тип военной песни: „Олег Вещий", „Дмитрий Донской", „Сусанин", „Рогнеда", „Михаил Тверской", „Мстислав Удалой", „Яков Долгорукий". Сознательно или бессознательно Рылеев стремится к преодолению первоначальных штампов голой риторической думы; ее стилистическая связь с классицизмом все более и более тяготит его; он стремится к сюжетному разнообразию и ломает рамки собственной традиции, приспособляя свои опыты к новым воззрениям.

К 1823-му году относятся две наиболее существенные попытки Рылеева реформировать жанр „Дум", оставаясь притом в его пределах и не порывая с его основными принципами. Изучение этих попыток важно, так как позволяет выяснить, что именно заботило творца „Дум", что в их стиле его не удовлетворяло. Первым опытом реформы явился „Сусанин". С одной стороны соединяя все достижения исторических песен, а с другой сохраняя основы и принципиальные особенности „Думы", это произведение как бы сочетает обе группы „Дум", к тому времени резко удалившихся одна от другой (Дума — „лирико-архаическая" и Дума — „эпическая").

Рылеев здесь прежде всего отказывается от традиционного приема начинать повествование оссиановским пейзажем — сразу вводя читателя in medias res:

> Куда ты ведешь нас?.. Не видно ни зги!..
> Сусанину с сердцем вскричали враги;
> Мы вязнем, и т. д.

Повествование начинается диалогом между поляками и Сусаниным; в двух строфах Рылеев описывает суть дела — погоню за Михаилом, мятель и т. д. Органически связано с действием описание: первое дается в речи Сусанина:

> Деревня! Сарматам в ответ мужичек:
> Вот гумна, заборы, а вот и мосток.
> За мною! в ворота! Избушечка эта,
> Во всякое время для гостя нагрета,
> Войдите — не бойтесь!

Это описание интересно, как один из первых у Рылеева „couleur locale". Оно тесно связано с развертыванием действия: поляки видят избушку снаружи; они в нее входят. Описание intérieur'a также кратко и колоритно.

Вот скатерть простая на стол постлана,
Поставлено пиво и кружка вина.
И русская каша и щи пред гостями,
И хлеб перед каждым большими ломтями.
В окончины ветер бушуя стучит,
Уныло и с треском лучина горит.

„Речь героя", которая так штампована в канонических думах Рылеева, здесь совершенно изменена: Рылеев делает ее короче, развивает как часть диалога (с Ваней), она связуется с действием (поручение сыну) и вследствие этого делается динамичной.

Пейзажи дальнейших строф опять таки интересны своей психологической оправданностью и подробной нюансировкой. Поляки идут все дальше и дальше в лес, он делается все глуше.

Стоят не шелохнясь и дуб и береза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза...
Все глуше и диче становится лес,
И вдруг пропадает, тропинка пред ними;
Лишь временно ворон, вспорхнув, прокричит,
И дятел дуплистую иву долбит...
И сосны, и ели, ветвями густыми,
Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.

Наступает катастрофа (органически подготовленная замыслом и поступками Сусанина); последующие „речи" кратки и отрывочны; описание смерти Сусанина сжато: взяты лишь отдельные, наиболее сильные ее штрихи:

Умри же! Сарматы герою вскричали —
И сабли над старцем, свистя, засверкали.
Погибни предатель, конец твой настал,
И твердый Сусанин весь в язвах упал.

Финал, которым поэт заключает повествование, уже не нравоучение, а указывающая на дальнейший ход действия антитеза:

Снег чистый чистейшая кровь обагрила!
Она для России спасла Михаила!

Динамизирование сюжета (с выбором для „Думы" наиболее его патетических эпизодов), замена канонических поуче-

ний и описаний повествованием, стилистическое обновление Думы — все это делает „Сусанина“ чрезвычайно интересным преодолением штампов. Характерно, что Пушкин, остро чувствовавший „однообразие“ и „одноладность“ прежних „Дум“, хвалил этот новый опыт. „...Исключаю Ив.Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант“.

„Рогнеда“, кое в чем как и „Сусанин“, синтезируя прежние достижения, уже в гораздо большей степени является шагом назад: повествовательно она безусловно преодолевает ранние штампы, сочетая сюжет думы (печальный рассказ Рогнеды) с сюжетом исторической песни (покушение Рогнеды на мужа). Ее перипетии сложны и многочисленны; сюжетный костяк вполне оформлен. Но нетрудно убедиться, что при этом Рылеев не отбрасывает прежние штампы, а лишь разнообразит их, умножая эпизоды и комбинируя их. Ее композиция сходна с „Думами“; на лицо те же компоненты — первоначальный пейзаж, поведение, внешность и поза героев, их речь, действие. Но все усложнено, прежде всего количественно. Размером „Рогнеда“ превышает больше чем вдвое всякую другую „Думу“ (38 строф); композиционное строение усложнено [1]), героев несколько — Рогнеда, Владимир, Изяслав, введены второстепенные герои, пейзаж, как и в „Сусанине“ участвует в развитии действия, его подготавливая [2]). Расширение сюжетной величины позволяет Рылееву здесь большое внимание обратить на couleur locale — княжеский пир, спальня, охота описаны с соблюдением исторических подробностей.

Но по стилистике Рогнеда принадлежит всецело к ранней, группе „Дум“ — ее зависимость от классической „повести“ (в стихах так ее определял сам автор) не подлежит сомнению. Многочисленны архаизмы форм и словосочетаний, в повести масса неорганичных условных образов, стих часто неправилен.

В этом смысле Рогнеда стоит на переломе старых традиций и новых замыслов крупной повести; сюжет ее нов, стилистика же не выходит из пределов первоначальных штампов.

[1]) Следует отметить новый для Рылеева метрический размер — 4-х стопный амфибрахий, характерный для избранного строфического жанра.

[2]) Партии пейзажа: строфы 12, 13, 24, 35, 36. Они развертываются вместе с действием, в то время как в первых думах они играли роль только заставок.

Но и эта пьеса и Сусанин показательны для творческой эволюции Рылеева. Ему становится тесно в пределах старой думы. „Сусанин", преодолевая старые традиции, композицией своей, стилем, таит в себе ростки новых опытов, в значительной степени далеко отстоящих от жанра „Дум".

Работа над „Думами" привела поэта к новому более сложному жанру, по отношению к которому „Думы" являлись лишь фрагментом. Начав с лирических пьес, Рылеев постепенно перенес внимание на эпическое развертывание сюжета. Историческая песня, над которой он работал в 1822—3 году, помогла ему оттолкнуться от витийственно-риторической традиции классицизма, усовершенствовала его стилистику, в значительной степени утончила композиционные приемы. Но последние опыты (как напр. „Долгорукий") грозили уже и этот жанр превратить в мертвый канон. Рылеев задумал новую серию „Дум"— о Владимире, Рюрике, Вадиме, Пожарском, Гермогене и т. д. Большинство этих „Дум" до нас не дошло, но уцелевшие отрывки— „Вадима", „Миниха" и др. показывает, что приемы быстро превращались в шаблоны; „Думы" становились перепевами мотивов, развернутых еще два года назад. Рылееву — поэту грозила опасность исчерпать себя...

Под влиянием этой опасности, не без внешних литературных воздействий, Рылеев, отказывается от продолжения „Дум". Бурный успех „Войнаровского", отрывки из которого он читает в мае 1823 года, заставляет его окончательно оставить этот жанр и обратиться к иному.

Начинается новый период его деятельности, период лироэпической, романтической поэмы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Между тем литературная обстановка изменяется. За два — три года классицизм оказывается сбитым с тех позиций, которые он еще удерживал. В качестве нового фактора литературно-поэтической борьбы появляется Байрон. Большое количество переводов, пересказов, критических отзывов и еще больше толки о нем среди поэтов плеяды делают его имя необычайно популярным в эти годы. Рылеев, повидимому, несколько подражает его темам в своей „Думе" 1822 г. („Богдан Хмельницкий"),

усваивает разочарованные темы его лирики („Стансы")[1]), откликается на смерть английского поэта одой в классическом вкусе. Но еще более влияние Байрона сказалось на поэмах, которые задумал уже тогда Рылеев; в поисках нового стиля английский поэт оказал ему значительную помощь и во многом его опередил.

Вторым немаловажным событием, сыгравшим крупную роль в развитии поэзии Рылеева был шумный успех южных поэм Пушкина. 1822, 1823 и 1824 годы знаменуют расцвет его поэтической славы.

На переломе жанров, в процессе выработки новых эпических планов Рылеев с совершенной необходимостью должен был посчитаться с этими основными сдвигами современной ему поэзии и так или иначе занять к ней определенную позицию, выработать определенное отношение.

Его письма к Пушкину переполнены восторженными отзывами о таланте последнего и выражениями симпатии его поэтическому направлению. Рылеев поздравляет Пушкина с Цыганами. „Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца [2])" „Прощай, чародей" „... Как благодарить тебя, милый поэт, за твои бесценные подарки нашей Звезде" и т. д. Рылеев следует за поэмами Пушкина и учится у него многому.

Необходимо согласовать факт воздействия на Рылеева двух других поэтов с потребностями его внутренней эволюции. „Влияния" не было, а было органическое усвоение чужих форм и приемов, которое вызывалось глубокими причинами рылеевского развития. „Влияние" было тем более важно и действенно, что оно ускоряло и в значительной степени определяло поэтическую эволюцию Рылеева и именно поэтому оно и возникло. Рылеев обратился за помощью к Байрону и Пушкину за тем, что ему недоставало, как поэту, и что он считал для себя необходимым. Основные вехи нового жанра обозначались у Рылеева без байронизма. „Думы" обнаруживали тенденцию расшириться в объеме и эпизироваться в захвате сюжета. Все эти тенденции

[1]) См. В. И. Маслов, op. cit, стр. 280 и сл. О влиянии Байрона см. его же „Начальный период байронизма в России", 1915 и книгу В. М. Жирмунского „Байрон и Пушкин", П. 1924.

[2]) Сочинения Пушкина. Переписка, том I, стр. 166 и след.

байронизмом были подхвачены и укреплены, поскольку байроническая поэма явилась тем сложным жанром, который помог Рылееву перейти к художественным конструкциям более сложного типа. Объем влияющих произведений может быть установлен в общих чертах: Байрон был знаком Рылееву частично в переводах, а частично в пересказах друзей; из поэм Пушкина существенное воздействие на Рылеева-читателя оказали „Кавказский Пленник", „Братья-Разбойники", „Бахчисарайский Фонтан", „Цыганы" и сделались ему знакомы уже по окончании „Войнаровского".

Его позиция по отношении к байронизму и романтизму Пушкина может быть охарактеризована как позиция умеренно-благожелательная. Такой она была и в теоретических высказываниях Рылеева и в его поэтической практике. Романтизм принимался им, как теория, которая знаменует известную романтическую свободу поэта [1]) „Употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных." В практике романтизм им ценился только, как литературное направление, позволяющее поэту скинуть устаревшие шоры чрезмерного классицизма: по крайней мере принципиальных суждений иного рода у Рылеева мы не находим. Но такое практическое приятие байронизма для Рылеева было очень условным и в этом смысле он этому воздействию Пушкина и Байрона сопротивляется, подчас очень упорно. Он учится у этих обоих поэтов, но не ограничиваясь усвоением их уроков предъявляет к ним свои требования: в Байроне он ценит прежде всего гражданского поэта, усердно подчеркивая эти характерные черты [2]), Пушкину он настойчиво советует написать историческую гражданскую поэму времен псковской независимости [3]). Уже здесь ясно видно, что к Байрону и Пушкину Рылеев подходит с иной стороны, чем последующие их продолжатели. И оттого связь с байронизмом, зависимость от него в темах, композиции, стиле получается чрезвычайно своеобразная.

[1]) Мы цитируем здесь статью его „Несколько мыслей о поэзии" — „Сын Отечества", 1825 г., часть CIV.

[2]) Н. А. Котляревский. „Рылеев", стр. 67; В. И. Маслов, 276 и след.

[3]) Переписка Пушкина, т. I, стр. 166.

Общий тематический остов и фабульное содержание его „поэм", в первую очередь „Войнаровского" было предопределено его историческими штудиями и сюжетами украинских „Дум" (Напр. „Петр в Острогожске"). Байроновская поэма, питаясь той же исторической фабулой, возможно, лишь сосредоточила внимание Рылеева на этих эпизодах украинской истории. Но это, конечно, было только совпадением поэтических тем, а не генетической их связью между собой: темы гражданского характера выбирались Рылеевым в тесной связи с прежними опытами, украинские же темы привлекали его, так как именно здесь история приготовила громадный материал для поэтических фабул. Может идти речь о „влиянии" на рылеевские поэмы фабулы и сюжета „Мазепы", но если это „влияние" и было, оно входило как закономерное в цепь факторов, которые обусловили переход поэта от „Дум" к поэмам. Повидимому, оно не было велико, и Рылеев в гораздо большей степени продолжал (конечно модифицируя) тематические традиции „Дум", нежели исходил от Байрона. Его влияние в этой области ничтожно, во всяком случае выделить его из всего комплекса воздействий прошлой традиции самого поэта—трудно. Зато тематическая преемственность и продолжение „Дум" в его поэмах несомненна. Благодаря введению эпического сюжета, благодаря разработке тех фабульных эмбрионов, которые имелись в „Думах", Рылеев художественно оправдывает тот дидактический костяк, который так оголен был у него ранее. Его концепции становятся подлинно историческими; события прошлого интересуют теперь поэта независимо от дидактических заключений. Идя от „Дум", Рылеев успешно преодолевает теперь прежние штампы—исторический сюжет помогает ему это сделать. В области сюжето-сложения „Войнаровского" и его деталей Рылеев также в гораздо большей степени исходит от „Дум", расширяя их штампы, нежели от поэмы Байрона. Основная схема канонических „Дум" однородна; она заключала рассказ узника о своем прошлом. Эта сюжетная схема целиком повторяется и в Войнаровском: центральная часть поэмы и есть такой рассказ о себе Войнаровского Миллеру. Какую роль играет в развитии и наполнении этой схемы сюжеты Байроновского „Мазепы"? Если Байрон и воздействует здесь на Рылеева, то

точно также это „влияние“ самое общее и минимальное. Рылеев усваивает, казалось бы, традиционный образ разочарованного героя, Войнаровского, т.-е. образ всецело романтический и байронический [1]). Но нетрудно убедиться в том, что источники и самый тип этой разочарованности у Рылеева совершенно иной, нежели у Байрона: Рылеев развертывает тему разочарования мотивами специфически гражданскими.

Могу ль всегда быть равнодушен?
Рожденный с пылкою душой,
Полезным быть родному краю...
Я бесполезно изнываю
В стране пустынной и чужой...
Как тень везде тоска за мной...
Душе честолюбивой бремя
Вести с бездействием борьбу...

И в этом смысле Рылеев в гораздо большей степени продолжает гражданскую неудовлетворенность героев своих „Дум“, чем зависит от любовных разочарований байронической традиции. Его интересуют в Байроне „страсти людей“, но содержание этих страстей у него иное. Рылеев отбрасывает столь характерный для авторов „Гяура“ или „Кавказского Пленника“ новеллистический сюжет поэмы, низводит роль любовной интриги до второстепенной—черта знакомая нам по „Думам“. Частичные усвоения сюжетных эпизодов Байрона у Рылеева имеются; их два—описание бегства „Мазепы“ после Полтавской битвы и любовная история Войнаровского и козачки, которой он обязан своим спасением. Факты сличений „Мазепы“ Байрона и поэмы „Войнаровского“ доказывают это „влияние“ вполне убедительно. Но Рылеев согласует эти байроновские детали с общей направленностью своего гражданского сюжета: идя далее Байрона, он заставляет Мазепу произносить гражданские проповеди и исповеди; он заставляет козачку обнаруживать те же гражданские чувства, которые питает и Войнаровский. И в этом уходе от байронической сюжетной традиции, в замене основной любовной темы поэмы—гражданской, в модификации сюжетных деталей, Рылеев обнаруживает значительную долю самостоятельности. Заимствуя эпизоды, Рылеев вводит их в контекст, органически связывая с прежней своей традицией. Сюжет разворачивается и увеличивается драматизм перипетий. Гораздо большее воздействие оказывает байронизм на композицию Войнаровского. Он развивает те компоненты, которые в „Думах“ были в зародыше

[1]) В. И. Маслов, op. cit., стр. 282.

и сообщает им повествовательную значимость. Уйдя от „Дум", Рылеев ищет новые формы эпического жанра; он находит их в жанре лироэпической поэмы в духе байронизма, лирической по эмоциональной насыщенности и психологическим характеристикам героя, эпической по сложности и остроте сюжетных коллизий между ним и окружающей его средой. Байрон и Пушкин заставляют Рылеева разработать пейзаж, описания intèrieur'a (юрта Войнаровского), усложнить характеристики действующих лиц—то есть сделать все то, что Рылеев не совершил в своих „Думах". Описательная традиция английского романтизма (и русского ее канонизатора—Пушкина) существенно расширяет и модифицирует новые настроения Рылеева. Сделать это было тем более легко, что преобразования и „реформы" в композиции требовались и осознавались самим Рылеевым еще в эпоху „Дум". Того, что он не мог сделать изолированно, Рылеев достиг при помощи байронической поэмы. Автобиографический рассказ героя о прошлом так укрепился в композиции „Войнаровского" потому, что его развития одинаково требовал и байронизм и предшествующая традиция „Дум", идущих от „исторических песен" польской поэзии. Точно также обе традиции — внешняя литературная (байронизм) и внутренняя — поэтическая (традиция лироэпического фрагмента самого Рылеева) требовали развертывания повествования путем монологов действующих лиц (монологи Войнаровского). Точно также под совместным воздействием двух традиций быстро был усвоен прием вершинного повествования. Как Байрон и Пушкин, Рылеев усваивает себе в повествовании „прерывистый ряд отдельных резко очерченных ситуаций, представляющих самостоятельные центры художественного внимания". Так развернуты в „Войнаровском" — встреча с Миллером, Полтавская битва, встреча с козачкой, изгнание и т. д. Прием самораскрытия героем отдельных моментов своей жизни одинаково характерен для автора „Дум" и для байронизма. Обе традиции скрестились и под совместным их действием некоторые моменты композиции сложились особенно быстро и четко.

Однако, в других областях и приемах Рылеев в большей степени противится байронизму: так происходит там, где прежняя его литературная традиция противоречит этим внешним литературным влияниям. Так использование отдельных байрони-

ческих композиционных приемов не меняет его общей композиционной схемы. Связь с „Думами“ особенно ясно выражается в том, что действие Войнаровского отводится в прошлое, а в настоящем развертывается только рассказом героя. Повествования в собственном смысле эпического, то есть авторского и непосредственно развертывающегося, в Войнаровском нет и это резко отличает его поэму от традиций байронизма, где действие развертывается вместе с повествованием в настоящем времени, где читатель узнает об его перипетиях из первоисточника. Так развернута у Байрона Полтавская битва, встреча Медоры с Корсаром, странствования Гяура; у Пушкина „Кавказский Пленник“. Между тем отведение всего сюжета в прошлое и ограничение повествования немногими эпизодами—чрезвычайно характерно для архаической группы „дум“—„Волынского“, „Глинского“, „Курбского“ и т. д. Байронизм оказывается не в силах побороть влияния прежних опытов Рылеева на его поэму, не в силах потому, что у Рылеева оказываются специфические задания, которые и заставляют его в этом случае остаться верным традиции своего прошлого, а не принять байронические новшества.

Его принцип композиции — концентрация повествования вокруг главного героя, уничтожение „автономной“ роли отдельных компонентов. Обычная лирическая увертюра заменена у Рылеева пейзажем и этнографическим каталогом. Эмоциональная заинтересованность автора, столь обычная для Байрона, в „Войнаровском“ устранена совершенно. Лирические повторения, вопросы, восклицания и отступления—все эти стилистические приемы „лирической композиции“ байронизма отнесены на счет героя. Рассказчик-автор уступает ему свое место, герой же говорит только о своем прошлом, от этой повествовательной нити не отклоняясь. Оттого его повествование не отличается уходами в сторону, оно вытянуто и ограничено. Отчасти самый исторический сюжет, отчасти хронологический метод обдуманных воспоминаний сообщают поэме Рылеева прагматический характер повествования. Основной повествовательный тон сдержан и эпичен; он не изменяется даже в финале, который является интересным образцом „описательного“ финала, лишенного (как у Байрона) эмоциональной окраски. Смена повествовательных манер производится лишь

один раз (автор—Войнаровский), тогда как у Пушкина или Байрона они многочисленны. Все части повествования, начиная от увертюры и кончая финалом, взаимно спаяны, вставные этнографические номера отсутствуют в Войнаровском; на лицо крайняя экономия в описательных средствах, лаконизм изложения при множестве событий. Вообще — Рылеев делает еще шаг к единому концентрическому повествованию и в этом своеобразно сочетает свои эмбриональные опыты, „Думы", и байроническую поэму.

Если в области сюжета и композиции „Войнаровского" Рылеев воспринимает влияния байронизма, оставаясь в связи с прежней своей традицией, то в стилистике байронические и пушкинские влияния следует признать очень сильными. Рылеев далеко отходит здесь от классического стиля „Дум" и преодолевает былые штампы особенно решительно и резко. Его лексика знаменуется значительным сокращением архаизмов языковых форм и сочетаний. В этом смысле Рылеев далеко уходит от „Дум". Немногие из архаических форм и выражений напр.: „вошед" (вместо „войдя" 193) [1]), или „препоны" (607) составляют остатки классических форм, уже разложившихся. Другие архаизмы мнимы, ибо представляют своего рода поэтическую вольность (в рифме: прерывает — упадает, бремя — до время (562), или смягчение гласной („окровавленный"), диктуемое соображениями метрической композиции, 153). Большая же часть их органически усваивается романтической поэзией (напр.: „сей" 14, 18, 117, „зрит" вм. видит, смотрит 157, „хладный" 278, „глас" 353, „вран" 395 и т. д.) и бытует в русской поэзии до 40-х — 50-х г.г. Рылеев отбрасывает ту массу „высоких" слов, которая так характерна была для эпохи „Дум", он культивирует неологизм, хотя делает это слабо и неуверенно („грянулся" 376, „льдистый" 599 и др.). Его лексика упрощается и снижается. В нее привходит большая струя местных слов, которые сообщают языку „couleur locale", представляют некоторое видоизменение приемов байронического экзотического стиля. Диалектизм и этнографизм языка заметен особенно в начале первой части „Войнаровского" и доведен до того, что

[1]) Цифры означают стихи „Войнаровского"; мы решились на это обозначение для большего удобства.

Рылееву приходилось сопровождать поэму словарем местных выражений: „и юрт бревенчатые стены“ 4, „якут и юкагир пустынный“ 35, „ясак“ 36, „он не варнак“ 93, „Байкал“ 101, „за кангалацкий камень“ 131, „дахою черной“ 159 и др. Далее это лексическое расширение языка Войнаровского проявляется в большем разнообразии эпитетов: явление двойных эпитетов, о котором подробно речь будет при анализе ритмико-синтаксических фигур („всегда сурова и дика“ 13, „Якутск унылый и глухой“ 32, „взор беспокойный и угрюмый“ 60, „средь дальной и позорной ссылки“ 75, „рукою дерзкой и бесстыдной“ 96, „в стране той хладной и дубравной“ 110 и т. д.) указывает на большое их разнообразие. Тавтологические эпитеты, которых так много было в „Думах“, имеются и здесь (напр.: „лежал я, мрачный и унылый“ 380, „как часто нежно и приветно“ 430), но их безусловно мало — эпитет становится разнообразней и качественно. Излюбленные эпитеты „Дум“— „мрачный“, „суровый“, „угрюмый“, многочисленны и здесь (особенно характеризующие Мазепу стихи „Волнуем тайно мрачной думой“ 580, „взглянув на них угрюмо“ 681, „И с видом мрачным и суровым“ 652, „с его угрюмого чела“ 493, „угрюмый с нами, он молчал“ 471, „Угрюмый гетман“ 457 и др.), но наряду с этими каноническими эпитетами словесная ткань поэмы насыщается и многими новыми. Сокращается и явление отвлечения эпитетов (см. напр. 18, 29 и др.), разумеется не исчезая вовсе, так как оно характерно и для романтики. В области тропов и фигур надлежит отметить сокращение числа гипербол, олицетворений, метонимий. Метафора сохраняется, но она уже не носит характер штампованной и сравнительно редка в повествовании. Остается, тоже в уменьшенном количестве, перифраза, характерный прием классического стиля.

Языковая ткань расцвечивается массой сравнений, некоторые из них напоминают тему „Дум“:

Так посещает в подземелье — Страдальца — узника порой
Почти убитого тоской, — Души минутное веселье (47).

Вобрав в поэму эти сравнения, Рылеев лаконизирует их, большей части умещая в пределах одной строки и подчиняя таким образом повествованию: „как в час глухой и мрачной ночи“ 102, „Один, как отчужденный, бродит“ 107, „и как

климат сибирский стал" 277, „в избытке чувств, текли, как волны" 236, „печаль свинцом в душе лежит" 281, „и мы, как туча громовая" 332, „три года молнией промчались" 448 и т. д.

В общем и целом ряд архаических явлений, порождавших в Думах многочисленные случаи „стихотворного прозаизма" (языковые безобразные штампы) — в „Войнаровском" сильно сокращаются.

Реформируется Рылеевым и стих. Прежде всего нужно отметить большую легкость рифмы; количество трех-и четырехстопных рифм сокращается очень сильно, в большинстве случаев чередуются мужские и женские рифмы. Архаическая рифма на „енный" почти исчезает, в то время как в Думах она доминировала; лексически они обновляются, при чем интересны новые рифмы, характерные для Пушкинского стиха. В области метрики нужно отметить окончательную установленность четырехстопного ямба, многочисленные случаи метрических усложнений (напр. ускорения первых стоп заменой ямбов пиррихиями, разнообразное употребление приемов enjambement). Метрические неправильности имеются, но встречаются гораздо реже: Рылеев, очевидно, упорно работает над стихом.

Строфика поэмы показывает, что байроническая традиция „зыбких строф" возобладала над строфическими опытами „Дум". Строфы отделяются строфическими паузами (которые соответствуют паузам повествовательным и сменам реплик или частей повествования). Устанавливается короткий лирический размер, неопределенный размер строф, при чем конечно эпическая связь строф остается безусловно. Этому, как и многому другому, Рылеев учится у Пушкина.

Общеизвестное заявление Рылеева Пушкину: „Ты всегда останешься моим учителем в языке стихотворном", повидимому больше всего относится к Войнаровскому. Действительно, подвергая сличению „южные поэмы" Пушкина с поэмой Рылеева мы обнаруживаем там массу сходных оборотов и выражений.

Все эти совпадения касаются строфической и лексической стороны Рылеевской поэмы, а также ее тематики. Его синтаксис более оригинален. Здесь Рылеев сочетает традицию своих „Дум" (откидывая только наиболее архаические конструкции) с байроническими приемами так, что получается некий образец

реторического синтаксиса, рассчитанного не на эмоционально-лирическое, а на патетически-эпическое воздействие. Эта некоторая разница установки легко прослеживается на анализе отдельных синтаксических явлений поэмы Рылеева.

Для его стиля характерно прежде всего обилие реторических вопросов. Если принять во внимание, что Миллер в разговоре принимает исключительно пассивное участие слушателя и ни на один вопрос Войнаровского не отвечает, если отметить, что отдельные вопросы героя и не рассчитаны на ответ и направлены к предметам неодушевленным, — то реторическая их установка станет безусловно ясна. Реальных вопросов немного (175, 246), большинство же фиктивные. „Почто, почто, в битве кровавой, не встретил смерти под Полтавой?“ „Почто я не погиб в родной стране?“ (572) жалуется самому себе Войнаровский „могу ль всегда быть равнодушен?“ (550) „Но мне ли духом унижаться?... И мне ли с роком не сражаться, когда сражался я с Петром?“ (665), восклицает Мазепа. „Что сталось с родиной моей?“ (846)—здесь наблюдается скопление реторических вопросов—„Кого она нашла в судьбе своей?“, „Где слезы льет моя подруга?“, Увижу ли своих друзей?“ (850) и др.

Реторичны и восклицания; структура восклицательных предложений не беспорядочна (как это должно было быть в лирическом повествовании), а организована, сами же восклицания не сопровождаются никакими ремарками об эмоциях говорящего: „О, край родной! Поля родные! Мне вас уж боле не видать! Вас гробы праотцев святые, изгнаннику не обнимать!“ (72 и далее на 12 строках скопляется 8 восклицательных предложений) „И мрак, и тишина кругом!“ (140), „Узнай — сидит перед тобой и друг, и родственник Мазепы!“ (264), „К чему напрасное моленье!“ (291), „Настала счастия пора!“ (439) и т. д. При этом любопытна пунктуация — восклицания настолько условны, что ими не снабжены даже междометия, напр: „увы, предчувствие сбылось:“ (738), или „Но, ах, недолго счастье длилось“ (916) и др.

Аналогию с синтаксисом байронической поэмы представляют многоточия, придающие повествованию характер отрывочности и эмоциональной насыщенности. (В Думах они редки). В поэме на 1088 стихов 60 случаев такого многоточия. Но во многих случаях Рылеев стилизует свое повествование под синтаксис

байронической поэмы, и некоторые его знаки этого рода не оправдываются синтаксическим контекстом. Таковы строки: „Не видно из лесу дороги“ (145), „Все реже виден свод небес“ (186), „И пылкой юности мечты“ (316) и т. д.

Реторический синтаксис в ораторском искусстве предполагает сложную систему параллельных конструкций и правильно организованную их последовательность. Все это характерно и для поэтического стиля Рылеева, хотя он и не является ораторским. В синтаксисе „Войнаровского“ получают полное свое осуществление различные приемы реторических повторений—прежде всего повторения начальных частей стиха (анафоры) далее повторения частей стиха внутри и более сложные виды синтаксического параллелизма стихов.

Анафоры в поэме Рылеева очень часты: „Про Ермака и козаков, про их отважные походы“ (122), „То дуло озарял ружья, то ратовище пальмы длинной; то саблю, то конец копья“. (201). Развернутые анафоры находим мы в передаче кошмара, овладевшего Мазепой:

Вот, вот они!... При них палач!
Он говорил, дрожа от страху:
Вот их вывели уже на плаху,
Кругом стенания и плач...
Готов уж исполнитель муки;
Вот засучил он рукава,
Вот взял уже секиру в руки...
Вот покатилась голова...
И вот другая!... Все трепещут!
Смотри, как страшно очи блещут!..

(756—765)

То, трепеща и цепенея,
Он часто зрел в глухую ночь
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную им дочь,
В страданьях сих изнемогая,
Молитву громко он читал,
То горько плакал и рыдал,
То дикий взгляд на всех бросая,
Он, как безумный, хохотал;
То в память приходя... и т. д.

(776—788)

В pendant к анафорам усиливают реторическую градацию и повторения; они в большинстве случаев также лишены эмоционального значения: „С ответом каждым становилась их речь живее и живей“ (216), „Уж близок час, близка борьба, борьба свободы с самовластьем“ (528), „Но я, но я, пылаю местью“ (515), „Почто, почто в битве кровавой“ (568), „...свою ужасную судьбу! Судьбу—всю жизнь влача в кручине“ (стык 564) и т. д.

Наконец, наиболее упорядочивающим и организующим структуру стиха „Войнаровского“ является прием ритмико-синтакси-

ческих фигур [1]). Стих или распадается на две половины, построенные соответственно и анафорически сходно („среди пустынь, среди степей" 452, „ни тихим взором, ни слезой" 985, „И вой грозы, и плеск валов" 859, или одна из этих половин инверсирована: „В моей тоске, в моем несчастье" 850, „И пылкий ум, и образ милый" 973, „И поздний час и сон отрадный" 242, или, наконец, заключает полустишия двух смежных стихов („С тех пор пора утех прошла, с тех пор, о родина святая"... 532 658, и др.). Обилие этих повторений и параллелизмов имеет, как на это указывает самый термин, двоякую функцию — оно упорядочивает поэтический синтаксис и организует ритмические волны.

Сложные синтаксические построения обнаруживаются в системе постоянных противопоставлений отдельных частей предложения. Особенно часты и каноничны в Войнаровском антитезы: „Иль слава ждет, иль поношенье" (525), „От колыбели до могилы" (565), „Почто с бесславьем иль со славой"... (571), „Не буду рока я рабом! И мне ли с роком не сражаться, когда сражался я с Петром?" (663—5), см. также 635, 671, 707, 847 и др.

Эту роль реторического противопостановления играют и сравнения (о которых речь была выше), перечисления, у Рылеева обильные, и, наконец, сложные формы противопоставления и уступления — то есть как раз все те приемы, которыми так охотно оперировала традиционная реторика. Весь синтаксис „Войнаровского" может быть охарактеризован как реторический, ибо в основе его лежит не внимание к лирической напряженности повествования, а забота о систематическом и организованном его развертывании и патетическом воздействии.

В целом приходится констатировать, что Рылеев во многом сохраняет свою независимость от байронизма, в остальном органически усваивая и впитывая достижения этой поэтической школы. Более всего он зависит от нее в стихе, меньше в синтаксисе и композиции. Рылеев порывает с описательными тенденциями Байрона (и отчасти Пушкина), его поэма лаконична и „повествовательна". Лирическая форма рассказа от первого лица бе

[1]) Термин принадлежит О. М. Брику. Его работа о ритмико-синтаксических фигурах остается ненапечатанной. Эту же роль играет по отношению к концу стиха прием двойных эпитетов: „в стране пустынной и чужой" (565) „лежал я мрачный и унылый" (380), ср. 278, 80, 88, 309, 326, 341 и мн. др.

мешала этой повествовательности общей установки „Войнаровского". Ее жанр синкретичен („лироэпическая поэма"), но это не мешает большому уклону в эпос. „Войнаровский" характерен, как лирически окрашенный эпос. Поэма Рылеева, во всяком случае, не эмоционально-описательная, скорее она нарративно-реторическая. Сочетая в себе остатки классического стиля („Дум") и новые элементы байронизма, сплавив это в органическое целое, „Войнаровский" занял особое место в русской байронической поэме, которое осталось за ним навсегда.

Неправ был Раевский, считавший Войнаровского, un ouvrage en mosaïque composé de fragments Byron et de Пушкин, rapportés ensemble sans beaucoup de reflexion [1]). Войнаровский может быть сочтен мозаикой очень условно только в отдельных частях своей стиховой фактуры. В целом же он принципиально расходен с поэмами Байрона и Пушкина, противопоставляя их описательной лирической установке реторизм и повествовательность своих стиловых конструкций.

Этим и определились отзывы критиков. Пушкин первый отметил новизну Рылеевской поэмы. „Слог его", говорил он о „Войнаровском", „стал истинно повествовательным, чего у нас почти еще нет". Его замечания Рылееву сводятся к восхвалению описательных частей и партий поэмы: Пушкин советует вставить в Полтавскую битву образ Ганнибала („Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину"). Он восторгается стихом „покатилась голова", хваля Рылеева „за размашку в слоге". Пушкин не был одинок в стремлении особенно расхвалить описательную сторону поэмы, молча о повествовании. Чрезвычайно интересное письмо Муханова вскрывает те же тенденции. Повидимому, под влиянием приемов Байрона и Пушкина, Муханов постоянно твердит Рылееву о недостаточной развитости его описаний. Эти замечания, переданные от имени самого Муханова, юго-западных писателей и Пушкина, чрезвычайно характерны: Рылеев уходит от описательной традиции в повествование, все они, воспитанные на байронических поэмах этим не удовлетворены и ставят себе целью убедить Рылеева возвратиться в ее лоно. Бестужев решительнее выражал то же мнение о разнице дарований Рылеева и

[1]) „Переписка Пушкина", т. I, стр. 212.

Пушкина, когда говорил, что у Пушкина описательный талант, а Рылеев повествователь [1]).

„Откуда ты взял, что я льщу Рылееву?" замечает Пушкин. „Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою" [2]).

Критика отнеслась чрезвычайно положительно к Войнаровскому, отметила новые ценные достижения поэта, отнюдь не ставя при том знака равенства между ним и байронической традицией. В этой атмосфере литературных успехов, иногда доходившей до триумфа (чтения поэмы, отзывы Пушкина, мнения Булгарина, примирившегося с Рылеевым из-за „Войнаровского"). Рылеев принимается за дальнейшие планы. Новый жанр избран и испытан, основные схемы установлены, дорога к дальнейшему творчеству открыта. С редким энтузиазмом Рылеев отдается дальнейшим опытам: „Очень рад, что Войнаровский понравился тебе. В этом же роде я начал Наливайку и составляю план для Хмельницкого. Последнего хочу сделать в 6 песнях: иначе не все выскажешь" [3]).

Новые поэмы задуманы приблизительно в том же духе, как и Войнаровский. Изменена лишь фабульная их тема, она берется на этот раз из украинской истории. Эта эпоха позволяла сделать гражданские тенденции более явственными. Все эти три поэмы — „Наливайко", „Палей", „Хмельницкий" — закончены Рылеевым не были; поэтому суждения о их сюжете и композиции могут быть только приблизительны. Но некоторые тенденции наметить возможно. Рылеев продолжает во всех трех эпизацию сюжета. Если „Думы" были по преимуществу лиричны, если „Войнаровский" знаменовал переход Рылеева к лирически окрашенному эпосу, то в „Наливайке" перед нами уже чистый эпос. Лирическая рама „исповеди героя", которую поэт сохранял до того времени, теперь сломана: повествование становится объективным, его ведет автор. Действие из прошедшего времени переносится в настоящее, оно развертывается уже не косвенно — в пересказе героя, а прямо в повествовании автора. И лишенный всех связывающих его нут, сюжет становится динамичнее, его перипетии обостряются. Трудно

[1]) Н. Бестужев, Воспоминания, стр. 31.
[2]) „Переписка Пушкина", т. I, стр. 195.
[3]) „Переписка Пушкина", т. I, стр. 177.

судить о сюжете целой поэмы, если от нее дошли до нас только отдельные эпизоды, но план Наливайки, набросанный поэтом, помогает восстановить сюжетный костяк. Тогда как наиболее динамичные эпизоды „Войнаровского“ (полтавский бой) свертываются в Forgeschichte героя, здесь они получают полное господство: „программа“ содержит такие сюжетно-насыщенные эпизоды, как „притеснения и жестокости поляков“, „смерть старосты“, „восстание народа“, поход, сражение, казнь Лободы и Наливайки и т. д.

Но сюжет не только динамизируется, он и разнообразится. Если в „Войнаровском“ рассказ героя занимал около 80% всего повествования, то в „Наливайке“ эти статические партии оказываются сильно сокращенными. Наряду с обострением сюжета, вместе с концентрацией повествования Рылеев обращает внимание и на описательные партии, т.-е. на все то, чего от него требовали сторонники байронизма. Увеличивается, даже по сравнению с „Войнаровским“, роль пейзажных партий; должны были заключать их отрывки сельская картина, картина Украйны, смерть чигиринского старосты и др. Всецело пейзажен единственный оставшийся из поэмы „Хмельницкий“ отрывок „Гайдамак“, заключающий в себе картины украинской степи, рассвет, прибег коня гайдамака. Рылеев обнаруживает склонность зарисовывать „couleur locale“, отводя ему не только место в начале или финале поэмы (как это было в „Войнаровском“), но и в течении повествования: Рылеев набрасывает в отрывке „Киев“ колорит исторического прошлого — могущества Киева; колорит места и времени сохранен и в описании польского лагеря („Наливайко“) и в „Походе козаков“. Рылеев больше заинтересовывается описательными деталями, не забывая при этом сюжетного наполнения. Показателен в этом смысле отрывок „Наливайки“, которым восторгались Пушкин и Дельвиг — „Смерть Чигиринского Старосты“ [1]), где орнаментировка деталей и сюжетные коллизии достигли такой степени напряженности, какой они никогда не достигали ранее. Лирические партии

[1]) „Барон лежит на постеле, восхищаясь Чигиринским Старостой“ пишет Пушкин Рылееву (I. 207). Но сам Рылеев считает „Исповедь Наливайки“, как гражданский отрывок, более значительным (I,215). Эта разница оценки — деталь, глубоко характерная для всех троих (скептический отзыв об „Исповеди Наливайки“ Пушкина, ib., 220).

сводятся в несколько групп, подчиняясь общему ходу действия. Очевидно, что Рылеев делает следующий шаг к эпической поэме, продолжая впитывать байроническую тематику и влияния стиха Пушкина. Первая отражается в образах героев— тоскующего Наливайки („чувства"... „Но Наливайко всех сильней томится думою и страждет; его душа чего-то жаждет"), пришельца — Гайдамака („Но разогнать его печали не мог никто... был дружбы чужд, был чужд любви"...). Лексика и синтактика этих отрывков легко обнаруживает свою связь с „Войнаровским" и продолжает уже наметившиеся тенденции: уменьшение классических архаизмов, увеличение типичных романтических эпитетов, ослабление собственно реторических моментов стиля и синтаксиса и увеличение повествовательных конструкций — все это намечает известный уход от „Войнаровского" к байронической поэме уже эпической по своей конструкции и по своему содержанию.

В этих отрывках Рылеев совершенствует свой стих и стиль. Намечаются некоторые тенденции порвать с реторическим стилем „Дум" и „Войнаровского", но отсутствие законченности их лишает нас возможности выяснить, были ли эти тенденции сильны и привели ли они Рылеева к успеху.

Но абрисы и тенденции Рылеева ясны. Он идет к эпизации своих поэм, к замене лирических партий повествовательными, или к связи их с повествованием. Он отрывается мало-помалу от классицизма, который так сильно еще влиял на тематику, стилистику и композицию „Дум" — и вбирает и усваивает новые влияния романтизма, преследуя, однако, особые задания. О том, как интенсивно производилась работа над созданием последних эпических поэм, говорят факты из области их генезиса. В Булгаринском архиве сохранилось семь рукописей „Гайдамака". Замечание Рылеева о том, что он не исправляет своих поэм [1]) оказывается неверно — в эти годы он упорно трудится над своими произведениями, настойчиво совершенствуя повествовательные и изобразительные средства и вырабатывая свой, рылеевский стиль. Критика единогласно заявляет о громадном прогрессе Рылеева; Бестужев говорит о „возмужалости и больших обещаниях"...

[1]) „Впрочем исправлять не намерен; это ужасно несносно для такого лентяя, как я; лучше написать что-нибудь новое" (Переп. I, 299).

Но события политической жизни не дали Рылееву возможности завершить его эпические поэмы. Они остались недописанными и эстетической реализации не получили.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В кругу поэтов пушкинской поры образ Рылеева несомненно является наиболее одиноким и непохожим на все прочие. Его путь уводит от этой литературной группы. Выйдя из той же классической традиции, которая воспитала Дельвига, Боратынского, Вяземского, Рылеев в последующих своих произведениях от них резко отмежевывается. Тогда как вся плеяда культивирует песенные и интимно-элегические формы лирики, все внимание свое обращая на разработку стилевой и композиционной стороны своих пьес, Рылеев рвет с этой традицией тем, что вводит новые гражданские темы, которых так чуждались поэты плеяды. Гражданская и общественная тематика — первое, что выделяет его поэзию — стихи, думы, поэмы — из массы произведений интимной лирики. Вяземский, один из тонких критиков плеяды, несомненно чувствовал это своеобразие рылеевских произведений, когда писал: „С живым удовольствием читаю я „Думы", которые постоянно обращали на себя и прежде мое внимание. Они носят на себе печать отличительную, столь необыкновенную посреди пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших [1]). Второй особенностью рылеевской поэзии является ее архаический, торжественный, витийственный стиль, в гораздо большей степени характерный для жанров высокого классицизма, чем для интимной поэзии плеяды. Сочетание гражданских мотивов с витийственным языком было у Рылеева глубоко органично: пафосу высоких идей могло соответствовать только такое же высокое их стилистическое оформление. Революционные темы сочетались с реакционным литературным стилем, ибо революционеры — Пушкин, Жуковский и др. — вели поэзию того времени к снижению языковых форм, к нюансированию и утончению приемов выражения. Всему этому Рылеев противился ожесточенно, ибо поэзия его имела иные, „высокие" цели — гражданской проповеди и повести.

[1]) „Русская Старина", 1888, т. 60, стр. 312.

Вот почему во все этапы своего развития Рылеев упорно противится влияниям описательных, лирических форм байронической поэзии. Его поэтический стиль реторичен, ибо реторична и дидактична его тематика. Рылеев отбрасывает традиционные темы любовной лироэпической поэмы; даже тогда, когда в „Войнаровском" он близко подходит к Байрону и Пушкину, Рылеев не теряет ни доли своей поэтической индивидуальности: используя описательные детали и некоторые формальные особенности их стиля, Рылеев эти влияния подчиняет собственным творческим замыслам. И его поэмы остаются типичными образцами реторических по стилю, гражданских по тематике „байронических поэм". Рылеев испытывает воздействия Байрона, но они не заставляют его свернуть в сторону. Байронизм сочетается в его повествовательной системе с архаическим классицизмом, и то, что было бы невозможно у элегиков плеяды, то становится и понятным и закономерным у Рылеева. Рылеев не придавал значения литературным распрям классиков и романтиков и чрезвычайно интересно сочетал оба эти стиля для своих поэтических замыслов.

Был ли Рылеев эпиком или лириком? Этот вопрос необходимо разрешить для правильного понимания поэтической индивидуальности поэта-декабриста и для определения его исторической роли. Все без исключения исследователи Рылеева отмечали в нем лиризм, как преобладающую способность поэта. „Слабый эпик", пишет Сиротинин,—„Рылеев обладал бесспорным и горячим лиризмом... эта кипящая отвага высоких дум действовала на читателя увлекательно даже в слабых и бесцветных рамках его эпической поэзии" [1]). Того же мнения держался и Н. А. Котляревский — „... ему удавался иногда эпический рассказ, и, конечно, всего сильнее, как поэт, бывал он в тех случаях, когда в стихах говорил о своих гражданских чувствах"... Наконец, П. Н. Сакулин считает, что несмотря на отдельные эпические опыты „высшего совершенства поэты-декабристы достигли в области лирики" [2]).

---

[1]) „Рылеев и Немцевич" „Русский Архив", 1898, кн. 1, стр. 77.

[2]) П. Н. Сакулин. „Литературные направления в Александровскую эпоху" (История русской лит-ры XIX века, под ред. Овсяннико-Куликовского), т. I, стр. 109.

Все эти мнения подлежат переоценке, поскольку они чрезчур наивно рассматривают гражданскую поэзию Рылеева, как его только собственное исповедание веры, не замечая, что эпическая форма интересовала его долго и упорно.

Эта „лирическая" теория ведет свое начало от воспоминаний Бестужева, который писал: „Рылеев везде хорош, везде высок, где он говорит от чувства; но вообще описания его слабы, драматическая часть также. Доказательством тому может служить, что многие описания суть подражания, а драма часто взята целиком из других авторов [1]). Но утверждая это, Бестужев не может не признать, что именно в эпосе поэтическое совершенствование Рылеева было особенно интенсивно, что эти его опыты вели его вперед. „Несмотря на это, поэма „Войнаровский", как важнейшее оконченное сочинение, по соображению и ходу, стоит выше всех поэм Пушкина"... Между тем, именно в этом и состоит эпическая склонность поэта. Исследователей не касается, „слаб" или „силен" был Рылеев в лирике и в эпосе; ответ на вопрос должен опираться на изучение его эволюции, как поэта. И если взглянуть так, то заключения бесспорно будут иные.

Рылеев был эпиком по преимуществу. К этим жанрам он шел с боями всю свою жизнь, эпосу он посвятил лучшие годы своей деятельности, в эпической форме написаны те произведения, которые имели успех в современной ему критике и литературе и определили дальнейшее ее (и его, поэта) развитие. Его лирическая, гражданская поэзия малооригинальна (за исключением, быть может, одного только стихотворения „Гражданин", овеянного дыханием декабрьского восстания и предчувствием его трагического финала), его стихи лирического типа архаичны и глядят назад в классицизм начала века, традиция которого их воспитала. Его эпос — „Думы" и особенно поэмы — революционен, ибо здесь он стремится оторваться от воспитавших его штампов, создать свой стиль „гражданских" исторических пьес. Рылеев шел к эпической поэме. Правда, он не порывал с лирикой, он сочетал лиризм отдельных партий с эпической направленностью общего замысла. Романтическая поэма, в духе кото-

[1]) Воспоминания о К. Ф. Р-ве Н. Бестужева, цит. по „Библиотеке Декабристов", 1906, т. I, стр. 33.

рой написан „Войнаровский", свободно допускала наличность отдельных лирических эпизодов. Но лирика сама по себе не занимала его творческих замыслов. Гражданскую дидактику Рылеев облекал в поэтическую фикцию исторического эпоса и влагал в уста исторического, по замыслу, героя. Его лиризм всегда был опосредствован образом действующего лица, исторической концепцией и сюжетом.

Чрезвычайно трудно установить, к каким замыслам шел Рылеев — его путь был прерван историческими событиями декабря. Но тенденции его поэтического развития установить возможно, если принять во внимание, над чем Рылеев работал последние годы, чему он сам придавал особое значение. То были эпические поэмы „Наливайко" и „Хмельницкий". Смерть застала Рылеева над составлением планов, и отдельные отрывки этих „поэм в 6 песнях" остались показателем того, куда приковывалось его внимание в эти годы. От ранних „Дум" до более поздних исторических песен, от „Рогнеды" до „Войнаровского", от „Войнаровского" до „Наливайки" — Рылеевым руководит одно стремление эпически развернуть свои гражданские мотивы, придать им исторический объективный повествовательный колорит (времени и места). Каждое из этих произведений неизменно являлось более эпичным, чем предыдущее. Сформировать риторический стиль высоких гражданских поучений, развернуть их in actu на историческом и достоверном материале, пользуясь при этом всеми необходимыми достижениями поэтической техники — таково было направление работы Рылеева за пять лет. Он это неизменно осуществлял, хотя, быть может, не ставил себе определенно и сознательно подобной цели. И прав был Пушкин, когда в письме к Бестужеву заметил: „Войнаровский Рылеева несравненно лучше всех его „Дум", слог его возмужал и становится истинно повествовательным, чего у нас почти еще нет".

Его морфология пестра — любовная, общественная лирика, классическая дума, байроническая поэма. Все соединяется основной сюжетной темой, пронизывающей все его творчество темой „гражданина". Но этот лейтмотив не дает права считать Рылеева лириком по преимуществу, если не понимать этот термин в наиболее общем психо-биографическом смысле. Да, тематика его гражданской поэзии рождалась и зрела в нем самом, в его идеологических настроениях, но она заключалась затем в эпиче-

ские объективные формы повествования. Рылеев понимал, что его художественные наклонности уводят его на путь гражданского эпоса: здесь были его наибольшие достижения, на этом пути его остановил декабрьский пожар.

Но политическое напряжение не давало времени для спокойного повествования, жизнь сама развертывала картины подлинного гражданского эпоса. На долю Рылеева оставалась только лирика, сгущенная и обостренная, эмоционально насыщенная, как проклямация, как лирическое завещание и язвительная сатира. С этой печатью лирика-гражданина Рылеев переходит в потомство. И в сотую годовщину восстания, которое оторвало его от дела медленного создания эпической поэмы и бросило в бой с лирической прокламацией на устах, мы отчетливо чувствуем тот вихрь событий, который внезапно прервал его поэтический путь и перебросил на дорогу политическую. Этот вихрь событий ограничил его творческую работу одной гражданской лирикой, дальше которой были только Сенатская площадь и эшафот. В несколько более спокойной обстановке Рылеев несомненно отдался бы эпосу, написал „Наливайку“, „Хмельницкого“. И кто знает? Быть может сбылись бы хотя отчасти замечания Пушкина, произнесенные им по поводу „Палея“. „По журналам вижу необыкновенное брожение мыслей, это предвещает перемену министерства на Парнассе. Я министр иностранных дел и кажется дело до меня не касается. Если Палей пойдет, как начат — Рылеев будет министром“. Предсказание не сбылось не по вине Рылеева. История прервала этот путь Рылеева к эпосу. Но через три года темы „Войнаровского“ были продолжены и расцвечены в чеканных песнях „Полтавы“.

Александр Цейтлин.

Движение декабристов в освещении иностранной публицистики.

Событие 14 декабря 1825 г. — первое открытое восстание против самодержавия в России — не могло не привлечь внимания иностранных авторов, интересовавшихся Россией. Представляется не безынтересным остановиться на суждениях этих авторов: ведь, иностранцы раньше русских начали писать о декабристах.

Нам приходилось уже указывать в других местах [1], что иностранная литература о России того времени рассматривала самодержавие, как силу, не лишенную некоторых демократических стремлений и, во всяком случае, пытающуюся освободиться от исторической связи с дворянством. Некоторые иностранные наблюдатели переоценивали силу нарождающейся русской буржуазии и подмечали у правительства стремление к сближению с нею, другие, напротив, отрицая наличие в русской жизни каких-либо буржуазных элементов, видели в самодержавии силу, по существу вне-классовую, над-общественную. И те и другие отмечали существование конфликта между властью и дворянством. Из таких рассуждений естественно вытекала соответствующая оценка декабрьского движения. Источники иностранных авторов, писавших о декабристах, не велики: это— „донесение следственной комиссии", переведенное на иностранные языки и напечатанное западной прессой, и всевозможные слухи и анекдоты. Источник последних, по нашему мнению, следует искать в Петербурге.

[1]) См статью о дворянских настроениях 20-х г.г. в 1—2 № журн. „Борьба Классов" и книгу: „Европейская контр-революция в первой половине XIX века". Изд. „Сеятель", 1925.

Со времени Екатерины II при петербургском дворе не только сильно считались с европейским общественным мнением, но и стремились влиять на него. Руководящей идеей при этом было создание представления о России, как о стране, благоденствующей под самодержавным правлением и чуждой каких бы то ни было проявлений внутреннего недовольства. Поэтому, всякий раз, когда случались такие проявления, неизменно обнаруживались признаки беспокойства, страха перед тем, что будут говорить заграницей. Император Александр, слушая доклад Чаадаева о восстании Семеновского полка, прежде всего заинтересовался вопросом: не видали ли этих событий из своих окон иностранные посланники. В самый день 14 декабря вдовствующая императрица Мария Федоровна несколько раз восклицала: „Что скажет Европа!". И правительство императора Николая, после победы не преминуло дать свое освещение событий для европейского употребления.

Уже первая оффициальная реляция о событиях, сообщенная министром иностранных дел гр. Нессельроде в виде циркуляра русским посланникам заграницей для передачи иностранным правительствам, говорила о „твердости" и „милости", обнаружившихся в действиях императора, рисовала действия восставших, как предприятие семи или восьми офицеров и нескольких человек „гнусного вида во фраках", увлекших солдат, и в заключение подчеркивала, что всякий, кто был „свидетелем поступков нашего монарха в сей памятный день, его великодушного мужества разительного, ничем неизменяемого хладнокровия", кто „размыслит, что мятежники не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных", тот „признает, что в сем случае много и утешительного, оный есть не иное что, как минутное испытание, которое будет служить лишь к ознаменованию истинного характера нации: непоколебимой верности величайшей без всякого сравнения части войск, и общей преданности русских августейшему их законному монарху" [1]). В главном очаге европейской реакции „твердость" импера-

[1]) „Государственные преступления в России в XIX веке", под ред. В. Базилевского (В. Богучарского), т. I, СПБ. 1906, стр. 1 — 2, а также Н. К. Шильдер — „Император Николай Первый, Его жизнь и царствование", т. СПБ, 1903, стр. 635 — 638.

тера и люди „гнусного вида во фраках“ произвели надлежащее впечатление. Князь Меттерних в депеше к своему петербургскому посланнику, гр. Лебцельтерну, писал: „Возмущение 14 декабря дает публике благоприятное свидетельство о характере молодого монарха и, равным образом, обнаруживает, что Россию так же легко возмутить, как это можно сделать, к несчастью, в наше время со всеми странами... Позволительно думать, что люди во фраках... подвинут правительство на путь открытий, вполне достаточных для обнаружения, в какой степени были замешаны революционные элементы. Россия в течение ряда лет, так сказать, вдыхала в себя либерализм Европы; сотни путешественников этой нации окунались в эту атмосферу и в ней искали с давних пор даже источников протекции для возвращения в свое отечество и появления при императорском дворе. Подобные факты неизбежно должны оставлять следы“ [1]). Воздавая должное характеру нового царя, австрийский канцлер, по своему обыкновению, склонен был сближать русское восстание с аналогичными явлениями из жизни Запада и не без некоторого злорадства отмечал незастрахованность России от революционных выступлений, видя в политике Александра I и его „либеральных увлечениях“ основную причину этого. Разумеется, такое освещение не могло входить в планы русского правительства. Оно должно было показать полнейшую беспочвенность в России подобных явлений.

При первом приеме дипломатического корпуса (20 декабря ст. ст. 1825 г.) император Николай сообщил о своем желании, чтобы „Европа узнала всю истину о событиях 14-го декабря“, и обещал, что „ничто не будет скрыто; причины, последствия, виновники заговора станут известны всему миру“. Отметив далее „влияние на главарей движения иноземных революционных учений“, император подчеркнул верность династии со стороны солдат: „вы должны знать это, господа, в верности солдата его клятве вожаки и могли только найти единственное средство ввести его в заблуждение на одно мгновение... А потому восстание это нельзя сравнивать с теми, что происходили

[1]) Metternich, Mémoires, documents et écrits divers. Tome IV, Paris, 1881, p. 311.

в Испании и Пьемонте. Слава богу, мы до этого еще не дошли и не дойдем никогда... еще раз повторяю вам: то было не восстание. Я более, чем когда-либо, уверен в своей армии. Заговорщики гораздо ранее попытались бы осуществить свой замысел, если бы могли придумать способ, чтобы поколебать верность солдата. Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями, пустил несколько ложных ростков и внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря бога, в России нет данных". Закончив речь, император удалился в свой кабинет, взяв с собой французского посла, гр. Лаферронэ, подчеркивая этим перед всеми свое особенное расположение к Франции и, может быть, недоверие к Австрии, посланник которой, Лебцельтерн, был свояком Трубецкого и укрывал его от ареста. Наедине с Лаферронэ Николай разыграл великолепную сцену. Он „заливался слезами", говоря о своей молодости и неопытности, о боли, испытанной им при необходимости пролить кровь в первый же день своего царствования, оправдывал свое поведение во время междуцарствия, обвинял во всем западные революционные влияния и, наконец, закончил указанием на необходимость франко-русского сближения. Сцена достигла своей цели вполне, и Лаферронэ, высказывая потом свое впечатление от императора, назвал его „образованным Петром Великим" [1]). Но Николай несомненно не подозревал, до какой степени он был близок к истине в своей оценке движения: в душе он держался гораздо более преувеличенного мнения о силе и влиянии „des amis du 14", чем говорил иностранным дипломатам.

Пароль, во всяком случае, был дан: в России нет и не может быть почвы для революции; 14-го было не восстание, а вспышка, источник которой — западные влияния на офицеров и заблуждение солдат, руководившихся долгом присяги. Это, однако, было мало. „Западные влияния" обнаружились в определенных планах конституции, и надо было предотвратить возможность кривотолков в этой области.

Вторая беседа императора с Лаферронэ, очевидно, и преследовала эту цель. На этот раз Николай уже не скрыл

[1]) Шильдер, цит. соч., стр. 340 — 348.

от собеседника своего мнения о том, что он имел дело с обширным заговором, в котором было замешано „множество семейств". И хотя затем он хотел сгладить впечатление, произведенное его словами, и уверял, что движение совершенно подавлено и не может иметь дальнейшего развития, однако, Лаферронэ уже ему не поверил. Он ушел в полном убеждении, что Россия охвачена революционным настроением. С другой стороны, Николай в этой беседе положил начало распространению совершенно неверных сведений о намерениях заговорщиков. Упомянув о трех захваченных проектах конституции, он изложил их следующим образом. „Одни хотели республики безусловной, с тремя консулами, с трибунами, и эти заговорщики распускали армию, образовывая национальную гвардию, исключительно предназначенную для защиты страны от иностранного вторжения и немедленно объявляли полную свободу крестьян. Другие требовали президента и образ правления, сходный с тем, что существует в Соединенных Штатах. Наконец, Пестель, один из самых предприимчивых людей партии, которого мы только что арестовали во второй армии, хотел конституции, вполне аристократической, с сохранением крепостного права, с удержанием армии на нынешней ноге и с немедленным объявлением войны всем законным правительствам" [1]). Бесполезно пытаться определить, откуда Николай заимствовал свои сведения о первом проекте. Можно вполне допустить, что он еще совершенно не ориентировался в проектах декабристов. Но в словах его видна и вполне определенная тенденция: желание набросить тень в глазах Европы, и особенно конституционной и легитимистской Франции на „одного из самых предприимчивых людей партии", Пестеля, представив его одновременно аристократом-крепостником и сторонником революционной войны против монархических правительств.

Как уже выяснялось в нашей исторической литературе [2]), официальная русская версия была всецело принята европейской и особенно французской прессой. Там наперерыв вос-

[1]) Там-же, стр. 368 — 373.

[2]) См. ст. Е. В. Тарле: „Император Николай I и французское общественное мнение" в сборнике „Запад и Россия". Статьи и документы по истории XVIII — XX в.в. Изд-го „Время", Петроград, 1918, стр. 32 — 34.

хваляли твердость и мужество Николая, называли заговорщиков отбросами армии и т. п. Суровая расправа правительства с заговорщиками также произвела свое впечатление: в молчании общества увидели доказательство силы нового императора и беспочвенности движения. Французская пресса тем более охотно становилась на почву таких определений, что в перспективе в это время был, казавшийся столь желательным, союз с Россией. Но не секретом, очевидно, и тогда было участие русского посланника, Поццо-ди-Борго, в составлении некоторых газетных статей. По крайней мере, ему определенно приписывалась статья в газете: „Quotidienne", оправдывавшая русские формы судопроизводства [1]). Характерен тон французского умеренно-либерального „Journal des Débats". Повторяя версию о „твердости" и „сердечной доброте", проявленных Николаем, и во многом консерваторов осуждая „злодейские" намерения, эта газета в то же время уверяет своих читателей, что не все деятели движения были злодеями, и что от императора можно ждать реформ. В суждениях „Journal des Débats" следует видеть то же отражение слухов, шедших из русских источников, и тем охотнее подхватывавшихся во Франции, что здесь очень многие ждали от преемника Александра I изменения политики, особенно внешней, надеясь на разрыв Священного Союза, охранителя тяжелых для Франции договоров 1815 года. Так, передавая известие о восстании на юге, газета замечает, что движение здесь охватило части войск, недовольных пацифистской политикой Александра I [2]). Через некоторое время газета печатала телеграмму из Берлина, содержавшую в себе выдержки из частного письма, полученного из России. Здесь давалась любопытная и характерная оценка движения. Сообщалось, будто бы южное общество состоит из большого числа лиц, принадлежащих к знатнейшим дворянским фамилиям, будто центр этого общества в Москве, а цель его — получение хартии, которая „обеспечила бы России ограничение абсолютной власти, сенат, избираемый провинциями, и участвующий в отправлении законодательной власти, государственный совет и ответ-

[1]) J. H. Schnitzler. Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas et particulièrement pendant la crise de 1825. Tome II, Paris, 1847, pp. 315 et 500 — 502.

[2]) „Journal des Débats", 1826, 5 fev.

ственных министров", а также „война против Порты". По уверению автора, это общество не принимало никакого участия в восстании 14 декабря, и потому оно не разбито, „император знает его проекты, и очень вероятно даже, что оно добьется некоторых учреждений". Другое общество состояло „из большого числа пылких молодых людей, экзальтированных в части своей чтением источников Греции и Рима", в другой части своей — увлеченных принципами французской революции, наконец, — из людей, просто желавших добиться личного обогащения путем потрясений и анархии. Это и были участники восстания. Заканчивает автор хвалой Николаю, его уму и подготовленности к делу управления, и уверенностью, что он накажет виновных и сдержит недовольных, но не отстанет от своего века и выступит в роли законодателя. Война с турками, по мнению автора, неизбежна [1]). Если в этой хаотической версии что-либо заслуживает внимания, это, конечно, сообщение о популярности оппозиционных настроений в дворянской среде и о патриотическом настроении этой среды. В этом виде сообщение, повидимому, является отголоском действительно существовавшего недовольства, отмечаемого полицейскими донесениями 1826 года и записками дворянских предводителей новому императору.

В дальнейшем газета, уже в тон с консервативной печатью, расхваливает великодушие императора: он выдал жене Рылеева единовременное пособие в 2 тыс. рублей, а Бестужевой—пенсию того же размера, он (это пишется уже после коронации) сильно сократил бы наказание осужденным на каторгу, если бы они сами по дороге, в Ярославле, не напились и не наскандалили, причем, по уверению газеты, особенно отличился Трубецкой [2]).

Консервативная европейская пресса в общем повторяла официальную русскую версию, особенно поддерживавшуюся австрийским официозом. Здесь сообщалось о заговорщике, предназначенном к убийству Николая, но не имевшим мужества выполнить свое предприятие, благодаря „гордому и бесстрашному виду государя".

Здесь же передавался и довольно близкий к истине рассказ о поведении Трубецкого, его укрывательстве и аресте в доме

[1]) „Journal des Débats", 1826, 21 fèvr.
[2]) Ibid., 8 mars et 1 oct.

австрийского посла Лебцельтерна, и унижениях перед Николаем. Трубецкого здесь характеризовали, как „молодого человека, не лишенного сведений, мягкого, как ягненок, спокойного, трудолюбивого, домоседа, прекрасного супруга, чувствительного до изнеженности". И вот, этот „сентиментальный филантроп, этот хороший муж" стал во главе „шайки тигров", стремившихся сделать стольких женщин вдовами и „утолить свою жажду крови на императорской семье". В день восстания этот „своеобразный Катилина" струсил. Николай, по уверению газеты, сказал Трубецкому: „если вы ощущаете в себе силу жить со стыдом и угрызениями совести, вы можете сообщить вашей жене, что я вам дарую жизнь. Это все, что я могу вам обещать". [1]). Источник этих сведений вряд ли может быть подвергнут сомнению.

Совершенно независимой от внушений русских сфер и, напротив, проникнутой отрицательным отношением к русским порядкам является вышедшая в Париже в 1827 году книга Ancelot: „Six mois en Russie". Автор этой книги, бывший в России в 1826 году, несомненно осведомлен о русских порядках и нравах. Так, рассказывая о почетных похоронах Карамзина, он подчеркивает, что почести эти относились не к писателю, а к чиновнику, не к историку, а к историографу. „В этой стране, где глава правительства — все, нет иной славы, кроме исходящей от него или санкционируемой им через посредство чинов; а так как нация состоит из угнетателей и угнетенных, слава может принадлежать тому, кто встанет в ряды первых; таким образом, слава литературная, или художественная скорее — средство, чем цель. Чтобы писатель или артист был отмечен, надо, чтобы он занимал место, имел титул или чин в государстве; тогда он стоит наравне с дураком, имеющим чин или украшенным лентой, и имеет право на одинаковые с ним преимущества; только тогда он — нечто" [2]). Очень хорошо осведомлен автор о тяжелом положении русских крепостных крестьян и о их надеждах на освобождение не иначе, как с частью земли. Это, по мнению автора, вряд ли возможно в ближайшее время,

[1]) Цитируем по передаче „Moniteur universel".

[2]) Ancelot. Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X-B. Saintinest en 1826, à l'epoque du couronnement de S. M. l'Empereur, 2-me èd., Paris, 1827, p.p. 72—73.

так как, хотя владельцы плодородных земель от такого освобождения не только не потеряют, но, может быть, даже выиграют, обратив своих крестьян в фермеров, помещики земель неплодородных, живущие оброком с отхожих промыслов („l'industrie") своих крестьян, совершенно разоряются [1]). Не секрет для автора и тяжелое экономическое положение помещиков и крестьян, объясняемое сокращением хлебного вывоза. Он даже склонен думать, что растущие на этой почве случаи залогов помещичьих земель ведут к постепенному переходу крестьян в казенное ведомство [2]). Тем любопытнее суждение Ancelot о декабристах, процесс которых шел во время его пребывания в России. Вращаясь, повидимому, в среде задетых экономическим кризисом и недовольных правительством помещиков, он понял это движение, как чисто дворянское и даже аристократическое. По его словам, сведения свои о декабристах он получил от „беспартийных" свидетелей событий 14 декабря. „Говорят, эти могущественные сеньоры вооружились во имя свободы? Но разве они не желали этой свободы только для себя? Они пытались освободиться от ига верховной власти: что же было делать народу в этом чисто-аристократическом заговоре? Разве это над ним тяготеет скипетр? Нет, государственные крестьяне свободны! Можно ли верить, что эти гордые потомки бояр, освободившись посредством убийства от оков, прикреплявших их к трону Петра I, вдруг увидели бы себе подобных людей в рабах, жизнь которых им завещана предками и которых они продают, как стада? Народ этому не верил, а его неподвижность в течение кровавых сцен, происшедших перед его глазами, доказывает, насколько он считал себя незаинтересованным в этом вопросе. Без сомнения, среди этих аристократов-заговорщиков некоторые молодые люди, проникнутые благородными идеями, слушавшие только советы экзальтированного воображенья, мечтали о новой судьбе для этого народа, которому они хотели служить и который их не понимал". Но они должны были сильно разочароваться, так как русский народ не мыслит государства без государя и никогда не восстанет во имя изменения образа правления. И Ancelot сообщает анекдот

[1]) Ibid., p.p. 78 — 80.
[2]) Ibid., p.p. 90 — 91.

о Муравьеве, призывавшем солдат к восстанию за славянскую республику и услышавшем вопрос, кто будет в ней императором. Восстание Ancelot называет безнадежной вспышкой (échauffourée sans espérance) и дальше, несмотря на свою антипатию к русскому самодержавию, призывая быть справедливым даже к царям, много распространяется о храбрости и мужестве императора Николая. К молодым заговорщикам, чуждым аристократического эгоизма, Ancelot причисляет двух братьев Бестужевых и Рылеева, приводя тут же перевод „Исповеди Наливайко" [1]. В конце книги, сообщая о приговоре и смягчении его Николаем, автор находит, что опубликованием донесения следственной комиссии правительство до известной степени сделало процесс гласным и отдало его на суд общества. С удивлением Ancelot говорит, что суровый приговор над людьми, принадлежащими к знатнейшим семьям империи, нисколько не омрачил коронационных торжеств, и родственники осужденных, наравне с другими, предавались веселью на придворных балах. Объясняет это Ancelot влиянием деспотизма на нравы, и, как редкое исключение, отмечает лишь поступок жен, поехавших в Сибирь за своими мужьями [2]. Таковы краткие сведения о заговоре, сообщаемые Ancelot. Как видно, этот критик русских порядков вполне очарован мужеством императора и убежден в полнейшей беспочвенности и чисто-дворянском характере заговора. В большинстве декабристов он видит людей, руководившихся сословно-эгоистическим интересом и не питает к ним особой симпатии.

Известный маркиз Кюстин, бывший в России в 1839 году и превратившийся здесь из противника конституционного строя в его сторонника, тоже сообщил в своем сочинении о России некоторые сведения об обстоятельствах вступления Николая на престол. По его словам, он слышал рассказ об этих событиях от самого императора. Но Кюстин в своей передаче этого рассказа смешал события 14 декабря с холерным бунтом 1831 года. По его словам император усмирил мятеж, скомандовав солдатам: „на колени!", чему они повиновались. От других Кюстин слышал баснословный рассказ, пущенный, как мы видели,

[1]) Ibid., p.p. 170 — 181.
[2]) Ibid., p.p. 409 — 413.

в обращение еще в 1826 г. о заговорщике, четыре раза приближавшемся к Николаю, чтобы в него выстрелить и всякий раз робевшем перед мужеством и уверенностью императора, которого Кюстин называет героем [1]). Заговорщиков легитимист и консерватор Кюстин считает преступниками, но русский деспотизм ему претит: он восхищен героизмом жены Трубецкого, посвящает ряд страниц мучениям этой семьи в Сибири, передает о просьбе Трубецкой царю разрешить ее рожденным в Сибири детям учиться и с негодованием восклицает: „Пусть русские протестуют, если смеют, я предпочитаю лучше отказать в уважении деспотизму, чем несчастью; они меня уничтожут, если смогут, но, по крайней мере, Европа узнает, что человек, которому шестьдесят миллионов людей не перестают говорить о его всемогуществе, мстит!.. А Россия еще хвалится уничтожением смертной казни!.. Прочь колебание, прочь неопределенность! Для меня, наконец, установлено, что император Николай—человек с характером и волей, необходимыми, чтобы стать тюремщиком третьей части земного шара, но он лишен великодушия: способ употребления им своей власти слишком ясно мне это доказывает. Пусть бог ему простит; я его более не увижу, к счастью!“ В третьем издании своей работы Кюстин передает слышанный им рассказ о казни пяти декабристов. В рассказе ошибочно назван присутствующим при казни, вместо Кутузова, Чернышев, а известные слова, по преданию, сказанные сорвавшимся с виселицы Сергеем Муравьевым: „Бедная Россия, и повесить-то не умеют!“,—приписаны Пестелю. „В этой энергии побежденного, в этом варварстве торжествующей власти — вся Россия!“, заключает Кюстин [2]). Идеи декабристов, цели их движения не интересуют Кюстина, и главное значение посвященных им строк в его книге заключается в стремлении пробудить сочувствие Европы к жертвам русского деспотизма. Но, как видим, и у него версия о мужестве и геройстве Николая находит себе место.

В 30-х и 40-х годах западно-европейская, т.-е. преимущественно английская и французская публицистика становится особенно враждебной России. Главной причиной вражды а н г л и й-

[1]) C u s t i n e. La Russie en 1839. 2-e éd., Tome II. Paris. 1843, p.p.39—45.
[2]) C u s t i n e op. cit, 3-e èd Tome III. Paris 1846, p. p. 28—49.

ской публицистики являлась несомненно политика России на ближнем Востоке, особенно после Уникиар-Искелесского соглашения с султаном [1]). Французская публицистика в той ее части, которая поддерживала англофильскую политику Гизо, также видела главную опасность в усилении России на Востоке и, сверх того, сосредоточивалась на защите угнетенной польской национальности. Легитимистское настроение Николая, его холодно-враждебное отношение к королю Луи-Филиппу делали положение еще более натянутым. И русский внутренний режим поэтому резко бичуется в произведениях публицистов этих двух стран.

В 1844 году вышла в Англии, а в 1845 году переведена на французский язык трехтомная работа неизвестного английского резидента „Revelations of Russia". Автор этого труда не скрывает своего отрицательного отношения к политике русских царей вообще и Николая I, в особенности. По его мнению, единственной целью этой политики является удовлетворение династического и личного честолюбия присоединением новых земель, во имя чего цари искусственно стараются превратить Россию в индустриальную страну, принося в жертву своим стремлениям интересы многомиллионного земледельческого населения и русских помещиков. Эти последние заинтересованы не в сбыте своих произведений в Англию, но правительство мешает этому сбыту, препятствуя ввозу английских мануфактурных товаров в Россию. В Англии вообще Николай видит главного соперника на пути к всемирному владычеству и потому задается целью нанести удар английской торговле и на Востоке, выполняя завещанное Петром Великим движение к Индии. Немецкий таможенный союз, направленный против Англии, создан при покровительстве России. Автор считает такую политику антинациональной, так как Россия—страна земледельческая, и сравнительно с количеством земли, малонаселенная, он хотел бы, конечно, видеть в ней рынок для сбыта товаров английской промышленности [2]).

[1]) Этим соглашением, заключенным в 1833 году, султан обязывался закрыть Дарданеллы для иностранных военных судов, а Россия обещала Турции вооруженную помощь в случае нападения на нее.

[2]) Мы пользовались французским переводом этой книги. „Révélation sur la Russie ou l'Empereur Nicolas et son empire en 1844. Par un résident anglais. Trad. par Ml. Noblet, t. III., Paris, 1845, p.p. 185—249.

После этих замечаний мы поймем, почему автор не склонен идеализировать Николая и превозносить его храбрость в день 14 декабря. Он не отказывает ему в нравственной энергии и твердости, находит, что он своей решительностью спас в этот день свою власть и жизнь, но не колеблясь обвиняет его в физической трусости. По его словам, император, не растерявшись ни на минуту, сохранив полное присутствие духа в момент активных действий верных ему войск, постарался обезопасить себя лично, удалившись довольно далеко от места действий. Этим Николай обнаружил, что „он одарен силой духа, необходимой для командования над людьми, но лишен... личной храбрости". [1]). К декабристам автор относится с большой симпатией и придает их движению большее значение, чем рассмотренные выше публицисты. Он считает, что это был „протест целого класса наций из шестидесяти миллионов душ, лишенных благодеяний цивилизации, против развращений и развращающей тирании,... настоящее разоблачение этого деспотизма, который поддерживают изо всех сил другие абсолютные государи Европы... Малодушие многочисленных участников, эгоизм большинства, бескорыстие и героизм небольшой части, трагический исход события—все это образует ряд контрастов, обыкновенно придающих историческим событиям драматическую физиономию"... И даже обращаясь к официальному следственному материалу, автор находит в планах „этих людей, преданных публичному проклятию под именем цареубийц, и в самых правилах их тайных обществ... возвышенность стремлений, либерализм, известную степень бескорыстия, благородства, практического гуманизма... С другой стороны, национальный патриотический дух их цели придает их заговору характер прямо противоположный тому акту возмущения, который, совершенно не касаясь самодержавной тирании, был фатальным лишь для тирана Павла". Но практический автор далек от идеализации движения. Уже из приведенных выдержек видно, что только в стремлениях небольшой части заговорщиков он видит бескорыстие. Эти люди, которых он считает основателями тайного общества, увлекшимися либеральными идеями во время заграничных походов, не выражали стремлений большинства. „Другие хотели

[1]) Ibid., t. II, p.p. 10 -11.

заменить деспотизм простой феодальной олигархией и освободить себя от императорской тирании, отнюдь не отказываясь от собственной власти над низшими классами". [1]). И этих „других" было большинство.

Таким образом движение имело сословно-дворянский характер прежде всего. Причина: его—политика царей, приведшая Россию к состоянию, аналогичному восточным деспотиям, где не существует никакой наследственной аристократии, где уважение и почет достигаются только милостью государя, возводящего погонщиков верблюдов и рабов в ранг министров и фаворитов. Благодаря этой политике, в России, как и в Польше, дворянство—единственный класс, понимающий выгоды свободы: ему Россия обязана „единственной великодушной попыткой освободить нацию от этого летаргического и деморализующего деспотизма, который вооружается всеми мастерствами и средствами цивилизации для прогрессивного распространения царства мрака". Эта попытка не удалась, во-первых потому, что против нее стоял энергичный, твердый и решительный враг; во-вторых, потому, что, как во всех заговорах и здесь честолюбцы, изменники и трусы в большом количестве были смешаны с бескорыстными, благородными и смелыми людьми; в третьих, потому, что руководители не поняли духа времени, приняли свои желания за действительность и не посчитались с равнодушием и порабощенностью масс. [2])

Автор считает главой заговора и основателем общества Пестеля, о котором он держится очень высокого мнения. „Верный до конца своему знамени и своему делу, он был самым образованным и наиболее практичным из заговорщиков. Все предложенные им мероприятия—отнюдь не произведения мечтательного теоретика. Вместе с печатью благожелательного попечения они все носят характер немедленно приложимой полезности". Автор даже уверяет, что Николай для своего Свода Законов много заимствовал из „Русской Правды" Пестеля [3]). Остановившись вкратце на Союзе Спасения и Союзе Благоденствия (вполне по донесению следственной комиссии), автор

[1]) Ibid., t. II, p.p. 3—4, 22, 24.
[2]) Ibid., p.p. 17—21.
[3]) Ibid., p.p. 25—26.

сообщает о принятии большинством республиканской формы правления. Вероятно, это сообщение основано на рассказе о совещании 1820 года в Петербурге, где, действительно, все присутствовавшие, кроме полк. Глинки, высказались за республику. В закрытии Союза Благоденствия на московском съезде автор видит тактический шаг Пестеля, хотевшего, таким образом, освободиться от людей, придававших слову „республика" аристократический смысл [1]). Вообще всех заговорщиков автор делит на три группы. Первая, наименее многочисленная, но наиболее активная, состояла из молодых людей с благородными и бескорыстными убеждениями, хотевших полной свободы для всего русского народа и в своих проектах даже переходивших границы возможного. К этой группе автор причисляет кроме Пестеля, трех братьев Бестужевых, двух Муравьевых, Бестужева-Рюмина и Муравьева-Апостол, Каховского, Повало-Швейковского, Одоевского, Волкова, Арбузова, Волконского, Кузьмина, Щепина-Ростовского и Батенькова. Это делается не на основании анализа их стремлений, о которых автор имеет очень смутное представление, а на основании их поведения накануне восстания и в самый его день. Вторую группу, наиболее многочисленную и наименее активную, представляли феодальные олигархи во главе с Трубецким. Последний, человек столько же честолюбивый, сколько пустой, „обладал тем родом мужества, который поддерживает человека до момента опасности, чтобы оставить его, когда он встречается с ней лицом к лицу"... Наконец, третья группа состояла из людей, избегавших риска для себя и склонных одобрять действия других, как будто сами действовали с ними. Это—Михаил Орлов, Мамонов, Фонвизин и др. Они усиливали в северном обществе олигархическую группу и для борьбы с мнимым честолюбием Пестеля поддерживали здесь Трубецкого [2]). Автор подробно останавливается на планах заговорщиков перед восстанием, придерживаясь донесения следственной комиссии, рассказывает о самом восстании и на севере и на юге, упоминая и о катехизисе С. Муравьева [3]). Называя героями

[1]) Ibid., p. 32. В действительности, как известно, Пестель не был на московском съезде.

[2]) Ibid., p.p. 37—41.

[3]) Ibid., p.p. 45—57. При этом местом ареста Пестеля ошибочно названа Москва.

и мучениками представителей бескорыстного меньшинства, автор думает, что олигархи погубили дело своей нерешительностью. В общем автор, как уже сказано, считает заговор очень серьезным, видит в нем дело всего дворянства, но к будущему относится скептически. По его мнению, после этого поражения дворянство уже не оправится, а другие классы еще не скоро будут в состоянии начать борьбу [1]).

Следует признать, что автор разобранного сочинения, взяв в основу своего изложения официальный материал, и отнесясь к нему критически, лишь в очень ограниченной степени привлек непроверенные слухи и сплетни. Целью его, вероятно, было пробудить сочувствие к жертвам официальной России и, вместе с тем, указать на невозможность в данное время какой-либо внутренней борьбы в России.

Гораздо более сурово и критически к декабристам относился Ф. Лакруа, автор вышедшей во Франции в 1845 году книги: „Les mystères de la Russie“ [2]). Не менее отрицательно, чем только что разобранный английский автор (и, надо полагать, непосредственнее его, так как пишет только о внутренней политике и вряд ли имеет какие-нибудь виды), Лакруа отзывается о русском самодержавии. „Если бы во времена Монтескье Россия была лучше известна, автор Духа Законов, вместо того, чтобы без конца обращать свои взоры в сторону мусульманских государств, должен был только проанализировать социальный и политический режим московитской империи, и его рассуждения о деспотическом правлении были бы совершенно бесспорны, ибо его теория свелась бы к изложению факта очевидной действительности“. Этими словами Лакруа начинает свою книгу. Значит, Россия подобна восточным деспотиям; она даже хуже их, так как в мусульманских странах существует хотя бы в виде Корана некоторая узда для деспотизма. В России ничего этого нет, и русский царь с гораздо большим правом, чем Людовик XIV, может сказать: „Государство это—я!“ и даже иначе: „Вся Россия—это я!“. Перед лицом деспота нет

[1]) Ibid., p.p. 72—73.

[2]) Е. В. Тарле говорит об этой книге: „Вышедшая в начале Крымской войны и быстро потребовавшая нового издания,.. имела шумный успех“. („Россия и Запад“, стр. 69). На самом деле во время Крымской войны вышло только второе издание книги Лакруа, а первое относится к 1845 году.

ни закона, ни религии, ни частной собственности, ни морали. Все порабощено и весь народ русский состоит из рабов.

Русские офицеры во время войны с Францией заимствовали у нее либеральные идеи, но из этих идей они сделали довольно странное употребление. Обозленные на Александра I не только за политическую реакцию, но и за его стремление освободить крестьян, они внесли в свой заговор закоснелый эгоизм крепостников. „Обиженная спесь и эгоизм дали руку либерализму и из этого чудовищного союза родился правильный заговор против царской власти, заговор, целью которого была не дворцовая революция, а перемена формы правления“ [1]). Автор останавливается на обществах: „Орден Русских Рыцарей“, „Союз Спасения“ и „Союз Благоденствия“ и, очевидно, вполне доверяя донесению следственной комиссии, уверяет, что там даже не было речи об освобождении крестьян. „Как! Вот люди, влюбленные в свободу, филантропы реформаторы, а слово р а в е н с т в о исключено из их политических мечтаний! Они хотят общественного возрождения своей родины, они принимают близко к сердцу благо общественное и счастье личности, но они не думают, что вокруг них миллионы людей лишены свободы и достоинства, страдают телом и душой!..“ Лакруа отказывается „видеть в большинстве влиятельных членов тайных обществ в России что-либо, кроме честолюбцев, скрывавших свои корыстные виды и свое желание мести под маской благородного либерализма, и взявшие в качестве орудия несколько молодых людей с более прямым и искренним сердцем“ [2]). Далее Лакруа отмечает национализм декабристов. Рассказав о желании Якушкина совершить цареубийство в 1817 г. из-за слухов о польских проектах Александра, Лакруа восклицает: „Этот факт показывает, каково было значение либерализма русских патриотов. Все для России! Ничего для завоеванной и угнетенной Польши“! [3]). На истории тайных обществ Лакруа мало останавливается; разногласиям, имевшим место в их среде, он не уделяет почти вовсе внимания, считая, что крепостническое настроение было присуще всем членам.

[1]) Fréderic Lacroix. Les Mystères de la Russe, tableau politique et moral de l'empire russe. Paris, 1845, p. 85.

[2]) Ibid., p.p. 88 89.

[3]) Ibid., p.p. 91.

Избрание Трубецкого диктатором он считает фактом знаменательным: „выбор был вдвойне несчастлив; прежде всего, он доказывал, что заговорщики не отказались ни от одной из своих аристократических идей, а затем вообще невозможно было найти человека более Трубецкого, лишенного качеств, необходимых для вождя заговора. Этот князь был действительно несчастный, лишенный и здравого смысла и мужества человек. Его сообщники не могли этого не знать; но его высокий титул заставил дать ему преимущество, настолько наиболее передовые русские либералы сохранили свои кастовые предрассудки и свое суеверное почтение к дворянству". Лакруа с негодованием отмечает поведение Трубецкого в день восстания и называет его трусом. Рассказав далее об унижениях Трубецкого перед царем (рассказ очень популярный в европейской прессе вообще; он имеется и у английского автора), Лакруа протестует даже против тех чувствительных строк, которые посвятил неудачному диктатору Кюстин. По его мнению, последний напрасно старался сделать из Трубецкого нечто вроде героя. „Если бы он был лучше осведомлен, он бы менее старался разжалобить своих читателей судьбой человека, по отношению к которому невозможно испытывать что-либо, кроме глубокого отвращения" [1]). О планах заговорщиков накануне восстания Лакруа передает по донесению следственной комиссии, имея в виду, главным образом, переговоры Трубецкого с Батеньковым и еще раз отмечая умолчание о крепостном праве [2]). Зато и поведение Николая во всей истории находит у Лакруа вполне определенную оценку. В этом отношении он идет гораздо дальше английского автора. Лакруа вообще отрицает приписываемую Николаю храбрость и твердость воли. Он ссылается на его колебания в турецкой войне, на полное отступление перед аристократией при проведении указа 1842 года об обязанных крестьянах, на поведение с поляками, которых он боялся, пока не убедился, что Франция их не поддержит. По его мнению, у Николая проявлению мужества всегда предшествует припадок малодушия. Его первое движение всегда исполнено слабости, второе иногда полно

[1]) Ibid., p.p. 92 et 98.
[2]) Ibid., p. 93.

неустрашимости. И 14 декабря он совершенно растерялся. Если бы заговорщики были решительнее, единодушнее и хладнокровнее, им ничего бы не стоило воспользоваться этой растерянностью, проникнуть во дворец и захватить царя и его семью. Но они ничего не делали, теряли время и дали Николаю собраться с духом. Во время процесса Николай взял на себя роль следователя, вызывал подсудимых к себе, наедине их допрашивал и употреблял по отношению к ним все те мелкие приемы королевского прокурора, которые во многих случаях так удобно заменяют пытку; мы видим, что он находит удовольствие выпытывать у побежденных признания во всех их надеждах, всех их планах, исследовать, переворачивать разговор во всех смыслах, давить, чтобы извлечь из них все, что они могут дать, одним словом, выполнять роль инквизитора" [1]). Среди декабристов фигура Пестеля внушает уважение Лакруа, хотя он и мало о нем говорит. Он передает слух, ходивший в Европе, что Пестель, вызванный накануне казни к Николаю, советовал ему управлять согласно интересам аристократии и национальным идеям. Но Лакруа не верит этому слуху не потому, что он знает о демократизме Пестеля (этого нет), а „потому, что Пестель был слишком искренний революционер, чтобы открыть самодержцу путь к спасению и тем закрыть дорогу будущим конспираторам" [2]). Можно предположить, что слух об аристократизме взглядов Пестеля был отголоском версии, пущенной, как мы видели выше, самим Николаем через Лаферронэ. Известные предсмертные слова: „Бедная Россия, и повесить не умеют"! Лакруа приписывает „неустрашимому" Пестелю. По его мнению, эти слова заключают в себе законное проклятие обществу, порабощенному настолько, чтобы не желать свободы [3]).

Подводя итог всему сказанному, Лакруа еще раз подчеркивает аристрократический и военный характер заговора. „Перемена политической формы, плохо понятая большинством участников и независимая от решения крепостного и польского вопросов, такова была программа недовольных и, поистине,

[1]) Ibid., p.p. 61 — 65 et 94 — 99.
[2]) Ibid., p. 100.
[3]) Ibid., p. 101.

это было немного"! Но для России, „страны неизменного деспотизма и пассивного повиновения", и это было много. Всякая политическая перемена здесь повлекла бы за собой изменение и социального быта. Лакруа знает о крестьянских волнениях 1826 года и думает, что их возникновение объясняется влиянием событий 14 декабря. Революционные идеи будут, по его мнению, развиваться в России, но в ней нет элементов, необходимых для торжества свободы. „Эгоизм, низкопоклонство, разврат, бездельничество, деспотизм—таковы характерные черты московитского дворянства... Буржуазия не существует. Народ, согбенный под железным игом, коснеет в невежестве и суеверии". В армии солдаты скованы железной дисциплиной, офицеры систематически развращаются. Где же источник прогресса и революции? „Несколько избранных сердец, несколько исключительных умов, хорошо не представляющих себе, на каких основах можно было бы действовать при случае и работающих в одиночестве. Сюда надо прибавить старую аристократию, недовольную двором, дикая спесь которой всегда будет использована умными революционерами, печальное, в конце концов, средство для преобразовательного предприятия. И царству деспотизма еще долго в России не будет никакой серьезной угрозы, кроме дворцовых переворотов" [1]).

При всем различии авторов в отдельных вопросах, оба последние, рассмотренные нами, сходятся в основном: они сближают русское самодержавие с восточным деспотизмом и, в частности, сильно подрывают легенду о личной храбрости Николая I; они видят в декабризме сословно-дворянское движение, по преимуществу, аристократический протест против императорской тирании; они, наконец, скептически относятся к ближайшему будущему русского революционного движения, не находя в России элементов, способных к борьбе за иной порядок.

Совершенно особняком среди писавших о России европейских писателей стоит Шницлер, автор ряда исторических работ о нашем отечестве. Его работы не имели никакого успеха в Западной Европе, вследствие его весьма терпимого отно-

[1]) Ibid., p.p. 102—104.

шения к русскому самодержавию. Но из иностранцев, писавших о событиях 14 декабря, он все же отнесся серьезнее всех к своей задаче. Его работа, посвященная этим событиям, носит название: „Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas et particulièrement pendant la crise de 1825. Paris, 1847". Автор официальной истории о восшествии Николая I на престол, барон Корф, называет сочинение Шницлера „лучшим из повествований иностранных", но находит, что оно „содержит в себе, рядом с некоторыми истинами, не мало погрешностей и, в сущности, есть пространная, не совсем притом точная выписка из напечатанного в 1826 году на всех языках „Донесения Следственной Комиссии", которое автор облек в форму собственного рассказа и дополнил несколькими анекдотами" [1]). С другой стороны, А. И. Герцен находит, что „можно похвалить некоторые места в хладнокровных компиляциях Шницлера, которые не лишены официального влияния" [2]). Оба отзыва, в сущности, сходятся: работа Шницлера — компиляция официальных источников с прибавлением нескольких анекдотов. Но уже одно то, что источнику, хотя бы и официальному, в этой работе отведено преимущественное место и вольных отступлений от него в ней очень мало, свидетельствует в пользу автора.

Хорошо знакомый с русскими писателями, Шницлер следует Погодину в понимании русского исторического процесса. По его мнению, источники западной цивилизации · римская социальная и духовная культура, древне-германская свобода и христианская религия „практический разум римлян, благородная гордость варваров, бесконечные надежды и закон милосердия, почерпнутые из евангелия" [3]). Россия совсем ничего

[1]) Восшествие на престол Императора Николая I. Составлено по Высочайшему повелению Статс-Секретарем Бароном Корфом. 3-е издание. СПБ., 1857, стр. VII.

[2]) А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке. Том V, стр. 338.

[3]) Schnitzler, op. cit., t. I., p.p. 1 - 2. Этот взгляд несомненно заимствован у Гизо, который считал источниками западной цивилизации римскую муниципальную общину, христианскую церковь и германский дух индивидуальной свободы. Guizot. Cours d'histoire moderne. Hist. générale de la civilisation en Europe. Bruxelles, 1835, p.p. 51-64. Погодин считал, что в России единственной прогрессивной силой является правительство.

не заимствовала ни у Рима, едва-едва соприкоснулась с германским миром в лице норманнов, совершенно слившихся со славянами и ничего им не передавшими, и получила христианство из Византии, что оказало гибельное влияние на духовное развитие русского народа. Не испытав римских социальных влияний и германской любви к свободе русские заимствовали из Византии порабощение светской властью духовенства, а за ним и всей жизни народа. Поэтому допетровская Русь поражает своей некультурностью [1]). Реформе Петра Великого Шницлер придает огромное значение; с этого времени царская власть становится орудием цивилизации в России, и лишь одно можно поставить в вину Петру: слишком исключительную заботливость о материальной стороне цивилизации и пренебрежение духовными интересами [2]). Естественное следствие реформы непрекращающееся стремление к территориальным расширениям. Но Шницлер, очевидно, с голоса русских официальных кругов, старается внушить Европе, что ей нечего бояться этих завоевательных стремлений. Панславизм не страшен: его следует бояться лишь в том случае, если Россия сделает Польшу славянским аванпостом в Европе; но Шницлер не думает этого, а единственную реально возможную форму панславизма видит в литературном объединении [3]). Нечего бояться и захвата Константинополя: пока Турция слаба, Россия предпочитает ей покровительствовать, а захват был бы мыслим лишь при условии союза с Францией, на который Россия не хочет идти, также, как и на разрыв с Австрией. Для Франции тоже не невыгоден этот союз, который отозвался бы на судьбах ее мирной соседки Германии [4]). Историческую миссию России Шницлер видит в пробуждении и реабилитации славянских народов и в единении Европы с Азией путем приобщения последней к европейской цивилизации. Такова цивилизаторская роль русского самодержавия [5]).

Приступая к работе над историей декабризма, Шницлер ознакомился с сочинениями своих предшественников и посвя-

[1]) Schnitzler, op. cit., p.p. 3-13.
[2]) Ibid., p.p. 13-15.
[3]) Ibid., p.p. 401—404.
[4]) Ibid., p.p. 27—28.
[5]) Ibid., p.p. 32—37.

тил им несколько страниц критического разбора. Английский аноним и Лакруа останавливались на работе Кюстина; первый даже перепечатал из нее несколько страниц, но ни тот, ни другой не заметили указанной нами выше фактической ошибки этого автора: смешения событий 14 декабря с холерным бунтом. Шницлер первый отметил это обстоятельство. Упомянув о работе Ancelot, Шницлер внимательно остановился на „Revelations of Russia". Считая автора этой работы человеком образованным и изучившим Россию, Шницлер объясняет его ошибки тем, что он не был очевидцем событий. Он ставит ему в вину не критическое повторение рассказа Кюстина, но особенно протестует против обвинения Николая в физической трусости. Шницлер совершенно верно характеризует „Revelations", „несмотря на серьезное изучение, лежащее в основе", это—памфлет, „автор хочет поддержать дело анти-русской партии". О работе Лакруа Шницлер не упоминает вовсе [1]).

Сам Шницлер был очевидцем событий, и, кроме „донесения следственной комиссии", его источником был собственный дневник.

По мнению Шницлера, русские—народ апатичный, не склонный к идеалистическим стремлениям; эта апатия у них порождена однообразными географическими условиями. Если, однако, у них появились либеральные идеи, то причина этого—исключительно внешние влияния: французские гувернеры, наполеоновские войны, пребывание за границей, наконец, поощрение либерализма императором Александром [2]). Народная масса осталась чужда этим влияниям, воспоминания о древней новгородской республике давно исчезли из народной памяти. И декабристы только именем Константина могли увлечь солдат, в царе видящих свою защиту. Третьего сословия в России нет. „А без третьего сословия, свобода, которая хороша только, когда она существует к выгоде всех, становится монополией одного класса, и пример Польши показывает, куда она ведет в таком случае нацию. Самодержавие, если оно не ведет народ к духовному прогрессу, по крайней мере, оберегает его от угнетения привиллегированными" [3]). Мнение о существовании

[1]) Ibid., p.p. 475—480.
[2]) Ibid., t. II, p.p. 49—55.
[3]) Ibid., p.p. 26—27.

в России сильной аристократической партии и ее роли в заговоре Шницлер считает преувеличением. По его словам, в заговоре сильнее всего было влияние литераторов, как наиболее цивилизованной и доступной западному культурному воздействию группы. Но Шницлер считает, что изменение политического строя в России мыслимо лишь в виде альтернативы: или в интересах образованного меньшинства—и тогда неизбежно расчленение империи и недовольство народной массы,—или в интересах темного невежественного большинства—и тогда конец цивилизации [1]). Поэтому отношение Шницлера к движению декабристов вполне отрицательное. Следует, однако, указать, что всячески превознося свой официальный источник—„Донесение следственной комиссии"—Шницлер отмечает и некоторые недостатки. Так, он находит, что вряд ли суждение комиссии было независимым, ибо все ее члены были доверенными лицами государя. И это отсутствие независимости суждений, эта политическая роль комиссии сказывается, по мнению Шницлера, на отношении к некоторым подсудимым: Александру Муравьеву, Михаилу Орлову и Николаю Тургеневу нельзя было приписывать преступных намерений, и нельзя было затушевывать разоблачений Рылеева и братьев Бестужевых о злоупотреблениях администрации и отсутствии законности в управлении, как бы ни были преступны сами разоблачители [2]). В передаче истории тайных обществ Шницлер следует вполне донесению. Среди основателей Союза Спасения он выделяет Александра Муравьева, целью которого было „общественное благо, и не в насилии, не в разрушениях, не в цареубийстве он видел его осуществление". Никита Муравьев, человек с живым воображением, горячим сердцем и решительным характером, тоже, однако, еще не вносил в общество революционного духа: первые заговорщики более занимались теориями, чем приготовлялись действовать. Новый дух был привит Пестелем, который внес масонские правила и строгую иерархию в организацию. Шницлер всячески подчеркивает диктаторские замашки Пестеля, его исключительное влияние в южном обществе и его нелюбовь к чистому теоретизирова-

[1]) Ibid., p.p. 39—46.
[2]) Ibid., p.p. 127—136.

нию. „Как Наполеон он ненавидел болтунов и идеологов". Конституция Муравьева и идеи „Русской Правды" также изложены буквально по донесению.

Среди деятелей Северного общества Шницлер отмечает С. Трубецкого, Оболенского и Рылеева. К первому он более терпимо относится, чем его предшественники. Это — человек „бескорыстный, мягкий, добрый, трудолюбивый, друг наук... с более твердым характером, с более твердыми принципами и более солидным образованием это был бы человек замечательный"... Оболенский—наиболее пылкий из членов общества, молодой, образованный, но личный враг царя. Рылеев „присоединял высокий ум ко всем качествам сердца. Одаренный скорее принципами, чем страстями", он действовал согласно абстрактным теориям, но вполне бескорыстно. Демократ и сторонник американской конституции, он, однако, видел ее неприменимость в России и стремился к конституционной монархии [1]). Близки к истине характеристики Батенькова и Якубовича. Первый—карьерист, вступивший в общество вследствие потери места в Совете военных поселений; второй—человек с жаждой личной мести императору Александру. Каховский под пером Шницлера „кровеницца, презиравший „филантропов". Напротив, братья Бестужевы были исполнены самых лучших намерений [2]). Отношение к Пестелю самое отрицательное. Он—„лукавый, хитрый, интриган", честолюбец, мечтавший о роли Бонапарта. Тем не менее, Шницлер считает его очень умным человеком и не согласен с „донесением", упрекающим его в невежестве [3]). Муравьевы-Апостол—люди, подобно Александру I, с иностранным воспитанием, бывшие как бы вне действительной русской жизни. Михаил Бестужев-Рюмин—агент Пестеля и других вождей южного общества, деятельный помощник их честолюбивых планов [4]). Выделяя в Северном обществе группу мирных либералов, подобных Александру Муравьеву и Николаю Тургеневу, Шницлер подробно останавливается на последнем. Он отмечает влияние на него Геттингенского университета и барона

[1]) Ibid., t. II, p.p. 203—207.
[2]) Ibid., p.p. 208—210.
[3]) Ibid., t. II, p.p. 9—10.
[4]) Ibid., p.p. 18—21.

Штейн и указывает на его стремление к освобождению крестьян [1]). Уже, когда печаталась работа Шницлера, вышло в свет сочинение Н. Тургенева: „La Russie et les Russes". Ознакомившись с этой работой, Шницлер, присоединил к своей книге посвященное ей примечание. Воздавая здесь хвалу автору, Шницлер, однако, критически относится к его разбору „Донесения следственной комиссии". В I т. Н. И. Тургенев ставил здесь своей задачей доказать, что тайные общества в России не были солидными организациями с определенной целью, а были лишь случайными объединениями либерально-настроенных людей, серьезно ни о каких революционных выступлениях не думавших, восстание же произошло случайно и к нему не имели отношения старые тайные общества. Шницлер на это указывает, что работа Тургенева не дает правильного представления о тайных обществах, что самое большее — она убеждает в непричастности к революционным замыслам первых основателей обществ, но отнюдь не внушает таких же убеждений относительно других. Вслед за „Донесением" Шницлер очень много говорит о планах цареубийства в Северном и Южном обществах. В рассказе о восстании он вполне на стороне императора, всецело принимая версию о его храбрости. Ни одного слова оправдания для жертв Николая Шницлер не находит: желать республики в России — безумие, а стремиться к ней путем восстания, цареубийства и т. п. — преступление [2]).

Таким образом работа Шницлера среди европейских сочинений может быть поставлена особняком. Автор ее меньше своих предшественников отступал от единственного бывшего у него под руками официального источника, и, хотя не во всем с ним соглашался, руководился совершенно определенной тенденцией — оправданием русского самодержавия перед лицом Запада.

Резюмируя обзор иностранных сочинений о восшествии на престол Николая и декабристах, повторяем, что единственным их источником было „Донесение следственной комиссии", что к нему прибавлялись ходячие слухи. Большая часть этих слу-

---

[1]) Ibid., p.p. 61—63.
[2]) Ibid., p.p. 308, 502—504.

ков (об аристократическом характере намерений Пестеля, об унижениях Трубецкого перед царем, о заговорщике, не осмелившемся стрелять в Николая, о храбрости последнего) пущены, как мы видели выше, в оборот еще в 1826 году и имеют официальное русское происхождение. Оценка же событий находится в полной зависимости от общего мировоззрения и отношения к России в частности у каждого писателя. Если Кюстин сурово порицает русские порядки и расправу с декабристами, то с другой стороны, его монархические чувства легко поддаются на впечатления от личности Николая, и он охотно принимает версию о его храбрости; самое же событие 14 декабря настолько мало интересует Кюстина, что он смешивает его с холерным бунтом. Английский аноним, враждебно настроенный к России, видящий в ней врага Англии, старательно подрывает авторитет Николая и будит сочувствие к его жертвам, в большинстве которых, однако, видит представителей дворянских интересов. Лакруа стоит на той же позиции и еще более резко подчеркивает дворянский характер движения. Наконец, Шницлер занят противоположной задачей—реабилитацией самодержавия и Николая, но в то же время дает первый обстоятельный рассказ о движении декабристов [1]). В общем, рассмотренные нами авторы не очень искажали фактическую сторону, а в оценке проявляли совершенно естественную для публицистов наклонность руководиться определенной злоитической тенденцией. Одно характерно для всех иностранных авторов: ни один из них не склонен к идеализации движения, столь свойственной многим русским авторам, начиная с А. И. Герцена и кончая В. И. Семевским, подходившим к декабристам с обратной тенденцией.

А. Шебунин.

---

[1]) Это признали и некоторые декабристы. См. предисловие бар. А. Е. Розена к его „Запискам Декабриста", СПБ. 1907.

Народная молва о декабрьских событиях 1825 года

(По неизданным материалам) *)

Известно, что Константин Павлович не раз заявлял Александру I о своем желании устраниться от престолонаследования. Этим добровольным отказом объясняется происхождение манифеста 1823 г., которым, минуя Константина, наследником престола назначался младший его брат Николай. Манифест опубликован не был. Его содержание оставалось неизвестным до самой смерти Александра. Неясность вопроса о главе правительства повела к большим недоразумениям, и появление у власти Николая вместо старшего брата многим казалось странным и непонятным. В народной массе отречение Константина представлялось вынужденным. Шли толки о том, что обиженный Констан-

*) Архив Канцелярии Военного Министерства. 1) Канцелярия дежурного генерала Главного Штаба Е. И. В. по секретной части. 1826 г. д. 10/252. О нелепых слухах, рассказанных насчет императорской фамилии, служащими при Московском архиве Иностранных дел отставными унтер-офицером Медведевым и рядовым Крутиковым. Н. 28 V. К. 10/VIII 1826 г., л. л. 77., стр. 56—70 об.

2) По секретной части Канц. деж. генерала дело № 3. О слухах, распространившихся в Москве пред вшествием в оную тела блаженная памяти императора Александра Павловича. Нач. 9 янв., оконч. 26 февр. 1826.

3) По секретной части. Канц. деж. генерала № 9. Дело № 242. О слухах, выпущенных Пензенской инвалидной команды рядовым Иваном Гусевым насчет покойного императора Павла I. в. 2, 7, 12. Нач. 18 мая 1826 г., оконч. 9 августа 1827 г.

4) Хранящийся в Академии Наук архив Н. Ф. Дубровина, папка 80 л. л. 53—56. Письмо „Евдокима".

5) По секретной части канц. деж. генерала 1826 г. д. № 6/77 по отношению генерал-адъютанта Закревского о газете. изданной в г. Стокгольме насчет кончины покойного государя императора Александра Павловича Н. 29. 1. к 11 II 1826, л. л. 9.

гин якобы ездил в Царьград и в Иерусалим, где нашел порфиру и „отцовское письмо", которым „назначено после Александра быть Константину царем". Он все „оное" привез в Россию, но, бессильный „уверить или урезонить" в своих правах на престол, оставил это дело до „время благопотребного". Даже факт смерти Павла I подвергался сомнению: он — жертва придворной интриги, о его смерти объявили ложно; на самом же деле он жив и находится „в греческой земле", где томится в темнице. Там и нашел своего отца Константин. Самое пребывание Константина в Польше объяснялось не спроста. Это поляки упросили его стать у них королем: „а то мы без тебя пропадем, и нас без тебя паны разорят".

Противопоставление „нас" „панам" ясно намекает, что фраза эта вкладывалась в уста общественных низов, угнетаемых „панами". Эта версия рисует Константина, как символ надежд для обездоленной крепостной массы. Причиной якобы вынужденного отречения Константина выставлялось приписываемое ему намерение освободить в России „невольников", т.-е. крепостных.

В прямую связь с этим ставились события 14 декабря. Согласно народным слухам, дело происходило так: когда Сенат „назначил" Константина Павловича государем, то он заявил: „я теперь хочу невольников освободить всех". То ему сказали сенаторы: „Воля Ваша, Вы можете по воле своей невольников избавить". — „Так позвольте подписаться". И как сенаторы подписались, то Константин Павлович сказал: „Я Вам положу двойное жалованье". То сенаторы поняли на счет каких невольников сказано, и по уезде Константина Павловича в Варшаву, избрали Николая Павловича, и возвели на престол. И стали приганять к присяге ему. То и сделался от Московского гвардейского полка от двух рот в непокорности и присяги бунт, и к ним присовокупились гвардейской артиллерии солдаты и офицеры и придворного экипажа команда, а к ним множество всякого звания людей. И по выезде Петербургского Губернатора Милорадовича их уговаривать, тут его жестоко из пистоли ранили, и вскоре он умер. И усилившегося бунту уговаривал Николай Павлович и, не могши уговорить, приказал палить из пушек. И побили народу очень много, и валили в реку ночью". Так гласила народная молва.

Заграницей отголоски событий 14 декабря нашли отражение в еще более искаженном виде. В одной шведской газете, выходящей в Стокгольме, была напечатана следующая заметка, переведенная из английского листка „The Morning Post“: „Около пяти лет тому назад сговорился великий князь Константин против Императора, своего брата. Заговор обнаружился. Зачинщик милостью Александра был прощен, и все, что о происшествии сообщалось им народу, состояло в одной только молве, что будто признаки возмущения оказались в некоторых полках, расположенных в Петербурге или в окружности оного, но что порядок и повиновение опять в скором времени восстановились. Приговоренное же нынешнему Императору наказание состояло будто в ссылке в столицу Польши, его вице-королевства, и в т. со стороны Александра угрозах, что возведет на престол великого князя Николая I. Потом сообщается подробное описание о мерах, взятых Александром к приобретению себе вновь потерянной любви армии. На сей конец притворялся он пристрастным набожником и вместе обнаружил охоту итти на Цареград отметить смерть греческого патриарха. Но политика венского двора преградила путь к исполнению его намерений. Армия опять оказывала неудовольствие и новый заговор был вымышлен и приведен в действие следующим образом. Заговорщики употребляли все возможные средства, чтоб внушить жертве своей совершенную доверенность. По возвращении Александра из Крымских степей и до времени, назначенного к выезду его из Таганрога, дали ему сряду несколько блистательных увеселений. Однажды же назначили увеселительную прогулку по Азовскому морю, и злоумышленники успевали распорядиться так, что на судне императора находились одни только им приверженные люди. Когда судно отлучилось на море от прочих судов на довольном расстоянии, чтоб не могли ни видать, ни слышать, что на оном происходило, тогда самодержец половины вселенной был удавлен. Заговорщики показывали, что император скоропостижно заболел и успели отвести тело его во дворец, и скрыть свое злодеяние“. Газетный номер с приведенной статьей был конфискован в Стокгольме по королевскому указу, но тем не менее, один экземпляр „прокрался“ каким то образом в частном письме в Або, где был обнаружен и задержан почтмейстером; по поводу этого возникла даже официаль-

кая переписка, имевшая целью пресечь проникновение в Россию нежелательных листков.

Мнение, считавшее Константина противником крепостного права, породило не мало слухов о всевозможных заговорах и покушениях на его жизнь. Рассказывали, что Константина якобы „предал господам на смерть“ его собственный кучер, согласившись за два миллиона сообщить заговорщикам, куда выедет с ним Константин. Однако, раскаявшись, он все открыл и получил от великого князя совет: взять деньги от заговорщиков и указать им требуемые сведения. В назначенный час Константин Павлович посадил в свой экипаж переодетого солдата, а своего кучера заменил другим. Когда экипаж выехал за город, обманутые сходством заговорщики напали, но, окруженные заранее скрытыми полками, верными Константину, были схвачены и частью перебиты. Постоянная опасность возможного покушения побуждала якобы Константина даже на официальных торжествах участвовать лишь переодетым, „не в своем виде, а в виде рядового солдата или унтер-офицера, даже и ружье сам будет нести, как рядовой солдат“. Слухи шли дальше, утверждая, что принятые меры все-таки Константина от покушения не уберегли: „господа ночью изранили его. Едва ушел, получа многие раны шпагами“, от чего он должен был лечиться в Москве, но и то лишь тайком, „под сокрытием“.

Указанное содержание народных толков не только обиажало, но и обостряло классовый антагонизм социальных низов к „господам“. Эта черта ясно открывается исследователю. Всех „господ“, заподозренных в заговорах против освобождения „невольников“, народная молва едко называла „благородными душами, первейшими в свете подлецами“, а придворных фрейлин не задумывались наделить нелестным эпитетом, „распренеблагодарные канальи“.

Враждебное отношение к „господам“ ярко выразилось в описании одного неудачного покушения, якобы имевшего место в С.-Петербурге, где „генералы и князья разного звания“ задумали взорвать Казанский Собор во время пребывания в нем царской семьи у гроба Александра I. Для этого подкупили протопопа Казанского собора с тем, чтобы он впустил их ночью в храм. Тот взял с них „груду“ денег и выдал ключи. Когда

настала ночь, всех заговорщиков собралось до восьмидесяти, „одни господа, а лакеев не было ни одного человека. Взломали пол, носят землю, а куда девают, не видно. Когда ночь проходит, то они пол мостят попрежнему. Работают ночь, и другую. А на третью ночь протопоп пошел к государю с извинением. Они подкатили 12 бочек пороху. Но государь сказал: „пускай дорабатывают". И запретил попу, чтобы никому не сказывал. А сам нарядил конвой. После полночи этой обход пришел к собору; круг оного стали, и всех перевязали, и отправили в крепость. А в обходе офицеров не было ни одного. Когда стали их брать, то против солдат стали сопротивляться: „Как ты смеешь меня брать?" один говорит. Другой: „а я—генерал". И так отзывались чин по чину. Но солдата не устрашили их чины, ни ленты, ни звезды, а скрутили их так, как разбойников. А после эти князья и генералы награждены были Волковым полем вечно во владение их".

Нежелание „господ" отказаться от крепостных порядков, толкало их на заговоры и покушения. Рассказывали, что в Москве „два генерала весьма с большим капиталом" подкупили „мошенников" с тем, чтобы „подпилить мост и зажигать в Москве разные дома". Но пойманные во время „подпиливания" злоумышленники „доказали" на своих „подкупателей".

По другому варианту, желая поднять бунт, „господа" собрали большую сумму денег, в несколько миллионов, пытаясь подкупом повлиять на Московскую чернь и привлечь к себе ее обещаниями льгот: чернь на три года „уволить от всех податей и тем обольстить... чтобы все к господам преклонились". Но план не удался. Виновных арестовали и „пригнали" для наказания из Петербурга в Московский острог, который заранее очистили „для их благородиев". Среди замешанных в подобных заговорах иногда назывались определенные имена. Ходил любопытный рассказ с наивными и забавными подробностями о том, как был, якобы, арестован в Москве князь Гагарин. Арестованного посадили в кибитку, сопровождать которую был „наряжен квартальный Таганской части". В пути Гагарина строго охраняли, не выпуская из кибитки никуда без „крайней нужды". Приехав в Петербург, князя доставили во дворец. Здесь арестованного окружили по обеим сторонам

16 человек с обнаженными саблями. В каждых дверях часовые спрашивали, кого ведут. Слыша в ответ, что это Гагарин, часовые вместо того, чтобы „дать ему честь" „упирали в него штыком", делая „пример", что готовятся его заколоть. Увидя Гагарина, Государь закричал: „ты преступник своему государю!" и затем, когда Гагарин пал на колени с повинной, добавил: „о, недостойный сын отечества!". Стоявшему при этом квартальному было приказано: „ты ступай в свое место". И квартальный, оборотясь назад, вложа свою шпагу в свое место, пошел без оглядков и вышел на крыльцо". В той же кибитке он вернулся в Москву, где, приехав, рассказывал многим, что он „такой страсти никогда и не видывал".

Легко определяется та социальная среда, в которой приведенные выше толки находили широкий отклик. Значительное количество слухов, до нас дошедших и сохранившихся в архивных тайниках, записано дворовым человеком (Федоровым), озаглавившим свои записки следующим образом: „Московские новости, или новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивее, а которые ложные. А теперь утвердить ни одних не могу, но решился на досуге списывать для дальнего времени незаовенного, именно 1825 года декабря 25 дня". Брожение умов захватывало внимание не только дворовых, но крепостных крестьян и рядовых солдат. „Секретные" дела, возникшие с целью пресечения тревожных для власти народных толков, служат тому доказательством. Опасные мысли нередко заносились и в деревню, как показывает следственное дело, возбужденное в мае 1826 года по поводу слухов, „выпущенных" „насчет покойного императора Павла I".

Дело это интересно между прочим и тем, что оно открывает пути распространения этих слухов. Оказалось, что рядовой Иван Гусев, „выключенный" из 20-й артиллерийской бригады первой батарейной роты, „почерпнул" из народной молвы „безумные и нелепые" слухи в декабре 1825 года, во время следования его из Таврической губ. в Пензенскую (куда он был назначен в инвалидную команду). Зайдя в деревню Вителевку к своему двоюродному брату, Гусев „сначала был весьма скромен, но, выпив несколько стаканов вина... на вопрос о новостях, стал рассказывать о покойном государе императоре Павле I, что он жив, и что великий князь Константин Павлович

...ются с солдатами вынимать его из каменной тюрьмы". Сведения эти он получил от рядового же Никиты Мельникова, по дороге из Козлова на Тамбов. Аналогичные версии с разными вариантами сообщались и в письмах, например, неким Евдокимом, повидимому полковым музыкантом, стоявшим со своей частью где-то за Москвой на р. Клязьме.

Соображая, что последние „записи" дворового человека датированы 10 мая 1826 г., а дело против рядового Гусева возбуждено 18 мая того же года, и к тому же времени относится письмо „Евдокима",—следует придти к выводу, что наибольшее оживление всех народных толков падает на ближайшие пятьшесть месяцев, последовавших за восстанием декабристов. Что дворовые люди, ближе всего чувствовавшие на себе произвол помещичьей власти, а также крепостные крестьяне и рядовая солдатская масса чутко насторожились в эти дни и жадно ловили каждый слух и намек на их освобождение — вполне понятно. Мечта о воле никогда не умирала в умах порабощенных. Вот почему при изучении смысла и значения народной молвы, запечатленной для исследователя в мертвых архивных листах, звучит один и тот же мотив - надежды на волю!

А волнующие слухи о близкой воле были многочисленны и разнообразны. Самый короткий, но красноречивый из них гласил, что „едва ли не отберут на весну всех крестьян от господ". Мысль эта варьировалась на разные лады, сопровождаясь новыми подробностями в роде того, что Константин Павлович, „видя такое неустроенное в России варварское на все российские простонародии самовластное и тяжкое притеснение, вознамеривается сколько будет возможно, поуничтожить оное"; он придет со стотысячным войском, отчего „по открытии весны и наступлении лета ожидает народ больших перемен". С его приходом весной в России „совсем будет новое, а не это". В письме „Евдокима" передавалась версия что в Польше за Константином „ходят пять генералов, чтобы его извести". Проникнув к нему переодетыми „в женских платьях", они его „изранили крепко, отчего сделался болен и едва ли будет жив". Заканчивался рассказ многозначительным заключением: „Если помрет, то великое смятение будет... А когда жив будет, то сделает все по своему".

Константин—лишь знамя, символ. Проявленная к нему симпатия объясняется, конечно, приписываемым Константину намерением освободить крепостных. Слухи о том, что жив Павел I, оставивший свое „отцовское письмо“ с назначением престола Константину, основаны на мысли, что только „господа“ мешают царю освободить крепостных крестьян, они одни всему виной. Отсюда жгучий классовый антагонизм к „господам“. Мысль о близком освобождении разнеслась широко и захватила массы так глубоко, что возбуждение умов достигло крайней степени. По свидетельству современника, „слухи сии так в то время умножились, что никогда еще столько их не бывало“. Брожение шло и между солдатами. В караульных шли толки о том, что „не государь царствует, а большие господа“ причем открыто заявлялось, что „сего не надо таить, — надо знать“.

Охваченная брожением народная масса заставляла ждать беспорядков. Современник, наблюдавший в это время московские события, замечает: „очень многие говорят: будет бунт“, посему „многие имение прячут, а купцы первой гильдии уезжают из Москвы от страху“. Здесь ясно даже указание, на какие именно классы должен был обрушиться ожидаемый бунт. Предполагалось, что „ночью станут зажигать Москву во многих местах, и грабить, и рубить“. Грозным предостережением для властей являлась уверенность общественных низов в том, что „если после сей передряги или трясения да не отберут вотчины, то во время войны все войско станет передаваться, а особенно вновь набираемое после оного происшествия“.

Явные признаки народного брожения не укрылись от зоркого ока властей, заставив их держаться наготове и принять меры предосторожности.

Московские власти особенно беспокоились, предвидя большое стечение народа, которое неизбежно должно было произойти с прибытием из Таганрога погребальной процессии с телом императора Александра I. Князь Лобанов-Ростовский, выехавший навстречу процессии в г. Тулу, сильно встревожил местного гражданского губернатора слухом о том, будто-бы в Москве „захвачены шестьсот человек, намеревавшихся во время нахождения тела Александра I... произвести возмущение, и будто

бы они были в сношениях с тульскими оружейниками, которые в то же время подобное беспокойство учинят в Туле". Но известие о Тульских оружейниках не подтвердилось, и ожидаемых беспорядков не произошло, что дало повод в донесении властей Николаю I сказать: „все сословия, исполнив последний долг свой при проследовании тела блаженные памяти императора Александра Павловича, обратились к своим обыкновенным занятиям". Траурный кортеж, таким образом, спокойно прибыл в первых числах февраля в Москву, где на случай бунта были приняты меры. Вокруг Кремля поставлены пушки, усилена внешняя охрана, введены ночные патрули. Эти предосторожности не были излишни.

Признаки народного брожения, охватившего Москву, некоторыми современниками определялись, как предвестники революции. Так в письме из Москвы надворного советника Кристина от 18 января 1826 года к графу А. И. Маркову писалось следующее: „Хотя теперь все спокойно, но без сомнения и в Москве есть злоумышленники, могущие действовать тайным образом и волновать чернь. Вообще говорят гласно, что народ хочет вскрыть гроб для удостоверения, точно ли покойный государь в него положен; другие уверяют, что тела отсюда не выпустят с тем намерением, чтобы погребсти его с Петром Вторым и древними царями.

„Но что значит народ, который заставляют говорить и который ни о чем не размышляет! Неблагонамеренные люди делают сии вредные внушения и могут воспользоваться малейшим стечением народа, подстрекнув его к грабежу, если таковые скопища будут допущены. Я помню, какие вещи заставляли кричать чернь в Париже в 1789 г., раздавая ей шестифранковые монеты. Одинаковые причины могут произвести одинаковые следствия. Немудрено, что рублевики и обещания водки доведут до всего и нашу чернь, действующую без дальних расчетов. Я думаю, весьма бы нужно не позволять на улицах и площадях собираться толпами до десяти человек, наблюдая в ночное время, дабы солдаты не сообщались с жителями и пушки были бы готовы для истребления всякого спокойствие нарушающего движения.

„Дворовые люди приносят домой из города (из лавок) всякого рода смутные вести и разглашают, что немудрено быть грабежу.

Можно быть уверену, что эти самые холопы не пропустят случая помочь народу в потребном случае".

Тревожное настроение улеглось не скоро. Еще спустя несколько месяцев не раз возникали „секретные дела" по поводу распространения „безумных" и „нелепых" слухов, продолжавших волновать дворовых, крепостных крестьян и рядовых солдат [1]).

Грозную опасность, которую могло принести указанное народное брожение, прекрасно учитывал и сам Николай I. Получив донесение из Тулы о том, что собравшаяся толпа во время следования похоронной процессии, отпрягши лошадь провезла траурную колесницу на некоторое расстояние на себе, Николай Первый обеспокоился. Эти знаки внимания его подданных показались ему не столько лестны, сколько подозрительны, и на полученном донесении он положил твердую резолюцию: „Я считаю нужным отклонить народ от того, чтобы он себе вез тело для избежания всякого беспорядка в Москве, а подавно здесь, где бы, верно, по примеру Москвы захотели б то же делать".

Подведем итоги.

Мы видели, что легендарные представления и слухи о декабрьских событиях 1825 г. возникли не случайно, широко были распространены и, питаясь надеждой на близкое освобождение, захватили глубже всего социальные низы, т. е. крепостную массу и рядовых солдат. Иные чувства владели господствующими классами: „купцы первой гильдии" со страху уезжали, имущие граждане „прятали свои имения", чиновники и правительственные власти и даже сам император, все были охвачены беспокойством, ожидая народного бунта.

Движущей силой, разжигавшей волнение народных масс, была исконная вражда к „господам" и пламенная жажда освобождения от крепостной неволи.

К. Кудряшов.

[1]) Таково, например, дело о „слухах, распространившихся в Москве при вшествием в оную тела императора Александра Павловича," другое—„о слухах, выпущенных Пензенской инвалидной команды рядовым Иваном Гусевым насчет покойного императора Павла I." Особенно любопытно следствие „о нелепых слухах, рассказанных насчет императорской фамилии, служащими при Московском Архиве Иностранных дел отставными унтер-офицером Медведевым и рядовым Крутиковым".

ОТДЕЛ II

Из архива декабриста Юшневского.

Писем декабристов и их жен из Сибирской ссылки сохранилось много. Значительно реже встречаются письма декабристов, написанные ими до „14 декабря".

Декабрьские события 1825 года побудили многих их корреспондентов, из опасения неприятностей и репрессий, уничтожить эти письма „государственных преступников". Между тем, несомненно, что подобные письма представляют большой интерес для истории декабризма и, шире, русской общественной мысли начала XIX века.

В них намечаются интересы и запросы декабристов, круг их знакомства, их общественные отношения.

В этих письмах разбросано не мало деталей, которые сами собой, незаметно, делают яснее и понятнее личности того или иного декабриста и окружавшую их среду.

Этими подробностями обильны и ценны печатаемые ниже три письма декабриста Алексея Петровича Юшневского к его брату Семену Петровичу. Они заимствованы из архива Юшневских, начало изучения которого было положено проф. Киевского Университета П. В. Голубовским.

А. П. Юшневский родился 12 марта 1786 г. Ко времени восстания декабристов он состоял около шести лет генерал-интендантом 2-й армии, расположенной на Подолии и Бессарабии и имевшей главную квартиру в м. Тульчине, Подольской губернии. А. П. принимал активнейшее участие в Южном обществе, являясь, вместе с П. И. Пестелем и С. И. Муравьевым-Апостолом, членом его Директории. Арестованный в январе 1826 года, А. П. был приговорен к смертной казни отсечением головы. Казнь была заменена ссылкой в каторжные работы, а затем водворением на поселение. В Сибири, вблизи Иркутска, А. П. и окончил свои дни 10 января 1844 года.

Юшневский был женат на Марии Казимировне Кругликовской, в первом браке Анастасьевой (род. в 1790 г.). М. К., в 1830 г. последовала к мужу в Сибирь и, овдовев в 1844 г., только в 1855 г. получила разрешение вернуться обратно.

Ей принадлежит приписка к третьему печатаемому здесь письму А. П., а также ряд писем из Сибири, частично изданных, вместе с письмами ее супруга, П. В. Голубовским (Письма декабриста А. П. Юшневского и его жены... из Сибири", первоначально въ „Чтеніяхъ в Обществѣ Нестора Лѣтописца", т.т. 18, 19, 20, 21, затем отдельно К., 1908 г.). Неизданные письма А. П. и М. К. из Сибири приготовлены нами к печати.

Печатаемые ниже три письма адресованы С. П. Юшневскому,—среднему, наиболее любимому брату Алексея Петровича (род. в 1800 г.), и относятся ко времени обучения С. П. в Москве. Впоследствии С. П. Юшневский служил во 2-й армии, привлекался по делу о тайных обществах, сидел в крепости, а затем находился под надзором полиции. С 1832 г. состоял уездным Ольгопольским предводителем дворянства.

Письма издаются с сохранением орфографии подлинника.

В. Базилевич.

I.

Кишиневъ, 8-го Сентября 1817.

Любезнѣйшій братъ Семенъ Петровичь,

Пользуясь отъѣздомъ въ Москву знакомаго тебѣ; а моего короткаго пріятеля Надворнаго Совѣтника Петра Дмитріевича Сомова [1]), просилъ я его побывать у тебя и освѣдомиться о твоемъ житіи и здравіи. Возобнови твое с нимъ знакомство; онъ человѣкъ добродушный и ко мнѣ расположенъ.

Я отправился въ Бессарабію, какъ тебѣ извѣстно, мѣсяца на два; а живу до сихъ поръ противъ воли, претерпѣвая всѣ возможныя непріятности и вмѣсто всѣхъ наградъ, каковыми льстилъ себя въ началѣ, ограничиваюсь однимъ только желаніемъ освободиться из сей обѣтованной земли; но и въ семъ не имѣю успѣха. Пребываніе мое здѣсь было причиною, что Батюшка [2]) не былъ въ Карлсбадѣ. Не видя конца моему здѣсь пребыванію, отправилъ я жену въ Хрустовую [3]), что бы страдать одному.

Увѣдомь меня, любезный другъ, здорово ли тебѣ тамъ живется, каково ты успѣваешь въ наукахъ и довольны ли тобою твои наставники и образователи; въ чемъ я конечно не сомнѣваюсь. Старайся кончить съ успѣхомъ ученое твое поприще. Все, что ты на ономъ пріобрѣтешь будетъ неотъемлемымъ и вѣрнымъ твоимъ достояніемъ. Помышляй о усовершеніи нравственнаго твоего образованія. Будь предусмотрителенъ въ

[1]) П. Д. Сомов — с 1821 г. Пермской вице-губернатор.

[2]) Отец декабриста А. П. Юшневского — Петр Христофорович. Родился в 1758 г., умер в 1823 г. в должности начальника Дубосарского таможенного округа.

[3]) Хрустовая—сего Ольгопольского уезда, где было имение П. Х. Юшневского (545 душ крестьян), приобретенное им в 1811 г.

выборѣ связей, каковыя съ товарищами твоими имѣть можешь; онѣ будутъ имѣть вліяніе на твое ученіе, на твое поведеніе и наконецъ на всю послѣдующую жизнь.

Есть ли не увижу возможности скоро освободиться отсюда; то поѣду въ отпускъ въ деревню, что бы успокоиться отъ непріятностей, которыя сдѣлали для меня ненавистною службу. Подробнѣе обо всемъ узнаешь отъ П. Д.

За тѣмъ прости, Любезный другъ; желаю что бы успѣхи твои соотвѣтствовали искреннему желанію моему видѣть наконецъ въ тебѣ образованнаго человѣка, добродѣтельнаго гражданина, къ величайшему счастію всѣмъ сердцемъ любящаго тебя брата и всего твоего семейства. — Прости — остаюсь вѣчнымъ твоимъ другомъ.

А. Юшневскій.

Письмо написано на бумаге размера 17 × 22½ см. без водяных знаков, с золотым обрезом.

II.

М. Тульчинъ 23 Генваря 1820.

Любезный другъ Семенъ Петровичь,

В одно время получилъ я отъ тебя и отъ Михаила Александровича фонъ-Визина [1]) письма от 1-го сего Генваря. Радуюсь, что ты съ нимъ познакомился, и, какъ замѣчаю, ему понравился; старайся сколь возможно снискать доброе расположеніе сего почтеннаго [и] достойнаго человѣка. Внимай его совѣтамъ и поученіямъ; примись за упражненіе въ тѣхъ наукахъ, къ которымъ обращаетъ онъ твое вниманіе. Къ одному изъ своихъ пріятелей пишетъ онъ, что ты зараженъ философіею 18-го вѣка, которую вѣроятно я тебѣ передалъ. — Я не знаю какъ зовутъ тѣ правила, которыя я тебѣ внушить старался; ежели ихъ называютъ философіею 18 вѣка, тогда должно будетъ заключить, что имя сіе дается правилами честности, безкорыстія, любви къ своимъ собратіямъ, привязанности къ тому обществу, въ которомъ мы родились. Слѣдовательно мы съ тобой не должны стыдиться такихъ правилъ, какое бы названіе имъ ни давали. Не покидай сихъ правилъ, но не высказывай ихъ. Блескъ и ..... слишкомъ ослѣпителенъ, предоставь времени приуготовить ..... ши къ ея созерцанію. Мало такихъ людей, которые успѣли бы совершенно свергнуть иго предразсудковъ, которые всосали съ молокомъ. Надобно радоваться находя людей, ко-

[1]) М. А. Фон-Визин (1788 — 1854 г.г.) — генерал-майор, масон, член Союза Благоденствия, впоследствии сосланный в Сибирь. Автор Записок и ряда других произведений. Упоминаемое письмо неизвестно.

торые не взирая на остатокъ оныхъ умѣютъ быть добродѣтельны, любятъ свою страну и стремятся къ ея благу.

Занятія по службѣ препятствовали мнѣ по сіе время отвѣтствовать на письмо твое, которое получилъ я вмѣстѣ съ таковымъ же отъ Василія Михайловича [1]). Теперь прилагаю при семъ письмецо на его имя, вручи ему оное и извини меня предъ нимъ. Я такъ занятъ, что не имѣю времени пожить для себя: изъ газетъ я думаю ты уже знаешь, что я [опре]дѣленъ въ Генералъ-Интенданты второй арміи. Постъ очень важный и трудный, а нравственныя мои силы слабы; долженъ замѣнять сей недостатокъ прилежаніемъ.

Увѣдомь перемѣстилъ ли ты Владиміра [2]) и каково онъ учится. — Удиви надъ нимъ Господи милость свою.

Не скоро доведется мнѣ побывать въ матушкѣ каменной Москвѣ; не скоро сподоблюсь святымъ мощамъ поклониться. Помолися ты за меня; а я пребуду любящимъ тебя всею душею братомъ и другомъ.

А. Юшневскій.

Облобызай за меня брата Влади[міра, пус]ть онъ утѣшитъ меня хоть ..... [сло]вечкомъ въ твоемъ письмѣ, а я по крайней мѣрѣ порадовал[ся бы] его складу и почерку. Каково учится Соболевскій [3]) и далеко ли ушелъ; я принимаю участіе въ етомъ дитятѣ; кажется изъ него прокъ будетъ.

Обрадуй Господи насъ съ тобою братцемъ нашимъ единоутробнымъ, чтобы мы не имѣли наконецъ поводу сказать вмѣстѣ съ почтеннѣйшимъ Н. Ивановичемъ Давыдовымъ [4]): съ собачками, мой милой, съ собачками.....

Письмо написано на бумаге vergé размера 17 × 22 см. с водяными знаками „А. Г. 1819“. Залито темной жидкостью, местами образовавшей в бумаге небольшие дыры. Точками обозначены повреждения текста, восстановить которые по смыслу затруднительно; предположительное чтение — в прямых скобках. Заключительное многоточие подлинника.

III.

м. Тульчинъ 13 Іюня 1820.

Письма твои, любезный Другъ Семенъ Петровичь, получилъ я всѣ исправно, наконецъ послѣднее чрезъ почту отъ 24 Маія.

---

[1]) Фамилию установить не удалось. Возможно, что это был Василий Михайлович Аврамов, отец декабриста Павла Васильевича, приятеля Юшневского.

[2]) Владимир — меньшой брат декабриста, род. в 1807 г. В позднейших документах упоминается, как „неслужащий дворянин“.

[3]) Михаил Соболевский — воспитанник А. П. Юшневского; учился вместе с его братом Владимиром в Московском Университетском благородном пансионе на средства Юшневского, как видно, например, из квитанции от 11 февраля 1818 г., выданной из Правления Московского Университета и сохраненной в бумагах декабриста.

[4]) Николай Иванович Давыдов — родственник декабриста В. Л. Давыдова.

Я очень давно к тебѣ не писалъ. Занятія по службѣ были тому причиною. Теперь я имѣю весьма вѣрный случай писать къ тебѣ и доставить пріятнѣйшее знакомство съ вручителемъ сего Г-мъ Подполковникомъ Павломъ Васильевичемъ Аврамовымъ [1]), короткимъ моимъ пріятелемъ и человѣкомъ, какихъ мало по честности и благородству образа мыслей. Я просилъ его познакомиться съ тобою; знакомство съ такими людьми на цѣлый вѣкъ тебѣ пригодится. Фонъ-Визинъ и Охотниковъ [2]) очень довольны тобою; слѣдовательно я сугубо тѣмъ утѣшаюсь. Подвизайся, любезный другъ, а я постараюсь приготовить тебѣ мѣстечко поближе ко мнѣ. — Часто ли пишешь ты къ Батюшкѣ? — Не забывай своего долга. Я былъ недавно у него послѣ пятимѣсячнаго отсутствія, и оставилъ его здоровымъ. Радуюсь, что Владиміръ начинаетъ поправляться. Если начнетъ успѣвать съ сего возраста, то до двадцати лѣтъ будетъ профессоромъ чего захочетъ. При семъ прилагаю письмо къ Ивану Ивановичу [3]). При вручении онаго извини меня предъ нимъ въ томъ, что я не писалъ. Тѣмъ не менѣе я никогда не престану быть благодарнымъ за вниманіе его къ тебѣ.

Я поручилъ Павлу Васильевичу доставить къ Александру Александровичу Волкову письмо мое и мѣшокъ турецкаго табаку. За тѣмъ прости, любезный другъ; обними за меня Владиміра, увѣдомь каково учится Соболевскій. Прости; остаюсь вѣрнымъ тебѣ другомъ.

А. Юшневский.

Приписка М. К. Юшневской:

При семъ и я Любезнѣйшій братецъ Семенъ Петровичъ благодарю васъ за приписанье ко мне въ письме брата Вашего. Для меня всегда очень приятно видеть, когда я незабыта вами, а въ трехъ письмахъ мужа моего вы обо мне ни слова, признаюсь Вамъ мне немношко болно сие было, однакоже я уверена что это такъ случилось, а вы всегда доброй любезный мой братъ, любите меня попрежнему, я же съ моей стороны всегда стараюсь приобрестъ себе въ васъ друга, Сонюшка [4]) моя кла-

[1]) П. В. Аврамов (1791 — 1836 г.г.) — командир Казанского пехотного полка, член Союза Благоденствия и Южного Общества, осужден на каторгу и умер в Сибири. Несколько его писем (1833 — 1836 г.г.) к С. П. Юшневскому приготовлены нами к печати.

[2]) К. А. Охотников — старший дивизионный адъютант 16 дивизии, капитан 32 Егерского полка, друг М. Ф. Орлова и „первого декабриста“ В. Ф. Раевского, член Союза Благоденствия и Южного Общества; умер до начала следствия над декабристами.

[3]) И. И. Дмитриев, поэт и сановник, проживавший в это время „на покое“ в Москве.

[4]) София — дочь М. К. Юшневской от первого брака с Анастасьевым, вышедшая впоследствии замуж за художника Рейхеля.

няется Вамъ усерднейше, и снетерпениемъ ожидаетъ чтобы вы на будущую зиму къ намъ приехали, она собирается съ Вами танцовать. Похвалюсь вамъ, что она учится очень хорошо, Любезного Владимира поцалуйте за меня и скажите, что я очень оченъ рада что онъ поправился и началъ хорошо учится. Особливо же я вижу сколко это обрадовало Алексія Петровича, Сонюшка ѣму также кланяется и проситъ обоихъ Васъ не забывать ѣго [sic!]. Прощайте Семіонъ Петровичъ пишите къ намъ чаще, остаюсь всегда Васъ истинно любящая сестра и покорная слуга.

М. Юшневская.

Приписка А. П. Юшневского:

Я очень былъ бы радъ, если бы могъ ты явиться къ начальнику штаба нашей арміи Генералъ Маіору Павлу Дмитріевичу Киселеву [1]); человѣку отличныхъ правилъ и достоинствъ, котораго душевно люблю и почитаю. Смерть его отца[2]) побудила его отъѣхать на время въ Москву. Такъ какъ онъ ко мнѣ милостиво расположенъ: то я желалъ бы представить ему тебя: но такъ какъ въ домѣ ихъ великая печаль; ибо семейство лишилось обожаемаго отца, а общество честнѣйшаго Гражданина; а потому я просилъ Павла Васильевича наставить тебя, когда можно тебѣ будетъ представиться Его Превосходительству, къ которому прилагаю письмо для врученія лично тобою.

Письмо написано на бумаге размера 21 × 24 см. с водяными знаками „H. Oser in Basel“ *и фабричной маркой-гербом.*

[1]) П. Д. Киселев (1788 — 1872 г.г.). С 1819 г. — начальник штаба 2-й армии в Тульчине. Под его начальством служили здесь многие члены тайных обществ: Пестель. С. Волконский. Басаргин и др. Впоследствии граф и видный государственный деятель по крестьянскому вопросу.

[2]) Отец П. Д. Киселева — Димитрий Иванович служил в Москве помощником управляющего Оружейной палатой. Находился в дружеских отношениях с И. И. Дмитриевым, Н. М. Карамзиным, гр. Ф. В. Ростопчиным и др. представителями московской интеллигенции.

Арест Пестеля.

Дежурный генерал 2 армии генерал-майор Байков рапортомъ Главнокомандующему армией гр. Витгенштейну от 7 сентября 1826 г. за № 409 [1]) (м. Тульчин) донес:

На повелѣніе вашего сіятельства отъ 6 сентября за № 408 имѣю честь донести слѣдующее:

1) Въ предписаніи вашего сіятельства отъ 13 декабря за № 18 значится: „коль скоро прибудетъ къ заставѣ полковникъ Пестель, то прикажите прямо отвезти его въ вашъ домъ и объявить ему моимъ именемъ, что онъ арестовывается и долженъ подъ арестомъ находиться у васъ впредь до приказанія и при томъ изволили предписать поступать по данному приказанію начальника Главного Штаба арміи.

Приказаніе начальника штаба заключалось въ томъ, чтобы отобрать отъ Пестеля всѣ находящіеся при немъ бумаги и ключи и по представленіи къ вашему сіятельству отправить оныя съ жандармомъ въ м. Линцы къ нему и вмѣстѣ съ тѣмъ отправить туда же и деньщика Пестеля Савенку.

Все сіе 14 декабря исполнено было слѣдующимъ образомъ: я съ разрѣшенія и приказанія вашего сіятельства поставилъ одного жандарма на шлахбаумъ съ письмомъ къ Пестелю, чтобы онъ ѣхалъ прямо ко мнѣ на квартиру для полученія приказанія, дабы не подать ему повода зачѣмъ приглашалъ на квартиру, ибо Пестель никогда до того времени не только не заѣзжалъ ко мнѣ на квартиру, но и приходилъ только по дѣлам службы или по прибытіи явиться. По пріѣздѣ Пестеля на мою квартиру того же 14 числа в 6 часу пополудни, я въ тоже время докладывалъ вашему сіятельству о томъ ровно и просилъ чтобы позволено было объявить ему арестъ, по уходѣ находившихся въ то время на моей квартирѣ нѣкоторыхъ лицъ. Получивъ на то разрѣшеніе и по уходѣ всѣхъ бывшихъ у меня, я объявилъ ему арестъ, потомъ назначилъ ему одну изъ моихъ горницъ, куда поставленъ былъ караулъ съ приказаніемъ кромѣ вашего сіятельства, генералъ-адъютанта графа Чернышева и начальника Главнаго

[1]) Архив Главного Штаба. 1826 г., дело № 335.

Штаба никого къ нему не допускать. А сверхъ того былъ секретный надзоръ надъ моей квартирою отъ военной полиціи. Но какъ назначенная горница была еще не только не готова къ помѣщенію, но и не отоплена, что по тогдашнему холоду и его болѣзни требовалось, то онъ весь тотъ день находился вмѣстѣ со мною. Въ 5 или 6 часу прибылъ ко мнѣ старшій адъютантъ полковникъ Давыденковъ для полученія приказанія объ отправленіи въ Линцы съ деньщикомъ Пестеля Савенкою. Черезъ нѣкоторое время вошелъ въ горницу, гдѣ я, Пестель и Давыденковъ находились, бывшій генералъ-маіоръ кн. Волконскій одѣтый въ полномъ парадномъ платьѣ и на спросъ мой отвѣчалъ, что онъ прибылъ по дѣламъ службы, и тутъ же при мнѣ и Давыденковѣ, спросилъ у Пестеля на французскомъ языкѣ, сколько я по отвѣту уже Пестеля понять могъ, зачѣмъ онъ здѣсь и что это значитъ. Пестель, знавши, что я не разумѣю этого языка, отвѣчалъ на русскомъ, что онъ призванъ сюда мною по дѣламъ службы и полагаетъ завтра отъехать. Потомъ былъ нѣкоторое время общій разговоръ и какъ еще въ то время никакого подозрѣнія на Волконского не имѣлось, то я весьма далекъ былъ и думать, чтобы онъ былъ участникъ замысловъ Пестеля, и если бы Пестель отвѣчалъ на французскомъ языкѣ, то я бъ тому также не препятствовалъ, ибо зналъ, что сіи воспитанные люди при всякой встрѣчѣ не говорили другимъ языкомъ, какъ только французскимъ. Вскорѣ послѣ того мнѣ нужно было написать нѣсколько бумагъ, а потому я пошелъ въ другую горницу, не приглашая вовсе слѣдовать за мною Пестеля, но сей изъ осторожности и дабы не подать повода къ какому либо заключенію, самъ послѣдовалъ за мною, а Волконскій и Давыденковъ остались оба въ прежней. По написаніи мною бумагъ, я опять вошелъ въ ту горницу, гдѣ Волконскій съ Давыденковымъ разговаривали и отдавши послѣднему изъ нихъ бумаги отпустилъ его, а мы всѣ трое, т.-е. я, Волконскій и Пестель остались въ одной горницѣ. Волконскій, сказавши мнѣ, что идетъ къ вашему сіятельству явиться, при томъ присовокупилъ, что весьма жалѣетъ, что не могъ представиться къ генералъ-адъютанту графу Чернышеву (ибо я о семъ послѣднемъ сказалъ, что онъ еще по утру отправился въ Варшаву, такъ какъ сіе и всѣмъ было объявлено и потому никто не зналъ, что графъ Чернышевъ и начальникъ Главнаго Штаба поѣхали въ Линцы). Послѣ сего Волконскій оставилъ мою квартиру. Вотъ, все, что происходило во время пребыванія Волконскаго у меня въ квартирѣ и какимъ образомъ могъ Волконскій съ Пестелемъ разговаривать на единѣ и одну минуту я не могу объяснить, ибо какъ выше значитъ Пестель съ Волконскимъ не былъ вмѣстѣ на единѣ нисколько времени. А полагаю болѣе, что показаніе сіе есть несправедливо. Пестель арестованъ былъ 14 декабря въ 4 или 5 часу, а Волконскій

прибылъ въ Тульчинъ почти въ тоже время или позже часомъ, а много двумя, слѣдственно будучи за 100 верстъ отъ Тульчина не могъ знать въ одинъ или два часа о произшедшемъ въ Тульчинѣ и сверхъ того, кромѣ Пестеля никто другой арестованъ въ то время не былъ, ибо еще ни о ком не было извѣстно до прибытія капитана Майбороды в Тульчин, что уже послѣдовало 15 декабря въ вечеру, а Волконский, узнавши въ Тульчинѣ об арестѣ Пестела, въ тоже время 14 декабря ночью отправился въ Уманъ и послѣ того не пріѣзжал, а потому и полагаю я, что показаніе Пестеля и Волконскаго есть несправедливо.

Послѣ того через 6 дней. по приказанію вашего сіятельства Пестель былъ перемещенъ въ Доминиканскій монастырь, гдѣ въ горницѣ имѣлись желѣзные рѣшетки и былъ поставленъ строгій караулъ. Сверхъ надзора военной полиціи находились еще при Пестелѣ безотлучно два надежные резервной инвалидной роты рядовые, а потому въ монастырѣ и того менѣе имѣлъ Пестель способовъ съ кѣмъ либо разговаривать или видѣться наединѣ!..

Сообщил *А. Шебалов.*

Декабрист Волконский в каторжной работе на Благодатском руднике [1])

Из восьми декабристов I разряда, приговоренных в каторжную работу на 20 лет и первыми отправленных из Петербурга в ночь на 24 июля 1826 г. [2]) один лишь Оболенский оставил, в своих Записках, рассказ об этой работе в Благодатском руднике и вообще обо всей обстановке жизни в первые месяцы отбывания декабристами каторги под Нерчинском—до перевода в Читу; да княгиня Волконская в трогательных чертах рассказала о своем посещении „каторжных нор", в которых ежедневно с 5 до 11 часов утра работал ее муж и его сотоварищи. Но и те, и другие воспоминания писаны по памяти, спустя много лет, — и в них мы не найдем того отражения времени, той непосредственности впечатлений и сообщений, которое нам естественно хотелось бы видеть и знать. Поэтому знакомство с несколькими подлинными письмами одного из декабристов — Сергея Григорьевича Волконского,—относящимися ко времени работ в Благодатском руднике, представляется нам особенно ценным.

Волконский и его сотоварищи прибыли в Благодатский рудник, в 12 верстах от главного Нерчинского горного завода, 25 октября 1826 г., ровно через три месяца после выезда из Петропавловской крепости и после недолгого пребывания в Иркутске и на Николаевском винокуренном, Усольском соляном и Александровском винокуренном же заводах. Особыми секретными предписанием и наставлением (инструкциею), данными Начальником Нерчинских заводов Тимофеем Степановичем Бурнашевым — задолго до прибытия на места самих „преступников" (28 августа 1826 г.) — Главноуправляющему рудниками, маркшейдеру П. М. Черниговцеву и приставу рудника, шахтмейстеру Котлевскому, предписано было „употреблять их в работы и

[1]) По материалам приготовленной к печати, но в свет не вышедшей 2-й части I тома „Архива декабриста С. Г. Волконского" (Т. I. До Сибири. Часть 1-я, вышла в свет в Петрограде летом 1918 года).

[2]) Трубецкой. Волконский, два брата Борисовы и Оболенский, А. З. Муравьев, Давыдов и Якубович.

поступать с ними во всех отношениях по установленному для всех каторжных положению", „наблюдать строжайшим образом за их поведением, не допущать их к свиданию между собою", а главное—„употреблять их в настоящие горные работы в две смены по 4 человека, размещая оных по разным выработкам так, чтобы они не имели между собою свидания, ставя в работу каждого из них с надежным человеком, коему и отдавать его на руки" и т. д. и т. под. [1]); 15 октября, узнав о близком прибытии декабристов, Бурнашев вновь предписывал Черниговцеву руководствоваться по отношению к ним вышеуказанным предписанием от 28 августа.

Перевод в Нерчинский округ был совершенною неожиданностию для Волконского и его сотоварищей, что́ видно из писем его к сестре, княгине Софье Григорьевне Волконской, от 5 октября, из Николаевского завода, и к жене, от того же числа. Приводим эти письма в переводе с французского языка, на котором они писаны [2]).

„Добрейшая Сестра, в ту минуту, как я менее всего того ожидал, за мною прислали и спешно отправляют из Николаевского завода. Я не знаю, куда меня везут, — вероятно в Нерчинск. Прощу тебя, дорогой друг, перенеси этот новый удар судьбы с христианским смирением, подумай о том, что́ ты мне обещала, подумай о твоих детях. Я мужественно покоряюсь моей злополучной судьбе и полагаю мою надежду на божие милосердие. В своей доброте бог поддерживал меня до сих пор, — надеюсь, что я заслужу своим смирением продолжения его божественных милостей. Умоляю тебя не беспокоиться обо мне; будем в сердцах наших обращать каждодневно, один о другом, горячие молитвы. Да поддержит бог мою бедную мать, мою обожаемую жену, — я страдаю от той боли, которую я заставляю их разделять со мной. Молю тебя, Софья, береги их и дай мне о них известия, равно как и о моем сыне [3]).

„Я пишу эти строки второпях, страшно взволнованный и в суете столь скорого отъезда, что не могу больше говорить

---

[1]) Подробнее см. в „Историч. Вестн." 1897 г., № 8, стр. 490—514 и 1891 г., № 7, стр. 219—228.

[2]) Письма эти, вместе с письмом губернатора И. Б. Цейдлера от 6 октября (см. ниже) не дошли до М. Н. и Соф. Г. Волконских: Управляющий III Отделением М. Я. фон-Фок, в руки которого они были доставлены, докладывая о них Начальнику Отделения А. Х. Бенкендорфу, писал что „письмо Сергея Волконского к сестре не заключает ничего замечательного; но приложенное при оном черновое письмо, на имя жены его, содержит следующее место: „Нам нечего больше ожидать от справедливости людей,—участь моя решена слишком бесповоротно", — и письма эти были удержаны и сохранились в архиве III Отделения (дело I Экспедиции 1826 г., № 61, прил. к ч. 15, отд. 2, прил. 5).

[3]) Маленьком Николиньке Волконском, умершем в 1828 г.

с тобою. Ты понимаешь, что́ чувствует мое сердце ко всем вам — да подкрепит вас господь и поможет мне!

„Я заготовил письмо к моей жене в черновике,—ибо письма, которые становятся столь гласными, как мои, должны быть тщательно обдуманы; но так как у меня нет возможности переписать его, — я посылаю тебе его в черновом виде, а ты доставь его ей. Скажи ей, чтобы она мужалась и берегла себя для меня и для моего сына. Так как портрет ее прибыл в Иркутск, я надеюсь его получить, и если получу это счастие, оно уже меня не покинет. Еще раз,—да подкрепит вас бог, да сохранит он вас и поможет мне! Целую руки у матушки, прижимаю к сердцу моего ангела Машеньку, моего дорогого Николино и целую мою любимую Алину [1]). Скажите много нежностей Репниным [2]) и Зинаиде [3]). Да будет божественная благодать с вами и со мной! До свиданья, до свиданья! Господь даст нам это свиданье в этом свете или в другом. Твой брат Сергей. 5 октября 1826. Николаевск".

Жене своей Волконский тогда же писал следующее [4]):

„Дорогой друг, как я благодарен тебе за письмо твое от 16 августа [5])! Сообщая мне о страданиях, которые заставляет тебя испытывать неизвестность о моей участи, ты приносишь лишь утешение тому страданию, в которое погружено мое сердце уже столько времени. Нам нечего больше ожидать от справедливости людей, — участь моя решена слишком бесповоротно; но провидение, быть может, не откажется дать нам еще какое-нибудь облегчение на этой земле и уже доставляет мне утешительную надежду, что твои несчастия и мое раскаяние обеспечут для нас более счастливую участь в жизни вечной. Надежда на милосердие божие — единственное убежище, которое нам остается, — и не во власти людей лишить нас ее.

„Вот уже третья неделя, что́ я пишу тебе последовательно по почте, которая отходит из Иркутска раз в неделю. Если власти то допустят, я буду продолжать давать тебе вести с каждым курьером. С большим нетерпением ожидаю от тебя известий, — господь не лишит меня, надеюсь, получения утешительных сообщений. Моя надежда в нем, и к нему обращаю я мои молитвы о тебе и о моем сыне. Мое почтительное и нежное приветствие твоим родителям, постарайся получить для меня их прощение и скажи им, что они не могут осудить меня

---

[1]) Дочь княгини С. Г. Волконской, впоследствии за Дурново.

[2]) Брат Волконского с семьей.

[3]) Княгиня З. А. Волконская, жена брата, Никиты Григорьевича.

[4]) Это — первое из известных нам писем Волконского после отправки его в Сибирь.

[5]) Это нежное письмо, из Александрии, имения графиня А. В. Браницкой, сохранилось в архиве Волконского; оно было писано еще до получения М. Н. Волконскою известия о приговоре над ее мужем.

больше, чем я сам осуждаю себя за то горе, которое я заставляю тебя испытывать. Мое физическое состояние довольно хорошо, нравственное же состояние будет зависеть от известий, какие я получу от тебя. Мысленно благословляю тебя, равно как и Николино".

Как мы сказали выше, Иркутский губернатор И. Б. Цейдлер представил письма Волконского не прямо по адресу его сестры и жены, а в Главный Штаб, вместе со своим письмом к сестре декабриста; из Штаба последнее письмо с замечанием Сибирского генерал-губернатора А. С. Лавинского (находившегося тогда в Петербурге) о том, что „княгинею послан в Иркутск отпущенный на волю из крепостных людей Григорий Павлов, который намерен там избрать себе род жизни", и что „человек сей, может быть, для того в Иркутск отправлен, дабы получать и пересылать чрез него какие-либо сведения и тому подобное",—было доложено Начальнику Главного Штаба барону И. И. Дибичу, а последний 12 ноября переслал письмо Цейдлера и приложенный к нему договор вольноотпущенного Григория Павлова к Бенкендорфу — „для объяснения". Бенкендорф, как и следовало ожидать, после „объяснения" положил резолюцию—письмо и условие Павлова „не отдавать", — и они остались в деле III Отделения [1]). Вот письмо Цейдлера [2]) и договор Павлова.

6 октября [1826 г.]. Иркутскъ.

Милостивая Государиня!

Родственная любовь и дружба, которую вы оказываетѣ съ нежной заботливостію объ участѣ Брата вашего, обязываетъ меня известить Вашего Сіятельства, что место пребыванія его переменено по обстоятельствамъ, и что онъ будетъ находится за Байкаломъ, куда отправился въ состоянія здоровія лутчемъ; гдѣ находится будетъ, вы изволите быть извѣщены. Перемена сія не отяготитъ более ево состоянія, а только будетъ отдаленнее.

Вероятно Ваше Сіятелство изволили получить извещеніе, что Комиссіонеръ вашъ Яковлевъ въ Екатеринбургѣ померъ; бывшій съ нимъ Павловъ, опасаясь такого далняго путы, нанялъ въ Екатеринбургѣ мещанина и прибылъ съ нимъ сюда. Вещи приняты в мое храненіе, по реестру. С. Г. назначилъ себѣ изъ одежды и белія, а книги остаются здесь, и какъ Павловъ неимеетъ на уплату мещанину денегъ, то я видалъ

[1]) Архив III Отделения, д. I Эксп. 1826 г., № 61, к. ч. 15, Отд. 2 прил. 5.

[2]) Печатаем его со всею точностью орфографии, в которой чувствуется немецкий акцент автора.

ему 50 руб. и на обратній мещанину выездъ на прогоны 150 руб. Павловъ, имея свободу, изберетъ сѣбѣ состояніе, а вещи останутся у меня, до колѣ вамъ угодно будетъ зделать о нихъ распоряженіе. Портретъ М. Н. [1]) будетъ отправленъ къ нему, такжѣ трубки и табакъ.

Услышевъ, что высокопочтеннейшая Матушка ваша имеетъ намереніе виехать сюда, умоляю Вашего Сіятельства ихъ отъ таковой трудной поездкѣ отклонить: нетолько что трудность дороги, но и опасность въ путы отъ людей безнравственнихъ. Проститѣ мнѣ мою дерзость, но милостивое ваше ко мнѣ довеpіе даетъ мнѣ право быть откровеннимъ. Пребиваніе столь знаменитой особы въ здешнемъ краю невозможно.

Съ всегдашней готовностію исполнить все ваши приказанія, остаюсь

Вашего Сіятелства
покорный слуга
И. Цейдлеръ.

6-го октября
Г. Иркутскъ

На конверте: Ее Сіятелству Милостивой Государинѣ Княгинѣ Софіи Григорьевнѣ Волхонской. У Конюшеннаго Моста, въ домѣ Статсъ-Дамы Княгинѣ Волхонской.

Договор вольноотпущенного княгини А. Н. Волконской, Григорія Павлова (вероятно крестника отца декабриста князя Г. С. Волконского) и Оренбургского мещанина Якова Мельникова был составлен в следующей форме:

Екатеринбургъ. 1826-го года, сентября девятого дня, мы, нижеподписавшіяся, уволенный изъ владенія Статсъ-Дамы Ихъ Императорскихъ Величествъ Княгини Александры Николаевны Волконской, урожденной Княгини Репниной, изъ киргизъ карыкалпакъ Григорій Павловъ и Екатеринбургскій мещанинъ Яковъ Ивановъ Мелниковъ заключили между собою сей договоръ въ следующихъ пунктахъ: Первое. Порядился я, Мельниковъ, у него, Павлова, следовать вместе съ нимъ изъ Екатеринбурга до города Иркутска на собственныхъ Павлова прогонахъ и на его содержаніи съ имеющимися у него, Павлова, въ повоске разными вещами и во время проезда дорогою до Иркутска обязуюсь я, Мельниковъ, елико возможно сохранять отъ всякой растраты сказанные вещи. Второе. За съездъ мой до Иркутска и за услуги мои сколько я, Мельниковъ, буду у него, Павлова, находится на его собственномъ содержаніи, получать мнѣ, Мельникову, отъ него, Павлова, платы по прошествіи каждаго месяца по дватцати пяти рублей. Третіе. Буде я, Мельниковъ, не пожелаю быть у него, Павлова, въ услугахъ, то въ такомъ

[1]) Княгини Волконской.

случае обязанъ онъ, Павловъ, меня уволить и удовлетворить по расчету, сколько причитатся будетъ деньгами, и сверхъ того обязанъ мнѣ, Мельникову, Павловъ выдать на двѣ лошади изъ Иркутска до Екатеринбурга на заплату прогоновъ деньги, сколько следовать будетъ, равно заплатить мнѣ, Мельникову, и за то время, сколько проеду из Иркутска до Екатеринбурга, там же выдать мнѣ, Мельникову, и на содержаніе во время обратняго пути сколько нужно будетъ. Четвертое. Платье долженъ я, Мельниковъ, иметь свое и требовать от него, Павлова, онаго не долженъ. Пятое. При заключении сего договора получилъ я, Мельниковъ, от него, Павлова, денегъ напередъ пятдесятъ рублей и шестое. Заключа сей договоръ, должны мы содержать собоихъ сторонъ свято и ненарушимо, въ томъ и подписуемся. Изъ киргизъ калпакъ Григой [sic] Павловъ. Екатеринбургской мещанинъ Яковъ Мелниковъ.

Сей договоръ въ Екатеринбургѣ у Маклера слугъ и рабочихъ людей явленъ и въ книгу подлинникомъ подъ № 99 записанъ, — въ томъ сіе свидѣтельство и учинено Октября девятаго дня 1826 года. Маклеръ Миронъ Коростовъ.

Через два дня после первого письма к нежно любимой сестре своей декабрист Волконский, уже привезенный к берегу Байкала, для посадки на судно „Ермак“ [1]), сделал попытку отправить и еще одно письмо, — но и оно, доставленное Цейдлером Лавинскому в Петербург, было Лавинским переслано, 16 ноября, в Главный Штаб к Дибичу, 18 ноября доставлено к Бенкендорфу и, как и предыдущие письма, было задержано и приобщено „к делу“ [2]). Вот что писал Волконский в этом, втором письме своем к сестре, по-русски:

8 Октября 1826 г. У озера Байкала.

Друзья мои сердечныя, еще несколько строкъ; пишу вамъ оныя, садясь на трапспортъ для переезда чрезъ Байкалъ. Полагаю, что насъ вѣзут въ Нерчинскъ; принимаю сіе новое удрученіе моей участи съ христіанскою покорностью — и надѣжда моя на единаго Бога.

Буду вамъ пространнѣе писать, буде позволятъ, съ мѣста. Нынѣ же убѣдительно прошу васъ всѣхъ имѣть въ виду, что ваше спокойствіе духа — мнѣ истиннымъ утѣшеніемъ. Ради Бога, чтобъ жена не иначе бы пріѣзжала, какъ съ гласнымъ и письменным позволеніемъ быть при мнѣ — и тѣмъ избѣгнуть

[1]) См. об этом в Воспоминаниях Е. П. Оболенского. стр. 268.
[2]) Ib. c.. прил. 9.

гѣ страданія, которыя имѣетъ Трубецкая. Да Богъ будетъ вашимъ и моимъ спомощникомъ!

Сергѣй Волконской.

8 Октября.

На оборотѣ: Ея Сіятельству. Милостивой Государынѣ Софіи Григоріевнѣ Княгинѣ Волконской.

О страданиях и мытарствах княгини Е. И. Трубецкой, по пути к мужу встретившейся с ним и его сотоварищами в Иркутске, 6 октября 1826 г., известно из многих источников, — а потому, не приводя здесь этих рассказов [1]), мы сообщим здесь следующие письма Волконского с пути на каторгу — из Верхнеудинска, от 13 октября [2]), к сестре и к жене. Письма эти вместе с письмами декабристов Е. П. Оболенского к отцу (из Верхнеудинска же, от 12 октября), В. Л. Давыдова к брату Петру (от 14 октября оттуда же) и А. З. Муравьева к жене (от того же числа и оттуда же) были доставлены в III Отделение, причем здесь, несмотря на благосклонный доклад о них М. Я. фон-Фока, кончавшийся словами: „Они все только и живут надеждою получить хотя одну строчку, писанную их родственниками", было сделано распоряжение их „на основании правил, удержать", — и письма сохранились в Архиве б. III Отделения [3]).

Верхнеудинск. 13 Октября 1826 г.

„Вложенное здесь письмо, которое я направляю через тебя к моему ангелу-Машиньке, даст тебе некоторые подробности обо мне. Дорогая Софья, доставь его ей как можно скорее и давай мне аккуратно известия о себе и о ее близких. Ты понимаешь, как я беспокоюсь и о ней, и о тебе.

„Добрая Софья, вот твои опасения и оправдались,—и еще одною тысячею верст больше между нами. Я не знаю, что ожидает меня в Нерчинске,—но я подчинюсь всякому отягчению личного моего несчастья с тою покорностью, которую я должен иметь и которую обещал тебе сохранять — для твоего утешения.

„Из Нерчинска я надеюсь иметь возможность писать к тебе и к Матушке, у которой мысленно целую руки. Сообщи ей о перемене места моего назначения; всем в жизни нашей распоряжает бог — для нашего блага, если мы сумеем им воспользоваться. О, если бы я мог своими чувствами и своею покорностью принести некоторое утешение тем скорбям, которые я

[1]) См. напр., очерк Щеглятьева в книге В. И. Покровского: „Жены декабристов", М. 1906. стр. 65 — 72, и в очерке П. Е. Щеголева: Жены декабристов и вопрос об их юридических правах в его книге: „Исторические этюды", С.-Пб. 1913, стр. 395 — 441.

[2]) Даем их в переводе с французского языка.

[3]) L. c., прил. 15.

причинил моей бедной Матушке и вам всем, мои дорогие друзья! Тысячу дружеских приветствий Алине, которую я люблю очень нежно. Твой брат и друг Сергей.

„P. S. Извести меня о получении моих писем, и я то же сделаю относительно твоих, и пусть каждый из нас отмечает их отправление.

На обороте: Княгине Софье Григорьевне Волконской.

Жене своей декабрист писал в тот же день:

Верхнеудинск. 13 Октября 1826 г.

„Сколь бы ни были печальны известия, которые я должен сообщить тебе про себя, дорогой и обожаемый друг, — я предпочитаю посвятить тебя в них, чем оставлять тебя в неизвестности о том, что со мною делается. Как я уже сообщал тебе, прибыв в Иркутск в последних числах августа, я был помещен на одном винокуренном заводе, в недалеком расстоянии от города, и, согласно содержанию приговора, был употреблен на работы. Теперь место моего назначения переменено, — и вот я на пути к Нерчинску. Что ожидает меня там, мне неизвестно; будущее в виде работ в рудничках мало утешительно; как бы то ни было, дорогой друг, возложим надежду на бога и будем умолять его дать нам мужество к перенесению нашей несчастной участи, которая весьма сокрушительна для меня по тому участию, которое я заставляю тебя разделять со мною, мой ангел. Добрый и нежный друг, поддержи мою покорность твоим мужеством, не отягчай бедствие моей участи беспокойством насчет тебя и сохрани себя для нашего дорогого Николино, для которого ты единственная поддержка. Что до меня, дорогой друг, то как бы ужасна ни была будущность, которая может ожидать меня (в отношении моего политического положения), — чувство моих религиозных обязанностей и обязанностей в отношении к последним утешениям, которые я в состоянии тебе доставить, — помогут мне сносить мое несчастие. Да смягчат, дорогая Машенька, эти слова, исходящие из самой души, твои беспокойства настолько, насколько сердце мое ощущает, по милости божией, силы и мужества.

„Добрый друг, я не имею еще никаких от тебя известий после того, что тебе объявили о приговоре, произнесенном надо мною; беспокойство мое не поддается никакому выражению, и только несколько слов от тебя в состоянии меня успокоить. Последнее письмо, которое я получил от тебя, — от 9 августа [1]). Скоро-ли я буду получать от тебя более свежие письма? Всеблагий боже, не лиши меня этого утешения и помоги моей бедной Машеньке и моему сыну!

[1]) Письмо из Александрии, — коротенькое и с сообщением лишь известий о сыне, брате и матери декабриста.

„Я пишу тебе второпях, отправляясь вновь в путь сей же час; я надеюсь, что буду иметь возможность написать тебе по прибытии в Нерчинск и уже более пространно. Мои почтительные приветствия твоим родителям и дружеские — всем твоим. Еще раз, да поможет господь всему, что тебе дорого! Твой друг — и на всю жизнь — Сергей".

На обороте: Княгинѣ Марьѣ Николаевнѣ Волконской.

Но Волконскому удалось написать (к сестре) еще за несколько часов до прибытия в Нерчинск, хотя и это письмо его не дошло по назначению: пересланное в Главный Штаб, к Дибичу, оно отослано было им, 12 декабря, к Бенкендорфу и затем приобщено „к делу" [1]), как и предыдущие письма [2]):

26 Октября 1826 г. [3]), в 30 верстах от Нерчинских рудников.

„Итак, через несколько часов я прибуду, дорогой друг, к месту моего нового назначения, и так как мне неизвестно, получу ли я сразу позволение дать тебе известие о себе, я пишу к тебе настоящее письмо. Ты понимаешь, что я не могу сообщить тебе подробностей о существовании, которое я должен там влачить: я не могу ничего узнать и не должен давать тебе тревожных известий по случайным данным, которые я могу получить. Ты знаешь, что я могу быть привязан к жизни лишь постольку, поскольку она может быть дорога для вас, моих друзей, — и это чувство, равно как моя покорность велениям провидения, дадут мне, надеюсь, силу к перенесению моего убийственного положения. Как я обещал тебе, я не скрою от тебя ничего из того, что касается меня, — я тебе обещал это, зная твое мужество, и не буду в состоянии обмануть тебя. Добрая Софья, береги свое здоровье, сохраняй его для твоих детей и для твоего несчастного брата, ухаживай за моею обожаемою Матушкою и покровительствуй моему бедному сыну. В этом будет состоять величайшее утешение, которое ты могла бы мне доставить.

„Я надеюсь, что буду в состоянии писать к тебе более пространно по прибытии к месту моего назначения, — это вероятно. Я думаю, что должен предупредить тебя, что чем более я думаю о своем положении, тем более начинаю считать своим долгом не соглашаться на то, чтобы моя обожаемая Машенька приехала на жительство около меня. Ее обязанности к сыну и несчастное мое положение кладут к тому препятствие, которое я считаю непреодолимым. Вместе с тем не скрою от тебя,

---

[1]) L. c.. л. 19 — 20.

[2]) Даем его в переводе с французского.

[3]) Волконский ошибся в дате на один день: он писал не 26. а 25 октября.

что я был бы весьма счастлив, если бы Машенька получила разрешение приехать для краткого со мною свидания, — я не сомневаюсь в том, что она была бы весьма счастлива повидаться со мною еще раз, — и ты понимаешь, что я вполне разделяю это чувство. Если господь позволит мне еще раз повидать Матушку, жену и тебя, — сердце мое вкусит еще утешений, которых, кажется, оно уже не в состоянии чувствовать.

„Чтобы рассказать тебе о себе и о моем теперешнем путешествии, сообщу, что я нашел его более утомительным, чем путь до Иркутска; уже несколько дней, что́ у нас здесь морозы в 20°; благодаря всему тому, что́ мне дали при моем отъезде, я смог защитить себя от них. Что касается моего здоровья, то оно довольно хорошо, и я принимаю, как действие божественного покровительства, то, что еще в состоянии переносить мои нравственные и физические скорби.

„Получу-ли я, наконец, определенные известия о Машеньке? Быть может получу, по прибытии моем на место, письма от тебя и от жены? О, если бы бог дал мне это утешение! Я пишу только к тебе, — я слишком взволнован для того, чтобы писать к Матушке и к Машеньке, — сообщи им обо мне и скажи им, что мысль о том, что я заставляю их страдать, — больше всего угнетает меня. Последнее письмо, полученное мною от тебя, — от 24 августа“ [1]).

„Да даст тебе небо силы к перенесению всех горестей, которые я причиняю тебе; пожалуйста, еще раз, — береги свое здоровье и думай о твоих детях и обо мне. Мне хотелось бы также, чтобы, наконец, прекратились все новые распоряжения, служащие к отягчению моего несчастного положения, чтобы тем самым не причинять тебе новых страданий. Обнимаю тебя, равно как и Алину, и прошу вас попросить мою жену обнять от меня сына. — Сергей“.

На оборотѣ: Ея Сіятельству Милостивой Государынѣ Княгинѣ Софьѣ Григорьевнѣ Волконской. На Мойкѣ близъ Конюшеннаго моста въ домѣ Княгини Волконской. Въ Петербургѣ.

* * *

Пока Волконский с товарищами таким образом приближался к месту каторги, о них шла переписка горных начальников. Так, шихтмейстер Макаров, в ответ на предписание Бурнашева от 17 октября о том, чтобы „8 человек государственных преступников, по доставке на станцию Зерентуйскую, препроводить прямо на Благодатский рудник, не завозя в Нерчинский Завод“,—доносил 25 октября, за № 326, что они „в станцию Зерентуйскую привезены сейчас“ [2]). Приезду декабристов на рудник предше-

[1]) Оно не сохранилось в архиве декабриста

[2]) „Истор. Вестн.“ 1897. № 8. стр. 195.

ствовало еще присланное Бурнашеву губернатором Цейдлером, а Бурнашевым 23 октября пересланное Управляющему Горною Конторою и всеми рудниками маркшейдеру Петру Михайловичу Черниговцеву „описание примет государственных преступников", при чем о Волконском было прописано, что он от роду 38 лет, „ростом 2 аршина $8^1/_4$ вершков, лицом чист, глаза серые, лицо и нос продолговатые, волосы на голове и бровях темнорусые, на бороде светлые, имеет усы; корпусу среднего, на правой ноге, на берце, имеет рану от пули, зубы носит накладные при одном натуральном переднем верхнем зубе"... Донося о прибытии декабристов на рудник, упомянутый Черниговцев 26 октября писал Начальнику Заводов: „Все означенные 8 человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике; все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания; некоторые знают иностранные языки, на каковых написаны ими самими за подпискою прописи [для сличения их почерков на письмах], которые за свидетельством моим при сем представляются". При этом Черниговцев представлял и перепись вещам каждого из декабристов, при чем у каждого находились: образ, Евангелие, грудные кресты, белье, платье в ограниченном количестве, нагольные тулупы, у некоторых — чугунные распятия, из книг — календари и пр. Часть вещей при них была оставлена, а другая, в том числе деньги в ничтожном количестве, отобраны на хранение" [1]).

Жена декабриста Волконского в своих Записках сохранила нам подробное и живое описание ужасной тюрьмы, в которой помещены были декабристы на Благодатском руднике [2]); декабрист Оболенский тоже оставил рассказ о том; наконец, сын Волконского в своем послесловии к Запискам отца также сообщил вкратце о тюрьме и о работе в ней каторжан. „Тюрьма, в которой были помещены арестанты", говорит он: „была тесная и донельзя грязная; она разделялась сенями на две больших комнаты: в одной помещались рецидивисты-каторжане, а в другой — восьмеро государственных преступников; в последней были устроены маленькие отделения, низкие и темные, в которых нельзя было ни стоять, ни чем-либо заниматься. Отделение Волконского разделяли с ним Трубецкой и Оболенский. Закованные в кандалы, арестанты работали в подземных шахтах, спускаясь в них в 5 часов утра и оставаясь до 11 дня. Норма выработки руды полагалась в 3 пуда на каждого. Эта работа, сравнительно облегченная, была установлена в ноябре 1826 г., по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири, сооб-

---

[1]) Записки княгини М. Н. Волконской. изд 2-е, С.-Пб. 1906. стр. 142 ср. „Историч. Вестн." 1897 г., № 8, стр. 497 — 498.

[2]) Записки. изд. 1914. стр. 72 — 75.

щенному Т. С. Бурнашеву губернатором Цейдлером, который писал: „Нынешний порядок об употреблении их в работу признано нужным переменить и потому распорядиться, чтобы они были употреблены в работу одну смену в сутки; посылать их без изнурения и с обыкновенными льготными днями, но надзор за ними усугубить". Распоряжение это, сколько можно судить, последовало по высочайшей воле" [1]).

По прибытии в Благодатск, декабристам дали, по словам Оболенского, отдохнуть в течение трех дней, — после чего началось неукоснительное отбывание ими каторги, продолжавшееся в течение почти 11 месяцев, — до 13 сентября 1827 г., т.-е. до перехода их в Читу, где рудников не было и где их употребляли на различные другие принудительные работы: копание земли, перемол муки и т. под. О нравственном и физическом состоянии каторжан можно составить довольно ясное представление по тем рапортам, которые доставлялись ближайшими тюремными их надзирателями Начальнику Нерчинских горных заводов Т. С. Бурнашеву [2]). Из рассказа Оболенского также можно судить о том, как чувствовали себя сосланные в первое время по прибытии в каторгу, что их волновало и как они устроились. Но у нас не было еще современных событиям документов, которые непосредственно сообщили бы нам обо всем этом; на этом основании следует придать особенное значение тем нескольким письмам Волконского к жене и к сестре, которые дошли до нас случайно, в черновых, иногда неполных брульонах. Сейчас мы приведем их текст, теперь же скажем еще, что по приезде в Благодатск Волконский был обрадован получением, 28 октября [3]), двух писем от близких ему людей [4]), хотя содержание первого из них — от тестя, Н. Н. Раевского, и должно было сильно расстроить его. Н. Н. Раевский писал зятю следующее:

23 августа [1826 г.]. Москва [5]).

Чувства раскаянія въ твоемъ преступленіи и чувства, изъявляемые къ женѣ твоей въ твоемъ письмѣ къ моему сыну, достаточны бъ были, мой другъ Сергѣй Григорьевичь, чтобъ воз-

---

[1]) Записки, С.-Пб. 1901. стр. 462 — 463.

[2]) Образчики их см. там же. стр. 463 — 464.

[3]) Судя по пометкам самого Волконского на этих письмах.

[4]) Были, может быть и другие письма, но они не дошли до нас.

[5]) Писано на второй день после коронации Николая I. по случаю коей декабристам были несколько уменьшены назначенные им 13 июля 1826 г. наказания. Волконскому было убавлено 5 лет каторги. Письмо это было послано Н. Н. Раевским А. Х. Бенкендорфу при следующей записке (без даты): „Le G-al Rayefsky a l'honneur de prier Monsieur le Général de Benckendorff de vouloir bien obtenir de S. M. l'Empereur la permission de faire parvenir la lettre ci-jointe à Serge Volkonsky et d'avoir la bonté de la lui expédier: il poura juger par son contenu, combien il est important à la tranquilité

будить въ насъ состраданіе къ твоему положенію; вѣрь, мой другъ, что все мое сѣмейство раздѣляетъ оное, — ты знаешь, мой другъ, что я никогда не говорю, чего не чувствую; весьма понимаю, что оно послужитъ тебѣ услажденіемъ, да укрѣпитъ тебя Всевышній!

Жена и сынъ твой здоровы; чрезъ нѣсколько дней отправляюсь возвѣстить Машинькѣ то, чего она еще въ полнѣ не знаетъ. Я таилъ отъ нее до моего присудствія, зная, сколько, по привязанности ко мнѣ, присудствіе мое будет ей утѣшительно и придастъ ей силъ душевныхъ. Въ письмѣ твоемъ къ ней ты показываешь желаніе ее видѣть. Властію моею я могу остановить ее, но сіе должно произходить отъ тебя. Подумай, другъ мой, перенесетъ ли она нѣсколько мѣсяцевъ путѣшествія, — подумай, можно ль нѣсколькихъ мѣсяцевъ младенца подвергнуть вѣрной смѣрти, — какую можетъ дочь моя доставить ему и себѣ помощь! Подумай, что она симъ лишится своего званія, а дѣти могущіе отъ васъ произойти, не будутъ имѣть никакого. Сердце твое само скажетъ тебѣ, мой другъ, что ты самъ долженъ писать къ ней, чтобъ она къ тебѣ не ездила. Надѣйся, мой другъ, на меня, на моихъ и на брата твоего Репнина, что сынъ твой будетъ имѣть попѣчителей нежныхъ и неутомимыхъ.—По пріѣздѣ моемъ въ Бѣлую Церковь, гдѣ жена твоя находится, я отправлю отъ нее письмо къ тебѣ, и регулярно будемъ увѣдомлять тебя о всемъ, что для тебя драгоцѣнно. — Богъ съ тобой, мой другъ.

Н. Раевской.

Рукою С. Г. Волконского помета: Получено 28-го Октября 1826. Благ. Рудникъ. Отвѣчалъ 12-го Ноября.

Сестра Волконского—княгиня С. Г. Волко́нская, писала брату 3 сентября из дворца на Каменном Острове и сообщала ему о своей серьезной болезни, а также о том, что она получила известие о проезде его через Пермь 5 августа: она посылала ему при этом печатные указы о наградах по случаю коронации Николая I и, наконец, уведомляла о том, что жена его находится, вероятно, у брата декабриста — князя Репнина, и т. под.

К 12 ноября Волконский заготовил целый ряд писем: к жене, к матери, к тестю Н. Н. Раевскому [1]), к брату—князю

---

de sa famille que cette lettre lui parvienne. Le G-al Rayefsky profite de cette occasion pour renouveller à Monsieur le Général de Benckendorff l'assurance de sa considération très distinguée" (Архив III Отделения. д. 1 Экспед. 1826 г., № 61, ч. 15, Отд. 2, л. 1). — 28 Августа А. Х. Бенкендорф отослал уже письмо Раевского к А. С. Лавинскому, испросив на то Высочайшее дозволение, о чем в тот же день, за № 123, уведомил и Н. Н. Раевского (там-же, л. 2 и 3).

[1]) Это был, ответ на приведенное выше письмо Раевского к Волконскому из Москвы от 23 августа.

Н. Г. Репнину, к сестре—княгине С. Г. Волконской и, наконец, к Иркутскому губернатору И. Б. Цейдлеру, с просьбой к последнему об отсылке писем по назначению. Цейдлер исполнил желание Волконского и отправил письма, вместе с другим письмом Волконского к сестре — от 5 ноября, в Петербург, в Главный Штаб, откуда, по распоряжению Дибича, они были доставлены в III Отделение. М. Я. фон-Фок составил о них для Бенкендорфа особый доклад, в котором, между прочим, писал, что в письме к Цейдлеру Волконский „просил о верном доставлении по принадлежности прочих писем, которые не содержат в себе ничего предосудительного; в них изложены только желания преступника свидаться с женою и разные обстоятельства, относящиеся до семейственных и денежных дел“ Но, несмотря на такой благожелательный тон доклада, на нем была положена, 6 января 1827 г., беспощадная резолюция: „Письма сии по прилагаемому регистру, на основании правил, уничтожить“ [1]), — что́, конечно, и было исполнено. Однако, все же судьба сохранила для нас два из этих писем полностью, а одно в отрывке — в черновиках, в архиве самого декабриста: в архиве этом находятся 10 вырванных из тетради листков темно-голубой писчей бумаги (с пометами страниц 17—22, 27—31 и 41—46), на которых набросаны письма Волконского к жене и к матери от 12 ноября, к жене и к сестре (начало) от 18 ноября, к жене и к сестре (начало) от 21 ноября. Листки тетради сохранились в архиве декабриста заключенными в обложку с надписью: Brouillon de lettres écrites par moi à différentes personnes de Благодат. avant la déffense faite à nous d'écrire nous-même“. Приводим последовательно эти сохранившиеся черновики уничтоженных III Отделением писем Волконского.

Письмо къ Женѣ отъ 12-го Нояб. 1826. Благодат.

Ангелъ мой, дражайшая Машинька, при горестной моей судьбѣ великимъ умноженіемъ тягости оной, что каждое мое письмо должно тебѣ быть причиною новой скорби. Я увѣренъ, что хотя я одинъ виновникъ твоихъ нещастій, но не могу быть чуждъ твоему сердцу, и что по твоей привязанности ко мнѣ ты только и мыслишь о томъ, какъ бы мнѣ принесть утѣшеніе. Сколько не сладостно мнѣ сіе чуство, столь свойственное твоей добродѣтельной душѣ, я поставляю, однако жъ, себѣ священнѣйшею обязанностью описать тебѣ по истинѣ и въ подробности, каково мое теперешнее и предстоящее положеніе. Отъ души желалъ бы скрыть его отъ тебя и тѣмъ не подать новой причины твоимъ горькимъ слезамъ. Но, безцѣнной другъ, я поставилъ бы себѣ новымъ вѣчнымъ упрекомъ, ежели бы утаилъ оное отъ тебя, когда оно можетъ имѣть столь значительное

[1]) Архив III Отделения, д. I Экспед. 1826 г., № 61, к ч. 15, отд. 2, л. 14.

вліяніе на рѣшенія, тобою, какъ я не сомнѣваюсь, къ моему утѣшенію предпринимаемыя.

Тебѣ должно быть уже извѣстно, что я не нахожусь болѣе въ окрѣностяхъ Иркутска, а въ Нерчинскихъ Заводахъ, при Благодатскомъ рудникѣ. Со времени моего прибытія въ сіе мѣсто я безъ изъятія подверженъ работамъ, опрѣделеннымъ въ рудникахъ, провожу дни въ тягостныхъ упражненіяхъ, а часы отдохновенія проходятъ в тѣсномъ жилищѣ, и всегда нахожусь подъ крѣпчайшимъ надзоромъ, мѣры котораго строжѣе, нежели во время моего заточенія въ Крѣпости, и по сему ты можешь представить себѣ, какія сношу нужды и въ какомъ стѣсненномъ во всѣхъ отношеніяхъ нахожусь положеніи.

Вотъ главныя черты собственно до меня относящихся мѣръ. Тебѣ же, Машинька, съ пріѣздом ко мнѣ надлѣжать будетъ здѣлать многія и большія пожертвованія въ силу существующихъ узаконеній и, можетъ быть, новыхъ на нашъ щетъ вослѣдующихъ постановленій. Подробности оныхъ легчѣ можно тебѣ узнать въ точной ихъ истинѣ, нежели мнѣ. Я прошу Матушку мою тебя о всѣмъ увѣдомить. Съ прибытіемъ сюда ты должна будешь лишиться своего званія, должна будешь разлучится съ сыномъ, ибо я полагаю пріѣздъ твой съ Николушкой въ теперешнемъ его возрастѣ невозможнымъ. Какія мѣры осторожности почтутъ нужнымъ принять по случаю пріѣзда женъ къ мужьямъ, въ моемъ положеніи находящихся, мнѣ не извѣстно, но можетъ быть многія изъ принятыхъ на щетъ меня мѣръ разпространятся и на тебя; ты должна будешь во всемъ терпѣть нужду не только естли будешъ раздѣлять во всѣхъ отношеніяхъ стѣсненное мое положеніе, но даже и въ томъ случаѣ, когда бы имѣла полную волю во всѣхъ твоихъ поступкахъ, по невозможности доставить себѣ въ семъ краю даже обыкновенныя и необходимыя довольства простой жизни. Сверхъ того должна будешь частью раздѣлять тѣ уничиженія, которымъ я подверженъ, находясь подъ ежеминутнымъ и раздѣленкомъ столь многими лицами надзоромъ и не имѣя, по теперешному моему званію, ни передъ кѣмъ голоса и ни отъ кого защиты.

Поставивъ себѣ въ обязанность описать тебѣ всѣ обстоятельства ужаснаго моего положенія, я слишкомъ цѣню тебя и слишкомъ увѣренъ въ твердости твоего духа, чтобъ могъ подумать, что все, до меня или лично до тебя относящѣеся. могло бы отмѣнить рѣшеніе, тобою мнѣ въ каждомъ письмѣ и въ словахъ повторенное. Я знаю, что ты только можешъ быть спокойна, бывъ со мною или имѣвъ возможность видѣть меня, и обманулъ бы тебя, ежели бы сталъ увѣрять, что свиданіе съ тобою не было [бы] для меня единственнымъ утѣшеніемъ въ горѣстной моей участи. Но, милой мой другъ, ты имѣешь также и другія обязанности,— ты мать, ты дочь, и я готовъ всѣмъ жертвовать, чтобъ доставить тебѣ успокоеніе.

Вотъ, что я должень и въ силахъ тебѣ сказать,—самой же тебѣ предстоитъ рѣшить, что можешъ ты для меня здѣлать и чѣмъ ты обязана сыну и твоимъ родителямъ. Я тебя ставлю въ жестокое положеніе, но, милой другъ, я не въ силахъ произнесть приговоръ вѣчной съ тобою разлуки, ежели же симъ только средствомъ можешь ты обеспечить свое спокойствіе, ежели сіе необходимо для будущности сына нашего, естли я только тѣмъ могу отвратить вѣчную твою съ нимъ разлуку, то какъ бы для насъ обѣихъ ни была бы велика жертва, которая не можетъ быть никѣмъ въ полной мѣрѣ оцѣнена, и въ какомъ бы мрачномъ видѣ не представлялась намъ наша будущность въ семъ мирѣ,—Ангелъ мой, повинуйся тому, что сердце твое и чувство обязанностей твоихъ признаетъ необходимымъ, и вѣрь, что какое бы твое рѣшеніе не было, даже естлибъ я чрезъ него лишился на всегда надежды тебя видѣть, то и въ сей ужасной горѣсти моей послужитъ мнѣ облегченіемъ увѣренность, что они тобою въ полной мѣрѣ раздѣляемы и что въ рѣшеніи твоемъ ты повиновалась одной жестокой необходимости. Знаю, сколь таковая жертва будетъ тягостна твоему сердцу, и буду видить оной въ опытъ твоихъ неоцѣненныхъ добродѣтелей.

Милой мой другъ, изьясненіе чуствъ моихъ хотя изтекло изъ сердца моего, но вѣроятно найдетъ строгихъ судей. Ежелибъ при любви моей къ тебѣ могъ я принять въ какую либо цѣну сужденія свѣта, легко бы мнѣ было заслужить его одобреніе изрѣченіями, извлѣченными изъ умственныхъ разсужденій, а не изъ сердечныхъ чувствъ. Но нѣтъ, милая моя Машинька, не могло и не можетъ входить въ соображеніе въ сношеніяхъ моихъ съ тобою, и естлибъ я рѣшился положительно тебѣ сказать, чтобъ ты не пріѣзжала, я бы искалъ похвалъ, противныхъ моимъ чуствамъ, и грѣшилъ бы противъ тебя и моей совѣсти. Писавъ къ тебѣ, я умолялъ Бога быть моимъ наставникомъ. Ты поймешь всю силу моихъ словъ и чувствъ, и будѣ заслужу негодованіе мирское, то знаю, что ты будешь меня судить иначѣ, и уповаю, что Всевышній Судья, которому мысли и чуства моего сердца не скрыты, не оставитъ меня ни въ сей, ни въ будущей жизни безъ утѣшенія.

Сердечный другъ, смѣло руководствуйся твоимъ сердцемъ: оно сообразитъ то, что ты можешь здѣлать для меня, соблюдая твои обязанности предъ сыномъ и имѣвъ въ виду принесеніе облегченія чуствамъ горести о мнѣ моего семейства.

Не огорчайся тѣмъ, милая Машинька, что въ письмѣ я мало тѣбе говорю о моемъ сынѣ: любовь моя къ нему вмѣщается въ любви моей къ тебѣ; онъ близокъ моему сердцу, и Всевышнему о немъ приношу я теплыя молитвы; но въ жестокихъ моихъ сердечныхъ страданіяхъ я слишкомъ занятъ горестью, которою я тебѣ причинилъ, чтобъ могъ ее ставить въ сравненіе съ чуствомъ горести о разлукѣ съ сыномъ.

Симъ моимъ письмомъ я тебѣ объяснилъ все то, что давно желалъ и не могъ тебѣ сообщить. Касательно моего положенія я не могъ тебя успокоить, но надѣюсь на твою твердость. Твое сердце поймете мои чуства. Да Богъ тебя наставитъ въ твоихъ рѣшеніяхъ и приметъ мои молитвы о тебѣ и о нашемъ сынѣ. Ты можешь судить, съ какимъ нетерпеніемъ я буду ждать твоего отвѣта, и будь увѣрена, что съ тобою-ли или въ разлукѣ любовь моя къ тебѣ неизмѣнна. Богъ да благословитъ тебя и Николушку!

По гробъ твой другъ.

Письмо къ Матушкѣ отъ 12-го Нояб. 1826. Благод. [1]).

Я слишкомъ много имѣю опытовъ сострадательности вашей ко мнѣ, чтобы не открыть вамъ тайны сердца моего; Ваша родительская нѣжность раздѣляетъ мои душевныя страданія и, можетъ быть, откроетъ способъ къ облегченію ихъ.

Письмо, полученное мною отъ Тестя [2]) и въ копіи приложенное къ письму моему къ брату Репнину, отвѣтъ мой к Ник. Ник. и письмо мое къ Машинькѣ [3]), дадутъ вамъ полное понятіе о грусти моей. Поставляю себѣ въ обязанность о всемъ васъ увѣдомить и предлагаю всѣ обстоятельства Вашему сужденію.

Прошу васъ всѣ приложенныя письма переслать къ брату Николаю, подтвердивъ ему, чтобъ онъ ихъ доставилъ безъ замедленія, и ежели возможно, то письмо мое къ женѣ моей вручилъ или самъ, или чрезъ вѣрнаго посланнаго, — но въ собственныя руки.

Я писалъ къ женѣ и ко всѣмъ, какъ сердцо чувствуетъ; увѣренъ въ неизмѣнности любви Машиньки ко мнѣ,—и что́ Провидѣнію угодно будетъ устроить къ обоюдному нашему утѣшенію или умноженію нашей скорби, то мы должны принять съ благодарностью или съ христіанскою покорностью.

Я также почелъ обязанностію описать Машинькѣ всю тягость моего положенія, чтобъ тѣмъ избѣгнуть упрека, не ея, котораго вѣрно она бы мнѣ и не здѣлала, — но собственнаго моего; таить оное отъ нее было бы мнѣ не простительно. Боюсь, чтобъ откровенность моя не была причтена другимъ причинамъ, и чтобъ не почли ее за ропотъ на мою судьбу. Умоляю Васъ, Матушка, не раздѣлять таковаго о мнѣ сужденія: ропотъ не причастенъ теперешнимъ моимъ чуствамъ, и сколь бы не была тягостна моя участь, — я въ ней вижу испытаніе, посланное отъ Бога, и молю Его, чтобъ онъ черезъ мое нещастіе отвратилъ отъ Васъ и близкихъ моему сердцу всякія другія скорби

[1]) Черновое.
[2]) От 23 августа.
[3]) Они были уничтожены в III Отделении.

В отрывоке чернового письма декабриста к сестре, С. Г. Волконской, от 12 же ноября, из Благодатского рудника, читаем:

. . . . . „[Маше]ньку столь великимъ огорченіямъ и поставляющее ее въ столь затруднительное положеніе и, можетъ быть, навлѣкшее на нее осужденіе свѣтское, — ибо когда все жены мужей, находившихся въ заточеніи, ѣхали въ Петербургъ — одна Машинька принуждена была меня оставить — и вѣрно никто болѣе ее не былъ готовъ принесть мнѣ всякаго рода пожертвованія. Теперь я рѣшился ни ей, ни себѣ не причинять новыхъ подобныхъ огорченій, и пусть они будутъ деломъ родительской власти, — я не согласенъ быть къ тому орудіемъ.

Ради Бога, добрая моя Софія, не огорчайся о моей участи и о моихъ душевныхъ и сердечныхъ страданіяхъ. Благодать Божія дастъ мнѣ силу переносить оныя, — а ты помни, мой другъ, сколь твое здоровье драгоцѣнно для меня и твоего семейства. Целую отъ души Алину. Да Богъ сохранитъ тебя для истинно тебя любящаго Брата“.

Наконец, вот еще

Письмо къ женѣ отъ 18-го Ноября 1826 г. Благод.

Ангелъ мой, милая Машинька, на другой день по отправленіи моего къ тебѣ письма отъ 12-го Ноября получилъ я твое письмо отъ 27-го Сент. [1]), въ которомъ ты меня увѣдомляешь, что наконецъ тебѣ объявили о постигшей меня тягостной участи. Всѣ чувствы душевныхъ моихъ страданій возобновились въ полной ихъ силѣ при мыслѣ о ощущаемой тобою безпредѣльной горести, тѣмъ болѣе для тебя жестокой, что ты, обольщенная на щетъ истиннаго хода дѣла моего, не могла постепенно приготовиться къ тому, что тебя постигло. Большимъ поставляю себе упрѣкомъ, что не открылъ тебѣ истиннаго моего положенія при послѣднемъ нашемъ свиданіи, въ томъ я одинъ передъ тобою виноватъ и могу только тѣмъ оправдатся, что я, ожидавъ смертой казни, хотѣлъ тебя удалить изъ Петербурга. Ты права, что отсутствіе твое во время отправленія моего отяготило судьбу мою, и, конечно, усугубило тѣ душевныя страданія, которыя я ощущаю и которыя еще, можетъ быть мнѣ предстоятъ. Я увѣренъ, что возможность свиданія въ то время не только доставила бы тебѣ тогда утѣшеніе, но и облегчила бы и теперешнее твое положеніе. Въ принятыхъ же съ тобою мѣрахъ со дня рѣшенія судьбы моей ни я, ни родственники мои не имѣли никакого участія. Милый мой

[1]) От этого письма М. Н. Волконской (из Александрии, на французском языке) в архиве декабриста сохранился лишь небольшой отрывок в несколько слов: „. . . мой отъезд. Прощай, дорогой друг, надежда вновь увидеть тебя — большое для меня утешение“.

другъ, я не одинъ находился въ тогдашнемъ моемъ положеніи, и могъ ли я помыслить, чтобъ ты не имѣла силъ здѣлать то же для меня, что столь много женъ оказали въ сіе нещастное время своимъ мужьямъ?

Письмо, мною отъ тебя нынѣ полученное, доставило мнѣ истинное утѣщеніе всѣми тѣми изрѣченіями, которыя изтекли изъ сердца твоего. Я тебѣ неоднократно, и въ особенности 12-го числа, подробно писалъ о ожиданіяхъ моихъ отъ тебя; не свѣтскія соображенія, но желаніе спокойствія намъ обѣимъ одушевляло мои чувства; я писалъ тебѣ, что я не сомнѣваюсь въ неизмѣнности твоихъ чувствъ и въ готовности твоей всѣмъ пожертвовать, чтобъ принесть мнѣ утѣшеніе, не скрылъ отъ тебя, съ какими сіе сопряжено для тебя трудностями, сказалъ, что готовъ принесть тебѣ въ жертву и послѣднею мою надежду,— и что все, что Богу угодно будетъ устроить, и что обстоятельства тебя заставятъ здѣлать, какъ бы оно не было не согласно съ моими желаніями и ожиданіями, но я всему буду повиноватся безъ ропота, — хотя съ чувствомъ безпредѣльной горести. Мое письмо от 12-го Нояб. объясняетъ тебѣ все, что предстоитъ тебѣ тягостнаго въ пребываніи твоемъ со мною, и въ какомъ я нахожусь стѣсненномъ, оскорбительномъ и нуждающемся положеніи. Можетъ быть, объясненіе сихъ подробностей будетъ причиною, что оное письмо мое не будет пропущено начальствомъ (хотя и не могу полагать, чтобъ сіе было тайною) [1]), и по сему прилагаю при семъ особенно выписку того, что касается до изъясненія чуствъ моихъ.

(Примѣчаніе. За симъ слѣдуетъ, что сказано въ письмѣ моемъ къ женѣ от 12-го Ноября съ стран. 18 лин. 26 по стран. 20 лин. 25).

Милой мой другъ, съ пріѣзда моего въ Иркутскъ и по сіе время письмы мои повторяютъ тебѣ одно чуство; желаніе видить тебя обладаетъ моимъ сердцемъ,—надежда получить сіе утѣшеніе живитъ меня, и я не могу перестать писать къ тебѣ то, что сердце мнѣ твердитъ. Я былъ бы не справедливъ предъ тобою, естли бъ могъ подумать, что новое отягченіе судьбы моей можетъ перемѣнить намѣреніе твое въ разсужденіе меня.

Безцѣнной мой другъ, ты желаешъ раздѣлить жизнь твою между мною и сыномъ; повѣрь, что я умѣю цѣнить въ полнѣ твое благонамѣреніе, но я поставляю себѣ обязанностью представить тебѣ, что исполненіе онаго я щитаю не возможнымъ. По положенію, въ которомъ я нахожусь, я не имѣю средствъ разрѣшить, какимъ образомъ можешъ ты согласить изъясненныя тобою желанія твои съ тѣмъ, что возможно тебѣ исполнить; ты должна разсмотреть обстоятельства, — и въ рѣшеніи я полагаюсь на твое сердцо. Но не обольщай себя, милой

[1]) Письмо это, какъ сказано было выше, не дошло до княгини Волконской.

другъ, ложными надеждами: тебѣ предстоитъ или вѣчная разлука со мною, или временная — съ сыномъ. Ты знаешь, Ангелъ мой, что сердцо мое чувствуетъ сильно, и при ощущаемыхъ душой моей страданіяхъ, вѣроятно, жизнь моя будетъ весьма не продолжительна. Физическія труды не могутъ привести меня въ уныніе, но сердечныя скорби, конечно, скоро разрушатъ бренное мое тѣло. Ради Бога, милой другъ, буде тебѣ возможно, не удаляй того щастливаго дня, которой ты мнѣ, обѣщаешь будущею вѣсною. Положись во всемъ на Бога Онъ дастъ тебѣ свободу посвятить остальную жизнь твою единственно сыну, или, по многомилосердію своему, можетъ быть, утѣшитъ насъ обѣихъ со временемъ возможностію присоединенія его къ намъ. Я не могу привыкнуть къ мысли, что несуждено мнѣ болѣе тебя видить, — одна твоя воля можетъ заставить меня покорится такой горестной будущности. Милой мой другъ, я не прошу тебя привести нынѣ сына, умоляю даже оставить его, сколь бы не сладостно мнѣ было взглянуть на него, но симъ я жертвую для будущаго твоего утѣшенія; посвяти ему всю жизнь свою, а мнѣ, милый другъ, удѣли изъ нее частицу. Машинька, посѣти меня преждѣ, нежели я опущусь въ могилу, дай взглянуть на тебя еще хотя одинъ разъ, дай излить въ сердцѣ твое всѣ чуства души моей. Другъ мой, приди принять отъ меня благословеніе, которое я пошлю сыну нашему; сама ты принесешь мнѣ несказанное утѣшеніе и даже выполнишь долгъ предъ сыномъ — и тогда мнѣ легчѣ будетъ оставить миръ, въ которомъ я не для кого изъ любимыхъ мною не могу уже быть отрадою. Въ затруднительномъ положеніи, въ которомъ ты находишься, можетъ быть, сердечный другъ, ты пожелаешь знать мысли моихъ родственниковъ; я прошу тебя не просить совѣта у Матушки и Сестры моей,—ихъ горячность ко мнѣ можетъ быть слишкомъ пристрастною, но обратись къ Брату моему и невѣсткѣ моей Репнинымъ, — и ты можешь быть увѣрена, что они болѣе будутъ имѣть въ виду твое теперешное и будущее спокойствіе, нежели мое утѣшеніе. Брата я почитаю себѣ вторымъ отцомъ, и ему извѣстны всѣ мои мысли и чуства. Но во всѣхъ обстоятельствахъ я ручаюсь тебѣ за мое семейство, что во всемъ, что будетъ касатся устроенія твоего спокойствія, родственники мои, всѣ безъ изъятія, поставятъ себѣ обязанностію и щастіемъ предупредить всѣ твои желанія.

Милой другъ, естли Богъ сохранитъ дражайшую мою Софію [1]), окажи ей твоей дружбою и довѣренностью ту благодарность, которая отъ насъ къ ней должна быть безпредельна. Ты просишь ее уведомить тебя о всемъ томъ, что я говорилъ ей въ послѣднее мое съ ней свиданіе; ты можешь понять, сколь много я говорилъ о тебѣ, и естли Богъ намъ сохранитъ

[1]) Сестру, княгиню Волконскую; она была тогда сильно больна.

сестру, не отдаляй время твоего свиданія съ ней, и тѣмъ ты себя и меня утѣшишь. Прося тебя любить Софію, прошу тебя посвятить также твою дружбу и Алинѣ: она въ полной мерѣ ее заслуживаетъ по чуствамъ ее къ намъ. Желаніе твое, чтобъ имя сестры моей было присоединено къ нашимъ именамъ на браслетѣ, которой я просилъ ея при отъѣздѣ моемъ тебѣ доставить, — оказываетъ мнѣ силу чуствъ твоихъ къ ней. Ангелъ мой, слова мои не могутъ изъяснить, сколь я тебѣ за сіе благодаренъ.

Письмо мое покажется тебѣ грустнымъ, но будь увѣрена, милая Машинька, что я не ропщу на тебя; въ тягостныхъ страданіяхъ души моей, я ныне болѣе, нежели когда, объемлемъ былъ горестью и рука только чертила, что сердцо чувствовало, и кому же мнѣ повѣрить мои скорби какъ не тебѣ? Мой другъ, я тебя обожаю болѣе, нежели когда-либо; судьба моя земная тягостна мнѣ въ томъ отношеніи, что ты раздѣляешъ тягость оной; жизнь можетъ быть сносна для меня только тогда, когда она для тебя не будетъ обременительна. Я чуждъ свѣту — но знаю, что не чуждъ твоему сердцу, и ты знаешь, что въ душевныхъ моихъ скорбяхъ одна ты, Ангелъ мой, можешъ мнѣ принесть утѣшеніе.

„Милой мой другъ, я не могу кончить письма моего, не испросивъ твоего прощенія за то, что я не объяснилъ тебѣ одно чуство, которое отягчаетъ мое сердцо. Жестоко для меня наносить еще новую скорбь тебѣ, но та, которую я ощущаю, слишкомъ тягостна, чтобъ я могъ ее скрыть отъ тебя. Ангелъ мой, верь, что никто не винитъ меня болѣе, нежели я самъ виню себя предъ тобою, но я слишкомъ знаю твою добрую душу — и увѣренъ, что ты давно уже меня простила. Ты сама въ томъ меня убѣждаешь намереніемъ твоимъ принесть мнѣ утѣшеніе, хотя я и не въ правѣ ожидать того же чувства отъ тѣхъ, которыя видятъ во мнѣ лишъ орудіе твоего нещастія, но мнѣ не можетъ не быть очень горестно видить, что они полагаютъ возможнымъ устроить твое спокойствіе на вѣчной со мной разлукѣ.

Еще разъ скажу тебѣ, Машинька, что я въ полной мѣрѣ вижу изъ письма твоего, сколь велико твое желаніе принесть мнѣ утѣшеніе, но вижу также и сколько трудностей должно будетъ тебѣ преодолѣть для приведенія сихъ желаній въ исполненіе. Милой другъ, ты заключаешъ свое письмо увѣреніемъ, что надежда меня видить есть единственное твое утѣшеніе; тоже чуство обладаетъ моимъ сердцемъ. Милой мой другъ, все, что со мною сбылось, и все, что, можетъ быть, предстоитъ мнѣ тягостнаго, ввергло бы меня въ уныніе, естлибъ Всемилосердый Богъ не подкрѣплялъ бы меня своею благодатью. Онъ призрѣлъ меня, многогрѣшнаго, и низпослалъ въ самыя гибельныя минуты жизни моей духовныя утѣшенія — до толѣ моему сердцу неизвѣстныя. Ангелъ

той, прибѣгни къ нему, Онъ утѣшитъ тебя въ твоихъ скорбяхъ. Онъ сохранитъ тебѣ нашего сына. Его я молю о тебѣ и къ Нему припадаю съ молитвами нашими о сынѣ. Не сомнѣнно уповаю, что Благодать Божія насъ всѣхъ не оставитъ.

Любезная Машинька, сего дня день именинъ Сестры моей Катинькѣ [1]): дружба, мною ей посвященная, и оказанное ко въ моемъ нещастіи участіе поставляютъ мнѣ пріятнымъ долгомъ раздѣлить желанія наши къ ея благополучію. Прошу тебя о семъ увѣдомить.

Милой мой другъ, ты можешь понять, какъ мнѣ грустно было писать сіе письмо — какъ по предметамъ, о которыхъ я долженъ былъ говорить, такъ и по причинѣ предоставленнаго мнѣ пути къ перепискѣ. Я долгомъ почелъ безъ замѣдленія тебѣ отвѣчать и оказать всѣ мои чувства. Вспомни, мой милой другъ, что на сіе мое письмо я пять мѣсяцовъ долженъ ждать отвѣта; напиши мнѣ, Ангелъ мой, какого могу надѣятся отъ тебя утѣшенія или чему я долженъ покорится. Во всякомъ случаѣ я буду тебѣ неизмѣннымъ другомъ, теперь же мысленно тебя и Николушку прижимаю къ сердцу. Твой другъ навеки.

Тогда же было набросано и сохранившееся лишь в отрывке

письмо къ Сестрѣ от 18-го Ноября. 1826. Благодат.

Добрая моя Софья, наконецъ я получил некоторое свѣдѣніе о твоемъ здоровьѣ письмомъ Г-жи Бюцовъ отъ 10-го Сент. [2]). Ты не была въ силахъ мнѣ писать, но чтобъ меня успокоить, надписала собственною своею рукою адресъ на письмѣ. Подробности о состояніи твоего здоровья мало еще меня успокаиваютъ. Молю о тебѣ Христа Спасителя и на Него возлагаю мое упованіе. Онъ говоритъ нам: „Имѣйте Вѣру Божію и все, что вы въ Молитвѣ просить будете, вѣрьтѣ, что получитѣ и будетъ вамъ". Онъ также сказалъ намъ: „Я есмь воскресенье и жизнь: вѣрующій въ Меня есть и умретъ, оживетъ".

Благодарю тебя, мой милой другъ, за доставленіе писемъ отъ жены: двухъ отъ 27-го и одного отъ 30-го Августа. Ты знаешь, съ какимъ страхомъ и нетерпеніемъ.....

Сохранился еще отрывок чернового письма декабриста к княгине С. Г Волконской от середины декабря 1826 г. из Благодатского рудника:

..... „я полагаю, что ты въ Петербургѣ можешь имѣть столь же достовѣрныя извѣстія о томъ, что со мною дѣлаютъ, и что я дѣлаю,— какъ бы я самъ о себѣ писалъ, ибо все, что до насъ касается, конечно, не есть тайна.

---

[1]) Е. Н. Орлова была именинницею 24 ноября: следовательно, письмо это, начатое 18 ноября, писано было в течение шести дней.

[2]) Суда по помете Волконского на письме Екатерины Бюцовой к С. Г. Волконской, он получил его 13 ноября 1826 г.

„Изъ письма отъ 8-го Окт. я заключаю, что Алина при тебѣ и я утѣшаюсь тѣмъ за васъ обѣихъ и отъ души желаю, чтоб и жена моя была съ вами. Еженедельно буду ожидать со страхомъ и надеждою вашихъ писемъ, а мои зависятъ не отъ моей воли, по сему не безпокойтесь, ежели къ вамъ не съ каждою почтою буду писать. Отъ Матуники не имѣю писемъ съ 3-го Августа: не къ новому ли грозящему мнѣ нещастію должен приписать сіе молчаніе? Ради Бога, пишитѣ мнѣ подробно о всѣхъ предметахъ, близкихъ моему сердцу. Да благословленіе Господнѣ будетъ со всѣми вами, а себя поручаю молитвамъ вашимъ".

Через несколько дней было написано еще одно пространное

Письмо къ Женѣ отъ 21-го Декаб. 1820. Благод.

„Милой мой другъ. 5-го числа декабря получилъ я твое письмо отъ 1-го Октяб. и вчера таковыя отъ 8-го Октября. Оба мнѣ принесли несказанное утѣшеніе твердою надеждою тебя видить и добрыми вѣстями о твоемъ здоровьѣ и о миломъ нашемъ Николушкѣ. Богъ есть источникъ всякаго блага, Ему первому принадлежитъ благодареніе сердца моего —тебѣ же, Ангелъ мой, лучшее вознагражденіе въ доставленномъ мнѣ успокоеніе. Поручаю тебѣ разцеловать за меня малютку нашего, которой къ первому дню своего Ангела далъ познать моему сердцу, что чувства радости могутъ быть имъ еще ощущаемы.

„Въ прежнихъ моихъ письмахъ отъ 12-го и 18-го Ноября излилъ я предъ тобою, милая Машинька, всѣ чувства сердца моего. Повторять тебѣ то же было бы излишно,—одинъ духъ моя обладаема—безпредельною благодарностью къ тебѣ за все, что ты для меня дѣлаешь. Будь увѣрена, другъ мой, что я не могу сѣтовать на тебя, ежели подруги твоего нещастія предупредили твои намѣренія—ты видила изъ прежнихъ моихъ писемъ, что я никогда не сумнѣвался въ желаніи твоемъ пріѣхать ко мнѣ—и предвидилъ всѣ препятствія, которыя могли отсрочить исполненіе твоего намѣренія. Радуюсь тѣмъ, что въ разлукѣ нашей мысли наши были одинаковы; ты предупредила мое желаніе пріѣздомъ къ Сестрѣ моей и къ моему семейству — а я просилъ тебя не привозить Николушку въ теперешномъ его возрастѣ ко мнѣ. Я чувствую, какъ тягостно для тебя разстатся съ нимъ—жертву твою для принесенія мнѣ утѣшенія не могу я ни чемъ вознаградить —Всевышній одинъ можетъ тебѣ воздать достойную награду.

„Чѣмъ болѣе я перечитываю твои письма, тѣмъ болѣе я вижу, какъ ты изыскиваешь средства доставить мнѣ утѣшеніе. Поѣздка твоя въ Петербургъ съ сыномъ, намѣреніе твое поручить его Репниной, подробности о щастливомъ его младенчествѣ, дружба твоя ко всѣмъ моимъ и надежда, которую ты мнѣ подаешь

въ непродолжительномъ времени увидить тебя изполняетъ сердце мое живѣйшею къ тебѣ благодарностью. Судьба моя лишила меня возможности исполнить передъ твоими родственниками то, что ты дѣлаешь для монхъ: однимъ только могу изъявить истинную мою къ нимъ привязанность, ежедневно признавая предъ самимъ собою, сколько я виновенъ предъ ними.

„Дни полученія твоихъ писемъ были также мнѣ днями радости—по письмамъ и извѣстіямъ, полученнымъ отъ моей безцѣнной Сестры. Жестоко мнѣ было знать о ея болѣзни и читать письмо съ ея словъ, но не ея рукою писаннымъ. Благодаря Бога, читаю теперь ее почеркъ и возлагаю упованіе на Всевышняго къ ея совершенному выздоровленію. Тебя прошу, милой другъ, оказать ей тѣ чувства благодарности, которыя, я увѣренъ, ты въ полной мѣрѣ раздѣляешь со мною.

„Со дня моего пріѣзда въ Иркуцкъ почти ежедневно писалъ къ Сестрѣ и весьма часто къ тебѣ, тебя же увѣдомлялъ о тѣхъ письмахъ, которыя отъ тебя получилъ. Ради Бога, не безпокойся, ежели не будешь получать отъ меня писемъ такъ часто, какъ бы желала—не всегда могу я имѣть возможность писать; нѣкоторыя письма мои должны были тебя огорчить, милая моя Машинька, ты взойдешь въ мое положеніе и простишь мнѣ невольно причиненную тебѣ грусть, и естли они могутъ быть причиною къ безпокойству твоему касательно меня, могу тебѣ увѣрить, что полученныя мною послѣднія твои письма совершенно меня успокоили: повторяю тебѣ, что болѣе всего душевныя скорби могутъ имѣть вліяніе на мое здоровье; слѣдовательно теперь ты не должна о мнѣ безпокоится. Измѣненія въ моей участи нѣтъ никакого, и я не перестану переносить ее съ должною покорностью.

„Изъясненныя тобою чуства безпредѣльнаго упованія на Бога приносятъ мнѣ также истинное утѣшеніе. Я испыталъ надъ самимъ собою, мой милой другъ, какую силу даетъ Вѣра переносить самыя тяжкія страданія. Будемъ, мой другъ, молитвами нашими сближатся со Христомъ и возложимъ на Него упованіе наше о сохраненіе сына: Онъ одинъ можетъ устроить щастье его и тѣмъ общее наше земное спокойствіе.

„Все, что ты пишешь мнѣ о сынѣ, возбуждаетъ во мнѣ истинною благодарность ко всѣмъ тѣмъ, кто прилагали о немъ попеченіе. Поручаю тебѣ, мой другъ, изъявить имъ сіе чувство, какъ единственную дань, которую я могу имъ принести: что-жъ касается до Графини Браницкой,—ея милости къ тебѣ и сыну и сострадательность ее о мне обязываютъ меня хранить по гробъ мой неизменною къ ней признательность. Я долженъ ожидать, что сіе письмо застанетъ уже тебя посреди моего семейства, которое, я не сумневаюсь, будетъ старатся облегчить горесть разлуки твоей съ твоими родными. Въ чуствахъ и привязанности монхъ родныхъ ко мнѣ ты, конечно, найдешъ утѣ-

ленiе въ скорби твоей о моей участи. Нещастiе учитъ насъ познавать людей, и во все продолженiе моего нещастiя мои ближнiя оказывали мнѣ самое нѣжное участiе. Поручаю тебѣ, мой милой другъ, объяснить всѣмъ твоимъ чуство истинной моей къ нимъ привязанности и преданности. До свиданiя, мой милой другъ, сiя мысль совершенно меня укрѣпила. Целую нашего малютку, прижимаю васъ обѣихъ къ сердцу моему, и да сохранитъ васъ Богъ для общаго нашего щастiя. Твой неизмѣнной другъ.

„P. S. Прошу тебя, мой милой другъ, объяснить чуства моей приверженности Тетушки твоей Кат. Алек. [1]) и благодарить ее за благосклонное вниманiе, которое мнѣ она оказывала, и за которое не имѣлъ я случаю ее благодарить. Еще разъ прости, до щастливаго свиданiя, которое ты мнѣ обѣщаешь, и которое, надѣюсь, Богъ позволитъ тебѣ исполнить. Береги себя въ дорогѣ. Я уже писалъ къ тебѣ и моимъ роднымъ о предосторожностяхъ, какiя надлежитъ тебѣ принять нащетъ столь дальнаго пути и безпрепятственнаго со мною пребыванiя: и по сему о томъ не повторяю, но полагаю нужнымъ обратить на сiе твое вниманiе".

В тот же день было написано декабристом сохранившееся в отрывке письмо к Сестре от 21-го Декаб. 1826. Благод.

„Полученiе собственноручныхъ твоихъ писемъ отъ 15-го и 21-го Октяб. дало мнѣ некоторое успокоенiе и возрождаетъ во мнѣ надежду, что благодаря Всевышнего твое здоровье поправляется. Да Божiя благодать продлится надъ тобою и сохранитъ тебя для твоего семейства и для истинно тебя любящаго и преданнаго тебѣ брата. Мы другъ другу обѣщались, милая моя Софья, при нашей разлукѣ, во всѣхъ нашихъ скорбяхъ возлагать упованiе наше на Бога и удостоиватся Его Милосердiя истиннымъ Христiанскимъ повиновенiемъ. Милой мой другъ, исполнимъ сiю священную обязанность,—Онъ не оставитъ насъ.

„Я довольно часто получалъ отъ тебя письмы, но не еженедельно, отъ жены же гораздо реже; полученное же чрезъ тебя письмо отъ 1-го и 8-го октября несказанно меня утѣшило. Все сiю изъясненное изтекло".....[2])

День, в который Волконский писал вышеприведенные письма, — 21-е декабря, — был для него очень радостен: в этот день ему в тюрьму было доставлено сразу около десятка писем от его родных, — между прочим — от матери (от 6 сентября и 19 октября), от брата — князя Н. Г. Репнина (от 12 Августа) и от жены последнего (от 13 октября), от

---

[1]) Константиновой, сестре матери княгини М. Н. Волконской; она была внучкою Ломоносова и предметом многолетней любви Крылова.

[2]) Конца нет.

сестры — княгини С. Г. Волконской (от 21 и 29 октября), — наконец, от жены (от 1 и от 8 октября). В ласковых к мужу письмах от 1 и 8 октября из Александрии (имения гр. А. В. Браницкой) княгиня М. Н. Волконская больше всего писала о маленьком сыне,—о его здоровье, о прорезавшемся зубе и т. д., о домашних новостях; но главное—она уже совершенно определенно сообщала мужу о вполне и твердо созревшем решении своем ехать к нему в Сибирь; что́ отвечал на эти письма Волконский 23 декабря [1],—мы не знаем, так как письма эти уже не дошли до его жены: когда они могли достигнуть (если достигли) своего назначения, княгиня Мария Николаевна была уже близка к цели своего далекого путешествия...

4 января 1827 г. декабрист был обрадован получением письма от матери и сразу трех писем от жены—от 17 октября и 20 октября из Яготина, имения Репниных, где она прожила некоторое время по пути в Петербург,—и от 12 ноября, уже из Петербурга. В последнем письме она уведомляла мужа о благополучном приезде своем, с маленьким сыном, в столицу, о знакомстве со свекровью и с золовкой, о которой она отзывается с восторгом, о встрече с отцом своим Н. Н. Раевским, которого она застала приехавшим в Петербург для хлопот по ее делам. „Он сказал мне“, пишет она: „что как только он получит точные данные о месте твоего назначения и как только получит слово ответа на письмо, которое он написал тебе из Москвы, он позволит мне ехать, не дожидаясь весны. Итак, до свиданья, дорогой друг“ и т. д. [2])—9 января Волконский получил письмо от жены из Петербурга же, от 19 ноября, с уведомлением о продолжающихся сборах ее в путь, 13 числа ему были вручены сразу два письма Марьи Николаевны, отправленные 26 ноября, при чем в первом была приписка Н. Н. Раевского: „Ты видишь, мой другъ Волконской“,—писал этот прекрасный, благородный человек: „что друзья твои сохранили къ тебѣ чувства оныхъ,—я уступилъ желанью жены твоей; увѣренъ, что ты не сдѣлаешся эгоистомъ, каковымъ ты не бывалъ, и удерживать ее не будешь болѣе, чѣмъ должно.—Сына твоего вѣсной возьму къ себѣ. Прощай, мой другъ, будь великодушенъ. Твой другъ Н. Раевской“.

Полученные 22 и 29 января нежные письма жены из Петербурга, от 10 и от 17 декабря, содержали в себе уже более точные сведения о дне выезда княгини из Петербурга на Москву и далее—в Сибирь и о прочих планах, а также давали намек на ту тяжелую и упорную борьбу, которую, как известно, этой бесподобной женщине пришлось выдержать со своею роднею, чтобы добиться возможности отпра-

[1]) Такие пометы сделаны им на письмах жены.
[2]) Архив декабриста.

виться к мужу. „Милой другъ", писала она по-русски в письме от 17 декабря: „теперь я могу тебѣ сказать, что я много терпѣла, чтобы достигнуть своей цѣли. Но я теперь ѣду и все, все забуду; безъ тебя я какъ безъ жизни; одни обязанности мои къ сыну могли меня заставить скитаться въ разлукѣ съ тобой. Я растаюсь съ нимъ безъ грусти, онъ окруженъ попеченіемъ и не будетъ чувствовать отсутствія своей матери: душа моя покойна на щетъ нашего Ангела; надежда, увѣреніе въ скорѣ тебя видѣть меня восхищаютъ, мнѣ кажется, что я никогда счастливѣе не была [1]).—Твое дорогое дитя только что прервало меня; его здоровый видъ, кажется, говоритъ мне: „поезжайте, поезжайте и возвращайтесь с тем, чтобы взять и меня; я уже вполне крепок для того, чтобы совершить путешествие!" и т. д.

Легко можно себе представить, какою радостию наполнялись сердце Волконского эти письма, как бодрили они его в его тяжелой доле, с каким нетерпением начинал он ожидать приезда самоотверженной, любимой женщины! 5 февраля он получил весточку от жены уже из Иркутска: она приписывала на полученном ею в почтовой конторе письме княгини С. Г. Волконской, извещавшей брата об отъезде Марии Николаевны из Петербурга 22 декабря; сообщив далее некоторые семейные новости, она кончала свое письмо к мужу словами: „Я везу всем вам табак, а тебе, мой обожаемый Сергей,—утешения, не сомневаюсь в том. Да поддержит нас Господь, как он то делал до сих пор,—и мы будем счастливы".

Через три дня после получения Волконским этих ободрительных строк,—8 февраля,—княгиня Мария Николаевна и ее спутница княгиня Е. И. Трубецкая были уже на Благодатском руднике,—и с этой минуты каторга для Волконского стала легче и сам он оживился настолько, что даже тюремный надзиратель, заносивший в свои рапорты сухие данные о здоровье и поведении декабристов-каторжан, отметил под 16-м февраля: „Сергей Трубецкой и Сергей Волконский с приездом жен сделались приметно веселы". Лучи теплого участия и женской обаятельной ласки согревали всех, кто был около этих женщин-героинь. Их подвиг сберег жизнь нескольких замечательных русских людей, дав им силу пройти и через каторгу, и через многолетнее тюремное заключение, и через долгие годы поселения.

Б. Модзалевский.

[1]) Далее по-французски.

Письма Н. А. и М. А. Бестужевых с Петровского завода.

Почти все декабристы, останавливавшиеся в своих воспоминаниях на времени пребывания в Петровском Заводе, с удовлетворением отмечали, что установившийся там и вошедший в некоторую обычную колею уклад их жизни позволял им отдавать много времени и внимания занятиям интеллектуального характера. О многих из них мы знаем, кто к каким наукам, искусствам или ремеслам тяготел, чем занимался, какие получал книги и т. д. В этих занятиях немалую роль играли и вопросы художественной литературы; среди узников было несколько писателей и ценителей литературы: А. И. Барятинский, бр. Бестужевы, П. С. Бобрищев-Пушкин, П. А. Муханов, А. И. Одоевский и др. В Петровском Заводе устраивались лекции по изящной словесности, литературные вечера, где читались и обсуждались литературные новинки и где сами узники выступали со своими произведениями, иногда серьезного, а подчас и шуточного характера.

Описания подобных вечеров и занятий относятся, однако, к первым годам жизни в Петровском, когда колония еще только начинала разъезжаться, а остававшиеся представляли хотя бы в территориальном смысле одну семью. С переходом женатых на отдельные квартиры начинает в Петровском особенно остро ощущаться разница в положении (прежде всего, материальном) отдельных членов этой семьи и последняя разделяется навсегда. Можно думать, что в этот позднейший период жизни в Петровском совместные занятия прекратились и интеллектуальное общение стало несколько реже. Однако, как видно из печатаемых ниже писем, интересы остались, и, с получением того или иного любопытного произведения, оно читалось совместно, хотя, может быть, и в более узком кругу. Устанавливается и некоторое общее отношение к тем или иным периодическим изданиям. Печатаемые ниже письма братьев Николая и Михаила Александровичей Бестужевых к их братьям Александру и Павлу, кроме того высокого интереса, который они представляют для характеристики литературных вкусов и симпатий авторов и их корреспондентов,

любопытны еще в том отношении, что в них можно отчасти видеть типичные и для других декабристов взгляды.

Письма эти, хранящиеся в собрании Бестужевских бумаг в Пушкинском Доме при Российской Академии Наук, написаны братьями Бестужевыми из Петровского завода в период 1835—1838 г.г. и переписаны рукой М. К. Юшневской, жены декабриста А. П. Юшневского, товарища Бестужевых по заключению. Хотя письма эти и шли от имени обоих братьев, но очевидно, что писались они только Н. А. Бестужевым, рукой которого составлялись черновики и который иногда переходил в письме из первого лица множественного числа в единственное число. Ему же, очевидно, и принадлежит авторство в ряде литературных мнений с которыми, вероятно, соглашался и младший брат Михаил.

Н. Бестужев представляет в ряду прочих декабристов фигуру очень яркую. Выдающийся политический мыслитель, прекрасный техник, художник и литератор, он со всеми этими качествами соединял еще и кипучую практическую энергию, находившую себе выход даже в узких рамках тюремной жизни. Не имея здесь возможности останавливаться на подробной его характеристике, приведем только несколько строк из письма его к брату Павлу от 11 декабря 1836 г., где его литературное миросозерцание выступает с особенной яркостью.

„...На этих только днях мы, перечитывая твои письма, напали на то, где ты отпираешься от способности писать, где взводишь бог знает какие высокие качества на литераторов; приписываешь им какие-то высокие достоинства. После этого точно возьмет отчаяние всякого, кто не найдет в себе всех этих дарований и кто вздумает еще приняться за перо. Рассмотри поближе литературу и литераторов: по нашему, всякий может писать, когда знает предмет, о котором говорить намерен, какого бы он роду ни был. Если ты знаешь хорошо людей, изобрази оттенки их характеров; если познакомился с сердцем человека — покажи его темные уголки, а их еще много и не все изведаны физиологами; первое условие — пиши только то, что хорошо знаешь; а неужели ты в жизни ничему хорошо не научился?—Говорят, что поэты могут описывать то, чего они не знают и не видывали; могут изобретать или угадывать par intuition, но их письмо—гиероглифы; их образа—подобия; их истина—только сравнение; часто своею фантасмагориею они наводят нас на правду; мы как будто начинаем чувствовать ее близость, предвкушать ее присутствие; но часто сущность всех их выводов — одно только Иксионово облако. Прости нам это к л а с с и ч е с к о е[1]) сравнение: мы здесь поневоле староверы; по нынешнему надо было бы сказать „т е м н а в о д а в о о б л а ц е х“,

[1]) Здесь и ниже курсив везде подлинника.

это выражение и романтическое, и принадлежит средним векам, хотя и то, и другое начинает уже выходить из моды. Бог знает, где остановится наша литература!.."

Введя этим отрывком читателя в область литературных взглядов Бестужева, предоставим теперь слово ему самому.

И. Троцкий.

I.

Благодарим тебя, милый Поль, за твое последнее письмо от 27-го Апреля, оно утешило нас и рассмешило, а это не безделица в нашем положении. Так как ты не пишешь ныне о себе ничего, кроме твоей маловажной болезни насморка, то и мы, следуя за тобою, пожалеем только, что ты не мог ныне уехать снова на воды, чтобы искоренить и остатки твоего ревматизма и потом вступить в колею, по которой ты проехал в последнем твоем письме...

Ты рассказываешь, что бываешь по четвергам у Греча — это, видно, по старинному: собрание литераторов старых и вербунка новых. Это мы знаем, но получа поклон от Ник. Ив., сколько желаем знать о нем самом, столько же хотели бы разведать и о словесности старой и юной. Надобно сказать к чести последней, что несколько лиц, составляющих заголовок списка ее подвижников, действует очень хорошо. Вельтман и Даль (мы знаем Казака Луганского) действительно оригинальны и начинают настоящую русскую эпоху. Брат Александр, хотя и из ветеранов между наездниками литературы, но как настоящий Протей умеет приноровляться к требованиям века и может почесться первым в водителях новой школы; жаль только, что он часто хочет казаться ученым: говорит латынью, раскапывает по геологии весь земной шар и бредит философиею—не скажу Канта, Шеллинга или Фихте, но туманного Велланского. Кого хочет он удивить этой ученостью? Умный и образованный человек взвесит тотчас его слова по достоинству и найдет в этом только бесполезные и скучные вставки, а глупый,—но разве он пишет для глупцов? Мы пишем к нему об этом во всяком письме, — он сердится, сыплет в нас остротами, и мы остаемся каждый при своем мнении, как это обыкновенно водится. Теперь следует тебе вопрос: объяснить нам, каким образом один из знакомых нам ориенталистов и европейский лингвист, за исключением нашего языка, сделался русским писателем? Мы хотим говорить о бароне Брамбеусе или, оставляя его военное прозвище, просто о Сенковском, ежели эти два лица составляют одно. Каким образом он, который всегда охотнее говорит по-французски, нежели по-русски, и который заставлял Александра переводить для него с польского

на русский язык, он ныне пишет по-русски и весьма порядочно, если исключить французское построение фразы, периоды и часто сочинение самых слов не в духе русском? Жюль Жанен дал направление всем нашим литераторам писать довольно мило — пустяки, притворяться глупеньким и под этою фирмою высказывать колкости. Брамбеус завоевал себе этот род, но он шутит беспрестанно одну и ту же шутку и сверх того в своих разборах упрекая многих за дурной тон, сам очень не разборчив в выражениях—и как он по остроте своей увлекает многих к подражанию, то должно с сожалением сказать, что часто мы видим в новейших писателях совершенно ямщицкие выражения, а о разговорном слоге, которым они заставляют говорить в избранном обществе, и говорить нечего. В наше время, еслибы кто вздумал заговорить таким образом в обществе, его бы более туда не пустили. Многие из молодых моряков пустились ныне писать, но к сожалению пишут все очень дурно и пишут вздор.

Между прочим мы заключим письмо и о твоем style épistolaire: нам очень было весело прочитать несколько острот, разбросанных в твоих строках, но они слишком общи, чтобы удовлетворить жадности любопытства заключенных в тюрьме, к которым новости доходят только через посредство твоих же строк и которые, пробуждая старинные воспоминания, нисколько не утоляют пробужденной жажды. Сколько имен насказал ты в своих письмах! Правда, что почти каждое было с эпитетом,— но какая нам от этих эпитетов польза? Итак, просим тебя, отвечай в письмах твоих на наши вопросы, ежели боишься писать много, то в каждом письме на один; если забыл эти вопросы, загляни в наши письма, когда они не истреблены. Прощай, на будущей почте будем писать к нашим, кланяйся Н. И. Пущину, обнимаем тебя.

Желая душевно, чтобы письмо мое застало Вас в добром здоровье, Павел Александрович, прошу Вас, поклонитесь всем Вашим родным от меня и сообщите им [зачерк.: от меня], что с будущею почтою получат они известие о Ник. и Мих. Александровичах.

Покорная к услугам Вашим
Марья Юшневская.

19-го июля
1835.
Петровский завод.

II.

31-го июля 1836, Петровский завод.

Письмо твое из Ивановки, перед отправлением в Гиличик, мы получили, любезный Александр, и как оно

почти все заключается в нашей полемике [1]), то не для ответа на него, а для поздравления тебя с производством хотим теперь говорить с тобою. Итак, в другой раз в жизни ты произведен в прапорщики, итак целого периода жизни между этими чинами, как будто не существовало! Приятен был для тебя первый офицерский чин; но мы уверены, что на этот раз производство было радостнее не только для тебя, но и для всего нашего семейства. Дай бог, чтобы матушка и сестры были утешены тобою, чтобы ты унял их слезы, которые не перестают у них литься. Мария и Ольга почти потеряли глаза!—И н в а л и д, получаемый здесь, известил нас о перемене твоей участи, и надобно тебе сказать, что все товарищи приняли участие в нашей радости. На прошлой почте Катерина Петровна Торсон известила нас в свою очередь, и мы даже уверены, что по трудности ваших сообщений, приказ об этом чине пришел к тебе не ранее нашего Инвалида, вместе с тобою произведен и Акулов [2]) — ежели ты видаешь его или когда-нибудь увидишь, поздравь от нас. Теперь мы будем ждать от тебя известий из твоего Г и л е н ч и к а, о котором просим тебя также сообщить что-нибудь, чтобы нам знать, каково ты поживаешь на берегах Черного моря. Каспий был мрачен для тебя, пусть Эвксин утешит за прошлое. Каково твое здоровье? Не хорошо ли для тебя купаться в море, если только положение твоей крепости на речке не удалено слишком от берега?—Мы смотрим на карту и воображаем тебя окруженного горцами и с суши и с моря. По газетам видно, что черноморские горцы выезжают и на море наездничать. Странное дело, у вас идет беспрерывная война; а целая Россия знает о ней только по тому, что иногда в Инвалиде читают награждения за отличие против горцев. Мы бы не знали ничего о К а з и - М у л л е, ежели бы не твое описание этого похода в П ч е л е. Для чего ты от времени до времени не пудришь пороховым дымом и походною пылью крыльев этого насекомого?—Кстати о П ч е л е: какая пустота!—Греча по прежнему не видать; Булгарин своим пошлым слогом усыпляет на третьей строчке. Мы не получаем С ы н а О т е ч е с т в а уже другой год, потому что невозможно читать этой пустоши. Теперь лучшие журналы правительственные: Министерства внутренних дел, мануфактурный, просвещения и проч., даже Петербургская газета под редакцией Очкина гораздо лучше Пчелы и других журналов.—

[1]) Речь идет о письме от 22/II-36 г. Оно напечатано Семевским, но не хорошо разобрано, вследствие своеобразной привычки А. А. Бестужева, вызванной, конечно недостатком бумаги: он писал многие свои письма в виде палимпсеста—покрывая строки, написанные в ширину страницы, строками, написанными в длину.

[2]) Лейтенант Акулов, осужденный по делу Северного об-ва, государственный преступник XI-го разряда, „быв увлечен обманом, лично действовал с умыслом" и разжалован в солдаты с выслугою.

Что ты нам не скажешь твоего мнения о Луганском (говорят, будто это наш Даль), о Вельтмане, о Ершове? Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него к счастию нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у прошлого Пушкина, а стихи звучат так же. Есть несколько человек из пишущей братии изрядных: но ныне романтизм в русской словесности стоит на такой высокой степени, что никак не доберешься, что хотят сказать они: прочитавши каждую пьесу, можно сделать вопрос кто ж усопший? A propos: где Туманские, не слыхал ли ты чего о них?

Теперь поговорим немного и о тебе самом: по твоей рекомендации мы прочли окончание статьи Он убит с большим вниманием, и знаешь ли, что о ней сказать можно: что она слишком хороша, и от того не производит такого эффекта, как первая половина. Это парадокс; но вот как его объяснить можно: случалось ли тебе видеть человека, который прекрасно танцует французскую кадриль, не пропускает ни одного такта, чтобы не сделать какой-нибудь мудреной фигуры антраша, и работая ногами ни на одну минуту не теряет танцовальной позиции? Случалось ли тебе также смотреть на ловкого мущину, который в этом же танце, действуя просто и почти небрежно, изредка и кстати покажет, что и у него ноги также не лишние? — В первой половине статьи ты пишешь, как танцует второй — в другой ты похож на первого, который слишком серьезно занят своим танцем, но во всяком случае хорошо. Мы говорим об этом потому только, чтобы показать, как часто мнение автора разнствует с мнением читателей: тебе нравится эта половина — всем нам первая более. Мулла-Нур еще не показался на нашем горизонте, и мы его с нетерпением ожидаем.

Мнение твое на счет усвоения языку нашему различных размеров (если можно так выразиться, говоря не о стихах), совершенно справедливо. Наш звучный язык также и гибок, но он имеет удивительное логическое свойство: он гнется во все стороны как угодно до тех только пор, пока это не противно его природе. Ты знаешь его природу очень хорошо; ты выгнул из него множество новых форм; но иногда на тебя приходит каприз ломать его, полагая, что и это тебе также сойдет с рук; но в этих случаях видна трещина, спай, вставка и об этих-то капризах у нас и идет с тобою спор. Эти то противные логике русского языка вставки часто и портят все дело — почему? Потому что пишущая молодость у нас совсем не знает грамматики, а учится со слуха и перенимает у нашего Александра, как он кривит на левую сторону шею. Посмотри, как все пишут ныне? Никто не перенял ни твоей легкости, ни игривости; но ошибки по небрежности твоей, за которые мы иногда с тобою спорим, они все усыновлены в литтературе и пожалуй войдут до такой степени в

всеобщее употребление, что будущий грамматик внесет их в правила, и наш прекрасный язык добровольно утратит свою полноту и округлость. И все это оттого, что пишущих и знающих язык не много, и те часто поступают неосмотрительно. Должно сказать правду, что направление словесности дают или твои статьи или Сенковского; Вельтман и Луганский пишут слишком странно, чтоб им было можно подражать, — и от этого что выходит? — подражают твоему неологизму, перенимают старинные обороты, или пускаются вслед Брамбеусу, который ввел какое-то бесстыдство, какой-то разврат в руской язык. Правда, он пишет легко, пишет довольно приятно всякий вздор, а это-то и заманчиво. Каждый думает, что вздор писать легко, и каждый пишет вздор. Сенковский напал на русский язык, он его укорачивает, он самовольно вычеркивает из него; он кладет целые ряды слов и выражений на всесожжение для жертвы своему невежеству в оборотах русских: надувает, растягивает остальное; играет фразами, как в калейдоскопе, распихивает и утыкает его иностранными выражениями и словами и продает все это нагло за наличный русский язык — и какой же это язык, боже мой!

Suffit. Прощай, прими посылаемое тебе колечко нашей общей работы. Не осуди фигуры. Кланяются тебе все наши. Катерина Ивановна Трубецкая и Сергей Петрович, Пущин, Оболенский, Форславские [1]), из коих Якушкин и Тютчев уже уехали на поселение. Якубович благодарит тебя за поклон и приписку; велит сказать, что ему снится и видится Кавказ, и ежели он еще живой выйдет на поселение, то хочет туда проситься. Быть может, ты будешь его командиром. Целуем тебя.

Муж мой и я приносим наше душевное поздравление и желаем вам дальнейших успехов, желаем чтобы здоровье Ваше совершенно поправилось, поверьте, Александр Александрович, что мы все принимаем в Вас искреннее участие.

Покорная к услугам *Марья Юшневская.*

III.

5-го февраля 1837, Петровский завод. [2]).

Письмо твое, любезный друг Александр, которое ты писал в самый день твоих имянин, мы с радостью получили, давно не имея о тебе никаких известий, с той поры, как ты писал

---

[1]) Форт-Слава—крепость в Финляндии, где находились некоторое время А. А. Бестужев и другие декабристы, впоследствии переведенные в Сибирь.

[2]) Настоящее письмо сохранилось в Бестужевском архиве в двух видах: черновик, писанный рукою Ник. Ал. Бестужева и чистовое письмо, рукою М. К. Юшневской. Письма эти в общем совпадают, и мы помещаем текст, следуя черновому оригиналу.

к нам из Керченского карантина. Оно тем для нас было приятнее, что шло не более двух месяцев, стало быть весть о тебе была для нас самая свежая, какую только мы получили здесь в Сибири. Ты вспоминаешь о имяниках покойного отца и былое и жалеешь, почему нельзя с тою же живостью передавать, с какою мы помним прошедшее — и точно жаль: но при воспоминаниях, обоюдно знакомых, достаточно одного намека, чтоб они развернулись в нас всею цепью и чтобы воображение наше перебежало по всем ее звеньям. — Знал ли ты нашего Розена? — Он говаривал, что воспоминание есть единственный рай, из которого нет изгнания! и он говорил правду: для тех, кому нет ни настоящего ни будущего, прошедшее есть рай, в котором [зач.: мы] они, как праведники, наслаждаются блаженством воспоминания. Впрочем, мы напрасно говорим, что у нас нет ни настоящего, ни будущего: в первом удостоверяет нас твоя дружба, во втором обеспечивает твоя родственная доброта, мы хотим сказать о твоем предложении, развернутом с подробностью в [зач: твоем] последнем письме [1]).

Теперь нам нельзя еще отвечать категорически, как требуешь ты, на все твои вопросы; первое потому, что не знаем, где мы будем поселены, второе — что не будучи на месте, нельзя с достоверностью сказать, выгодно ли будет заняться торговлею, хлебопашеством, скотоводством и проч. Дай нам выбраться на поселение и там уже осмотревшись, подумать о твоем предложении. Во всяком случае благодарность наша за твою заботливость [фраза очевидно не окончена и была зачеркнута ранее всего остального текста Н. Т.]. — Сверх того, если бы мы даже и знали, где поселят нас, то сведения о местах так збивчивы и недостаточны, что надо всегда обращаться к тамошним уроженцам, чтоб узнать что-нибудь о выгоде или не выгоде края, и тут по словам каждого туземца, место его родины — непременно земной рай: случалось [зач.: видать] слыхать солдат с диких берегов Лены, которые с восторгом поминали о своей стороне и предпочитали ее всем берегам Рейна и Сены, виденных ими во время походов 1812 года. Свой хвалит, чужой бранит, там и сям гипербола, а правды найдешь не более сибирского кедрового орешка. Так случилось со многими из наших поселенцев, которые положились на слова тех или других и нашли совсем противное тому, что ожидали. — Со всем тем, чтоб воспользоваться [зач.: твоим] великодушным

[1]) Предложение, о котором идет речь, заключается в том что А. А. Бестужев, литературный заработок которого достигал довольно значительных размеров, определил своим братьям сумму в 10.000 р. которые они должны были получить при выходе на поселение, и здесь обсуждается вопрос о наиболее удобном способе их использования.

предложением и руководить [руководясь? И. Т.] твоим желанием, мы просим тебя прислать [зач.: нам] на наш подъем и первое обзаведение по тысяче рублей, которые могут оставаться до нашего поселения в иркутском приказе общественного призрения, потому что деньги на руках сохраняются худо, а сверх того мы в них теперь не имеем нужды. Об остальных статьях предложения никак не смеем писать не осмотревшись и необдуманно. Может быть мы будет поселены в таком месте, где ни о каком предприятии помышлять нельзя и где [зач.: гораздо выгоднее будет пользоваться] надо будет довольствоваться негодным вспомоществованием.

Ты побраниваешь меня за то, что я до сих пор не выполняю своего обещания и не высылаю тебе наших портретов — я действительно виноват в этом, но знаешь ли, что это делается по старой моей привычке, за которую ты называл меня Ирвинговым Рип-ван-виклем. Однакоже, следующее письмо доставит тебе портреты непременно. И это письмо так долго медлило, потому что мы не знали, где ты: в Гаграх ли, в Керчи ли, в походе ли. Мишелев портрет начат давно, приступаю к его окончанию, и прежде месяца ты получишь оба.

Теперь [зач.: поговорим] потолкуем о тебе: ты [зач.: пишешь] говоришь, что многие бранят тебя за то, что мало пишешь: думаем, что не бранят, а жалеют; а если и бранят, это еще не дурной знак: иных бранят, что пишут, а они не унимаются. Твоего Мулла-Нура прочли мы два раза с новым удовольствием и перенеслись с тобою в стены Дербента, на хребет Шах Дага и в домы твоих персидских татар. Не осердись на наши замечания: [зач.: если бы выкинуть] несмотря на шумливость тона всего романа, некоторые места выскакивают из рамок, но это безделки, наприм. во II главе заскобочные замечания — вылитый Шатобриан, чихнуть для эффекту и проч. — совершенно лишни, и предисловие к носу Юсуфа, несмотря на то, что забавно, немножко длинно. Прекрасная картина сбирающихся туч после призывания дождя, нам кажется, пострадала от тени, поджавшей хвостик, как собака. Но это и все, что мы при всей строгости нашей могли заметить. Впрочем, еслиб не было этих Бестужевских капель, как говаривал Гречь, то ты не был бы [зач.: Марлинский] самим собою; видно, это тебе необходимо. Несмотря на все это, ты видимо отстаешь от этой привычки [зач., не совсем разборчиво] и слог твой удивительно как возмужал, не стареясь, так, как состарелся напр. слог Пушкина. Мы сравнивали обе твои восточные повести: Аммалат-Бека и эту и не знаем, которой отдать преимущество. Думаем, что первая чище и строже написана, т.-е. que le genre sèvère est plus soutenu, но в последней [зач.: характер Юсуфа бесподобен до последней минуты. Сцена нищего] разнообразие и веселость завлекательны, кар-

дня бездождия, сцена нищего с Мулла-Нуром в гостинице, сцена у коменданта, порука Юсуфа и коменданта, драка на снежной трещине бесподобны. Все характеры выдержаны, и последнее восклицание Юсуфа: „Мулла Нур, помилуй" венчает весь роман чрезвычайною естественностью. Якубович, с которым мы читали его, был нашим дольмачем, для объяснения: резаных хвостов, лезгинки, летнего положения [зач., неразборчиво] и проч. Он находит, что Самур и Тенга описаны с верностью очевидца — и что ты подарил ему щастье помолодеть 16-ю годами перенесши его в жизнь боевую, полную надежд и будущего. Он просит тебя обратить внимание на нравы Адыге и воспоминания в большой Кобарде. Что может быть больше поэтически черкеса от дня рождения до смерти. Аталык-Абрек [далее оставлено белое место для двух слов, И. Т.], женидьба с тайною Лакедемонцев — их тризны имеют прелесть баснословных времян! Он также указует тебе на несколько событий, достойных твоего пера, — на поражение Лезгин у берегов Иоры и участие Тушин с их беспримерной отвагой. В Алла-верде, монастыре против Тыдона, можно иногда видеть этих храбрецов и красавиц их женщин. Подвиги Нурмамедабалата, смерть генерала Гулякова, отважность Дуванова, жестокость и кончина Гуссейн-хана Шекинского, храбрость и превратность судьбы Мустафы-хана Шерванского с его орлиным гнездом фетаги; пороки и самовластие последнего Карабах-хана с его дикой роскошью и злодейскими умыслами на Сафара, Гюль Мегмета и Рустам Беков. Бунт грузин в 12 году, смерть майора Подлока с товарищами в Сигнахе, царевич Александр, кочующий изгнанник, непреклонный бедняк, вечно разбитый, но непобедимый. — На севере: осада и геройская защита Паура во время лже-пророка; обычаи и удаль линейных козаков, братоубийство князя Рослам-бека Мисостова: адъютант Потемкина, человек образованный, злодей, убийца — вот канва для целого романа [зач.: с разделом], особенно замечателен раздел крови между мстителями. — Якубович, если его послушаться и писать обо всем, что он припоминает, не кончит до страшного суда романтических реляций о Кавказе, которым он дышит пополам с атмосферным воздухом, вместо азота и кислорода. — Чтоб кончить эту эктению одним разом, — право надобно тебе посвятить перо свое воспоминаниям геройской жизни русских и бурной борьбе горцов с ними в вашем Закавказье.

Мы часто с Мишелем сердимся на Павла, который вместо писем пишет к нам литтературные статейки из города, полного жизни и движения, где его окружают и воспоминания наши, и наши родные и наши знакомые, и он, вместо того, чтоб рассказать нам о своей жизни, о жизни тех, кто нам любезны, кто не забыл нас, бросает в нас каким-нибудь собственным

именем и потом принимается за описание летней ночи, прекрасной Невы и тому подобного. Но как кажется, наши письма также очень походят на Павловы [зач.: хотя] и [зач., неразбор.] дарят тебя одною полемикою. В этом случае не сердись на нас: о себе нам писать ровно нечего, мы не знаем ровно ничего из твоего существования, кроме жизни твоей литературной; как же не уцепляться нам за нее, как тонущим за единственное спасение; как не переворачивать ее на все стороны, как бедняку, ставящему последнюю копейку свою на ребро?— Но Павел еще молод: его воображение еще играет; еще ему хочется попробовать сил своих на неиспытанном поприще; он хочет действовать сам и не может останавливаться для щета статистических [зач.: требований] сведений, которых мы от него требуем. Для этого надобно уже некоторой усталости жизни, которая желала бы покоя; и этот покой позволил бы заняться перебором текущего, перечнем прошедшего.—Прощай, брат, желаем тебе, в ответ на твои желания, доброго здоровья, спокойствия духа и тела и покоя—ты сам говоришь, что пора на покой! Неужели еще не довольно ты жил боевою жизнью? Неужели пороховой дым вечная для тебя атмосфера? Не манит ли тебя иногда деревня? Не представляются ли тебе иногда матушка, сестры, стоящие за твоим письменным столиком?— Неужели не воображаешь ты кого-нибудь еще, кто, опершись на твое плечо, стал бы диктовать тебе такие строки, каких мы не читывали еще в твоих романах?... adieu...

IV

Жаль очень, милый Paul, что ты так часто хвораешь; в твои лета плохо с таким расстроенным здоровьем; право от искреннего сердца желали бы отдать тебе половину своего, ни на что уже не нужного здоровья. Мы оба с Мишелем не можем пожаловаться: ни однажды во все 12-летнее заключение мы не хворали, за исключением каких-нибудь насморков, хотя здешний климат и не вовсе для других благоприятен; по портретам нашим ты можешь справедливо заключить, что мы оба потолстели; я постарел так, как в порядке вещей 46 летнему человеку должно; но Мишель напротив теперь похорошел против прежнего.

Благодарим тебя за литературные новости. В самом деле для нас было новость, что Полевой редактор Пчелы и С. Отечества, давно бы пора, не в укор Гречу и Булгарину, издавать их по порядочнее; надежда теперь есть. Полевой в Петербурге, конечно, не уступит тому Полевому, который был в Москве. Последнее время С. Отечества был так дурен, что мы его здесь не получали, и потому не знаем твоей статьи вышедшей под именем Марлинского. Жаль, что ты до сих пор не позна-

комил нас avec ton faire; ты редактор журнала, можно бы хоть корректурные листки посылать сюда. Кстати о Марлинском, скажи пожалуй, почему никто не смеет назвать его по имени? Мы бы думали, что было бы очень кстати издать снова его сочинения; уверены, что старое издание уже разошлось. Жаль, что так давно ты не получаешь бумаг Александра и его последней повести.

Мы посылаем письма и посылки на твое имя и, вероятно, будем делать тоже вперед по твоей непременной бытности в Петербурге; теперь мы адресуем на место твоей службы, сделай одолжение, пришли твой адрес, это будет лучше. Между посылками для сестер есть китайские чашки, из коих можешь выбрать себе, если хочешь; мы для тебя заказали китайскую ганзу, т.-е. маленькую трубочку с мешочком для табаку и огнивом, как скоро доставлено будет, то пришлем.

Не забудь, милый Поль, что мы тебя просили о кисточках, недурно будет, если ты пришлешь и листов 5 бристольской бумаги, в прошлый раз мы получили один только лист, разрезанный на 4 части. Прощай, приветствуем тебя братским сердечным лобзанием—знакомым привет.

Окончив письмо по диктовке вашего доброго брата Николая Александровича, прилагаю при сем и письмо к вашей матушке, которое прошу вручить ей.

Желаю, чтобы письмо мое застало вас в добром здоровьи, Павел Александрович—прощайте.

Покорная к услугам
Марья Юшневская.

7-го марта
1838.
Петровский завод.

V

Долго ожидая от тебя письмо, любезный Поль, решился, наконец, сам писать к тебе, чтоб подстрекнуть, ежели можно, твою недеятельную переписку. Теперь, когда Кат. Петр. уехала из Петербурга [1]), мы стали получать реже письма от наших. Хотелось бы нам, чтобы ты вознаградил этот убыток в известиях от родных, которые приятны и на свободе, а кольми паче того в тюрьме они составляют единственное утешение в жизни. Елена оставила нас на самом занимательном месте предприятия в издании братниных сочинений, сказав, что, торопясь уехать в деревню, скажет что-нибудь после, и прибавила, что ты намерен был к нам писать. Вот мы и сидим у моря

[1]) Кат. Петр.—К. П. Торсон, сестра товарища Бестужевых К. П. Торсона, отправившаяся с матерью к брату на поселение в Селенгинск. Так как семья Бестужевых большую часть года жила в деревне, К. П. Торсон была передаточной инстанцией в переписке между ними и Н. и М. Бестужевым.

и ждем погоды, а ты и не думаешь сказать нам что-нибудь о себе и о вашем предприятии. Как бы то ни было, любезный Поль, а право надобно, чтобы ты почаще писал к нам. Недовольно того, что, с удалением наших родных в деревню, мы как будто сиротеем, как будто они от нас из Петровского уезжают, а остаешься ты один с нами. В тебе теперь соединяются не только все оставшееся наше семейство, но даже и дух брата Александра должен в тебе сосредоточиться; и потому не делай нам двойного лишения, оставляя нас так долго без писем.

У Вас ныне явилось множество литературных знаменитостей; одни имеют истинный талант, другие прославленный; но из всех их Венедиктов в стихах и Даль в прозе стоят далеко впереди других. Правда, что проза наша образуется, но все еще, quant au fond et quant aux formes, она копирует французов новой школы, исключая того, что эти последние потверже наших авторов в грамматике. Из всех этих подражателей лучше Лежнев, потому что у него много оригинальности; но думаем, что за этим псевдонимом скрывается какое-нибудь другое имя, и потому, ежели ты знаешь его—скажи нам. Недавно прочли мы в приложении к Инвалиду Сказку о купеческом сыне Калашникове. Эта превосходная маленькая поэма. Вот так должно подражать Валтер Скотту, вот так должно передавать народность и ее историю! Ежели тебе знаком и этот...въ объяви нам эту литературную тайну. Еще просим тебя сказать: кто и какой Лермонтов написал „Бородинский бой“? Неужели это наш товарищ, сладкий, миндальный Михаил Николаевич? [2]) Нам кажется, что трудно вести переписку там, где не о чем говорить. Тебе же, милый Поль, стоит только отвечать на наши вопросы, и письмо у тебя готово без всякой с твоей стороны головоломной работы. Или ты потому не отвечаешь на наши вопросы, что боишься писать длинные письма—так много мы спрашиваем?—Однако всетаки пиши и скажи что-нибудь и о твоем литературном поприще. Прощай, кланяйся знакомым.

Вскоре надеюсь писать к Вашим родным, Павел Александрович. Между тем, прошу вас в ваших письмах поклониться от меня всем вашим.

Покорная к услугам
Марья Юшневская.

4-го июля
1835 г.
Петровский завод.

---

[2]) Кап.-лейт. М. Н. Лермонтов, впоследствии историограф флота, отчасти и декабристов (им написан отчет о восстании в гвардейском экипаже).

Немецкая поэма о декабристах.

Восстание декабристов глухо отозвалось в западно-европейской печати. Фактическая история процесса, которой постарались не придавать слишком широкой огласки, не вызвала к себе почти никакого интереса, еще менее сочувствия. Оно обнаружилось много позднее, под влиянием тех недостоверных поэтических преданий, вымыслов и легенд, которые сложились вокруг разговоров о судьбе некоторых его героев. Несколько таких рассказов дали сюжет поэтам и романистам. Среди них лучше других известна поэма А. де-Виньи „Wanda. Histoire russe", переведенная и на русский язык, содержание которой служит история кн. Е. П. Трубецкой, навеянная, вероятно, рассказом маркиза Кюстина и книгой Н. Тургенева[1]), да роман Дюма „Le maître d'armes", где изложена история П. Анненковой[2]). Если в первом случае внимание поэта сосредоточилось на личности женщины, героический образ которой подсказан был уже традиционными изображениями ро-

[1]) „Ванда" перев. Е. Волчанецкой, с предисл. С. С. Розанова. „Голос Мин." 1913, № 12, стр. 214—224. Еще не поставлен вопрос о возможном влиянии на А. де-Виньи поэмы Ю. Словацкого „Ангелли" (1839), где также есть рассказ о Трубецкой в сенлке.

[2]) Д. К. Петров. Россия и Николай I в стихотв. Эспронседы и Россетти, СПБ. 1909, стр. 83—84 ошибочно предполагает, что роман Дюма передает историю В. П. Ивашева и его жены, урожденной К. П. Ле-Дантю: сам Дюма указал, что в его романе изображена история Анненковой „о декабристах", пишет он в своем путешествии на Кавказ: я много говорил в Нижнем-Новгороде с Анненковым и его женой, героях моего романа Maître d'armes". A. Dumas. Impressions de voyage. Le Kaucase. Paris 1889, t. I, p. 288. Сама Анненкова была недовольна воспроизведением своей автобиографии у Дюма: „если я вхожу в такие подробности моего детства и первой молодости", пишет она в своих „Записках"—„это для того, чтобы разъяснить разные недоразумения насчет моего происхождения и тем прекратить толки людей, не знавших правды, которую по отношению ко мне и моей жизни часто искажали, как напр. Александр Дюма в своей книге „Memoires d'un maître d'armes", в которой он говорит обо мне и в которой не больше истины, чем вымысла" Записки П. Е. Анненковой (Из-во „Прометей"), стр. 29—31.

романтизма, то интерес Дюма к истории его соотечественницы, Полины Гёбль, в замужестве Аннековой, обязан был не столько ее косвенной причастности к громкому политическому делу, сколько той удивительной канве ее жизни, рассказ которой он сам услышал от нее в Нижнем-Новгороде, и события которой сами складывались в главы авантюрного романа; не вполне удовлетворенный Дюма прибавил к ним от себя несколько новых. Но ни в том ни в другом случае его не интересовала политическая, общественная сторона дела: этому препятствовала слабая осведомленность в вопросах русской общественной и политической жизни и недостаточное знакомство с историей декабрьского восстания, подробности которого были скоро забыты, а историческое значение которого было понято много позднее. В этом смысле гораздо интереснее более ранняя поэма Шамиссо о Рылееве и Бестужеве („Die Verbannten", 1831), написанная в рылеевских тонах, в подражание поэме „Войнаровский", вольный пересказ которой и составляет ее первую часть. Поэма эта написана с обычной для Шамиссо общественной страстностью и возбуждением, которые и характеризуют его как лирика, позволяя считать его в числе предшественников поэтов кружка „молодой Германии". Гражданская настроенность его музы определила и выбор сюжета и сочувствие к изгнаннику-декабристу, о котором рассказывает поэма; на долю этого же настроения нужно отнести и те смелые политические предсказания и призывы, которые Шамиссо вкладывает в уста своему герою; в конечном счете вся поэма является прославлением мятежа и революционной страсти, которая не гаснет в сердце изгнанника и не остывает в ледяных просторах сибирской пустыни. История происхождения поэмы очень своеобразна, но мало известна; в русской литературе о ней кратко упоминает лишь В. Маслов в книге о Рылееве [1]).

Адальберт Шамиссо де Бонкур принадлежит к числу крупных деятелей немецкого романтизма. В нем интересно сочетание склонностей ученого и поэта: и на том и на другом поприще он создал себе крупное имя. Как естествоиспытатель он достиг большой известности рядом работ по ботанике и минералогии, и в качестве натуралиста совершил кругосветное путешествие в русской экспедиции под начальством капитана Коцебу. Отсюда и интерес его к России, которую он позднее посетил (1834). Его ученые труды не отвлекали его от поэтических занятий; быть может, однако, своей исключительной осведомленностью в мировой литературе он был обязан своим навыкам ученого; большинство его лирических произведений написано на заимствованный сюжет и поэтически перерабаты-

[1]) В. И. Маслов. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев. 1912. стр. 320—321.

вает греческий роман и римскую легенду, французское фабльо и народную песню. Замечательная эрудиция Шамиссо, которая доставляла ему материал для самостоятельных переработок и пересозданий, не ослабила его личного поэтического своеобразия; это роднит его с Жуковским, который охотно переводил Шамиссо, тонко передавая сложную ритмическую структуру и звуковую изобразительность его стиха. Мировую известность Шамиссо создал себе романом „Петр Шлемиль", полным автобиографических признаний и загадочного символизма; переведенный на все европейские языки (в том числе и на русский, 1841), роман вызвал целую литературу комментариев и толкований.

„Изгнанники" не являются единственным произведением Шамиссо на русский сюжет: к тому же 1832 году, в котором поэма увидела свет в „Альманахе муз" относится еще стихотворный перевод сказки о „Шемякином суде" („Das Urteil des Schemjaka", Volksmärchen), источник которого следует искать в одном из немецких переводов этого сказания, сделанных в первой четверти XIX века [1]); к 1838 году относится его перевод Пушкинской баллады „Два ворона", вызвавший продолжительную журнальную полемику, историю которой следовало бы внести в биографию Пушкинского стихотворения [2]).

[1]) Представляется возможным и более точно определить источник переработки Шамиссо. Академик М. И. Сухомлинов („Повесть о суде Шемяки" Прилож. к XXII т. „Зап. И. Ак. Наук" № 2, СПБ 1873, стр. 3—5) указывает несколько немецких переводов „Суда Шемяки", не упоминая, впрочем о стихотворении Шамиссо. Уже в альманахе на 1808 г., изданном Гейдеке, в Риге („Iduna oder Russische Papiere" Hrsg. von Probst Heidecke. H. I. Riga 1808, s.s. 117—151) появилось описание лубочной картинки „Etto Schemjakin Sud" (Ein russisches Sprichwort), которое дало возможность иностранным любителям народной словесности ознакомиться с замечательной русской сказкой: описание это было замечено, и ученые пользовались им вплоть до Бенфея; однако, к тексту Шамиссо гораздо ближе немецкий перевод „Шемякина Суда", изданный Дитрихом, получившим оригинал от И. М. Снегирева: „Russische Volksmärchen. in den urschriften gesammelt und ins Deutsche übersetst von Anton Dietrich". Lpz. 1831: „Das Urteil des Schemjaka, s.s. 187—191. Этим изданием, вероятно, пользовался и Шамиссо; за это говорит и хронологическая близость издания Дитриха и переработки Шамиссо, одинаковая транскрипция заглавия и подзаголовка, называющего „Шемякин суд"—сказкой, а не Sprichwort, как у Гейдеке, наконец и сличение перевода и переработки. Прозаическую передачу перевода Шамиссо заменил стихотворной, а повествование оживил рядом диалогов. Ср. отзыв о форме переделки Шамиссо в письме М. А. Дмитриева к Ф. Б. Миллеру („Рус. Стар." 1889, т. X, стр. 210).

[2]) Новейшая работа о Пушкинской балладе Ю. Г. Оксмана („Сюжеты Пушкина". Сборн. памяти С. А. Венгерова. СПБ. 1923, стр. 27—34) указывает, что ее источником был французский перевод баллады Вальтер-Скотта „The twa corbies" в сборнике „Minstrelsy of the Scottish Border", 1803, III, 239. В книге H. Tardel. Studien zur Lirik Schamissos, Bremen 1902, s. 21 для Пушкинской баллады назван английский первоисточник, однако сделана ссылка на изд. 1802 г., II, 205. Любопытно, что баллада Вальтер-Скотта пользовалась замечательной популярностью и в немецкой литературе; Tardel указывает на

Поэма Шамиссо „Die Verbannten“ была напечатана впервые в редактировавшемся Шамиссо „Альманахе муз“ на 1832 год; отсюда она перепечатывалась много раз и входит во все полные собрания его сочинений. Источником поэмы был рассказ доктора Эрмана о встрече с Бестужевым в Якутске.

В конце 20-х годов был предпринят ряд ученых экспедиций в Сибирь. В 1828 году в Сибирь ездил для магнитных наблюдений шведский астроном Ганстен; к нему присоединился норвежский лейтенант Дуэ, а также и другой, впоследствии очень известный ученый, Георг-Адольф Эрман (1806—1877), который вместе с ним проехал до Иркутска, а затем сделал отдельное путешествие по северу Сибири от Нижней Оби до Охотска, Камчатки и русско-американских владений, законченное кругосветным плаванием. Целью Эрмана было также изучение земного магнетизма под различными долготами и широтами; сделанные им наблюдения представляли высокий научный интерес: на основании его данных Гаусс составил свою теорию земного магнетизма; кроме специального труда, он оставил описание своего путешествия [1]). С 1832 года он был приват-доцентом, с 1834 г.—профессором по кафедре физики в Берлинском Университете.

В начале 1829 года Эрман посетил Якутск, где в это время находился в ссылке А. А. Бестужев-Марлинский. Бестужев скучал, занимался „плотно германизмом“, изучал Гетевского „Фауста“ в подлиннике, писал стихи, интересовался преданиями и нравами якутов; неожиданная встреча с Эрманом была большим событием его якутской жизни и, он также занялся магнитными исследованиями. В письме к братьям из Якутска от 10 апреля 1829 года Бестужев набрасывал целую теорию об этом явлении и, между прочим, писал: „один молодой пруссак посещал с этой целью несколько северных стран и находится теперь на Камчатке. Он доктор философии и человек с большими способностями и образованием. Якуты приняли его за чародея и уверяют, что он пришел сюда ловить звезду, скрывшуюся с небосклона Европы. Они не в состоянии

7 ее немецких переводов, из которых 5 были сделаны до 1826 года; еще в 1832 г. для оперы I. Bredal'я „Bruden fra Lammermoor“. Андерсен сделал ее стихотворное переложение („Scotsk Ballade“); но характерно, что Шамиссо обратился к Пушкинской балладе, прозаический перевод которой доставил ему Варнгаген-фон-Энзе. Перевод Шамиссо вызвал продолжительную полемику между ним и Гоффманом фон-Фаллерслебеном, в которой не мало места уделено было и Пушкину. Подробности ее изложены у Tardel'я, op. cit, ss. 22 сл.

[1]) А. Н. Пыпин. „История русской этнографии“, СПБ. 1892, т. IV, стр. 285; В. И. Николаев. „Якутский край и его исследователи“, в. I, Якутск, 1913 г.; Adolph Ermann, Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane in den Iahren 1828, 1829 und 1830, Berlin, 1833—1848. Книга эта была переведена и на английский язык.

постичь того, как можно добровольно и без умысла просиживать ночи напролет в созерцании звезд. Глупцы!" [1]). Как правильно уже предположил М. И. Семевский, это место письма относится именно к Адольфу Эрману. Уже с Кавказа Бестужев послал Эрману французское письмо, спустя два года напечатанное в „Московском Телеграфе" [2]), потом вошедшее в собрание его сочинений, с таким пояснением: „доктор Эрман, прусский подданный, молодой человек, известный своею ученостью в мире точных наук, путешествовал по Сибири для наблюдения над силою (intensité) магнетизма земли, что входило в общий план путешествий знаменитого Гумбольдта, норвежского профессора Ганстена и лейтенанта Дуэ". „Красавицы богоспасаемого города Якутска, писал Бестужев в этом письме, очень на вас сердились, что вы уехали оттуда перед самым Светлым Воскресением, в которое могли бы их облобызать на обе щеки, без всякого зазрения совести. Хороши вы, г-да путешественники! Все ваши связи сотканы из паутины. Между тем, как новые друзья обоего пола, с слезами на глазах, провожают вас в дорогу, вы молодецки прядаете на коня, посылаете им поцелуй рукой, закуриваете трубку, может быть, розовой бумажкой, и кричите: пошел! Поминки о встречах бывают только тогда, когда придется переписывать на-бело напутный журнал. Но вы уехали: вам же хуже. Вместо того, чтоб влачиться по дурному зимнику на быках, на оленях, на собаках, бог знает на чем, весной вы бы в десять дней промчались до Охотска на конях, и все еще поспели бы туда ранее прихода камчатских судов. Вслед за вами уехал лейтенант Дуэ в Оленск, для психологического исследования о прихотях магнитной стрелки, и я остался один одинехонек: скучать по утрам, созерцая на стеклах якутскую морозную флору, зевать по вечерам, перещипывая Гете, да набожно поглядывать на барометр, по вашему завету три раза в день". Судя по этому письму, между Бестужевым и Эрманом установилась довольно тесная дружба; они поняли друг друга и нашли материал для бесед; Бестужев сделал ему метеорологическую таблицу для сравнения высоты мест и сам увлекся магнетическими исследованиями, которые заняли его досуг: они вместе проводили время в прогулках, за книгами, в рассказах и спо-

[1]) М. И. Семевский. А. А. Бестужев в Якутске 1827—1829 гг. „Русск. Вестн." 1870, т. LXXXVII, стр. 255—256. См. также Б. Кубалов. „Декабристы в Якутской области" („Сбор. трудов проф. и препод. Госуд. Иркут. Универ.", Ирк., 1921, вып. 2).

[2]) „Письмо к доктору Эрману", „Московск. Телеграф" 1831, октябрь, № 17, стр. 37 сл. Цитую по перепечатке во „Втором полном собрании сочинений А. Марлинского". СПБ 1847, т. I, ч. 3, стр. 139—162. Это письмо—не первое, посланное Бестужевым Эрману. Бестужев упоминает (стр. 144) о посылке ему метеорологической таблицы. Однако, письма Бестужева к Эрману не дошли по назначению и о существовании их Эрман узнал много позже.

рах. Бестужев оставил у Эрмана самые приятные воспоминания; о встрече с ним в Якутске он сам рассказал в своем путешествии. „Однажды вечером", рассказывает Эрман, „когда в присутствии многих якутов я производил мои астрономические наблюдения, меня в темноте поразили французские слова и вопрос одного человека, который спросил меня пожелаю-ли я повидать его, хотя он и зовется Бестужевым? Я рассеял его сомнение, ответив ему казацкой поговоркой „гора с горой не сходится, а человек с человеком", и затем в моем одиноком жилище я имел возможность насладиться очень занимательным разговором. В человеке, который звуками цепей и в тюрьме был пробужден ото сна свободы, который затем, ожидая позорной смерти, как благодеяние принял изгнание — в таком человеке я мог бы встретить известную черствость или стоическое равнодушие. Здесь же был предо мной человек, который в чертах лица, словах и фигуре сохранил всю свежесть юности и блеск благородного таланта. Он признался мне, что веселость настроения в нем всегда против его воли зарождается заново; что тяжесть прошлого и безнадежность будущего должна была бы естественно давить его, но что в нем все-таки достаточно любви к настоящему и смелости, чтобы им пользоваться" [1]). Далее Эрман рассказывает историю декабрьского восстания: она изложена, конечно, со слов Бестужева, потому что особенно касается участия в восстании его самого; здесь, между прочим, описано и несколько таких эпизодов, которые могли быть известны Эрману только из устного рассказа. Но, передавая Эрману личные воспоминания о памятном дне 14 декабря, Бестужев невольно или нарочно изобразил свою роль и значение в деле подготовки и осуществления восстания в преувеличенном свете; получилась определенная картина, которую Эрман передает так: „Александр Бестужев вступил в круг заговорщиков задолго до взрыва революции. Убежденный в даровитости русского народа, он принадлежал к числу тех, которые хотели сразу пробудить ее из крепостного рабства к жизни законной и свободной... бурными речами, какие подсказало ему мгновение, Бестужев воспламенил сердца солдат. Никто из офицеров полка не изменил своей присяге, и все-таки 5 рот солдат захватили в арсенале полка ружья и патроны. Они двинулись в строю, с развевающимися знаменами к площади Исаакия, и во главе их шел только один их оратор Бестужев, который нашел для них чисто русские слова. А между тем почти все видели его в первый раз, и на нем был мундир для них чуждый". Такое чрезмерно-личное осве-

[1]) „Reise um die Erde"... (Historische Bericht), I, 2, s.s. 269 — 275. Не имея под руками этого издания, я цитую русский перевод по книге Н. Котляревского Декабристы..., СПБ. 1907, стр. 158 -161.

щение могло быть вызвано свойством памяти, которая всегда склонна гиперболизировать личные впечатления от напряженного возбуждения и волнений за счет объективных наблюдений над фактами и явлениями, но если такое освещение было преднамеренным, то оно имело в виду, конечно, более сильное участие, которое рассказ мог вызвать у иностранца, случайно встретившего его в сибирской глуши. В таком участии Бестужев особенно нуждался, остро и болезненно переживая изгнание, которое обрекало его на бездеятельную и одинокую жизнь. Первые беседы после встречи, которые открывали ему возможность общения и сочувствия, определили интимный характер его признаний, которые никогда в другое время и при другой обстановке не были бы столь искренни и задушевны. Психологически такой момент понятен: автобиографический рассказ дал не только исход личным воспоминаниям, но и смешал их с мечтаниями, чаяниями и вымыслами, правдивость которых не возбудила подозрений; в них верил сам рассказчик. Во всяком случае, очень любопытно, что Бестужев в этот раз откровенно говорил о своих политических увлечениях; позднее, из понятных соображений, он любил замалчивать о них, если долгие годы испытаний не изменили его воззрений и взглядов. Конечно, разговор несколько раз касался и Рылеева, и Бестужев подробно рассказал Эрману трагическую историю своего друга. Воспоминания были еще очень свежи; тесная дружба, связавшая его с Рылеевым, навсегда осталась для него памятной и здесь, в Якутске, он часто думал о нем. След этого есть в его письмах, забывая о необходимой осторожности, Бестужев писал братьям 16 июня 1828 года: „J'ai reçu beaucoup de chauses de Рылеев. En avez vous de même?“[1]). Эта фраза неясна; быть может, здесь имеются в виду какие нибудь рукописи или книги, присланные ему из России. Еще 25 апреля 1829 года, т.-е. как раз в эпоху встречи с Эрманом, Бестужев писал матери из Якутска: „Н. М—е (т.-е. Наталье Михайловне Рылеевой, вдове поэта) скажите, что я до последней искры памяти не забуду ее ко мне приязни, равно как и дружбы ее супруга. Да сохранит бог здоровье ее малютки“[2]). Особенно же часто вспоминал Бестужев о поэме Рылеева „Войнаровский“, вышедшей в свет в 1825 году и ему посвященной[3]). „Войнаровский“ писался на его глазах, быть может, с его помощью; строгий к своей поэме, Рылеев воспользовался всем доступным ему этнографическим и историческим материалом. Для первого издания Бестужев написал „Жизнеописание Войнаровского“, в котором воспользовался не

[1]) „Русск. Вестн.“, ibid., стр. 234.
[2]) Ibid., стр. 258—259.
[3]) Описание этого издания и перепечатку его текста см. П. А. Ефремов, Заметка об изд. „Войнаровского“, „Русск. Стар.“ 1871, III, стр. 519—524.

только печатными источниками, но может быть и архивным материалом [1]). Когда же судьба забросила его в тот самый Якутск, который когда-то описал Рылеев со всею доступною для него точностью „местного колорита", Бестужев мог своими глазами поверить ту обстановку, которая создалась в воображении; у него сохранился интерес и к герою поэмы; он не раз расспрашивал о нем местных старожилов и искал его могилу. Он писал братьям 16 августа 1828 г.: „о Войнаровском нашел предания, но не открыл могилы" [2]); у него мог быть, наконец, и список поэмы Рылеева, либо ее первое издание 1825 г.

Встреча Бестужева с Эрманом в Якутске невольно могла ему напомнить один из эпизодов поэмы Рылеева; как известно, в поэме Рылеева описана встреча историка Миллера с Войнаровским, сподвижником Мазепы, сосланным в Якутск на поселение.

В стране той хладной и дубравной,
В то время жил наш Миллер славной:
В укромном домике, в тиши,
Работал для веков в глуши.
С судьбой боролся своенравной
И жажду утолял души.
Из родины своей далекой
В сей край пустынный завлечен
К познаньям страстию высокой,
Здесь наблюдал природу он.

Случайно встретив ссыльного Войнаровского на охоте, Миллер, приглашенный в его лесную хижину, слушает рассказ того,

Кто брошен в дальние снега
За дело чести и отчизны.

Повествование о своей трагической судьбе Войнаровский не поверял никому,—но он охотно рассказывает ученому иноземцу свою жизнь, с полной уверенностью в сочувствии:

Ты знать желаешь, добрый странник,
Кто я и как сюда попал?
Так незнакомец продолжал,—
Того до сей поры изгнанник
Здесь никому не поверял:
Иных здесь чувств и мнений люди:
Они не поняли-б меня,
И повесть правила моя
Не взволновала бы их груди.
Тебе же тайну вверю я
И чувства сердца обнаружу:
Ты в родине, как должно мужу,
Наукой просветил себя.
Ты все поймешь, ты все оценишь.
И несчастливцу не изменишь...

Так и Бестужев поверил ученому иноземцу все свои воспоминания о днях декабрьского мятежа; как Войнаровский поверил Миллеру историю своей дружбы с Мазепой, так и Бестужев рассказал Эрману историю своей дружбы с Рылеевым.

[1]) В. Маслов, Рылеев, стр. 297.
[2]) „Русск. Вестн.", Ibid., стр. 240.

Встреча Бестужева с Эрманом открывала, действительно, такой параллелизм в Рылеевской поэме, что это не могло не быть незамеченным. Понятно желание Бестужева сохранить историю этой встречи, оставить о ней память; не потому ли в 1831 году Бестужев напечатал в „Московском Телеграфе" свое письмо к Эрману, очень остроумное и живое, но, в сущности, не более интересное, чем все другие его письма из Якутска? В поэме Шамиссо есть, по крайней мере, такие слова, которые ссыльный Бестужев говорит ученому чужестранцу, посетившему Якутск,—конечно, Эрману, хотя он и не назван по имени:

Dein Woinarowski sah dich unterliegen.
O mein Mazeppa, und bewahrt dein Wort
In seines Herzens Schreine goldgediegen.
Du andrer Müller stehst am selben Ort
Um wieder gleiche Bilder zu betrachten
Die nimm du im Gedächtnissmit dir fort!
Und wenn die guten Götter heim dich brachten,
So gieb den Stiff dem Dichter zum Gedicht:
Er leb'im Lied, den sie zu töten dachten![1]).

Не существенно, представляет ли это место поэмы воспроизведение подлинных слов Бестужева, или оно является лишь поэтическим вымыслом Шамиссо. Бестужев мог желать, чтобы история его встречи с Эрманом была прославлена в поэме, но он не рассчитывал, конечно, на то, что его интимный разговор с ученым чужестранцем так скоро вдохновит немецкого поэта. Едва ли он узнал и о самой поэме, которая увидела свет в „Альманахе муз" на 1832 год. Переведенный на Кавказ для выслуги, что открывало для него некоторые надежды на полное прощение, Бестужев должен был забыть о своих политических увлечениях и планах.

Впечатления кавказской жизни, обстановка военных тревог, надежд и опасений скоро отодвинули на второй план воспоминания о якутской жизни, и встреча с Эрманом, которая живо напомнила Бестужеву эпизод Рылеевской поэмы, его собственные политические мечты и день восстания, скоро забылась среди новых встреч и знакомств. В своей кавказской глуши, оторванный от книг, и текущей литературы и живого литературного общения, Бестужев едва ли мог узнать о немецкой поэме, сложенной в его честь; едва ли впрочем она была замечена и в столицах; я не нашел упоминания о ней ни в русской периодической печати, что естественно объясняется цензурными условиями, ни в частных письмах.

По возвращении на родину, Эрман принялся за обработку материала своих изысканий и за описание своего ученого пу-

[1]) Цитую по изд. Max Koch'a, Schamisso's gesammelte Werke, Bd. II, s.s. 69—77.

тешествия. Первый том этого описания вышел в свет в Берлине только в 1833 году, следовательно через год после того, как была опубликована поэма Шамиссо. Несомненно, что Шамиссо пользовался рукописью Эрмана, с которым у него была давняя ученая дружба, или, наконец, его устным рассказом [1]).

Поэма Шамиссо слагается из двух частей: 1. Woinarowski—1740; 2. Bestoujeff—1829; первая представляет из себя сокращенный перевод Рылеевской поэмы, что отмечено и в подзаголовке (Nach dem russischen des Rileieff), вторая является пересказом воспоминаний Эрмана; обе части носят общее заглавие: „Die Verbannten".

Замысел поэта был определен параллелизмом двух встреч: поэтому-то из поэмы Рылеева, переведенной сильным и звучным стихом, Шамиссо взял лишь описание встречи Войнаровского с Миллером, опустив некоторые подробности и добавив от себя новые; перевод поэмы Рылеева предопределил форму и содержание второй части поэмы: оттого встреча Эрмана с Бестужевым происходит на охоте, в звездную морозную якутскую ночь. Но обе части поэмы Шамиссо настолько тесно связаны между собой, что не могут существовать раздельно; спайкой служат уже первые четыре стиха второго отрывка, которые взяты из первого отрывка, и, следовательно, приписаны Шамиссо Рылееву:

Его все-таки уничтожит гнев неба
Ибо бог требует возмездия,
И не даст заглохнуть семени греха...

Этих фраз нет в поэме Рылеева, но они есть в переводе Шамиссо, и весь смысл композиции поэмы в том, что этот воображаемый отрывок Рылеева поет Бестужев на охоте в темную якутскую ночь в момент встречи с Эрманом.

Чужестранец поражен словами этой песни, и хочет узнать имя певца; „Кто ты, кто наполняет звуками глухую ночь?" спрашивает он Бестужева. „Кто ты, что меня об этом спрашиваешь? Песнь принадлежит мне и ты не отучишь меня петь ее", отвечает Бестужев. „Тебя спрашивал чужестранец, потому что его обрадовали мощные звуки твоей песни. Он не хотел обидеть тебя", отвечает Эрман. Тогда Бестужев приглашает его в свою хижину и рассказывает повесть своей жизни. Шамиссо не воспользовался всеми подробностями рассказа Эрмана; опущены все исторические и бытовые указания; перед нами почти отвлеченный образ. Здесь, в помещении своей могилы, рассказывает Бестужев, я, как соловей, каждую ночь пою о своих

[1]) К изданию поэмы „Die Verbannten" в „Deutsche National—Litt" A.E. Kürschner'a, Bd. 148: Schamisso's Werke, Stuttg., s.s. 311—319 приложен и рассказ Эрмана, s.s. 459—464. Это изд., к сожалению, мне не было доступно в момент написания этой заметки.

мечтах. Мне остался только полный звук моего свободного голоса, но я пользуюсь всею радостью моего, еще не надломленного, мужества, меня не оставляет надежда. Меня учат земля и круговращение звезд: они говорят мне: мы никогда не останавливаемся: посмотри: над нами колесница, она еще летит ввысь; чтобы упасть в глубину на другом краю неба. На пути своем я дошел до обрыва, который преграждает мне дорогу; но я или другие, мы должны взбираться на горние высоты, мечты мои—не пустой обман; близится день народа;

Das wird am Tag der Völker bald sich zeigen;
Denn hält die Wage schwankend sich noch gleich,
So muss die volle Schale doch sich neigen.
Gewürfelt hab ich um ein Kaiserreich;
Noch einmal ist der Kühne Wurf missiungen.
Er bot die Brust entblösst dem Todesstreich!

И он называет свое имя: я—Бестужев, которого все называли сообщником Рылеева, тот, которому он спел свою предсмертную песнь о Войнаровском, полную призывов и пророческих предсказаний. Он погиб на эшафоте, мне же суждено пережить его в изгнании. Подобно Войнаровскому, я видел смерть моего Мазепы. Ты, как другой Миллер, стоишь на том же месте, чтобы видеть сходные картины; когда ты возвратишься домой—унеси их с собою в памяти и дай поэту сюжет для поэмы. И Бестужев говорит о суде и возмездии, о грядущих днях мятежа и расплаты, а на темном небе якутской ночи взметаются снопы лучей; гаснут звезды и небо объемлет кровавое сияние, подобное отсветам грехов:

Und aus dem Bogen blut'gen Lichtes schossen
Den Süden wundersame Funkengarben,
Die neigend sich zum Horizont verflossen;
Mit Zitterscheine wechselten die Farben!
Die Sterne wie der Lohe Säulen stiegen,
Verloren ihre Strahlen und erstarben.
Nach Norden starrten beide hin und schwiegen.

Так заканчивается поэма Шамиссо. Интерес ее именно в определенной гражданской настроенности и в тех политических предсказаниях, которые вложены в уста Бестужеву. Они не принадлежат ему, как не принадлежит и поэтическая оценка декабрьского восстания, которую следует отнести на счет немецкого поэта, его личных симпатий и взглядов. Шамиссо не изменил своей поэтической манере; рассказ Эрмана дал лишь остов поэме и сообщил не все для той гражданской и поэтической идеализации, в результате которой создался красивый, но исторически неверный образ. Во всяком случае, поэма Шамиссо интересна уже тем, что она представляет из себя едва-ли не первую попытку поэтически осветить образ русского революционера.

М. П. Алексеев.

Стерн в восприятиях декабристов.

С некоторым опозданием русская историко-литературная наука занялась вопросом об отражениях Стерна в русской литературе. До последнего времени имя Стерна принималось в расчет только при изучении Карамзина, отчасти Радищева. И это, пожалуй, все, что было известно о русском стернианстве. Исследования последних лет, вернее сказать, последних дней, позволяют поставить эту проблему гораздо шире и полнее. Тема о русском стернианстве вошла и в известный указатель Н.К. Пиксанова [1]),—и уже есть возможность к указанной им литературе присоединить еще ряд новых работ: небольшая заметка Б. Л. Модзалевского о новооткрытых строках о Стерне Пушкина [2]), новое издание перевода „Сантиментального Путешествия“ [3]), и, наконец, специальное исследование В. И. Маслова „Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII и начала XIX века“, написанное еще в 1919 г., но опубликованное только в текущем году [4]).

Небольшая, но обстоятельная и интересная работа В. И. Маслова подводит итоги всему, что сделано в области изучения русского стернианства и значительно расширяет круг наших сведений об интересе к знаменитому английскому романисту и увлечении им в русской литературе до середины XIX века.

Автор так формулирует свои выводы: „Вслед за западной и русская литература с конца XVIII века начала уделять внимание Стерну. С этого времени имя его часто встречается на страницах нашей печати, появляются переводы на русский язык сочинений Стерна; многие с интересом читают эти сочинения, пользуются цитатами для эпиграфов, переводят из иностранной журналистики статьи о Стерне, включают его имя в общеобразовательные программы чтений: интересуются западными подражателями Стерна, переводят их сочинения на русский язык и, наконец, заимствуя от Стерна форму и идеи, сами стараются создавать оригинальные произведения в духе английского писателя“ [5]).

В. И. Маслов приводит подробный и обстоятельный список русских переводов Стерна за исследуемый период; говорит об увлечениях Стерном в XVIII веке — о Радищеве, Екатерине II, Карамзине, Мартынове (издателе „Северного Вестника", „Музы" и „Лицея"); упоминает, переходя к XIX веку, С. Глинку, Жуковского, коротко упоминает об интересе к Стерну у Пушкина, Марлинского, Грибоедова, Лермонтова, и заканчивает подробным разбором литературной деятельности крайнего представителя русского стернианства—„пример злоупотребления литературными приемами Стерна" — Якова де Санглена.

Этот круг имен и произведений должен быть значительно расширен. Стернианство в первой половине XIX века было одним из значительных факторов крепнущего литературного и общественного сознания, захватывало широкие круги русской мысли—и в частности, под стерновским обаянием были и некоторые будущие деятели 14 декабря [6]).

Этот момент в работе В. Маслова отмечен только кратким упоминанием: „А. С. Грибоедов в беседе с А. А. Бестужевым цитировал наизусть „Сантиментальное Путешествие" Стерна. Не раз встречаются цитаты из Стерна и в произведениях А. А. Бестужева (Марлинского)" [7]).

Но едва ли этими именами и фактами ограничивается связь стернианства и декабризма. В одном из писем Ал. Одоевского находится любопытное и знаменательное замечание об „общем пороке" — сантиментализме и о „Стерновой секте" [8]). Сам он стремился — едва ли с большим правом — отгородиться от этой секты и от этого общего порока. „Из всех писателей, которых я читал в своей жизни, больше всего благодарности я питаю бесспорно к Стерну", пишет М. И. Муравьев-Апостол в заметках своих, которые он делал в крепости на чистых страницах экземпляра евангелия. „Я себя чувствовал более склонным к добру каждый раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду". „Это мой брат", говорит он о нем ниже [9]). Среди бумаг декабриста Спиридова, уничтоженных им перед арестом, находились выписки из сочинений Стерна (Его „самоисследование") [10]).

В числе русских стернианцев должен быть упомянут и один из самых замечательных деятелей декабрьского восстания — Николай Бестужев.

По собственному признанию Н. Бестужева, он „не расставался со Стерном". Стерн сыграл большую роль и в личной его жизни. Об этом имеются определенные указания у М. Бестужева.

Вспоминая, как тяжело было ему в крепости без книг, он рассказывает: „У меня была (первоначально, до появления Библии) только одна книга Théatre de Racine, посланная украдкой сестрой, и эта единственная книга, может-быть, спасла

меня от потери рассудка". „У брата Николая", замечает он далее, „в Шлиссельбурге была книга Стерна сентиментальное путешествие и она имела на него благотворное влияние" [11]). Очевидно, такого же рода, как Théatre de Racine на Михаила Бестужева.

В каземате Николаем Бестужевым была написана повесть „Русские в Париже 1814 года". Эпиграфом взята цитата из Стерна: „Мы не только выигрываем в свете, оказывая другим услуги, сколько принимая их. Возьмите увядающий цветок и посадите, сперва вы будете поливать его, потом полюбите, потому что хлопотали около него". В Стерновском духе и с обильными реминисценциями из Стерна написан также на каторге расказ „Отчего я не женат".

Это увлечение Стерном Николая Бестужева знаменательно. Н. Бестужев фигура особенно яркая и характерная для своего круга и времени. Его биограф с полным правом говорит о нем, что он „по всему развитию его нравственной личности, по постепенному образованию и складу его ума и направления, по свойствам души и сердца, словом, по всему его правдивому облику, был человеком, в котором, как в фокусе, сосредоточились многие, самые рельефные черты молодого поколения, выступившего со своими идеалами во вторую половину царствования Александра I-го" [12]). Вполне возможно предполагать, что и этот глубокий интерес к Стерну у Ник. Бестужева не является только случайным личным увлечением, но знаменует собою определенное течение в декабристких кругах.

Ал. Одоевский был, конечно, прав, когда говорил о стерновском сантиментализме, как об „общем пороке". Стоит только вспомнить „русского Занда"—беспредельно дерзкого" и в то же время „чувствительного и сантиментального" Каховского. „Романтику 20-х годов нельзя было и быть без этого свойства", замечает по этому поводу П. Е. Щеголев [13]).

Характеризуя русское стернианство, В. Маслов отмечает те стороны таланта и творчестваy Стерна, которые особенно привлекли внимание русской литературы и русского читателя. „Он привлекал к себе, не как юморист", говорит исследователь: „эта сторона его таланта на первых порах как-то мало отмечалась его русскими поклонниками". Стерн интересовал, главным образом, „как представитель сантиментального течения", при чем, особенно широко отмечалось и подчеркивалось „гуманное настроение Стерна, постоянный призыв его к чувствительности, в которой Стерн видел могучее средство для улучшения человеческих отношений" [14]).

Но можно все же предполагать, что декабристы углубили и осложнили понимание Стерна. По крайней мере, у Ник. Бестужева мы встречаем уже нечто иное и новое в восприятии и трактовке Стерна. Если знаменитая глава о скворце в клетке

(„Сантиментальное Путешествие“, ч. II, гл. III) для первых русских писателей являлась только поводом для тех или иных сердечных излияний или ламентаций о свободе общего характера [15]), то для Ник. Бестужева эта сцена являлась уже живым символом, заключавшим в себе не отвлеченную мысль, не общие настроения, но символом, тесно связанным с действительностью и носившим жуткий пророческий характер.

Эта глава о скворце и последующие рассуждения Иорика лежат в основе художественного замысла рассказа „Отчего я не женат“. О происхождении его подробно рассказывает Мих. Бестужев. Этот рассказ написан в казематскую эпоху („когда более всего процветала мода на литературные произведения“) и вызван частыми вопросами дам (жен декабристов) „почему он не женат“. –„Погодите“, часто отвечал он, „я это вам опишу“. И когда они приступили с решительностью и взяли с него слово, он написал эту повесть. Но так как ему не хотелось сказать истины вполне, не хотелось обнаружить своей заветной любви перед чужими взорами, он выставил подставное лицо героини повести, в описании которой, впрочем, невольно отразился колорит характера любимой им женщины“ [16]).

* * *

Рассказ этот посвящен автором Александре Григорьевне Муравьевой (жене Никиты Муравьева). Это посвящение и те сведения, которые сообщает Мих. Бестужев, позволяют датировать рассказ временем между 1827 и 1832 годами. (Последняя дата — смерть А. Г. Муравьевой). А так как эпоха увлечения литературными занятиями падает на первые годы пребывания в Петровском Заводе, то не будет ошибкой отнести этот рассказ приблизительно к 1830 году. Напечатан же он много позже, уже после смерти автора в книге его рассказов и очерков, вышедшей в свет в 1860 году под заглавием: „Рассказы и повести старого моряка“ [17]).

Отчетливый эпиграф к рассказу, народная пословица

Одна голова не бедна,
А и бедна, так одна

служит красноречивым ответом на поставленный в заглавии вопрос.

„Я думал об этом“, говорит рассказчик: „когда страсти мои волновались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал, но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их со своею мечтою. За всем тем, безумный я еще думал жениться! Теперь я вижу, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранной мною подругой жизни...“ [17])

Причин этого отречения, этой необходимости отказа от личного счастья, рассказчик не раскрывает. Но, ведь, не нужно забывать, что рассказ предназначался для особой аудитории, которой в данном случае было достаточно самого легкого намека; впрочем, несколько ниже автор сам расшифровывает этот намек — для этой то расшифровки им и привлекается Стерн.

Мы узнаем из дальнейшего повествования, что эти мысли особенно волновали рассказчика, когда он ехал в Новую Ладогу, откуда, по „желанию своей матушки", должен был побывать в двух семействах, связанных с его семьей старинной дружбой, „и в которых были милые дочери и достойные невесты".

Его застигает ночь на почтовой станции. При свете свечи он открывает взятую с собой книгу. Это было „английское Стерново чувствительное путешествие".

„Как нарочно" в случайно открытой странице он находит у „Стерна отзвук своим настроениям и тревогам". Открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

„... я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению".

„Я начал миллионами мне подобных; но находя, что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам, и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение".

„Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что он был бледен и истомлен лихорадкою. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время — и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети..."

„Но здесь мое сердце облилось кровью, — и я принужден был приступить к другой части моего изображения".

„Он сидел в углу на небольшом пуке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним — и как я заслонял последний свет, доходивший до него — он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он поворотился, чтобы положить палочку в связку с дру-

гими. Он тяжело вздохнул; я видел, что железо въедалось в его душу, — я залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением..." [19])

Декабристы любили растравлять свое воображение такими картинами и сценами. Революционеры-романтики, каковыми, в сущности, являлось большинство декабристов,—они представляли революцию и свою роль в ней по книжным образцам, и жадно искали в образах мировой и отечественной литературы прообразов и пророческих страниц о будущей судьбе своей.

Басаргин читает своей жене поэму Рылеева „Войнаровский". „При этом я невольно задумался о своей будущности", пишет он. „О чем ты думаешь", спросила его жена. „Может быть и меня ожидает ссылка", сказал я. — „Ну что ж, я также приду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь, это не может разлучить нас, так об чем же думать, — прибавила она с улыбкой" [20]).

Когда Рылеев писал Исповедь Наливайки, у него жил Михаил Бестужев. „Однажды он сидел в своей комнате", рассказывает Николай Бестужев, „и читал". Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразил Михаила.

— „Знаешь ли", — сказал он, „какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою. Ты как будто, хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах" [21]).

Пророческое предзнаменование чудится Николаю Бестужеву и в этих, случайно раскрывшихся, страницах „Стернова путешествия". Бастильское видение Йорика снимает последние сомнения и колебания рассказчика. Теперь его решение — навсегда отказаться от личного счастья с любимой женщиной окончательно. На листе бумаги, рядом с небрежно набросанным рисунком узника в темнице, он заносит и свои „сентенции" на Стерна, в которых пишет:

„Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе—я всегда переносил с твердостию — но чужих страданий я не могу видеть: когда их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросят меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где бы можно было отнять от меня мою совесть — я буду спокоен сам за себя. Если же за мною останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием: горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди предчувствие, я не могу — я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастья"... [22])

Эти мысли, в данном случае, навеяны Стерном. Но эти строки необычайно типичны и характерны для эпохи. В ре-

dant им можно напомнить письмо из крепости Каховского. „Мы все на земле — не вечны“ — писал он, „на престоле и в цепях смерть равно берет свои жертвы. Человек с возвышенной душой живет не роскошью, а мыслями — их отнять никто не в силах... Мне не нужна и свобода: я и в цепях буду вечно свободен“, и т. д. [23]).

Нет надобности останавливаться подробно на дальнейшем изложении повествования Н. Бестужева. Случай приводит на ту же станцию „прекрасную молодую женщину“; ей попадается забытый на столе Стерн и лист с набросанными рисунками и заметками. Обе стороны заинтересовываются друг другом, тем более, что ее черты были, „такие“, говорит автор: „в какие он всегда облекал свою мечту“, „свой идеал красоты и прелести“, и который „только что носился перед его глазами“.

Эта встреча нарушила было то твердое решение, которое, казалось, еще так недавно определенно и твердо сформировалось и укрепилось под влиянием стерновского образа. Мы уже видим рассказчика, мечтающим о новой встрече, о возможности взаимной любви, о радости матушки...

Но это были последние вспышки мечтаний о личном счастье. „Мысль о превратностях судьбы в будущем“ опрокинула эти светлые мечты. „Рассудок говорил против,—вероломное сердце твердило за себя“.

Но восторжествовал рассудок.—„Я не хочу ее сделать несчастной“. Это было последнее и окончательное решение. „По возвращении в Петербург“, заканчивает рассказчик: „борьба с самим собою мне становилась тяжелее и тяжелее. Случай привел меня часто встречаться с милою путешественницею; в первый раз она сделала мне выговор; в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое то вопросительное выражение ее глаз; это меня мучило — я любил ее, — что она должна была обо мне думать. Кто мог ей объяснить загадку моего поведения“... „Матушка моя осталась при своем желании, а я остался одиноким в этом мире“ [24]). Этим заканчивается повествование Н. Бестужева.

Как видим, рассказ Н. Бестужева весь насыщен Стерном. С книжкой Стерна рассказчик едет в путь; Стерна раскрывает и читает „милая путешественница“, со Стерном после этого автор „не расстается всю жизнь“. Стерновская страница является решающим моментом в рассуждениях и колебаниях автора.

Но этот рассказ не только полон цитат и реминисценций из Стерна, он и построен в стерновских тонах и приемах. Уже самая внешняя форма — путешествие и дорожная встреча — несомненно, подсказана Стерном. О Стерне же заставляют вспомнить и вводные эпизоды и ряд мелких деталей: описание и появление незнакомки, догадки и предположения о ней рассказ-

чика, даже борьба между долгом вежливости и учтивости и желанием самому отдохнуть на единственном в комнате диване, — все это заставляет вспомнить о стерновском путешествии.

* * *

Конечно, не в этом только интерес и значение рассказа Бестужева. За исключением нескольких лирических отрывков, мы не имеем художественных произведений, вышедших из среды декабристов и в которых изображались бы их настроения и переживания, их думы и замыслы. Забытый рассказ Ник. Бестужева восполняет этот существенный пробел, являясь единственным памятником такого рода. Наконец, историко-литературное и общественное значение этого рассказа—и в той теме, или вернее, проблеме, которую впервые поставил и ввел в русскую литературу автор: тема личной драмы революционера, тема об ответственности политического деятеля-заговорщика перед любимой женщиной, судьбу которой он связывает со своею, не посвящая ее в свои планы.

Не важно, действительно ли о подлинном личном переживании говорит Н. Бестужев в своем рассказе, или перед нами определенное литературное задание, — важно то, что эта тема уже была поставлена жизнью и уже ждала своего литературного оформления, и первыми (надолго единственными) слушателями и читателями этого рассказа были как раз участники подлинной драмы на эту тему, — драмы уже не в литературе, но в жизни. Важно то, что эта проблема была поставлена и жизнью уже был дан ряд решений ее. Некоторые из них мы знаем.

Когда Михаил Орлов сделал предложение Екатерине Раевской, брат ее, Александр, поставил ему первым условием выход его из тайного общества. Орлов принял эти условия, и, как рассказывает И. Д. Якушкин, „в угодность родным Раевской решился прекратить все сношения с членами тайного общества“ [25]).

Иначе поступил С. Волконский. В „Записках“ он подробно рассказывает о своем сватовстве: „давно влюбленный в нее (Марию Николаевну Раевскую), я наконец в 1824 г. решился просить ее руки. Это дело начал я вести через Михаила Орлова, но для очищения себя от упрека в том, что я виною всех тех испытаний, которым подвергалась она впоследствии, от последовавшего опального моего быта—я должен сказать, что препоручив Орлову ходатайствовать в мою пользу у ней, у ее родителей и братьев, я положительно высказал Орлову, что если известные ему мои сношения и участие в тайном обществе будут помехою в получении руки той, у которой я просил

согласия на это, то хотя скрепя сердце, я лучше откажусь от этого счастья нежели решусь изменить своим политическим убеждениям и своему долгу" [26]).

Замечательно, что в этом рассказе нет ни слова о возможной ответственности перед будущей женой. Речь идет только об ответственности перед ее родными, но—не перед ней самой. М. Н. Волконская невольно досказывает. „В первый год нашей супружеской жизни я провела с мужем только три месяца; я и не подозревала тогда о существовании Тайного Общества, членом которого он состоял" [27]).

Иначе решал вопрос Басаргин. „Перед женитьбой моей"— пишет он, „я открыл будущей жене своей, что принадлежу к тайному обществу, и что хотя значение мое в нем неважное, но что не менее того может и со мной последовать такое бедствие, которое ей трудно будет переносить". „Она отвечала мне", продолжает Басаргин: „что идет не за дворянина, адъютанта, или будущего генерала, а за человека, избранного ее сердцем, и что в каком бы положении этот человек ни находился, в палатах, или в Петербурге при дворе, или в Сибири, судьба ее будет совершенно одинакова. Этот ответ успокоил совершенно мою совесть" [28]).

Но было и четвертое решение — о нем говорит Николай Бестужев — и его рассказ является попыткой художественного обоснования его. Решающим моментом этого обоснования Бестужев ввел мотив пророческого предчувствия о своей судьбе. (Это же служит лейт-мотивом его воспоминания о Рылееве). Но он не смог и не сумел воплотить эти настроения и переживания в четких художественных образах — их заменили цитаты и реминисценции из Стерна.

Правда, суровый ригоризм Бестужевского решения плохо вязался с мягкими тонами стерновских очерков, еще менее было соответствия между бесплотным узником стерновского видения и той подлинной казематной трагедией, которую уже пережили и еще переживали и сам автор и его слушатели. Но власть литературной традиции оказалась сильнее непосредственно пережитого опыта.

Впрочем, для того, чтобы поднять пережитый опыт на высоту подлинно-художественного обобщения, чтобы запечатлеть его в ярком новотворческом образе, нужно — помимо других условий — прежде всего быть и подлинным художником. Но талантливый инженер-изобретатель, вдумчивый этнограф, порой блестящий мемуарист, Николай Бестужев не был художником-создателем образов—в таких случаях неизбежно подражание и заимствование. Таким образом, „чувствительный Стерн" оказался призванным для художественного оформления дум и настроений русской революционной интеллигенции двадцатых годов.

И это чрезвычайно характерно и показательно для эпохи. Так, случайно, но отчетливо вскрылась одна из сторон революционного мироощущения декабристов, обнаружился один из элементов последнего. В этом — историко-культурное значение этого русского эпизода мирового стернианства.

Марк Азадовский.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Н. К. Пиксанов. „Два века русской литературы", М. 1923. Тема „Русское Стернианство", стр. 38—39.
2. Б. Л. Модзалевский. „Пушкин и Стерн", Неизданные строки. „Русск. Современ.", 1924, № 2, стр. 192—193.
3. Л. Стерн. „Сантиментальное Путешествие по Франции и Италии". Пер. Д. В. Аверкиева, ред. и предисловие П. К. Губера. Гос. Изд. 1922, „Всемирная литература", № 59.
4. В. И. Маслов. „Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII и начала XIX века". „Историко-литерат. сборник, посвященный В. И. Срезневскому". Лен. 1924.
5. Op. cit., стр. 342.
6. Отметим в качестве дополнения несколько библиографических мелочей: В издании „Пиров" 1826 г. Боратынский присоединяет эпиграф: „Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта. Стерн". (Акад. изд., т. II; стр. 225); в духе Стерна и коротенькое его предисловие к этой поэме. В. Ф. Одоевский в конце 20-х годов увлекался идеей о воспитательном значении литературы. „В разговоре двух приятелей" он горячо отстаивает мысль о важности сатиры, ссылаясь на Сервантеса, Мольера, Свифта, Стерна... (П. Н. Сакулин. В. Ф. Одоевский, т. I, стр. 231).
7. В. И. Маслов, op. cit., стр. 370.
8. Из переписки В. Ф. Одоевского. „Ист. В." 1904, 2, стр. 376.
9. Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха, П. 1922, стр. 15.
10. Дело Штаба I Армии „О злоумышленном тайном обществе", 1826 г., № 9.
11. Воспоминания бр. Бестужевых. Изд. „Огни" П. 1917, стр. 228—229.
12. К. Ф. Рылеев. Воспоминание Н. Бестужева. Изд. „Альциона" 1919, стр. 60.
13. П. Е. Щеголев. П. Г. Каховский. „Былое", 1906, I, стр. 139.
14. В. И. Маслов, op. cit., стр. 355.
15. Срвн. В. Сиповский. „Очерки из истории русского романа"; А. Н. Веселовский „Западное влияние в новой русской литературе".
16. Воспоминания бр. Бестужевых, стр. 293—294.
17. Н. Бестужев. „Рассказы и повести старого моряка". М. 1860. В 1874 году была изменена обложка: „Морские сцены, повести и рассказы".
18. Рассказы... стр. 453.
19. Ibid; стр. 454—455; у Стерна — ч. II, гл. IV.
20. Записки Н. В. Басаргина. XIX век. Истор. Сборн., изд. П. Бартеневым. Кн. I. М. 1872, стр. 87.
21. Воспоминания..., стр. 5.
22. Рассказы..., стр. 461.
23. Былое, 1906, № 1, стр. 139.
24. Рассказы..., стр. 481.
25. Записки И. Д. Якушкина, изд. 3-е., Спб. 1905, стр. 53.
26. Записки С. Г. Волконского. Спб., 1902, стр. 111.
27. Записки М. Н. Волконской, изд. 3-е, стр. 51.
28. Записки Н. В. Басаргина..., стр. 54.

Письмо А. О. Корниловича из Петропавловской крепости.

Печатаемое здесь впервые письмо декабриста Корниловича к брату, подполковнику корпуса топографов Без-Корниловичу, относится к периоду его вторичного пребывания в Петропавловской крепости (с 14 февраля 1827 года по 15 ноября 1832 г.) и, следовательно, написано им незадолго до его освобождения из под ареста и определения рядовым в войска, расположенные в Грузии [1]). Своему вторичному заключению в крепость Корниловичь всецело обязан был наветам известного редактора „Северной Пчелы" Булгарина, в своей записке к А. Х. Бенкендорфу обвинившего Александра Осиповича в распространении в гвардейских полках, среди его офицерства, и в литературных кружках, среди хорошо знакомых ему писателей политической литературы, имевшей сильное на них влияние, в постоянных затем, сношениях с австрийским посольством, руководившим будто бы его действиями, и, наконец, в нескромном сообщении австрийскому послу, графу Лебцельтерну, некоторых государственных тайн, известных Александру Осиповичу благодаря его многолетним работам в секретных государственных архивах [2]). Короче говоря, Булгарин обвинил Корниловича в политической агитации и шпионаже. Записке этой придано было в высших сферах особо важное значение, ибо как раз в это время правительство очень интересовалось вопросом о возможном влиянии иностранных держав на действия и планы заговорщиков и в частности именно Австрии. Таким образом, единственной причиной вызова Корниловича из Читы и вторичного его заточения в крепость явилось желание выведать от него о доли участия Австрии в организации у нас революционного движения и роли во всем этом самого Александра Осиповича. Корниловичу очень легко удалось очистить себя

[1]) О жизни Корниловича на Кавказе см. мою статью „Декабрист А. О. Корнилович на Кавказе" в юб. сборн. „Декабристы на каторге и в ссылке".

[2]) См. ст. П. Е. Щеголева „Благоразумные советы из крепости" в сборнике того же автора „Декабристы" изд. „Былое" Пгр., 1920, стр. 37—39.

от взведенных на него обвинений и произвести настолько даже хорошее впечатление на Бенкендорфа, что последний во все время пребывания Корниловича в крепости оказывал ему различные послабления вплоть до присылки на прочтение книг из собственной библиотеки. О том, почему Корнилович задержан был здесь столь продолжительное время, правильным будет предположение П. Е. Щеголева, высказавшего мысль, что Николаю Павловичу показалось весьма полезным для себя держать под рукою человека толкового и очень сведущего во многих сторонах русской жизни и прочитывать его мнения по разным вопросам государственного значения [1]). Однако, деятельность заключенного помимо докладных записок, а именно его литературные начинания, не получила должного еще освещения. О них мы можем судить по письмам Александра Осиповича из крепости, почти полностью сохранившихся в семейном архиве [2]). Одно из них, — от 5 августа 1832 года, предлагается вниманию читателя.

А. Груль-Гржималло.

Спасибо тебѣ, другъ мой, за твое письмо отъ 22-го прош. мѣс. Почти въ то же время я получилъ другое отъ Жозефины [3]), которое для успокоенія тебя пріобщаю въ подлинникѣ съ просьбой однакожъ возвратить по прочтеніи. Увидишь изъ него, какъ дружески, откровенно, безъ преувеличеній, она описываетъ свое положеніе, и сознаешься, надѣюсь, въ несправедливости твоего мнѣнія объ Августинѣ. Безъ мѣста, жалованья и пенсіона, подъ судомъ, занятый воспитаніемъ дѣтей своихъ и покойнаго Степана Ивановича [4]) онъ, согласись, не могъ въ точности исполнить своихъ къ тебѣ обязанностей, но едва получилъ надежду, что дѣла его поправятся, рѣшилъ продать свое имущество для удовлетворенія тебя [5]).

Недѣли двѣ назадъ я получилъ Грамматику Греча и прочелъ ее съ большимъ удовольствіемъ и пользой. Спасибо, право, Гречу: Изданіемъ своей Грамматики онъ оказалъ большую услугу любителямъ Русскаго языка. Немногіе наши писатели, даже изъ первостепенныхъ, скажутъ тебѣ всегда, почему они пишутъ такъ, а не иначе. Большая часть слѣдуетъ навыку и употребленію, потому что правила, преподанныя намъ въ шко-

---

[1]) Ibidem, — стр. 30.

[2]) За исключением двух удержанных писем. Одно, от ноября 1831 г. хранится в общем архивном деле Корниловича, другое, от 13 октября 1832 г. помещено в I секр. арх. (С. А.) № 1332.

[3]) Жозефина Осиповна Корнилович, сестра автора письма, была замужем за своим дядей, полковником Августином Ивановичем Корниловичем.

[4]) Свиты е. в. по квартирмейстерской части ген.-майор Степан Иванович Корнилович, брат Августина Ивановича.

[5]) Августин Иванович К. должен был Михаилу Осиповичу 10 тыс. рублей серебром.

лахъ, вообще недостаточны, часто же противорѣчатъ чистотѣ языка. Всѣ русскія грамматики доселѣ были сколками Ломоносовской, сочиненія отличнаго, какъ перваго въ своемъ родѣ, но по сему самому весьма несовершеннаго. Великая заслуга Греча, что онъ первый освободилъ себя отъ этаго рабскаго подражанія и, вникнувъ въ свойство языка, почерпнулъ изъ него правила новыя, болѣе соотвѣтственныя нынѣшнему его состоянію. Не утверждаю, что онъ разгадалъ всѣ трудности, объяснилъ всѣ сомнѣнія, но скажу не обмануясь, что наши преемники, кои будутъ учиться Русскому языку по Гречевой книгѣ, будутъ писать если не лучше, то по крайней мѣрѣ правильнѣе насъ.

Вмѣстѣ съ грамматикой доставили мнѣ варенье, а потомъ и чаю. Ошибаешься другъ мой, ожидая за нихъ благодарности. Я чувствителенъ къ твоей памяти, къ видимому желанію облегчить мою судьбу, но если можно было гнѣваться за изъявленіе любви и посердиться, я попенялъ бы тебя за то, что не обращаешь вниманія на мои просьбы и хочешь противъ воли принудить меня къ притворству. Кто тебѣ сказалъ, что я охотникъ до сластей? По мнѣ, пища, чѣмъ проще, тѣмъ лучше. Да и долженъ по необходимости отъ нихъ воздерживаться потому, что безъ того часто хвораю желудкомъ и подверженъ зубной болѣзни. Стоитъ же ли для ничтожнаго удовольствія проглотить въ день одну, много двѣ чайныхъ ложки сладкаго, кидать какихъ-либо пятьдесятъ рублей? И случись мнѣ нужда действительная, станетъ ли у меня послѣ такихъ издержекъ духу обратиться къ тебѣ, живущему изъ одного жалованья? По неволѣ на всѣ твои вопросы буду говорить, что у меня всего вдоволь. Скажешь: это напрасно, ты-де съ радостью исполняешь всѣ мои требованія. Все знаю, всему вѣрю, милый другъ. Но, любезный! и у меня, хотя каторжнаго, не вымерло еще все чувство чести и стыда. Да и вообще этакія прихоти мнѣ не приличны. Что за баловство? Помысли гдѣ я, что я? До того ли мнѣ, чтобъ себя нѣжить?

Не напугалъ ли я тебя послѣднимъ своимъ письмомъ? я былъ тогда очень плохъ: хворалъ и тѣломъ и духомъ; самъ не понималъ, что писалъ [1]). Теперь, благодаря бога, оправился, укрѣпился и хочу приступить къ переводу Тита Ливія. Трудъ огромный, семнадцать томовъ въ осьмушку; работы прилежной года на два по крайней мѣрѣ. Впрочемъ это не страшно! Далъ бы Господь здоровья, а постоянства, надѣюсь, у меня станетъ. Пугаетъ меня трудность дѣла. Мнѣ бы хотѣлось перевести

---

[1]) В письме от 14 июля 1832 года к брату Корнилович написал, между прочим, нижеследующие строки: „На столѣ у меня Титъ Ливій, отъ перевода коего я обѣщалъ себѣ столько наслажденія, и вотъ, слишкомъ мѣсяцъ, не могу приняться за трудъ. Плоха, милый, работа, гдѣ за часы доставленнаго ею

славу, чтобы самъ Титъ Ливій, еслибъ могъ проснуться, былъ доволенъ моимъ трудомъ. Въ переводѣ же великихъ писателей мало того, чтобъ передать вѣрно смыслъ подлинника, надлежитъ сохранить и всѣ оттѣнки ихъ слога: въ Тацитѣ сжатость и силу, въ Титѣ Ливіѣ блескъ, плавность, полноту. Французскій переводчикъ изъ однаго латинскаго предложенія составляетъ по-два, по-три. Мнѣ кажется, это въ такомъ только случаѣ дозволено, когда языкъ не терпитъ длинныхъ періодовъ. Нашъ же допускаетъ всѣ таковыя изложенія рѣчи: дѣло въ умѣніи владѣть имъ, а это искусство не легкое. Впрочемъ, если по слабости, общей авторамъ, и я грѣшенъ самолюбіемъ, то самолюбіе мое не выходитъ изъ предѣловъ благоразумія. Буду стараться сдѣлать трудъ свой сколь возможно совершеннымъ: удастся — хорошо, нѣтъ — безъ всякой жалости, первый наложу на него истребительную руку. Между тѣмъ онъ пріятно меня займетъ, усовершитъ въ языкъ и упользуетъ мнѣ нравственно. Примѣры мужей великихъ, разсказанные такимъ писателемъ, каковъ Титъ Ливій, крѣпятъ и возвышаютъ душу; зараждается желаніе имъ подражать, и хотя чувствуешь, сравнивая себя съ ними, собственное безсиліе, но самое стремленіе уже хоть сколько-нибудь къ нимъ приблизиться выводитъ душу изъ бездѣйствія, къ которому такъ располагаетъ мое настоящее положеніе.

Прощай, мой милый! Успѣшно ли идутъ твои работы? Ни слова не говорю теперь о краткости твоихъ писемъ, потому что ты занятъ, но наступитъ осень, время отдыха, и тогда, надѣюсь, вспомнишь пословицу: долгъ платежомъ красенъ, и на мои длинныя посланія будешь отвѣчать таковыми же.

Твой всѣмъ сердцемъ *Александръ*.

удовольствія платишь днями страданій. Сперва празднуешь по необходимости, затѣмъ самая лѣнь становится привлекательной. На все, что нѣкогда радовало, восхищало душу, смотришь окомъ холоднымъ, миришься съ тѣмъ, что ненавидѣлъ, весь портишься, весь черствѣешь и какъ ни стараешься вырваться изъ этаго онѣмѣнія, стряхнуть съ себя эту ржавчину, съ каждымъ днемъ чувствуешь ничтожность своихъ усилій, ежедневно съ отчаяніемъ въ сердцѣ повторяешь: духъ бодръ, плоть нѣмощна. Доселѣ цѣлью всѣхъ моихъ помысловъ, трудовъ, стараній было усовершеніе себя на пользу ближняго и это то желаніе, отрада жизни, источникъ всего прекраснаго, часъ отъ часу слабѣетъ, уступаетъ мѣсто какому то холодному, мертвому равнодушію. Боже! чего бы я ни далъ тому, кто научилъ бы меня сохранить его въ прежней свѣжести и силѣ! Куда я безъ него буду годиться? И такъ уже похожу на человѣка, палимаго антоновымъ огнемъ, у котораго болезнь отнимаетъ руки, ноги, пробирается къ сердцу: онъ слѣдитъ очами успѣхи недуга, предвидитъ неминуемую гибель и не въ силахъ пособить злу..." (из семейного архива).

Ad Decabristiana.

1. 14 декабря 1825 г. в народной песне.

К началу XIX века, по общеизвестным и давно взвешенным причинам, русская историческая песня замирает. Слабеет историческое чувство в народе, явно утрачивающем и прежнее острое национальное чувство. Лиризм начинает преобладать над чистым эпосом. Неудивительно, что революционное движение первой половины 20-х годов, в котором народ почти не принял сознательного участия, не оставило следов в народной песне,—и лишь как редкое исключение можно привести одну песню, касающуюся события 14 декабря 1825 года. Ее записал в самом начале настоящего столетия на Печоре, в деревне Нарыге, со слов тамошнего крестьянина, собиратель былин Н. Е. Ончуков и опубликовал в своих „Печорских былинах“ (Спб., 1904, стр. 401). Вот она вся:

Молодой солдат да на часах стоит,
Стоючись-то солдат да расплакался,
Зинул ружьем солдат в сыру землю:
— Ты роздвинься, роздвинься мать сыра земля,
Ты откройся, откройся гробова доска,
Розорвись-кё, розорвися рущата камка,
Ты возстань-кё, возстань наш блоговерной царь,
Благоверной царь Алексант Павлович!
У нас все-то нынче не по прежному,
Придумали, братцы, бояришка думу крепкую:
„Кому, братцы, из нас да государём быть?
„Государём быть, да акитантом слыть?
„Государём-то быть князю Вильянскому,
„Акитантом слыть князю Волхонскому“.
Воспрослышело его да ухо правоё,
Рассадили их по темным кибиточкам,
Розвозили-то их да по темным тюрьмам.

Трагедия декабризма ясно отразилась в этих кратких стихах; от них веет холодом той, как сказал Тютчев, „вековой громады льдов“, на которой мгновенным пламенем сверкнула кровь героев 14-го декабря. Народу эти люди еще долго казались барами, стремившимися усилить свою власть, овладеть престолом, стать „акитантами“... Он и не мог истолковать иначе „революцию без народа“, хотя бы и для народа. Разве полвека спустя не пользовалась значительным кредитом ле-

генда, рассматривавшая революционеров как господ, мстивших царю за освобождение крестьян?

Исторических имен в этой песне нечего искать. Имя Волконского застряло в памяти слагателей и повторителей ее несомненно лишь потому, что давно уже было знакомо народу по знаменитой песне о Ваньке-ключнике, „злом разлучнике" князе Волконского с его молодой княгиней. Рассказ о 14-м декабря присоединен к старому эпическому началу; так начинается песня XVIII века о кончине Петра I.

2. „Ростопчинская шутка" о декабристах.

От наивной мужичьей трактовки декабрьского восстания недалеко уходила иной раз и „господская". Когда декабристы томились в крепости, многих забавляла шутка одного из самых остроумных и самых циничных представителей высшего круга, знаменитого графа Ф. В. Ростопчина. Она не забылась и дошла до поздних времен. Некрасов переложил ее в стихи и повторил в „Русских женщинах" („Княгиня М. Н. Волконская", IV):

Едва огласилось решенье суда,
Всем было неловко и жутко,
В салонах Москвы повторялась тогда
Одна ростопчинская шутка:
„В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует,—понятное дело!
У нас революцию сделала знать, —
В сапожники, что ль, захотела?"...

Некрасов немного ошибся: шутка эта относится не к тому времени, когда стал известен приговор суда,—она полугодом старше. У Ростопчина хватило бы ума и такта не шутить таким образом после вынесения приговора, поразившего всех своею строгостью. Он до приговора и не дожил: 18 января 1826 г. его не стало. Но шутка действительно его, и Некрасов передал ее довольно точно.

Ростопчин умирал. У постели больного дежурил один из преданных ему людей, бывший его подчиненный, московский почтдиректор А. Я. Булгаков, оставивший в своей обширной и разнообразной переписке много ценных исторических показаний. 8 января 1826 г. Булгаков писал своему брату, К. Я.:

„Вчера разговорились при умирающем о проказах Трубецкого и гнусных его товарищей. Ремих (доктор) сказал: Il parait que le plan du prince Troubetzkoy était de faire une révolte comme en France. Граф Федор Васильевич вслушался и сказал примечательные сии слова: C'est tout-à-fait le contraire. En France les cuisiniers ont voulu devenir des princes, et ici les princes ont voulu devenir cuisiniers. („Как раз наоборот. Во Франции повара хотели попасть в князья, а здесь князья—попасть в повара"). („Русс. Архив" 1901, II, 342). Так говорит непосредственный собеседник Ростопчина. Другой современник, князь П. А. Вяземский, близкий друг Булгакова, полвека спустя повторил эти слова в иной редакции; „в эпоху французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями,

у нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками". („Полн. собр. сочин. кн. П А. Вяземского", VII, 510),

Впрочем ростопчинская шутка едва ли могла быть обидна для декабристов: старый циник в сущности правильно указал, что эти люди самоотверженно жертвовали своими классовыми интересами и личным привиллегированным положением.

3. Стихи Д. Л. Крюкова (?).

Когда то мне удалось приобрести известный сборник, изданный в 1861 г. в Лондоне Герценом и Огаревым: „Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарева". Краткие пометки, которыми снабдил его какой-то прежний владелец, касаются как текста стихотворений, так и их авторов. Этот неизвестный мне читатель—судя по старинному и старческому почерку, едва ли он еще находится в живых—был очень хорошо знаком с русской поэзией и рассыпал там и сям немало правильных замечаний и верных аттрибуций, за которые нельзя не быть благодарным ему, так как в сборнике многие авторы не названы, отчасти, повидимому, из опасения доставить неприятности тем, которые тогда здравствовали и жили в России (например Некрасов, Аполлон Григорьев, К. К. Павлова), отчасти потому, что редакция и сама не знала авторов некоторых пьес, ходивших по рукам.

В отделе „Стихотворений разных авторов", где по преимуществу собраны анонимные пьесы, помещено (стр. 254) стихотворение „Декабристам":

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор;
На ней поэт, венчанный славой,
Остановить не смеет взор.
Но вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли, взойдет;
Чего желали вы так страстно.
Все, все исполнится, придет.

Ваш враг могучий торжествует,
Щадит его судьбы закон,
Лишь власти страсть его волнует,
И кажется незыблем трон.
Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род;
Страны своей освободитель,
Проснется дремлющий народ.

В победный день, в день славной тризны
Свершится роковая месть,—
И снова пред лицом отчизны
Заблещет ярко ваша честь.

Внизу приписано: „Крюков". По всей вероятности это знаменитый гуманист-классик, профессор Московского Университета Димитрий Львович Крюков, чьей памяти посвятил прекрасное стихотворение Фет, его бывший слушатель, которому он привил любовь к античной поэзии. Крюков умер в 1845 году. Стихотворение написано в самую глухую, спокойную пору царствования Николая I-го.

Н. Лернер.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Отдел I.

Стр.

Хозяйственное состояние России накануне выступления декабристов. Б. Д. Грекова. 5
Мотивы реальной политики в движении декабристов. А. Е. Преснякова. 29
Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов. С. Н. Чернова. 56
„Диктатор 14-го декабря“ Н. Ф. Лаврова 129
Творческий путь Рылеева. А. Г. Цейтлина. 223
Движение декабристов в освещении иностранной публицистики. А. Н. Шебунина. 284
Народная молва о декабрьских событиях 1825 года. К. В. Кудряшева. 311

Отдел II.

Из архива декабриста Юшневского. В. М. Базилевича. 323
Арест Пестеля. А. В. Шебалова. 329
Декабрист Волконский в каторжной работе на Благодатском руднике. Б. Л. Модзалевского. 332
Письма М. А. и Н. А. Бестужевых с Петровского завода. И. М. Троцкого. 361
Немецкая поэзия о декабристах. М. П. Алексеева. 372
Стерн в восприятиях декабристов. М. К. Азадовского. 382
Письмо А. О. Корниловича из Петропавловской крепости. А. Г. Грум-Гржимайло. 393
Ad Decabristiana. 1. 14 декабря в народной песне. 2. „Ростопчинская шутка“ о декабристах. 3. Стихи Д. Л. Крюкова. Н. О. Лернера. 397

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“

Ленинград, Просп. Володарского (б. Литейный), д. 21

К юбилею декабрьского восстания 1825 г.

1. **Бунт декабристов.** Юбилейный сборник под ред. **Ю. Г. Оксмана** и **П. Е. Щеголева.** Цена 4 руб.
2. **Проф. Н. Н. Фирсов.** Герои 14-го декабря. Социально-психологическая харектеристика. Популярный очерк. Ц. 50 к.
3. **Н. П. Павлов-Сильванский.** Декабрист Пестель перед верховным уголовным судом.
4. **Декабрист М. И. Муравьев-Апостол.** Воспоминания и письма. Ц. 30 коп.
5. **Декабрист А. М. Муравьев.** Записки. Ц. 15 к.

Новые книги:

Русский Рокамболь (Приключения Н. Ф. Манасевича-Мануйлова). Ц. 1 р. 30 к.

Юденич под Петроградом. Из белых мемуаров. Под ред. **П. Китаева.**

Крушение белых (Крым. Галлиполи. Стамбул). Воспоминания **Г. Федорова.**

БИБЛИОТЕКА
Обл. Дома Учителя

Цена 4 руб.